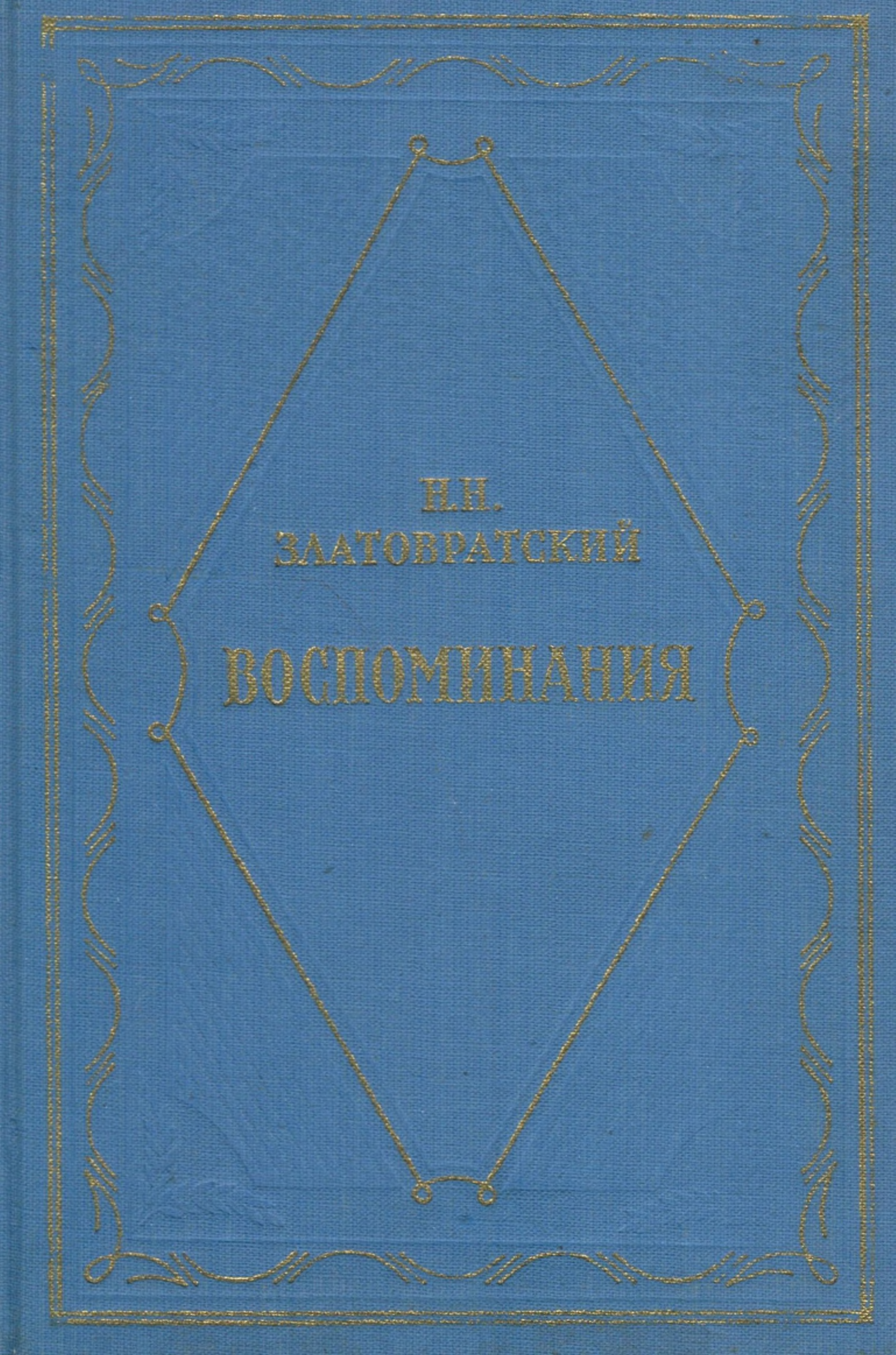
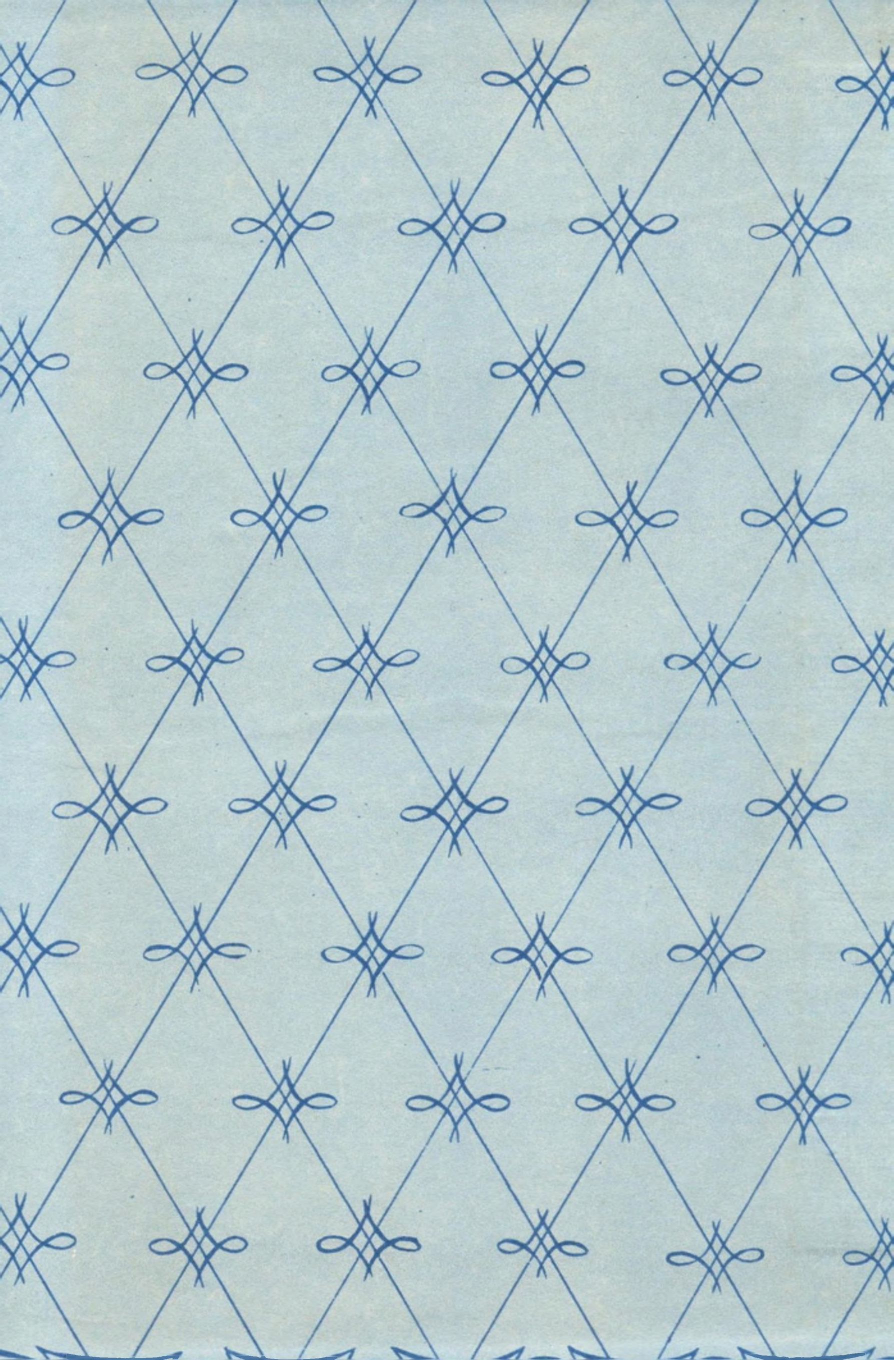
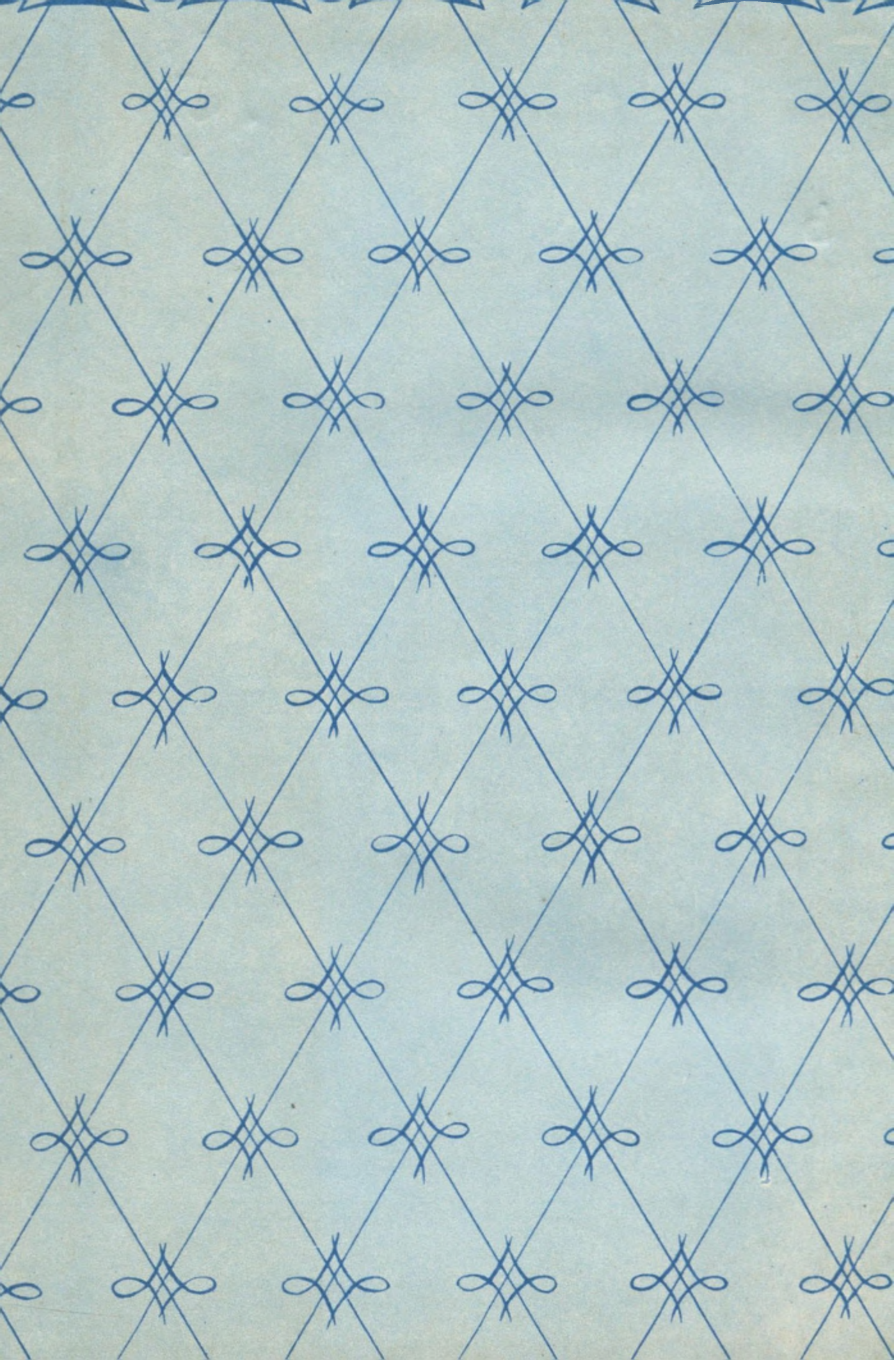

Н.Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ
ВОСПОМИНАНИЯ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1956

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

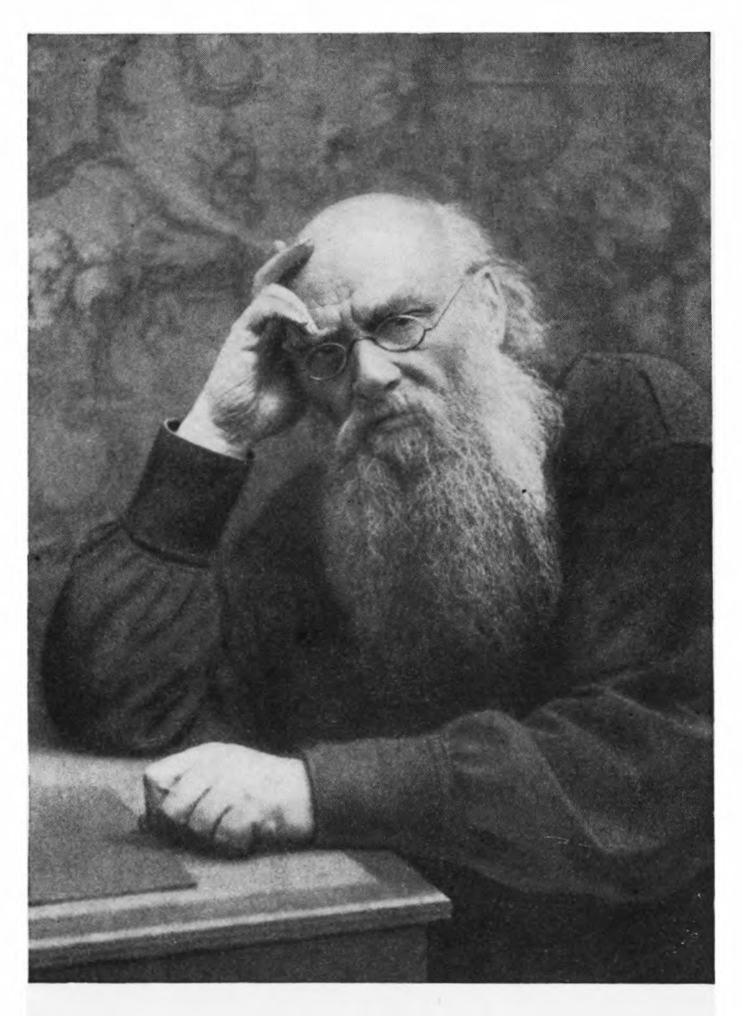


ВОСПОМИНАНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1956

Вступительная статья, подготовка текста
и примечания
С. А. РОЗАНОВОЙ



Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Писатель-народник Николай Николаевич Златовратский прожил не богатую особыми событиями жизнь. Но в этой жизни была своя большая драма, драма честного художника, много размышлявшего над судьбами своей родины и своего народа, не нашедшего правильного решения волновавших и тревоживших его проблем, разочаровавшегося в собственных убеждениях, усомнившегося в своих выводах.

Златовратский был близок русскому крестьянству, скорбел о его горькой участи, мечтал о его счастливой доле, благе и свободе. Он видел разгул буржуазного хищничества, разорение и обнищание деревни, резкое обострение социальных противоречий, великое горе народа. Он мучительно искал пути спасения мужика от надвинувшихся бедствий и страданий, но находил их, как и все народники, в возвращении старого патриархального уклада, питая иллюзорную надежду отстоять его от разрушительных действий капитализма.

Непрестанная забота о куске хлеба лишала талантливого писателя возможности отделывать и совершенствовать свои произведения. Он не раз бывал вынужден жертвовать творческими интересами ради заработка. Все это причиняло писателю большие страдания. «Всячески хочется как-нибудь повыбиться из необходимости целый век все только «дневники» да «путевые заметки» писать. Просто самому на себя обидно, тем более что чувствуешь, кажется, мог бы и действительно что-нибудь сделать из материала, который собирал десять лет» *,— жаловался Златовратский в письме к Салтыкову-Щедрину.

* «Литературное наследство», № 13—14, М. 1934, стр. 374.

Такими переживаниями он делится также с писателем Ф. Д. Нефедовым: «Почтенное это ремесло — писать, но вместе чувствуешь, как-то и позорно превращать это дело в ремесло... Разночинская дилемма, и ни черта с ней не поделаешь! О! как много таких дилемм у разночинца. И, что всего ужаснее, чувствуешь, что правы, ведь правы — и толстые, ожиревшие буржуа, и выхолощенные баре, и их отъевшиеся холуи, когда они шпыняют тебя кличкой недоучки, ремесленника, не умеющего уважать свое искусство, придать изящество форм, выдержанность и глубину содержания своим работам... О, правы они, подлецы, правы, не по существу правы, а потому — действительно несомненен факт разменивания разночинца по мелочам на мелкую монету всего дорогого, глубокого, светлого, которое при других обстоятельствах, может быть, явилось бы действительным «перлом создания» и ударило бы по сердцам «с неведомой силой» *.

Противоречие между теоретическими взглядами Златовратского и реальной действительностью, приведшее его к длительному идейному и творческому кризису, постоянная материальная необеспеченность, изнуряющая мозг лихорадочная работа, неудовлетворенность собой и своим трудом — все это осложняло и омрачало жизнь писателя, окрашивало ее в скорбные, пессимистические тона.

Несмотря на иллюзорность общественных взглядов писателя, искренняя любовь к трудовому народу, честность и зоркость подлинного художника позволили ему правдиво отразить многие существенные процессы действительности и создать художественные и публицистические произведения, обладающие несомненной ценностью и значительностью.

* * *

Златовратский принадлежит к тому поколению русских писателей, которых воспитала и духовно сформировала эпоха первого демократического подъема, эпоха шестидесятых годов прошлого века. По своему происхождению он является тем самым разночинцем, который после падения крепостного права выступил в качестве «главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности» **.

Златовратский родился 14 декабря 1845 года в г. Владимире в семье мелкого чиновника. Его родители происходили из среды сель-

---

* Цитирую по книге В. Буш, Очерки литературного народничества, 70—80 гг., М.— Л. 1931, стр. 18.

** В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 224.

ского духовенства. Еще в детстве, подолгу живя у своего деда, деревенского дьячка, он познакомился с деревней, ее бытом и нравами. «Все же прадеды мои, а также и многие близкие родственники принадлежали к низшему сельскому духовенству, отчего в нашей семье никогда не прекращались связи с селом» *,— пишет Златовратский в своей автобиографической заметке.

Его отец, человек передовых взглядов, один из деятельных участников местного комитета по подготовке крестьянской реформы, был в центре сложной общественной и идеологической борьбы, разгоревшейся накануне 19 февраля 1861 года во Владимире. Любознательный мальчик внимательно прислушивался к разговорам и спорам, которые происходили вокруг проблемы крестьянского освобождения. В доме своего отца он впервые узнает о Герцене, Белинском, Чернышевском, Добролюбове, Некрасове, знакомится с их произведениями, и в нем пробуждается искренняя любовь к угнетенному и страждущему «младшему брату».

Семья Златовратского жестоко пострадала из-за прогрессивных убеждений отца, его антикрепостнической деятельности. Крепостники добились изгнания отца писателя со службы, и семье довелось пережить немало тяжелых и страшных дней, лицом к лицу столкнуться с беспросветной нуждой. Старшему сыну — будущему писателю пришлось совмещать посещение гимназии с занятиями в землемеро-таксаторских классах, летом во время каникул работать землемером. Поездки в деревню не только дали ему обширный материал для будущих произведений, но пробудили его мысль, заставили задуматься над тем, что совершалось тогда в многомиллионном земледельческом сословии.

Окончив в 1864 году гимназию, Златовратский на скопленные от землемерской практики и репетиторства 25 рублей едет в Москву для поступления в университет. Год провел он в университете — тяжелый, полуголодный год. Не выдержав лишений, скитаний по углам без гроша в кармане, Златовратский переезжает в Петербург, где поступает в Технологический институт с надеждой получить казенную стипендию. Но надежды эти не сбылись, и здесь ему снова приходится пережить лишения, от которых он бежал из Москвы.

В Петербурге несколько своеобразно началась литературная деятельность писателя. Узнав, что в газете «Сын отечества» есть

---

* Автобиографическая заметка. Архив Златовратского. Институт русской литературы Академии наук (ИРЛИ), Ленинград.

вакантное место корректора, но что для поступления требуется испытательная работа, Златовратский представляет в редакцию свою статью «По поводу появления значительного количества переводов». Эта работа была не только одобрена, но и опубликована. Так впервые появилось имя Златовратского на страницах печати. О мытарствах и невзгодах, пережитых за время работы в газете «Сын отечества», писатель позднее живо и подробно рассказал в своей повести «В артели» (1875).

Интерес к литературе, потребность в творчестве проявились у Златовратского еще в ранней юности. В гимназические годы он издавал школьный журнал «Наши думы и стремления», писал стихи, навеянные поэзией Некрасова и Кольцова. Годы пребывания в Петербурге отмечены началом активной творческой деятельности Златовратского. В журнале «Отечественные записки» появляется его рассказ «Чупринский мир» (1866), в журналах «Искра» и «Будильник» — мелкие рассказы и очерки, в журнале «Семья и школа» — очерк «Наследство рабочего» (1871), подписанные псевдонимами Н. Череванин и «Маленький Щедрин». Сам Златовратский так охарактеризовал свои первые литературные опыты: «Очерки и рассказы, напечатанные в «Искре» и «Будильнике», исключительно посвящены народному и провинциальному быту, по наблюдениям, главным образом почерпнутым им из своей землемерской практики. Почти все эти очерки носили резкий обличительно-реалистический характер, подражая общему тону тогдашней популярной беллетристики и не отличаясь еще яркой индивидуальностью *. Это авторское признание объясняет нам происхождение псевдонима «Маленький Щедрин», означавшего приверженность начинающего писателя сатирическому направлению русской литературы.

Хотя имя писателя все чаще и чаще стало появляться на страницах журналов, нужда преследовала его и попрежнему не оставляли сомнения в своем призвании. Он откровенно писал об этом в той же автобиографической заметке: «Но как самое развитие мое, так и писательство шло очень неровно, порывами, иногда прекращаясь на целые годы; причем я часто отчаивался в своем литературном призвании, впадал в полное уныние, а жизнь голодного пролетария редко дарила мне минуты духовного просветления. В конце концов такое мое положение грозило мне окончательной гибелью, совсем разрушительным образом сказавшись на моем здоровье» **. Действительно,

* Автобиографическая заметка. Архив Златовратского (ИРЛИ).

** Там же.

мытарства, перенесенные в Петербурге, завершились тем, что Златовратский в обморочном состоянии был подобран на улице, отвезен в больницу и в дальнейшем не переставал страдать от последствий жизни «голодного пролетария».

Выйдя из больницы, он в 1872 году возвращается к себе на родину. Через год, едва поправив разрушенное здоровье, Златовратский начинает работу над своим первым крупным художественным произведением — романом «Крестьяне-присяжные». Как только первая часть была закончена, автор отправил ее в редакцию «Отечественных записок» на суд Щедрина и Некрасова. Рукопись была напечатана. С этого времени вплоть до самого закрытия «Отечественных записок» в 1884 году не прекращается сотрудничество Златовратского в передовом демократическом органе его времени.

Изображая в своем романе русскую пореформенную действительность с точки зрения народных интересов, Златовратский показал мнимый демократизм как самой реформы, так и тех новых юридических институтов, которые возникли в результате либеральных нововведений. И после реформы народ все так же угнетен и притеснен, попрежнему страдает от социального бесправия и бюрократизма огромного государственного аппарата. Всей городской цивилизации с ее ложью и жестокостью писатель противопоставляет крестьян-присяжных — носителей общинного сознания. В своем романе Златовратский стремился показать, что только мужики-присяжные, представляющие интересы «мира», «общества», вносят начало правды и гуманности в погрязшее в преступлениях и беззаконии цивилизованное общество. В этом произведении Златовратский предстает как убежденный народник, симпатизирующий патриархальной деревне-общине.

Русское народничество, сложившееся в 70-е годы, когда Россия, освобожденная от пут крепостного права, вступила на путь активного капиталистического развития, явилось, как указывал Ленин, целым течением общественной мысли, сыгравшим крупную историческую роль *. Народничество составило определенный этап в истории освободительного движения русского народа, в истории его литературы, критики, социологии и публицистики.

В. И. Ленин находил, что крупной исторической заслугой народничества является постановка народниками вопроса о капитализме. Несмотря на свои ошибочные теоретические положения, основанные на романтической и мелкобуржуазной критике капитализма, на идеа-

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр 496.

лизации докапиталистического, общинного уклада жизни деревни, народники опубликовали огромный художественный и публицистический материал, объективно свидетельствующий о вступлении России на путь капиталистического развития. В своих произведениях народники впервые на русской почве подвергли критике складывающееся буржуазное общество, с большой силой и непосредственностью отразили «противоположность интересов труда и *капитала*» *, проявили горячее сочувствие угнетенному, нищему, страдающему от победоносного шествия господина Купона трудовому народу. Идеология народничества с ее апологией отживающего примитивного общественного уклада отражала интересы и точку зрения мелкобуржуазных крестьянских масс и отличалась наивностью, политической незрелостью, а в трактовке капитализма и его исторического значения до конца оставалась на реакционно-романтических позициях. Народники отрицали прогрессивное, революционное значение буржуазного периода общественной истории; критикуя буржуазную цивилизацию, они превозносили отмирающий патриархальный общественный уклад, не желая видеть, что он тоже был основан на «эксплуатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной зависимости» **. Говоря о критике народниками капитализма, Ленин подчеркивал, что «народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм, сопоставляя всегда *действительность* капитализма с *вымыслом* докапиталистических порядков» ***.

В силу неразвитости «классовой противоположности, присущей русскому капиталистическому обществу» ****, народничество ни в своей оценке капитализма, ни в своих социологических обобщениях не смогло подняться до уровня научного социализма, оставшись одним из видов «немарксистского социализма», который в условиях «экономической отсталости страны и преобладания крестьянского населения, придавленного остатками крепостничества,— держался всего более долго» *****. Народничество продержалось в России вплоть до девяностых годов, проделав значительную эволюцию, и превратилось в абсолютно реакционное течение, тормозившее успешное развертывание пролетарской освободительной борьбы. Революционные народники семидесятых годов, следуя традиции Чернышев-

---

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 384.
** Там же, т. 2, стр. 484.
*** Там же.
**** Там же, т. 1, стр. 420—421.
***** Там же, т. 15, стр. 18.

ского, сочетали иллюзорную веру в общину с героической революционной борьбой за социализм, а в своих произведениях сумели убедительно показать гибель старого патриархального порядка, показать, что прогресс и культура в пореформенной России носят буржуазный характер. Народничество же девяностых годов, приняв ярко выраженную либеральную окраску, выработало программу, рассчитанную на то, «чтобы заштопать, «улучшить» положение крестьянства *при сохранении основ современного общества»* *, утратило боевой революционный дух, остроту и значительность в постановке политических и общественных вопросов.

Златовратский занимал промежуточное место между этими двумя течениями народнического движения, не примыкая полностью ни к одному из них. Он не участвовал в подпольных революционных организациях семидесятых годов и не был связан ни с «Народной волей», ни с «Землей и волей». Но тем не менее с революционным народничеством его сближает социалистическая убежденность, резко критическое отношение к капитализму, правдивое изображение картины умирания патриархального уклада, выступления против крепостничества в защиту демократических требований русского крестьянства. В то же время творчеству Златовратского были свойственны черты, присущие позднему либеральному народничеству — то, что Ленин называл «мечтанием насчет общинности», идеализация «устоев», иллюзорные надежды при помощи реформ и переделов возродить примитивный общинный социализм.

В семидесятые—восьмидесятые годы, непосредственно примыкавшие к реформе, в центре внимания русской передовой интеллигенции продолжала находиться деревня, все, что там «укладывалось» и совершалось. В эти годы появились различного рода произведения о мужике, его социальном быте, психологии, настроениях, судьбах и чаяниях. Такое обилие литературы о деревне объясняется особым интересом к крестьянству, к его социальным и моральным устоям, характерным для народничества. Златовратский не остался в стороне от этого литературного «хождения в народ», так красочно описанного им в одном из очерков: «И мы с кипами книг и программ лихорадочно устремились в деревни,— писал он.— И как же мы усердствовали! мы залезали мужику в горшок, в чашку, в рюмку, в карман, мы лезли в хлев, считали скотину, считали возы навоза, мы отбирали данные у кабатчиков, у акцизных чиновников, летали на сходы и «усчитывали» мирскую выпивку. Мы топтались по полям и лугам,

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 247.

мерили полосы шагами, снимали планы, прикидывали четвертями и вершками межники и межполосные броды... чего, чего мы только не нюхали, не измеряли, не вешали!» *. В результате путешествий Златовратского по селам Владимирской губернии, Поволжья, Подмосковья появились его «Очерки крестьянской общины», «Очерки деревенского настроения», «Красный куст» и др., которые по своему социальному содержанию занимают в современной ему литературе о народе значительное место. В этих очерках Златовратский в живой форме правдиво воспроизвел реальную действительность, объективно отразил тенденции развития русской пореформенной деревни. Он увидел и запечатлел картину классового расслоения, нарождение кулака-мироеда, с большой силой и гневом обрисовал пауперизацию села, массовое разорение одних и обогащение других,— весь этот страшный и жестокий процесс, столь удачно названный им «колупаевской революцией». Вопреки всем своим иллюзиям и упованиям, он не мог не видеть, что мужик подпал под власть еще более страшных поработителей. Он увидел, что в деревне теперь господствует «толстый, с багровым, оплывшим лицом, грубый, грязный, утробный кулак, зверски холодно и безучастно стукающий шашками засаленных счетов; рядом с ним, рука об руку мундирный человек, беспечно пускающий вверх струйки папиросного дыма и постоянными кивками головы... подтверждающий справедливость вычислений своего соседа, и, наконец, перед ними обоими распростертая ...фигура мужичонки» **.

Деревенский капиталист с его психологией хищника-предпринимателя воспринимался Златовратским как сила, разрушающая все идиллические, патриархальные формы общественных и человеческих взаимоотношений. Появление на общественной арене кулака, цинически наглого, бесчеловечно жестокого, писатель рассматривает не как случайное, чисто эпизодическое явление, а как событие большого исторического значения, порожденное крестьянской реформой,— и в этом его существенное отличие от поздних народников, которыми, по выражению Ленина: «В Положении 19 февраля усматривался залог некапиталистической эволюции России» ***.

«В образе Колупаевых,— писал Златовратский,— воплотил народ ту «бескровную революцию», которую так любят воспевать наши славянофилы, в лице его он выпустил мстителя за столетия бесправ-

---

* Н. Златовратский, Деревенские будни, «Отечественные записки», 1879, № 10, стр. 451—452.

** Н. Златовратский, Очерки деревенского настроения, «Отечественные записки», 1881, № 4, стр. 195.

*** В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 84.

вия, но мстителя не кровавого, вроде Стеньки Разина, то зверски-удалого, то великодушного, а мстителя более страшного и убийственного: подземного червя, гадину, пресмыкающуюся и увертливую, омерзительную и жадную, но неуклонно подтачивающую и уже почти окончательно сглодавшую все корни барских устоев... Гадко, отвратительно, невозвышенно, непоэтически... совершилось русское деревенское перерождение, но тем не менее единственным результатом освободительной реформы явилось создание Колупаева» *.

Своим содержанием очерки Златовратского не оставляли сомнения в том, что «организация общины представляет крайнюю степень экономического неравенства», что происходит «дезорганизация устоев», что новая деревня характеризуется резкостью классовых контрастов, непримиримостью интересов «верхов» и «низов». Но, несмотря на это, писатель продолжал отстаивать миф об общине, как единственно идеальной форме трудовой организации, как основе справедливого и гармонического общественного строя. «Мы признаем общину в полном ее объеме, со всеми ее логическими последствиями, желаем ее охраны в основных ее принципах»,— признавался Златовратский. Его очерки проникнуты стремлением убедить читателя в том, что община — не вымысел, не абстракция, а «инстинкт... нравственный уклад мужицкой души», что, несмотря на «новые веяния», в «деревне существует целая гармоническая, высоко гуманная система взаимной помощи, прочно лежащая и вытекающая из основ общинной народной жизни» **.

Ненавидя новый укладывающийся буржуазный строй, искренно, всей душой сочувствуя горькой мужицкой доле, Златовратский, подобно всем народникам, не понимал, что «русское общинное крестьянство — не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его» ***. Он наивно верил тому, что община сама «с корнем вырвет разъедающую ее гангрену» и сумеет избегнуть буржуазного развития со всеми его бедствиями и пороками.

Ленин указывал, что противоречивость природы мелкобуржуазного крестьянства, сочетание в его сознании демократических и реакционных элементов нашло свое отражение в идеологии народничества. Эта двойственность проявилась и в творчестве Златоврат-

---

* Н. Златовратский, Очерки деревенского настроения, «Отечественные записки», 1881, № 4, стр. 207.

** Н. Златовратский, Очерки крестьянской общины, Собр. соч., т. VIII, стр. 86.

*** В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 141.

ского. Когда он в своих произведениях жизненно, правдиво изображал состояние современной деревни, показывал отмирание старого патриархального быта, разительную поляризацию общественных сил, остроту классовой борьбы, рост обнищания и пролетаризации земледельческого населения, когда он выступал обличителем несправедливости собственнического общества,— он продолжал и развивал лучшие демократические традиции русской литературы. Но когда он отходил от действительности и пытался придать жизненность и конкретность своим мифическим представлениям об общинной идиллии, создавал надуманные образы благолепных, мудрых мужиков, носителей «мирского сознания», тогда в его книги проникала антиреалистическая, фальшивая и навязчивая тенденциозность.

Чем значительнее и содержательнее были произведения Златовратского, тем явственнее ощущалась эта противоречивость идейного и литературного облика писателя. В этом смысле характерен один из самых крупных и интересных его романов — «Устои», над которым он работал около пяти лет — с 1878 по 1883 год. Этот роман создавался в годы, когда Златовратский целиком принимал и разделял народнические убеждения, активно выступал в печати с публицистическо-теоретическими статьями, утверждал народнические эстетические принципы. Исходя из того, что «в наше время обходить такие факторы народной жизни, как общинно-бытовой элемент, стало невозможным», Златовратский считал крупным недостатком современной литературы, посвященной жизни народа, «отсутствие типичной, яркой картины из области общинной жизни... общинных характеров, типичных сцен общинных сходов, судов, переделов — этих выразительнейших и характернейших картин народной жизни» *. Он полагал, что «мужицкий тип, характер во всей его полноте и цельности можно воспроизвести в тысячу раз всестороннее на почве общинно-бытовой, чем на избито шаблонной канве психических коллизий в узко-индивидуальной сфере любовных и им подобных отношений» **. В соответствии с этой концепцией роман должен был утвердить величие, прочность, нравственное превосходство старого крестьянского «мира», крепость и нерушимость «устоев», воплотить «мужицкий характер» на «общинно-бытовой почве». Но, вопреки замыслу автора, роман говорит о совершенно другом. Златовратский сам признавался, что повесть «разрослась как-то сама собой в кар-

---

* Н. Златовратский, Очерки крестьянской общины, Собр. соч., т. VIII, стр. 124.

** Там же, стр. 212.

тину хастического брожения целой волости», то есть по сути дела в картину разрушения так превозносимого писателем общинного быта. Ценность романа, его общественная и художественная значимость определяется отнюдь не тем, во имя чего писал его автор, не пасторалью общинных отношений, не образами «шоколадных мужиков» — Пимана, Мина и др., а глубоким проникновением в сущность крестьянской жизни, разлагающейся под воздействием капитализма, изображением мятежного духа «низов», ярости батрацкой «вольницы». В сущности в этом романе Златовратский, вопреки своему замыслу, обнажает фиктивность «устоев», мнимость представления об общинном равенстве и демократизме.

Златовратский не ограничивался только изображением крестьянства с его особыми интересами. В его творчество органически входила и другая тема — тема интеллигенции, ее взаимоотношений с народом, ее идейных исканий, ее судеб. «Я никогда не провозглашал себя «народным писателем» и никогда не писал исключительно о народе, а только о моих собственных отношениях как разночинца и пролетария к народу и его ко мне»,— писал он Нефедову *.

О стремлении разночинного интеллигента к общеполезной деятельности, к духовному единству с трудовым народом Златовратский писал на протяжении всей творческой жизни. К концу восьмидесятых годов, когда назревал идейный кризис писателя, утрачивалась вера в народнические идеалы, главным героем его произведений становится интеллигент, «лишний человек», тоскующий по положительному идеалу, тяжело переживающий свою отчужденность от простого народа. Написанные им в восьмидесятые годы на эту тему романы и повести — «Скиталец», «Барская дочь», «Мои видения» и др.— проникнуты мрачным пессимистическим духом, скорбной безнадежностью и разочарованностью.

Семидесятые и начало восьмидесятых годов были годами наибольшей творческой и общественной активности писателя. Он много и плодотворно пишет, создает все свои наиболее значительные художественные и публицистические произведения, принимает самое деятельное участие в создании журнала «Русское богатство». К этому времени Златовратский занимает видное место в передовой русской литературе и его имя приобретает широкую известность. В 1884 году начинает выходить его первое собрание сочинений. По высочайшему повелению от 5 января 1884 года оно было запрещено для пользования в общественных библиотеках. Этот запрет был снят лишь

* «Старый Владимирец», 17 декабря 1911 г.

после революции 1905 года к великой радости писателя, который горько переживал свое насильственное отторжение от широкой читательской аудитории.

После 1884 года, во времена наступившей «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции» *, Златовратский все больше и больше отходит от художественного творчества, от создания значительных по содержанию и по глубине отражения общественных процессов произведений. Поняв всю беспочвенность упований на общину, иллюзорность надежд избегнуть для России «европейского» пути развития, он переживает глубокий духовный кризис, явившийся выражением событий и процессов, происходивших в самой действительности.

Вступив в литературу в период буржуазно-демократического этапа русского освободительного движения, Златовратский всей своей биографией разночинца-демократа был духовно глубоко связан именно с этим историческим периодом в жизни народа. Златовратский, не понимавший со всей отчетливостью того, что происходило в стране, реагировал на завершение этого этапа в истории освободительной борьбы и начало нового, высшего — пролетарского — этапа разочарованием в общинном социализме, утратой положительной программы, отходом от активного участия в общественной и литературной жизни.

Писатель не мог пройти мимо такого имевшего огромное значение события, как появление на арене истории новой общественной силы — пролетариата. Вслушиваясь в раскаты пролетарской борьбы, он по-своему приветствовал первую революционную грозу в России. По воспоминаниям дочери писателя С. Н. Златовратской, на квартире у писателя в дни декабрьского восстания 1905 года находился штаб одной из боевых дружин. Старая незатихшая ненависть Златовратского к буржуазии сказалась и в эти бурные дни. Он с негодованием писал сыну о тех «тузах», которые «все возмущены забастовкой и требуют введения на железной дороге военного положения... называют требования рабочих и служащих дикостью и нелепостью, говорят, что никакой нормировки труда и заработной платы быть не может, что они могут регулироваться «железным законом», который утвержден самим богом, что всякая попытка соединить «свободу» промышленности в ее отношении к рабочим есть новое крепостное право» **.

---

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 267.

** Письмо А. Н. Златовратскому. Архив Златовратского (ИРЛИ).

В опубликованной уже посмертно статье «Три легенды» Златовратский приветствовал начало пролетарского освободительного движения в России, связывал с ним новое светлое будущее своего народа, хотя и истолковывал его в христианско-мистическом духе. «Прошло 50 лет, и началось созидание грандиознейшей из грандиозных третьей легенды о выступлении крестоносцев народных трудовых масс под знаменем нового креста, как символа освобождающегося из-под гнета страданий труда... Они идут и идут толпа за толпой, сосредоточенные, прокопченные дымом фабричных труб, обветренные стужей и изможденные голодом родных деревень... Они идут, безоружные, с горящей верой в глазах, устремленных на развевающееся впереди знамя с крестом труда». Называя пролетарских борцов «новыми крестоносцами», он ждет от них «воплощения царства божия на земле... во имя братства, свободы и справедливости» *.

Крайне смутно представляя себе цели и задачи рабочего движения, истолковывая их в абстрактно-гуманистическом свете, он так и не сумел найти выхода из творческого тупика, не смог уже вернуться к полноценной и плодотворной литературной деятельности.

Последние годы Златовратский жил очень уединенно, вдали от литературы, в большой нужде, пробиваясь писанием библиографических заметок, статеек для энциклопедических словарей и другой мелкой поденной работой. Радостными событиями этих закатных лет были торжественно отмеченные два юбилея: в 1897 году — тридцатилетие и в 1907 году — сорокалетие творческой деятельности, когда для него снова донеслись слова любви и признания со стороны тех «низов», которым он отдал всего себя.

В 1909 году Златовратский был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

В декабре 1911 года, не дожив нескольких дней до своего 66-летия, Златовратский скончался, оставив о себе память как о незаурядном художнике и человеке большого и честного сердца.

* * *

«Мои друзья и знакомые все больше настаивают, чтобы я именно занялся писанием своих воспоминаний. Я уже делал некоторые попытки в этом смысле, и теперь мои мысли все больше и больше склоняются в эту сторону»,— писал Златовратский в 1896 году своей тетке Л. Н. Златовратской **. Власть воспоминаний, особенно

---

* «Голос минувшего», 1913, № 1.
** Архив Златовратского (ИРЛИ).

детских и юношеских, всегда имела большую силу над писателем. Многие его произведения — «В артели», «Старый грешник», «Конец Русанова» и другие — основаны на событиях из жизни автора. В повести «Золотые сердца» писатель не раз возвращается к «внезапно нахлынувшим картинам детства».

Судя по дате, проставленной на сохранившейся черновой рукописи *, начало непосредственной работы над воспоминаниями относится к январю 1898 года. Приступая к работе, Златовратский вначале не вполне ясно представлял себе, под каким углом зрения он будет освещать свое прошлое. В черновом варианте имеется подзаголовок: «Воспоминания одного маленького человека», который в беловой рукописи зачеркнут и заменен другим — «Из воспоминаний старого писателя». Очевидно, первоначально писатель намеревался в своем произведении передать то настроение, которое тогда владело им самим,— настроение человека, не нашедшего своего твердого места в жизни, униженного собственными неудачами и своим бессилием, усталого от борьбы и исканий. Но от этого замысла он отказался, что подтверждается сохранившимся в рукописи вступлением, не вошедшим в окончательный текст.

«Писать автобиографию — дело чрезвычайно трудное,— писал Златовратский.— Трудное потому, что требуется громадная нравственная ответственность, чтобы в дело чисто субъективное внести бесстрастие и безошибочность объективного отношения. Вряд ли это по силам среднего человека. Кроме того, это дело и не совсем приличное. Не может иметь значения все, что узко, лично, все, что субъективно, случайно, имеет смысл и значение лишь то, что социально, хотя бы это социальное изображалось, как солнце в капле воды. Вот то руководящее начало, то conditio sine qua non **, при сознании которого только и возможна решимость кого-либо рисковать на собственное жизнеописание... При этом условии будет существовать та ариаднина нить, которая спасет от невольного увлечения всякого субъективизма, свойственного слабому человеческому уму» ***.

Верный высказанному им здесь подлинно реалистическому принципу изображения действительности, Златовратский поставил перед собой задачу создать такого рода мемуары, которые обладают большим общественным содержанием, подчинить собственное жизнеописание раскрытию имеющих общее значение событий и процессов.

---

* ЦГАЛИ, ф. 202, ед. хр. 23.
** Непременное условие (*лат.*).
*** ЦГАЛИ, ф. 202, ед. хр. 23.

Стремясь рассказать «о процессе развития мальчика в известных условиях места и времени», он сумел весьма многое сказать и о месте, а еще больше «о времени» — о шестидесятых годах. А рассказать об этих годах, воскресить в памяти обстановку тех лет своей жизни, которые пришлись на «освободительный этап», когда были заложены основы его мировоззрения, писателю хотелось давно. Это желание усилилось в годы духовного кризиса, когда он воспринимал всю пореформенную эпоху только как господство пустой либеральной фразы, буржуазного пресмыкательства, крушения всех высоких идеалов, безвременья и цинической опустошенности. Еще в 1877 году в письме к писателю Нефедову он с нескрываемым отвращением отмечал, что вокруг лишь «торжество златой середины во всем: среднего либерализма в политике, в искусстве, в науке, и — вследствие этого — ничего оригинального, живого, светлого, нового и, мало того — озлобление против всего, что хотя немного заявит желания выйти из этой тины среднего образа мыслей» *. Вот этой лишенной величия и идеалов действительности он хотел противопоставить тот период русской истории, который вошел в его сознание как пора всеобщего политического возбуждения, активности всех слоев общества, предчувствия и ожидания больших и решающих политических событий.

С особым чувством неоднократно вспоминал Златовратский эти предшествовавшие реформе годы. «То была эпоха обновления и оживления. Откуда-то повеяло живительной весной... Словно животворящее дуновение пронеслось над заросшими мхом руинами, и затхлый, спертый воздух подвалов рассеялся в раскрытые настежь окна. Великое это было мгновение, хотя, увы! только мгновение» **. Еще более полную характеристику шестидесятых годов дает он в своем рассказе «Старый грешник»: «Только что был пережит медовый месяц русского либерализма, они еще чувствовали на себе веяние только что было наступившей весны нашего прогресса, а между тем, не успев даже надышаться ее живительным воздухом, уже начинали ощущать в этом воздухе тот особый сыроватый холод, который предшествует долгому ненастью...» ***. Под ненастьем Златовратский подразумевал последовавшие за семидесятыми годами безвременье, удушливую атмосферу крепостнической реакции, затухание революционной борьбы, то безвременье, когда он с необычайной остротой понял всю значительность и величие лет своей юности.

---

* «Старый Владимирец», 17 декабря 1911 г.
** На родине, «Слово», 1881, апрель.
*** Н. Златовратский, Собр. соч., т. V, стр. 262.

Разгоревшиеся в восьмидесятые годы ожесточенные споры в среде народников о «наследстве» шестидесятников, об отношении к революционным просветителям, их взглядам и идеалам усилили интерес писателя к эпохе шестидесятых годов, возбудили в нем желание вновь ее осмыслить и пережить. Не случайно именно в 1888 году написал Златовратский автобиографический рассказ «В старом доме», рисующий сцены освободительной борьбы передовых людей с крепостниками и являющийся как бы этюдом к позднее написанным им воспоминаниям.

Златовратский на протяжении всей своей жизни принадлежал к тем, кто считал своим высоким и почетным долгом «хранить наследство», кто неоднократно подчеркивал свою преемственную связь с русскими революционными демократами и этим резко отличался от тех народников, «которые отказывались от наследства с наибольшей решительностью» *. Почти во всех своих выступлениях он подчеркивал, что «на почве шестидесятых годов было заложено основание новому, еще находящемуся в периоде развития, но уже полному жизненной силы мировоззрению, именуемому народничеством...» **.

Правда, в отношении Златовратского к «наследству» была своя ограниченность. Он хорошо понимал его просветительный, демократический характер, относился к нему с неизменным уважением и признательностью, что помогло ему правдиво отразить целую значительную полосу в истории народа, но в то же время оставался чужд его революционному боевому духу.

Своеобразие книги Златовратского прежде всего определяется самим материалом. Детство и юность писателя прошли в сравнительно глухом провинциальном городке — Владимире. Описывая события, которые происходили там в знаменательное пятилетие между Крымской войной и манифестом 61-го года, он создает содержательную хронику провинциальной жизни этих лет. Писатель воспроизводит не только быт маленького городка, но показывает и круг идейных интересов местной интеллигенции, характеризует особенности социальных взаимоотношений и борьбы вокруг крестьянского вопроса и тем самым значительно расширяет наше представление об эпохе.

В книге удачно и точно воссоздана обстановка маленького городка в годы, предшествовавшие крестьянской реформе, активизация демократических сил, характерные эпизоды «битвы», объявленной помещиками всем сторонникам нововведений. Сохранившиеся

---

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 495.
** «Русский курьер», 1883, № 170.

исторические материалы говорят о том, что дворянство Владимирской губернии в большинстве своем состояло из ярых крепостников, что даже владимирский дворянский комитет по крестьянскому вопросу, поддерживавший позицию правительства, наталкивался на яростное сопротивление помещиков. Златовратскому удалось показать непримиримость землевладельцев, защищавших свою «крещеную собственность», свои права и привилегии, их противодействие всякой попытке изменить систему рабства и эксплуатации мужика.

Писатель рассказывает о том, как «громадная деревня, в несколько сот душ, ссылалась этапом в Сибирь на поселение, без следствия и суда, неизвестно за какие провинности, по единоличному распоряжению богатого помещика, и это происходило в последние, можно сказать, дни перед освобождением крестьян». «Богатые помещики», напуганные слухами о скором освобождении крепостных, для того чтобы уменьшить число крестьян, которых нужно будет наделить землей, с лихорадочной поспешностью ссылали их в Сибирь. Такие случаи имели место во многих местах, происходили они также и во Владимирской губернии.

Подлинными героями воспоминаний Златовратского являются революционные демократы, молодые глашатаи новых демократических идей, носители высокого передового сознания. Златовратский на конкретном жизненном материале наглядно показал связь двух поколений революционеров, решающую роль «шестидесятников» в идейном формировании революционера-народника. Он рассказывает о том, как под влиянием «трех легенд» о людях, непосредственно связанных с историей его родного города,— Герцене, Салтыкове-Щедрине и Добролюбове, под воздействием дяди — А. П. Златовратского, одного из представителей плеяды русских просветителей,— мальчик с «ребячьей улицы» стал сознательным и убежденным защитником интересов трудового народа.

В письме к вдове А. П. Златовратского писатель сам признает, какое исключительное значение имело для него общение с ее мужем, одним из организаторов и руководителей просветительского кружка, который возник в конце шестидесятых годов во Владимире и которому уделено такое большое место в книге: «С именем Вашим и покойного дяди для меня соединяются самые светлые воспоминания о днях моей ранней юности,— писал он.— Я нередко думал, что преждевременная смерть доброго дяди имела и для моей дальнейшей жизни роковое значение; будь он жив, вероятно и моя жизнь во многом сложилась бы иначе, и, может быть, мне не пришлось бы пережить многих тяжелых положений, в которые ставила жизнь

неопытного юношу, предоставленного в тяжелой жизненной борьбе исключительно собственным силам, которых, конечно, не хватило на все, не пришлось бы, вероятно, с таким трудом и постоянными ошибками вырабатывать те нравственные и интеллектуальные устои, которые при содействии только любящего человека, как дядя, могли бы быть восприняты мною значительно легче и раньше. Несомненно, что многим хорошим из того, чем я руководствовался в своей литературной деятельности,— я обязан влиянию доброй души покойного дяди, хотя это влияние было и очень кратковременно и случайно. Вот почему воспоминания о нем окружены для меня каким-то особенным ореолом» *.

Действительно, Златовратский не только воспроизвел конкретные индивидуальные черты своего родственника, но и создал обобщенный образ «нового человека», современника Чернышевского и Добролюбова во всей его духовной значительности. В книге А. П. Златовратский охарактеризован как представитель добролюбовского поколения разночинной молодежи, которая, почувствовав живительное дыхание «крымской весны», покинула свои глухие провинциальные углы, дома своих отцов и наполнила аудитории столичных высших учебных заведений, жадно набросившись на труды европейских социалистов и буржуазных философов-просветителей и материалистов. Александр Петрович Златовратский учился одновременно с Н. А. Добролюбовым и на одном с ним курсе в Петербургском главном педагогическом институте.

Сохранившаяся переписка между Добролюбовым и А. П. Златовратским свидетельствует о большой духовной близости между ними, о взаимной любви и уважении. Недаром А. П. Златовратский, участвовавший в студенческом кружке, организованном Добролюбовым, уже после окончания института признавался в одном из своих писем: «...А мне казалось, и теперь кажется, что я тогда только был хорош и буду таким, когда был связан товариществом с тобой и твоей шайкой и когда не прервется эта связь и по выходе из института» **. Эта связь порвалась только со смертью великого критика. Находясь в Петербурге, Добролюбов живо интересуется тем, что происходит в общественной жизни в Рязани, где учительствовал Александр Петрович, требует от него подробной информации

---

* Письмо к Л. Н. Златовратской 1896 г. Архив Златовратского (ИРЛИ).

** Письмо Н. А. Добролюбову, июль 1857 г. Н. Чернышевский, Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. 1, М. 1890.

обо всем. «Пришли что-нибудь рязанское»,— просит он его, делится с ним политическими и литературными новостями, сетует на трудности с изданием «Современника», на засилие реакции. «В литературе начинается какое-то шпионское влияние»,— пишет он ему в 1860 году. Из писем А. П. Златовратского виден человек последовательных демократических убеждений, верный тем идеям, которые спаяли его крепкой дружбой и любовью с одним из самых выдающихся людей его времени. С желчной иронией и нескрываемым отвращением описывает он «типы фонвизинских помещиков, которые напоследках стараются натешиться над крестьянами», господина, «который сообщил с большим неудовольствием, что московское дворянство решило отдать усадебную землю крестьянам даром» *. С горечью пишет он, что у всех дворян «коммерческие расчеты стоят на первом месте». По приезде в Рязань он почти в каждом письме жалуется на тяжелые условия провинциальной жизни, бессилие небольшой группки передовой молодежи преодолеть косность, устранить засилие консерваторов в общественных институтах: «Так они привыкли уже к прежнему образу мыслей, взглядов, что все новое подобно колотушке бьет в их бычьи головы и производит какое-то одурение» **. А. П. Златовратский тяжело воспринял наметившийся уже в 1860 году поворот правительства к реакции. Его письма этого года полны жалоб на бессмысленность прозябания в Рязани, в них сквозит глубокая скорбь и мрачное недовольство и собой и окружающей его действительностью. Но, несмотря на все пережитые разочарования, несмотря на начинавшуюся уже тогда смертельную болезнь, которая вскоре после смерти Добролюбова свела и его в могилу, дух его все же не был сломлен. Выражая возмущение бессмысленностью нового проекта гимназического устава, «в котором централизация, стеснение свободной деятельности, чиновничество, формализм, личный произвол в каждой статье проглядывает самым безобразнейшим образом», он гордо заверяет своего друга, что «не повернет свой парус вольный» ***.

И со страниц воспоминаний писателя встает перед нами образ А. П. Златовратского — темпераментного юноши, горячего пропагандиста революционно-демократических идей, революционной литера-

---

* Письмо Н. А. Добролюбову, апрель 1858 г. Н. Чернышевский, Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. 1, М. 1890.

** Письмо Н. А. Добролюбову, март 1860 г. Архив Златовратского (ИРЛИ).

*** Письмо Н. А. Добролюбову от 25 апреля 1860 г. Там же.

туры, организатора и, можно сказать, фактического руководителя целого кружка прогрессивной интеллигенции, развернувшей активную и многогранную деятельность. Златовратский с большой любовью и симпатией описывает собрания этого кружка людей, ненавидящих рабство, крепостнический произвол, социальную несправедливость. Оппозиционные, неоформленные настроения, которыми были охвачены члены этого кружка — отец писателя, гуманный и энергичный человек, воспринявший свое назначение работать в комиссии, готовившей реформу, как высокую и почетную миссию, как служение своему народу, агроном Н. Я. Дубенский, студент-медик Сергей Чернышев и др.,— благодаря А. П. Златовратскому приняли боевой и целеустремленный характер. Златовратский живо описывает сцену приезда на каникулы молодого студента, встречу с членами кружка, которая ясно показывает, в каком направлении шло его влияние.

Писатель подробно рассказывает о практической деятельности этого кружка, о его просветительских начинаниях, которые должны были нести массам свет знаний и знакомить их с прогрессивными идеями. Огромное значение придавали члены кружка проекту создания публичной библиотеки, центра распространения демократической литературы. Эта затея в какой-то мере была связана с «легендой о Герцене», который в бытность свою во Владимирской ссылке оказывал покровительство первой публичной библиотеке Владимира, открытой в 1834 году, судьба которой была весьма примечательна. Недаром в связи с предстоящим открытием Н. П. Златовратским новой библиотеки местная газета опубликовала подробную историю ее предшественницы. «1839 год был последним существования публичной библиотеки во Владимире; 1859 год будет началом ее возрождения»,— так торжественно заканчивается эта статья *. Но, увы, «возрождение», которое так подробно описано Златовратским, было крайне недолговечно. Семья Златовратских и все члены кружка с большим энтузиазмом создавали для своего города библиотеку, которая должна была носить демократический характер, обслуживать на общедоступных началах лучшими произведениями современной русской и европейской литературы, прогрессивными журналами самые различные слои общества. В первом газетном объявлении о предстоящем открытии библиотеки сообщалось: «С разрешения г. министра народного просвещения в скором времени будет открыта во Владимире публичная библиотека: она будет доступна для всех; книги и журналы предоставляется читать не только в самой библио-

* «Владимирские губернские ведомости», 6 июня 1859 г.

теке, но брать и на дом за самую умеренную плату. Учредитель библиотеки чиновник дворянского собрания г. Златовратский» *. Полученное разрешение с ликованием было встречено в доме Златовратского, там отдавали себе полный отчет в том большом культурно-пропагандистском значении, которое могла приобрести библиотека. И действительно, она пользовалась большой популярностью, особенно среди учащейся молодежи. Будущий писатель принял самое живое участие в работе этого «храма». Он распаковывал книги, заполнял библиографические карточки, после окончания занятий в школе с любовью исполнял обязанности библиотекаря, вербовал среди знакомых читателей. И крушение этого «храма» он воспринял как тяжелую личную утрату. Просуществовав два года, библиотека сумела стать центром демократического влияния на молодежь. Вот почему конец эры либеральных реформ и начало реакционного курса погубило и это, такое в сущности скромное, прогрессивное начинание. Библиотека была вновь изгнана из дворянского дома. Ее создатель Н. П. Златовратский решился на настоящий подвиг, предоставив в своем крохотном домике, в котором ютилась огромная, многодетная семья, прибежище этому столь дорогому ему «храму просвещения». Но лишенная материальной поддержки отшатнувшихся от нее богатых читателей — дворян и купцов, библиотека захирела и вскоре фактически прекратила свое существование. Вся эта так подробно и любовно описанная Златовратским драматическая история является наглядным подтверждением того, какой недолгой и непрочной оказалась эра либерального прогресса и либеральных широковещательных обещаний сверху.

Последние иллюзии и надежды на возможность использовать легальные средства для развертывания активной революционно-пропагандистской деятельности рухнули после получения отказа в выдаче разрешения на открытие первой местной неофициальной газеты. Златовратский рассказывает, какое большое значение придавали владимирские просветители созданию своего органа. «Не все же из казенного горшка похлебку хлебать... Пора и свой заводить»,— так иносказательно выражали они свое стремление заговорить вольным словом обо всем, что наболело за эти годы. Несомненно, мыслилось создание передовой демократической газеты, судя хотя бы по тому, что Добролюбов согласился принять в ней участие, и по той конспирации, с какой происходила подготовка к ее изданию. Возможно, что Добролюбов, будучи хорошо информированным через своего

* «Владимирские губернские ведомости», 7 марта 1859 г.

друга А. П. Златовратского о думах, настроениях и делах владимирского кружка прогрессивной интеллигенции, предполагал с их помощью и участием создать новый боевой орган революционной демократии, который охватывал бы своим влиянием широкие круги провинциальной интеллигенции. Однако этим мечтам и надеждам не суждено было сбыться. Разрешение не было получено, власти испугались появления у себя в губернии нового «Современника». «Так печально закончилась первая попытка насаждения в нашей провинции свободного и независимого слова...» — с грустью завершает Златовратский свое повествование о славных, но, увы, не осуществившихся замыслах «преображенных людей», которым суждено было пережить разгром воздвигнутого их усилиями «нового храма».

В воспоминаниях Златовратского чрезвычайно отчетливо, в соответствии с исторической действительностью, показано различие между периодом, когда демократические силы находились на подъеме, энергично выступая против тормозящей прогрессивное развитие страны крепостнической системы, и периодом победы «верхов», столь удачно названного писателем «ликвидационным», когда круги передовой интеллигенции переживали настроение упадка и разочарования. Начало второго этапа писатель справедливо относит примерно к 1860—1861 году, когда стала очевидной трусливая и половинчатая позиция правительства, компромиссный характер «освобождения».

Златовратский, которому дорог первый период своей «приподнятой общественной атмосферой», пробуждением к политической самодеятельности новых пластов народа, особой активностью разночинца, вставшего на защиту крестьянских масс, основное внимание в своих воспоминаниях уделяет этим дореформенным годам. О самой реформе он пишет глухо и иронически. Это событие для членов кружка, интересами которого он, шестнадцатилетний подросток, жил, не представляло никакого интереса. Ими уже был полностью «изжит весь духовный подъем медовых месяцев крестьянского освобождения», и для них «день официального опубликования манифеста 19 февраля явился лишь «юридической санкцией», в значительной степени, кроме того, отравленной ядом сомнений, разочарований и жутких предчувствий», и естественно, что в памяти подростка он остался «совершенно бесцветным и будничным». В отношении к самой реформе писатель сохраняет трезвое и остро критическое отношение. Уже сам манифест и «Положение» об условиях «освобождения» крестьян глубоко возмутили и огорчили передовые круги русского общества, которые выступали за освобождение земли от

власти помещика, за превращение ее в крестьянскую собственность, за широкие демократические реформы в различных областях социальной жизни. Но когда Златовратский после окончания гимназии, работая помощником землемера, увидел складывающуюся пореформенную деревню, то он окончательно убедился, что «кружковцы» были правы, что ничего существенного в положении мужика не изменилось. И, как бы подводя итог всему этому периоду, он с болью за тех, кто не достиг своей заветной цели, писал: «Прежде всего, к моему изумлению, в хаосе, поднятом «ликвидацией», я почти совсем не мог отличить «освобожденного раба»: где он, какой, какая новая печать легла на его чело? В чем, наконец, ярко выразилась новизна отношения к нему прежних господ и его к ним? Ответа не было: все было смутно и неопределенно... Вчерашний раб никак не мог уяснить себе: в чем же собственно заключалась его свобода, кроме того, что помимо конторы помещика он стал иметь теперь непосредственно дела еще с исправником, становым, непременным членом и мировым посредником из тех же помещиков...»

О «хаотических годах», как Златовратский именует пореформенные годы, он говорит лишь постольку, поскольку ему хотелось передать тот разброд и растерянность, те настроения пессимизма, душевной неустроенности, которые переживались тогда в кругах демократической интеллигенции.

Достоинством воспоминаний Златовратского является также и та конкретность и полнота, с какой он раскрывает непосредственную связь изображаемых им людей с переменами, совершавшимися в эти годы в общественно-политической обстановке. В этом смысле интересна рассказанная Златовратским судьба его отца. Мелкий чиновник, вознесенный «новыми веяниями» на должность одного из помощников губернского предводителя по делам крестьянского освобождения, он превращается в незаурядного и активного общественного деятеля, который с подвижнической самоотверженностью отдает всего себя, всю свою энергию и ум на благо народа. Вместе со своим младшим братом он один из самых деятельных и инициативных организаторов и участников владимирского кружка интеллигенции. Но сразу же после реформы и этот скромный и честный труженик изгоняется с государственной службы, обрекается на полуголодное прозябание, без возможности полностью приложить свои силы и способности. До конца своих дней он тяжело переносил учиненную над ним несправедливость.

Не менее интересна также и судьба агронома Н. Я. Дубенского, накануне реформы приглашенного в секретари местного кресть-

янского комитета, но после нескольких столкновений с крепостниками и опубликования статьи против помещичьего землевладения снятого с этой работы.

Картина эпохи в воспоминаниях Златовратского расширяется и детализируется живым и эмоциональным рассказом о своих «ученических годах».

Рассказывая о себе, о годах, проведенных в гимназических стенах, писатель рисует драму живой детской души, живого, пытливого ума, который жаждал подлинных знаний, настоящего ответа на злободневные вопросы, объяснения окружающей жизни. Живой и любознательный мальчик, поступив в гимназию, «все больше терял интерес к сухой и мертвой школьной науке и учился все хуже». «Трагедией детской жизни» называет он годы, которые он провел за гимназической партой, с искренним негодованием обличает дух «школярства», схоластического догматизма, безжизненного формализма, которым была проникнута система образования в гимназии.

Златовратский оканчивал гимназию уже в пореформенные годы, когда в затхлую обстановку казенных учебных заведений влились новые молодые педагогические силы, воспитанные на статьях Белинского и Чернышевского, Добролюбова и Писарева, отвергавшие устарелую схоластическую педагогическую систему.

Типичным образом нового педагога-разночинца является Чу—ев, преподаватель естественных наук, с которым судьба столкнула Златовратского. Молодой и талантливый педагог, враждебно настроенный ко всем приемам «старой педагогической системы», сразу устанавливает со своими учениками товарищеские отношения, основанные на взаимном уважении, требует от них серьезного и самостоятельного осмысления предмета, воспитывает их в духе материалистической философии. Он близко сходится с юношей Златовратским, принимает участие в его судьбе, укрепляет и утверждает в нем семена того демократического мировоззрения, которое было заложено в его сознании семьей и окружавшей его средой.

На большом жизненном материале утверждает писатель прогрессивность и демократичность разночинной интеллигенции, которая в шестидесятые годы была единственной силой, защищавшей интересы всей нации в целом, и вступала в бой и с косным феодальным порядком и с бюрократическим аппаратом самодержавной России. В его книге, в силу ограниченного мировоззрения автора, не отражена революционная сторона деятельности шестидесятников, их участие в подготовке крестьянских восстаний, их попытки воодушевить и поднять массы на решительную борьбу с царизмом. Но ему удалось

показать благородный облик разночинца-просветителя во всем его величии и будничном героизме.

В первое отдельное издание книги своих воспоминаний автор включил также и цикл автобиографических рассказов «Как это было», опубликованный полностью в 1890 году в журнале «Русская мысль». На это у него были серьезные основания, ибо обе книги посвящены одной эпохе и одной теме «крестьянского освобождения», обе написаны на материале детских и юношеских воспоминаний, а такие рассказы, как «В старом доме» и «Канун великого праздника», близко перекликаются с главами воспоминаний и дополняют их.

В своей книге «Детские и юные годы» Златовратский почти не останавливается на том, что в эти роковые времена происходило в крестьянской среде, какие думы там зрели, какие чувства там пробуждались. Лишь эпизоды на кухне кухарки Дарьи, куда съезжались деревенские ходоки, посланные миром, чтобы выведать у нее, работающей в доме чиновника, имеющего прямое отношение к крестьянскому вопросу, что-нибудь о «воле», заставляют догадываться, что «раб» не был равнодушен к своей грядущей судьбе. «Рассказы о детях освобождения» повествуют главным образом о деревенском люде, его тревогах и надеждах, его настроениях и думах в дни «кануна великого праздника». Златовратский верно уловил, что в сознании народа произошла значительная перемена, что происходит какое-то брожение, то здесь, то там прорывается возмущение, растет жажда обновления всей жизни на началах равенства и справедливости. Он верно подметил, что известия о предстоящей воле взбудоражили деревню и в то же время выявилось огромное недоверие мужика к «верхам», опасение, что̀ они его предадут.

С большой теплотой и любовью создает он образы мужицких правдоискателей: слепой Фимушки с ее чистым и любящим сердцем, открытым для всех обиженных, горбатой Потани, мечтающей о некоем вертограде — царстве правды и равенства, Аннушки с ее жертвенной любовью ко всем страждущим, странника Филимона, бродяги Александра и др. Но этим героям его рассказов чужд мятежный дух, воля к борьбе. Присущее крестьянству стихийное чувство протеста истолковано в автобиографических рассказах Златовратского в религиозно-мистическом духе. В «Рассказах о детях освобождения» писателю не удалось передать те революционные мысли, которые «не могли не бродить в головах крепостных крестьян» *. Здесь еще больше сказались границы, которые перед авто-

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.

ром поставила его народническая система взглядов. Народники, признавая революционность демократической интеллигенции, отрицали революционность крестьянских масс, воспитанных якобы в духе мирской общности. Златовратский, характеризуя ситуацию шестидесятых годов, писал, что это настроение было менее всего воинствующим «против собственности», это было в полном смысле желание умиротворения, «умирения», упорядочения жизни. Он протестует против тех, кто романтическое настроение в народе тотчас отождествил с воинствующим походом масс против собственности *.

Ограниченный своей народнической доктриной, писатель оказался не в состоянии показать таящиеся в недрах народа могучие революционные силы, которые в изображаемые им годы прорывались в крестьянских восстаниях и бунтах, внезапных взрывах яростного протеста и глухого подземного гула.

Значение этих рассказов, написанных в несколько архаичной манере, в проникновении во внутренний мир простого деревенского человека, в уважении к нему и сочувствии. Они дают ясное представление и о том, что мужик начинает выходить из состояния дремоты, что в нем назревает потребность в земном «вертограде». Эти рассказы написаны настоящим художником и продолжают лучшие демократические традиции русской литературы, которая всегда с большим сочувствием изображала русского крестьянина.

* * *

Литературные воспоминания Златовратского о его встречах с целым рядом выдающихся русских писателей, опубликованные им в середине девяностых годов в нескольких специальных сборниках, принадлежат к наиболее забытому разделу творческого наследия писателя. А между тем в них в живой и увлекательной форме запечатлены образы больших мастеров художественного слова, рассказываются любопытные, не безразличные для истории литературы эпизоды идейно-общественной борьбы.

Среди публикуемых нами литературных воспоминаний выделяется очерк о писателе А. И. Левитове. С Левитовым Златовратский был связан узами дружбы, которая прекратилась только со смертью автора «Степных очерков». Ему был очень дорог этот талантливый человек с такой необыкновенно отзывчивой и беско-

---

* См. Н. Златовратский, Очерки народного настроения, «Русская мысль», 1884, № 1.

рыстной душой и с такой тяжелой судьбой. В жизненной истории писателя, вышедшего из «низов», изведавшего всю муку полуголодного существования «пролетария», Златовратский находил черты, типичные для биографий почти всех литераторов-разночинцев. Поэтому путь, пройденный «страстотерпцем» Левитовым, был как-то ему особенно понятен и близок. По свидетельству Ф. Д. Нефедова, Златовратский даже собирался писать подробную биографию Левитова, для чего собирал материал. Этот замысел ему не удалось осуществить, но он оставил воспоминания, в которых воплощен живой и скорбный облик одной из жертв царского строя. Левитов, пройдя сквозь все страдания и лишения нищего плебея, всем своим сердцем, всем своим существом был привязан к «маленькому человеку» с его «ужасом жизненных неурядиц, заботами и огорчениями». Златовратский рассказывает о том, как Левитов, обличая язвы социального строя, стал «истинным поэтом нашего пролетария, поэтом горя сел, дорог и городов».

Воспоминания о Тургеневе приурочены к эпизоду, имеющему большой историко-литературный интерес. Златовратский рассказывает о встрече писателей-народников с маститым автором прославленных романов. Встреча эта произошла тогда, когда между Тургеневым и писателями народнического направления обнаружились серьезные и принципиальные расхождения. Охлаждение, которое возникло между передовыми кругами русского общества и Тургеневым после появления романа «Отцы и дети», значительно усилилось, когда был напечатан его роман «Дым». Такое отношение к нему со стороны прогрессивной интеллигенции огорчало Тургенева. Еще до своего приезда в 1880 году в Россию Тургенев выражал желание найти путь к «молодой России», ближе познакомиться с сложившейся в России целой группой литераторов народнического направления, занявших уже заметное место в русской литературе, о которой он знал и по печати и по информации Глеба Успенского. С другой стороны, сами народники, приступившие в это время к созданию своего журнала «Русское богатство», стремились привлечь к нему писателя, одно имя которого способствовало бы успеху журнала. Кроме того, обаяние искусства Тургенева, его личности было настолько велико, что молодым писателям хотелось ближе познакомиться с тем, кто в течение почти трех десятилетий являлся властителем их дум. Таким образом, обе стороны пошли на сближение, и на квартире Глеба Успенского, а не К. Сибирякова, как ошибочно пишет Златовратский, состоялось первое свидание великого художника слова с вступающими в литературу молодыми писателями.

Помимо Златовратского, воспоминания об этой и последующей встрече с Тургеневым оставили также и другие участники — С. Н. Кривенко и Н. С. Русанов, оба публицисты либерально-народнического направления. Они вносят некоторые уточнения в рассказ Златовратского. Так, они оба, в отличие от Златовратского, отмечают, что первая встреча на квартире Успенского прошла оживленно и интересно, оставив у участников яркое впечатление. Но и они не избегли того несколько скептического и иронического тона по отношению к Тургеневу, его аристократических манер и привычек, который так чувствуется в очерке Златовратского. Златовратский, с присущей ему наблюдательностью, тонко подмеченными деталями живо и ярко рисует картины встречи, и в его описании ясно чувствуется расстояние, которое было между столь различными по происхождению, воспитанию и образу жизни людьми.

Златовратский рассказал нам всего лишь об одном эпизоде, но рассказал с таким мастерством, что перед читателем во всей своей конкретности оживает образ большого художника, великолепного рассказчика, знатока современной ему российской действительности.

Воспоминания о великом русском сатирике Салтыкове-Щедрине написаны Златовратским с большой любовью и теплотой. Многим он был обязан редактору журнала «Отечественные записки», на страницах которого печатался почти двадцать лет. В одном из своих писем к Салтыкову он признавался: «Вы сами знаете, что даже то немногое, что я успел еще сделать лично, было исполнено только при неослабном участии ко мне редакции «Отечественных записок». Без этого стороннего участия моя деятельность была бы немыслима» *. Щедрин относился с большим вниманием к писателю. Он неоднократно выплачивает ему авансы под ненаписанные еще произведения, убеждает Н. Михайловского, что «Златовратского необходимо печатать. Ему деньги нужны» **. В ответ на просьбу Златовратского он помогает ему устроить издание отдельным сборником его статей о народе. Но в то же время между ними имелись существенные идейные расхождения. Щедрину была абсолютно чужда оппортунистическая программа позднего народничества, реакционная апология старой патриархальной России, общинная романтика. В творчестве Златовратского он ценил преимущественно его критику капитали-

---

* «Литературное наследство», № 13—14, М. 1934, стр. 366.

** Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, ГИХЛ, М. 1938, т. 19, стр. 229.

ческого общества, его трезвое и правдивое освещение положения деревни, процесса расслоения и обострения классовой противоположности среди крестьянской массы. Прочтя его очерк «Красный куст», в котором правдиво запечатлена картина разложения «устоев», Щедрин, обращаясь к Михайловскому, писал: «Читали ли вы фельетон Златовратского? По-моему, это отличная вещь» *.

Но Щедрин резко восставал против явно народнических тенденций в романах и статьях Златовратского, против попыток идеализации феодально-крепостнического уклада, против его романтически приподнятого отношения к народной жизни. Получив последние главы романа «Устои», он прямо высказал автору свое возмущение: «В последних главах вы употребляете язык вообще неудобный, а в отношении к крестьянскому быту даже немыслимый» **. В письме к Г. Елисееву он высказался гораздо резче: «Златовратский городит чушь и, пожалуй, такое что-нибудь даст, что и поместить нельзя. Он теперь кулаков стал восхвалять» ***.

Щедрин, который многие годы своей жизни отдал собиранию вокруг своего журнала всех демократических сил, отрицательно отнесся к затее группы сотрудников «Отечественных записок» выделиться и создать новый самостоятельный орган, такой, как «Русское богатство». Неодобрительно встретив вначале саму идею организации нового журнала, в дальнейшем Щедрин отвергал его из-за чисто народнического направления и иронически называл «водосточной трубой» ****, и еще в таком же роде. Поэтому не прав Златовратский, когда он пытается смягчить отношение Щедрина к журналу и уверить, что «рассказ Гаршина был единственным поводом к возникшему недоразумению», что «между обоими журналами скоро установились благодушные отношения». За «недоразумением с Гаршиным», о котором рассказывает в своих воспоминаниях Златовратский, скрывалось глубокое идейное расхождение между двумя направлениями русской общественной мысли — революционно-демократическим и народническим. Рассказ «Attalea princeps» был отвергнут Щедриным. «В «Attalea princeps» усмотрена аналогия, и поэтому она не пойдет»,— писал брату 29 августа 1879 года Гаршин. Щедрин выступал за действенные, активные, целеустремленные формы общественного протеста. Поэтому в грустной аллегорической истории

* Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, ГИХЛ, М. 1938, т. 19, стр. 183.
** Там же, стр. 276.
*** Там же, стр. 256.
**** Н. Русанов, На родине, 1931, стр. 231.

гибели гордой одинокой пальмы он усмотрел только скептическое недоверие к освободительному движению, неверие в его победу. Народникам же, настроение которым проникнуто произведение Гаршина, было близко и в какой-то мере отвечало их собственным переживаниям, возникшим в годы политической реакции. Поэтому редакция «Русского богатства», не колеблясь, приняла и опубликовала в первом номере своего журнала сказку Гаршина. Жизнь показала, что и Щедрин, истолковавший сказку как проповедь фатализма, и Златовратский, оправдывавший «безнадежное отчаяние хрупкого оранжерейного существа», были неправы и односторонни в своих оценках. В этом произведении талантливого писателя слышался мятежный и протестующий голос против всего затхлого, обыденного, своекорыстного, мешающего расцвету человеческой личности. В этом секрет его успеха среди революционной молодежи.

Нами впервые публикуются воспоминания Златовратского о крупном писателе-народнике А. И. Эртеле. Их знакомство началось еще в молодые годы. На протяжении большого отрезка времени они много общались, их пути то сходились, то расходились, но неизменным было чувство взаимной симпатии и уважения. Вот почему Златовратский, взволнованный известием о смерти своего друга, почувствовал потребность высказать свое отношение к нему, свое мнение о нем как писателе. Воспоминания Златовратского об Эртеле могут быть также названы и опытом его литературной характеристики. Эртель принадлежит к числу недостаточно изученных и исследованных художников, хотя автор «Записок степняка» и столь высоко ценимого Л. Толстым романа «Гарденины», несомненно, заслуживает большего внимания к себе. В этом смысле и факты, приводимые Златовратским об отношении Эртеля к идейным течениям конца прошлого века — толстовству, народничеству, изложение истории его идейных исканий окажутся полезными при изучении творческого пути писателя.

В нашу книгу вошли также воспоминания дяди писателя А. П. Златовратского с комментариями самого Н. Златовратского. Они вполне органичны для книги, в центре которой рассказ об эпохе шестидесятых годов, об одном ее рядовом солдате — А. П. Златовратском. Записками своего дяди Златовратский занялся и подготовил их к печати, руководствуясь чувством огромной признательности и к Добролюбову и к его другу. В одном из вариантов вступления к запискам А. П. Златовратского о Добролюбове он писал: «Имя Н. А. Добролюбова связано некоторыми интимными нитями с самыми светлыми переживаниями моей ранней юности; уже по

одному этому я не могу не преклоняться перед памятью об этом замечательном писателе, почти еще юноше, обладавшем богатством таких духовных сил, что в период всего только четырехлетней деятельности он сумел стать, среди других выдающихся деятелей, во главе руководителей целого ряда последовавших поколений» *.

Перелистывая страницы прошлого, оглядываясь вместе с Златовратским на историю исканий и нравственных испытаний целого поколения русской интеллигенции, читатель этой книги проникнется уважением к тем своим предшественникам, кто шел нелегкой и тернистой дорогой борьбы за счастье народа.

Книга Н. Златовратского переносит нас в обстановку шестидесятых годов, передает напряжение и героику этих далеких дней, убедительно раскрывает ту роль, какую сыграли разночинцы-демократы в становлении русской прогрессивной культуры.

* * *

Нами публикуются в этой книге также отрывки воспоминаний дочери писателя Софьи Николаевны Златовратской, которые в известной степени служат дополнением к тому, что рассказал писатель о себе самом. Сам Златовратский закончил свои воспоминания годами юности, его дочь описывает жизнь отца в зрелые годы, расширяя наше представление о биографии одного из крупных русских писателей.

С. Розанова

---

* ЦГАЛИ, ф. 202, ед. хр. 23.

ДЕТСКИЕ И ЮНЫЕ ГОДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ 1845—64 г.г.

ДЕТСТВО И ПЕРВАЯ ШКОЛА

I

Семейный уклад неизреченного благодушия и религиозно-семинарского романтизма.

Моя родина — один из небольших губернских городов близ Москвы, про который сложилась пословица: «N. городок — Москвы уголок» [1]. Когда-то игравший значительную роль в нашей истории, он ко времени моего рождения представлял собою лишь очень скромный административный центр, населенный исключительно чиновниками всяких рангов да некоторыми дворянскими родами и обслуживавшими их купцами и мещанами-ремесленниками; лишенный всякого промышленного значения, он мог гордиться только своими историческими древностями, по большей части религиозного характера, да вишневыми садами. Вот все, что оставила на его долю восторжествовавшая над ним Москва.

В этих очерках автор имел целью воспроизвести процесс развития мальчика и юноши в известных условиях места и времени. Поэтому упоминаемые в них события и лица воспроизводятся лишь с той стороны и в той мере, как они запечатлелись в душе рассказчика в описываемый период его жизни.— *Н. З.*

Мне говорили, что я родился в 1845 году в семье скромного молодого чиновника, отец и деды которого были духовного звания, а отдаленные прадеды были будто бы крестьяне. Родился я, как мне рассказывали, очень трудно, что матушка мучилась мною трое суток (что, впрочем, вполне естественно объясняется, так как я был первенец), что родовые муки ее достигли такой степени, что все окружающие пришли к решению обратиться к местному приходскому батюшке с просьбой прибегнуть к помощи высшей силы и отворить в церкви царские двери. Повидимому, это было исполнено, и роды совершились благополучно. Дальше говорили, что я родился «в сорочке»; что это за штука, я и до сих пор не могу объяснить себе хорошо, но я помню, что матушка эту «сорочку» хранила всегда в виде сверточка сухой кожицы в маленьком мешочке, показывала мне и говорила, что это моя «сорочка», в которой я родился, что это не со всяким бывает и что рождение в ней принесет мне счастье в жизни.

Затем первое, что у меня осталось в воспоминании из самых ранних детских лет,— это были неутешные слезы матери о потере двух родившихся после меня дочерей, которые, как уверяла меня мать, вскоре одна за другой «были взяты богом на небо». Затем я уже вполне ясно представляю себя в сообществе третьей сестры под неуклонным присмотром матушки и старой прабабки (по дедушке-дьякону), высокой, сухой, необыкновенно подвижной и хлопотливой старушки с сухим лицом, на котором особенно выдавался подбородок в виде табакерки под ее носом. Очевидно, она производила на меня сильное впечатление, так как я представляю ее себе яснее, чем отца и мать в то время. И это понятно: отец был занят службой, мать хворала от частых родов, и «старая бабушка Катерина» являлась, стало быть, единственной деятельной, хлопотливой хранительницей домашнего очага и самой преданной моей нянькой. Прежде всего представляется она мне необыкновенно живым существом, постоянно кого-то защищавшим, кого-то примиряющим (особенно в отношениях моей нервной матери к грубоватой свекрови, а следовательно, между матушкой и отцом). Затем почему-то я всегда воображал

ее «знающей все», даже по книжной части. Впоследствии мне передавали, что, когда она жила в деревне, она славилась как «начетчица» и «подвижница», ее приводили в пример, как необыкновенно сурового стоика, что она могла проводить на молитве целые дни и ночи, питаясь исключительно просфорой в день. Одним словом, о ней ходила легенда. Насколько я помню, я был всегда проникнут необыкновенным к ней уважением, соединенным как бы с некоторым религиозным страхом.

Все это, однако, рисуется мне в очень смутных и неопределенных очертаниях. Еще задолго до поступления моего в гимназию мне вспоминается она сидящей в больших очках и что-то внятно, слово за словом, читающей мне и матушке по какой-то, несомненно, «божественной» книге, а затем она как-то исчезает из моего воспоминания; повидимому, она вскоре умерла, и не в нашем доме. По крайней мере похорон ее я не помню.

Помню, что другим наиболее близким моей душе существом в то время был мой добродушный дед, низенький, худенький старичок, служивший дьяконом в церкви при одном историческом здании. Может быть потому, что я у него был первый «внучок», он ходил очень часто забавляться со мною в наш маленький домик на окраине города, игравший в моей дальнейшей судьбе такую видную роль.

Следующим затем наиболее ярким фактом, оставшимся в моем сознании, было появление в нашем доме семинаристов. Первым нахлебником, принятым к нам, был дядя Сергей (по матери), которого я в то время представляю себе не иначе как в виде необыкновенно длинной, сутуловатой фигуры с смуглым лицом и темными волосами, мало разговорчивой, несколько даже суровой, ходившей еще в длинном синем халате на манер подрясника (в такой «форме» семинаристы ходили еще в то время и в классы). Все его значение для меня в первое время ограничивалось пока, с одной стороны, клеением для меня, да столь же, пожалуй, и для себя, разнообразных змеев, и иногда необыкновенно больших, запускавшихся даже с горящими фонарями, и игранием в городки и бабки (все это производил он с необыкновенной серьезностью), с другой стороны — тем сильным

впечатлением, которое производила на меня полка в его очень маленькой комнатке (называвшейся «семинарской»), которая с каждым годом все больше и больше пополнялась стопками тетрадок, заключавших в себе так называемые «задачки» (классные сочинения); к этим «задачкам», написанным на разнообразные риторические (он был тогда еще в классе риторики), а затем и философско-богословские темы, я впоследствии относился не иначе как с величайшим уважением, хотя я в них, конечно, и не заглядывал еще тогда.

В то время я только что приступал к учению грамоте. По тогдашнему обычаю, матушка вместе с прабабкой купили азбуку и указку и вместе со мною пошли в церковь отслужить молебен пророку Науму («пророк божий Наум, наставь младенца на ум» — молились тогда); по возвращении, всё с молитвой, сдали меня буквально с рук на руки (так как мне было тогда не больше 6—7 лет) учителю, такому же высокому, черноватому и мрачноватому семинаристу, как и мой дядя, который уже ожидал нашего прихода из церкви.

Мой первый учитель, несмотря на его суровый вид и на то, что он был уже «философ» (по семинарии), был очень добродушный человек. Надо полагать, что я в то время был живой и шаловливый мальчик, так как помню, что, прежде чем начать со мной урок, мой учитель должен был предварительно разыскать меня или в саду, или на улице и затем уже с разными ласковыми уговорами нести на руках домой и усадить за азбуку. Кроме впечатления этого неизреченного благодушия, в моих воспоминаниях не осталось ничего более определенного о моем первом учителе. Но, может быть, для того периода моего детства и это было уже большим преимуществом, когда припомнишь, в каких еще невероятно грубейших формах шло в то время воспитание и самого моего учителя и моих сверстников из окружавших нас соседей. Мне уже тогда приходилось от этих сверстников узнавать, как горько многим из них давалась грамота, постоянно сопровождавшаяся драньем вихров, битьем линейкой, грубыми окриками и пороньем розгами и крапивой как со стороны учителей, так и со стороны самих родителей.

В нашем доме благодаря ли случайности, или особому укладу нашей семьи царила в этом отношении несколько иная атмосфера, благодушная в общем и лишь от времени до времени прерывавшаяся какими-то необыкновенно нервными вспышками, когда и отец и мать преисполнялись совершенно необъяснимым озлоблением к себе самим, друг к другу и к окружающим и устраивали в своем доме на некоторое, впрочем очень непродолжительное, время настоящий ад. Эти периоды, конечно, производили и на меня очень удручающее впечатление, так как и мне в то время приходилось испытывать очень чувствительное «внушение» по таким поводам, за которые при обычном режиме нашей жизни никогда этого не полагалось. А общий режим этой жизни в нашей семье в то время складывался из двух основных элементов — из неизреченного благодушия и религиозности.

Религиозный культ, насколько я могу запомнить, с самых первых дней моей жизни играл довольно большую роль в нашем домашнем укладе. Несмотря на то, что мать и отец были еще очень молоды, но уже и в то время исполнение всяких церковных обрядностей считалось ими почти обязательным, и это особенно со стороны матери; отец же относился к такому религиозному ригоризму * далеко не с таким рвением, и если не протестовал против него, то исключительно благодаря нежеланию раздражать нервную натуру матери; но для матери религиозные обрядности составляли действительно настоящий культ. Для нее это не было чем-то только внешним, формальным — это было целое обширное мировоззрение, которое охватывало одною общею гармоническою системой все проявления человеческой души; в ней заключался ответ и на самые сложные запросы жизни и на самые возвышенные задачи нравственности и находилось удовлетворение всем эстетическим потребностям в жизни. Это был поистине какой-то религиозный романтизм, который в дальнейшем своем течении, при увеличивающихся тягостях жизни, принимал характер средневекового аскетического формализма, такого же иногда сурового и нетерпимого. В первые мои мла-

* Чрезмерной строгости в исполнении церковных обрядов.

денческие годы я не помню суровость этого режима; в этом культе как для матери, так и для меня все еще было полно чего-то возвышенного, таинственного и поэтического.

Да и действительно при необыкновенной духовной скудости окружавшей нас жизни скучного городка, представлявшего лишь исключительно административный центр, при крайней низменности духовных запросов, которыми жило окружающее нас чиновничество и мещанство, такой поэтически-религиозный культ вряд ли не являлся единственным идеальным началом жизни, в котором могли находить удовлетворение наиболее чуткие натуры.

А насколько были грубы и неприхотливы еще формы и требования окружающей жизни, можно судить по тому, что, например, мои воспитатели-«философы», как дядя и учитель, несмотря на разработку головоломных философских тем в своих «задачках», которыми они славились по всей семинарии, принимали участие в больших кулачных боях, происходивших почти вблизи нашего дома между семинаристами и мещанами; или в том, например, что моя матушка, несмотря на возвышенность своего религиозно-эстетического культа, вряд ли не снисходительнее относилась к этим боям, чем к разным комедиантам (волтижорам* и гимнастам) и актерам, изредка наезжавшим в наш город. Как я помню, в смысле «светских» удовольствий единственно допускались лишь духовные и семинарские песни (из романтического репертуара 30-х годов) под аккомпанемент гуслей и гитары, но и то ни в каком случае не накануне праздников. Зато этим поэтическим наслаждениям отдавались со всею душой, и даже матушка, которая особенно любила песни романтического и религиозного содержания. Она с особенною любовью вспоминала о своем старшем брате, которого я никогда не видывал, кончившего курс в каком-то высшем учебном заведении в Питере и поступившем там же на службу, но скоро умершем. Особенно, по ее словам, он любил поэзию такого рода и даже сочинил целую книжку таких стихотворений.

---

* канатным плясунам (от французского — voltigeur).

К области этих поэтически-религиозных удовольствий (так как именно с этой стороны они для меня особенно памятны) должно отнести и особую страсть моей матушки к хорошим живописным иконам, украшенным особенно изящными ризами. Эта любовь развилась в ней до болезненности, для удовлетворения которой она не останавливалась перед самыми рискованными займами, иногда ставившими нашу семью в довольно критическое положение.

Этим романтически-религиозным настроением матушки надо объяснить главным образом и то, что я уже с самых ранних лет помню, что наш дом и преимущественно кухня служили всегда обиталищем для бедного деревенского люда, приходившего на богомолье и вместе по разным делам, касавшимся их нужд, относительно которых они хотели знать «правду» или по крайней мере пути к ней. Здесь по вечерам, большею частью в присутствии нас, детей, велись прабабкой и матушкой бесконечные беседы с этими случайными гостями на житейские и религиозные темы, выслушивались их жалобы на тяготы тогдашней жизни, слушались рассказы о далеких странствованиях по святым местам. Случались, конечно, среди них обманщики или жалкие попрошайки и пропойцы, но все же это были исключения; в большинстве же случаев это были или глубоко страдавшие люди от житейских тягот, искавшие в религиозных странствованиях утешения, излечения и забвения своих страданий, или же это были настоящие народные «романтики» — стихийная народная интеллигенция, душа которых не удовлетворялась мелочной сутолокой жизни, которых постоянно тянуло на волю, на простор, к духовному общению с людьми необъятного божьего мира, в котором они искали ответов на беспокойные запросы своего духа и расширения своего умственного кругозора.

Прибавлю еще к этому, что иногда и сам отец в праздники, когда был особенно благодушно настроен, любил собирать около себя всех чад и домочадцев и прочитывать что-нибудь из библийской или евангельской истории. Таковы были впечатления моей семейной и домашней обстановки в самые ранние мои годы.

К ним нужно прибавить и те, которые остались для

меня неразрывно связанными с воспоминаниями о моих дедах. Более часто, конечно, ходил я к деду-дьякону, имевшему в городе маленький дом с большим вишневым садом. Я очень любил проводить в этом саду целые дни, весело болтая с своим добрым старым дедом, который любил подвыпить, отчего его природному благодушию не было конца. Так как сама бабка далеко не отличалась таким благодушием как относительно деда, так и меня, то мы с особенным удовольствием удалялись с дедом в чащу сада. Но особенно остался мне памятен этот сад по тем весенним вечерам, когда собирались здесь с товарищами под вишневыми кущами мои молодые дядья, в то время семинаристы, а впоследствии студенты, которые весело делились здесь своими впечатлениями и особенно хорошо пели хором, в чем принимал участие с особенным удовольствием и сам дед.

Не меньшее удовольствие доставляли мне поездки раза два в год к другому моему деду, по матери, бывшему священником в соседнем уездном городке. Если эти поездки были летние, сюда также собиралась семинарская и студенческая молодежь. Вместе с нею я ездил и по соседним селам к родственникам из духовенства, где время всегда проводилось так благодушно и весело, как это умеет делать самая зеленая молодость. Мне особенно помнится, что на меня сильное впечатление производила сельская природа, особенно на берегах Оки, и вообще вся сельская обстановка, которая в то время показывалась мне, очевидно, с наиболее светлой стороны.

Меня, маленького городского обывателя, жившего в то время все же очень замкнутой жизнью, поражала деревня прежде всего своей поэтически-праздничной стороной, широким привольем полей, лесов и рек и благодушием своего обывателя, которое в этом случае совпадало с укладом нашей семьи.

Таким представляется мне мое самое раннее детство, насколько я могу припомнить, не омраченное ни одним особенно грустным и тяжелым воспоминанием из моей личной жизни. Это было детство, быть может, исключительно счастливое для того «доброго старого времени», когда сама религия являлась часто прикрытием грубых инстинктов и дикого произвола и деспотизма.

II

*Первое знакомство с нравами гимназической бурсы.— Перлы и адаманты * дореформенной системы воспитания.— Наш Аргус ** и поэтический секатор.*

Когда мне пошел десятый год, в моей маленькой жизни совершился важный перелом: мне был сшит, к моему великому удовольствию, невероятно блестящий, но и крайне несуразный гимназический мундир николаевских времен, который мы называли «спереди кофта, а сзади фрак», с громадным, тугим, стоячим, шитым золотым позументом воротником, который держал все тело в самом неестественном положении; тем не менее он меня приводил в самое восторженное настроение. И уже с ним вместе тотчас же явилась мысль о «генеральстве», так как я не мог устоять против искушения похвалиться им перед своими уличными сверстниками. Увы, однако, не сделал этот мундир меня генералом, но зато стоил моей душе всяческих испытаний. Прежде всего с этим мундиром я выходил из своей хотя и благодушно-поэтической, но замкнутой обстановки в широкую сферу очень разнообразного товарищества, во-первых, и в крайне дикий, неестественный уклад жизни, во-вторых,— уклад, не имевший почти ничего общего с тем, что было пережито мною раньше,— это была бурсацкая система воспитания, одинаково царившая в то время как в гимназии, так и семинарии.

В первое время гимназия как будто взглянула на меня еще весело и любовно. По крайней мере в первый год я не помню еще ничего такого, что бы особенно резко сказалось на мне. И директор, и инспектор, и учителя — все мне представлялись еще такими же добрыми и благодушными, как мои отец и мать, и это было на первый раз понятно, так как многие из них были такие же благодушные отцы своих детей до тех пор, пока не вступала в силу «система» и они, сами робкие, не имевшие и не

---

* Алмазы, бриллианты (adamas — *греч.*).

** Неусыпный, зоркий страж. Имя стоглавого стража из греч. мифологии.

смевшие иметь никаких собственных мнений, делались покорными и жестокими ее рабами. Однакоже хотя я, по-видимому, и не ощущал еще в первое время особой разницы в моем положении, но уже яд школярства, возросший в условиях этой «системы» и отравлявший все юное и свежее, что было ей подчинено, невидимо впитывался в мою кровь.

Прежде всего сухой, безжизненный формализм убил во мне непосредственную поэзию религиозного чувства,— и для меня сделалось бессмысленным бременем то, к чему прежде я относился так легко и свободно. Во-вторых, с первых же шагов та любознательность, которая поддерживалась во мне чтением с отцом и дядями «Живописного обозрения» и других подобных книг, была сразу убита и запугана совершенно бессмысленными приемами, с которыми велось преподавание с самых младших классов. Совершенно непостижимые для детского ума математические и грамматические формулы и определения, не объясняемые и не освещаемые ни единым живым человеческим словом, ложились на мой ум тяжелым свинцом и уже ко второму классу сделались для меня почти невыносимыми и противными. Было достойно удивления, каким образом некоторые из учителей этих предметов, люди добрые, мягкие и хорошие, могли так бессмысленно преподавать свой предмет и мучить нас, подвергая многих жестоким наказаниям. Я, конечно, не мог разрешить это противоречие в то время, но разрешить эту дилемму практически, как всегда и везде бывало и бывает в этих случаях, помогло товарищество, уже выработавшее опытным путем целую собственную систему в противовес педагогической. И это была, конечно, прежде всего система лжи, изворотливости, недоверия и вражды ко всему, что соединялось с представлением о науке и воспитании, и меня медленно и незаметно охватывала эта атмосфера и все глубже и глубже захватывала в себя, чем ближе я знакомился с товарищами тогдашней школы. Едва я перешел во второй класс, как уже почувствовал, что начальническая система сразу заняла неприятельскую позицию относительно своих воспитанников. Может быть, именно потому, что сами добродушные педагоги по собственному опыту знали, что с этих пор начинает уже открывать свои



Мать Н. Н. Златовратского М. Я. Златовратская

враждебные действия противу их науки другая, неприятельская сторона. «Великие» принципы педагогии требовали, конечно, неукоснительного истребления этого зла. И вот почти уже с 10 лет я вижу себя в храме науки между двумя воюющими сторонами, не останавливающимися ни перед какими средствами ко взаимному уязвлению друг друга.

Я особенно хорошо помню одно обстоятельство, которое самым грубым и жестоким образом сразу ввело меня в мир таких отношений, о которых я раньше не имел никакого представления. Учителем немецкого языка был у нас один благодушный, но довольно грубый немец, приходивший в класс вечно подвыпившим, с красной, лоснящей физиономией, с умильными влажными глазками. Когда он был особенно, что называется, «ударивши», его появление в классе всегда сопровождалось шумной сенсацией. Наиболее проницательные школяры, уже вперед определявшие, в каком состоянии был немец, заранее подготовляли какую-нибудь каверзную штуку: или подламывали у стула ножку, или втыкали в сиденье булавки и иголки, или что-нибудь в этом роде. Едва только в дверях появлялось широкое, расплывающееся лицо немца, как в классе поднимался невообразимый шум, все гоготало, свистало, кричало немцу какие-то двусмысленные шутки и «ура!», а он долго и бессмысленно улыбался, прежде чем успевал прийти в себя. Наконец, его торжественно вели под руку к кафедре, сажали на кресло и быстро все удалялись к партам. Дальнейший эффект не заставлял долго ждать,— немец или вскакивал, как ужаленный, или же летел со стула. Тогда почтенный педагог сразу свирепел и, смотря по настроению, или бежал жаловаться директору, или же начинал ругаться самым злобным языком, драться линейками и книгами по головам и беспощадно ставить единицы тем, кого он особенно недолюбливал.

Я почему-то тоже не пользовался его расположением, и он часто за одну-две ошибки гнал меня от стола и, не спрашивая и не принимая никаких оправданий, ставил единицу или двойку. Так же он делал и с некоторыми другими моими товарищами, между тем как некоторые пользовались с его стороны совершенно непонятным для

нас снисхождением. Впоследствии этот секрет разъяснился для нас довольно легко. Благодушный немец как ни был глуповат, однако хорошо усвоил *тогдашнюю* систему благовидных доходов. Под видом вечерних репетиций и уроков на дому, на которых никто никогда ничему, кажется, не выучивался, он получал с родителей неуспевающих учеников довольно обильную дань. Мой отец не мог или не хотел долго понять эту систему, и потому и был я, повидимому, записан немцем в число безнадежных по усвоению его науки. Кстати сказать, преподавал он самым варварским образом, заставляя зубрить бессмысленно целиком страницы ни к чему не нужных стихов или грамматических правил, без всяких объяснений. Я за свое время не помню ни одного ученика из гимназии, который хотя бы что-нибудь усвоил по этому предмету, если сам не был немец или не учился в семье у гувернера-немца.

Как и следовало ожидать, после таких потех над немцем (в которых, кстати сказать, я не принимал никакого участия, так как был вообще робкий, застенчивый и совершенно неумелый в этого рода проказах мальчуган), он беспощадно ставил «колы», как выводной балл за целую неделю, преимущественно нам, не пользовавшимся его расположением. Я уже знал в то время отчасти, какие результаты должны последовать за такие недельные отметки, знал как-то более отвлеченно, чем конкретно, но пришло время познакомиться с этим вплотную.

Наступила одна из «страшных суббот»: среди воспитанников, главным образом старших классов, начинались тихие, сосредоточенные переговоры насчет «спальни» (при нашей гимназии был дворянский пансион), высчитывали путем разных каббалистических соображений, кого нынче повлекут в эту пресловутую спальню, и все с особым нервным напряжением,— кто помоложе — со страхом и замиранием сердца, кто постарше — большею частью с циническим притворным ухарством,— ожидали появления из советской комнаты страшного Аргуса нашей гимназии, зверообразного и почти неподкупного бурсака, старшего надзирателя, с недельной ведомостью в руках. С этой ведомостью медленно и торжественно обходил он классы, начиная со старшего, и низким, замогильным деревянным голосом выкликал свои несчастные

жертвы, приотворив дверь класса, несмотря на присутствие учителя в классе, и без спроса прерывая урок. Выкликаемые один за другим выходили из классов, смущенные, с краской стыда на лице, с трепещущим сердцем и с чувством какого-то тайного, мало сознаваемого омерзения в глубине души, иногда сопровождаемые снисходительно-ядовитыми улыбками некоторых учителей. Наконец, около младших классов Аргус так же спокойно, равнодушно и методично устанавливал отмеченных в шеренгу и маршем по длинному коридору направлял ее в знаменитую спальню. Пока еще оставалось пройти до спальни это пространство, некоторые, особенно новички-мальчуганы, в сильном нервном волнении, с умоляющими взглядами, со слезами на глазах, дрожа, хватали надзирателя за рукав и напряженно шептали: «Иван Лукич, отпустите! Голубчик! Простите! Вычеркните хоть только теперь!.. Добрый! Голубчик!..» — и некоторые падали на колени. Но Аргус был холоден как лед, и шеренга продолжала направляться к цели.

В этой церемонии пришлось принять участие и мне в первый раз в моей жизни. Конечно, трудно представить теперь эти ощущения, которые испытал я во время появления Аргуса и в тот момент, когда он выкликал мое имя, но я все же и теперь ясно вспоминаю, что основным ощущением, охватившим меня тогда, было чувство глубочайшего стыда; перед кем, перед чем, за что — я решительно не знал. Но это чувство снедало меня до болезненности и во время всей этой процедуры и долго-долго после.

Я вступил вместе с другими своими сверстниками в общую шеренгу и замаршировал вместе с ними. Я помню, что я не просил и не молил ни о чем Аргуса, но мое лицо горело, и я вместе с чувством стыда испытывал необъяснимый страх перед чем-то мерзким и страшным, о чем я не имел никакого конкретного представления. В семье я не подвергался никаким телесным наказаниям. Если, и то чрезвычайно редко, меня хлопала раздраженная матушка маленьким прутом из веника, то, конечно, сопоставление этого прутика с тем, что совершалось передо мною теперь, могло быть только очень комично. А самая инквизиторская церемония? Разве она одна не была уже целою трагедией в нашей детской жизни?

Двери знаменитой спальни отворились настежь. Это была громадная, длинная комната с тройным рядом железных кроватей в глубине ее, с большим круглым бассейком для умывальника на переднем плане, около которого стояли теперь трое сторожей в обычных мундирах отставных солдат, с пучками розог в руках.

— Смотри, Захарченко тут,— сказал мне шепотом один мальчуган, толкая меня локтем и показывая на переднего солдата с худым, обыкновенно добродушным, но теперь сердито-серьезным лицом.

У меня как будто что-то отлегло от сердца, и луч какой-то совершенно неопределенной надежды мелькнул в моем воспаленном мозгу. Захарченко был тот солдат, о котором среди учеников упорно держалось мнение, что это был единственный из секачей, который необыкновенно ловко умел проводить начальство, показывая вид, что он с зверским усердием сечет свою жертву, даже вызывая для всех очевидные полосы и в то же время не принося никакой существенной боли своим жертвам. Говорили, что он особенно был жалостлив к малышам.

Не успела еще наша шеренга выстроиться в настоящем порядке вдоль пустого пространства между солдатами с кучею розог и умывальником, как из глубины спальни появилась внушительная и характерная фигура нашего инспектора. Это был человек среднего роста, очень толстый, заплывший жиром, с большой головой, с падавшими до плеч волосами, с крупными чертами лица, с большим животом и с короткими ногами. Ходил он в очень широком форменном светлосинем сюртуке, в широчайших таких же штанах, с неизменной серебряной табакеркой в руке, из которой он постоянно таскал толстыми жирными пальцами табак к такому же жирному носу, обильно усыпая свой живот. Это был ученый классик, умный человек, как говорили о нем у нас в городе, в то время погруженный в поэтический перевод поэмы «Магабгарата» [2]. Может быть, благодаря именно этой поэтической настроенности на его лице постоянно сияло надменно-невозмутимое выражение с печатью легкой думы на челе и как бы благоволения ко всем. Величественно покачиваясь, он словно плыл к нам, и на его лице было

выражение такого довольства, как будто ему предстояло чрезвычайно приятное зрелище.

— Ну, «судари-котики»! (это его любимое выражение) — сказал он нам, малышам, трепля нас почти ласково толстыми табачными пальцами за щеки (эти пальцы мне казались всегда необыкновенно противными).— Ну, судари-котики, боитесь? Новички? Ага, ага! Надо знать, судари-котики, все на свете. Это ничего! Это хорошо!.. Надо знать, судари-котики, все на свете! Вот мы и начинаем с наших молодцов-то, опытных уже, а вы посмотрите... это хорошо вам для памяти... Амосов! — крикнул он.— Ну, сударь-котик, ложись!

И вот началось что-то дикое, бессмысленное, возмутительное. Амосов, великовозрастный детина-пансионер, бривший чуть не каждый день бороду, высокий и худой, с развязными манерами, ухарски всем улыбнулся, быстро расстегнул курточку и как-то пластом шлепнулся на пол вдоль шеренги.

— Начинай! — крикнул инспектор.

Розги свистнули с двух сторон.

— Раз, сударь-котик! два! три! — считал инспектор.

Молодое тело начинало извиваться. Раздались выкрики. После ударов двадцати Амосов уже кричал:

— Будет! Почему сверх счета?

— Как сверх счета? Почему, сударь-котик, сверх счета? А вот, сударь-котик, мы теперь тебе погорячее...

И к ужасу своему я увидал, как жирные пальцы инспектора опустились в табакерку и, вытащив оттуда большую щепоть табаку, он стал посыпать им голое, покрытое рубцами тело своей жертвы. Затем я уже решительно не помню, как продолжалась дальнейшая процедура, вплоть до того, когда я услыхал свою фамилию. Дрожащий, с растерянным взглядом, я весь заволновался и куда-то заторопился, как будто мне хотелось скорее, как можно скорее совершить ужасно мерзостное дело. Я уже не думал в это время ни об инспекторе, ни о Захарченко. Быстро спустив штанишки, я лег на холодный пол... и через несколько минут вдруг стремительно вскочил и бросился вон из спальни, спешно на ходу натягивая брюки. Я слышал только, как вслед мне раздавался громкий хохот инспектора, которому что-то доставило очень

большое удовольствие. Заразил ли и меня этот хохот, но я, выбежав в коридор, тоже засмеялся нервно, истерически, сквозь слезы, и в то же время я почувствовал страшный стыд, когда мимо меня прошел какой-то солдат. Когда же я в начавшуюся вскоре перемену встретился со своими товарищами, я уже спокойно смеялся и ухарски говорил:

— Это пустяки все!

— Разве ничего? — спрашивали меня малыши.— Кто тебя сек?

— Захарченко!

— А...

Но я скрыл, что мне дали всего три розги, что мне действительно нисколько не было больно, что инспектор все это проделал надо мною на первый раз только ради острастки и что ему доставило необыкновенное удовольствие насладиться одним лишь моим страхом и стыдом.

И с этой минуты сколько отвратительных впечатлений оставило след на моей душе, осквернив ее детскую непосредственность!.. К описанной секаторской церемонии я привлекался единственный, последний и первый раз, и между тем я не мог забыть всего этого позора всю свою жизнь. Для меня неясным остается до сих пор, почему я больше не подвергался экзекуции, хотя вся прежняя педагогическая система продолжала еще процветать в полной силе по крайней мере три или четыре года, а на самом мне эта экзекуция не только не отразилась в форме какого-либо «исправления» в педагогическом смысле, но, напротив, школярство все больше и больше захватывало меня, и я все больше примыкал к враждующей стороне, все больше терял интерес к сухой и мертвой школьной науке и учился все хуже. Единственным моим стремлением в это время, как и громадного большинства моих товарищей, было изыскание всевозможных средств к тому, чтобы формальным образом отделаться от своих школьных обязанностей. Средства эти, как, вероятно, известно всем учившимся в подобных заведениях, чрезвычайно разнообразны; на изобретение их тратится масса юных духовных сил, а в основе лежат ложь, обман и недоверие, и при этом почти никогда ни капли стыда, ни малейших укоров совести. Таковы всем известные блестящие результаты «системы», таковы они были для меня и, может

быть, в большинстве случаев остаются для многих до сих пор! Удивительно прочна и устойчива эта мудрая «система», и между тем в создании ее и поддержании участвуют не какие-нибудь дикари, а самые патентованные мудрецы государства.

Не могу здесь не привести одного, ничтожного самого по себе, факта, но, как мне думается, характерного в психологическом смысле. В первом же году поступления моего в гимназию к нам в семью был взят маленький нахлебник, мой ровесник и одноклассник, некто П., анемичный, золотушный мальчик из какой-то полуразорившейся помещичьей семьи, вялый и малоразвитый физически, но изворотливый и способный на разные тайные выдумки, в которые он меня и посвящал секретно. Пойдем ли мы в городские ряды, он остановит меня перед какой-нибудь соблазнительной игрушкой и, за неимением средств приобрести ее, начнет развивать передо мною различные нелегальные способы к ее приобретению. Помню, однажды такою соблазнительною вещью явилась для меня деревянная пушка. Не один день уже мы присматривались к ней, и немало способов придумывал П., чтобы ее приобрести. Почему-то в данном случае я не мог рассчитывать, чтобы родители дали мне денег на ее покупку, хотя они сами часто баловали меня и не скупились покупать мне игрушки. Наконец, П. посоветовал мне утащить тихонько у отца из кармана деньги, конечно мелкие, которые он нередко оставлял там. П. очень обстоятельно изложил мне весь процесс похищения и сокрытия всяких следов, так что не оставалось сомнения, что дело могло кончиться вполне благополучно. Как теперь помню, что за жуткое чувство испытывал я вообще в то время, пока П. развивал передо мною свой план. Несколько раз щеки мои вспыхивали заревом, на сердце что-то щемило, и я никак не решался. Проходил день — опять те же планы, те же горькие ощущения! Наконец, соблазн превозмог, я подошел к жилетке отца, запустил пальцы в карман, но тотчас же вытащил их, как обожженные, и убежал. И вот снова началась пытка. Наконец, я решился окончательно: серебряные монеты были взяты, и мы бросились с П. в лавку. Пушка была куплена, П. с величайшим удовольствием стрелял из нее, я любовался, но —

увы! — все наслаждение от покупки было для меня чем-то совершенно отравлено. Я уже говорил, что ни отец, ни мать меня никогда не наказывали, а между тем меня снедало такое жуткое чувство страха и стыда, что я помню о нем до сих пор. Откуда это напряженное чувство? Чем и кем оно было выращено в моей маленькой душе? Я и теперь затрудняюсь дать на это определенный ответ. Я хочу здесь указать только на ту почву, на которой мудрой «системе» предлагалось сеять свои семена. И вот не прошло двух лет, как эта мудрая «система» сумела эту девственную почву если не извратить совсем, то надолго превратить в пустырь, засеянный всяким бурьяном.

Замечательно, что эта мудрая «система» проявлялась в двух направлениях: она не только истязала и увечила наши маленькие души, но она также увечила и самих мудрецов. Большинство из них были такие же благодушные отцы семейств, как и наши, и в то же время совершенно спокойно смотрели на то, что производилось их же собственными руками, и чинили всяческие издевательства над маленькою личностью, хотя бы это были их собственные дети, нисколько не смущаясь теми результатами, какие от этого получались. «Система» заглушала в них всякое непосредственное чувство, всякое мало-мальски критическое отношение к тому, что делалось вокруг них и что проделывали они сами. Поразительно, что даже самые юные из педагогов являлись к нам уже совершенно «готовыми», а мы встречали их, конечно, с инстинктивной надеждой, что они принесут нам что-нибудь новое, освежающее и очищающее. Я помню, какое ожидание возбудили в нас два молодых педагога, учитель математики и учитель естественной истории. По тому серьезному виду, с каким они к нам явились, по тем как будто новым, более интересным приемам преподавания они как будто действительно подавали на что-то надежды, а между тем в скором времени юный натуралист жестоко отодрал за уши и за вихры первого провинившегося из нас, а математик выступил так угрожающе и сурово, как будто мы давно уже были самыми заядлыми его врагами: наставив беспощадно целому полклассу единиц, он со спокойной совестью смотрел, как после эту толпу «единичников» наш Аргус церемониальным маршем водил на экзекуцию.

И вот мне пришлось быть свидетелем необыкновенно странного явления: едва только после Крымской войны [3] повеяло новым духом, едва только чуть-чуть начала рассеиваться окружающая всех мгла, как вдруг громадное большинство наших благодушных мудрецов чудодейственно и даже как-то радостно изменилось. Вдруг они как будто что-то поняли, как будто чего-то устыдились или, лучше сказать, как будто сами воспомнили, что и у них на душе когда-то хранилось что-то хорошее, возвышенное, что когда-то само протестовало против тех ужасов, орудием которых они явились впоследствии. Конечно, чудеса эти были не ахти какие большие; конечно, не могли люди, застаревшие в своих привычках, измениться сразу во всем, но тем не менее превращение было поразительное: экзекуции исчезли почти радикально, и, повидимому, даже Аргус с певцом «Наля и Дамаянти» [4] если и огорчились этим сначала, то скоро утешились тем, что еще осталось немало других способов, которыми можно при благоприятных случаях донимать маленького человечка. Что касается других мудрецов, то даже старики вдруг засуетились, как будто только теперь узнали, что наука, как и все, движется вперед, что, кроме тех заскорузлых книжек, которые они учили когда-то, появились и появляются другие, более свежие, живые и интересные,— и вот они принялись их наскоро читать и даже с какой-то наивною радостью снизошли до того, что стали делиться этими открытиями и с нами. Новый дух освежительной струей повеял и на нас. Но это было еще впереди, а пока громадное большинство из нас жило в атмосфере удручающего формализма.

III

Антиморальное влияние бурсы.— Педагог парикмахерского типа.— Патриархальные и педагогически-сыщнические типы.— Пугало «системы».

С каждым годом своего пребывания в гимназии я все больше начинал ощущать какую-то душевную раздвоенность, которая, казалось, росла все сильнее и сильнее. Я переживал как будто две жизни, непохожих одна на другую: одну — дома, другую — в гимназии. Атмосфера,

царившая в нашем доме в то время, как я уже говорил, представляла собою характерную смесь религиозной поэзии, соединенной со всяческими суевериями, благодушия и того житейского ритуала, который несколько напоминал домостроевский уклад, лишенный, впрочем, формы грубого насилия, хотя и очень требовательный в смысле формального и чистого ригоризма. Эта атмосфера как бы некоторого старообрядческого благолепия, проникнутая религиозно-поэтическою дымкой, с одной стороны, и, с другой — тем романтически-юношеским колоритом, который придавали ей мои дяди, в то время уже кончавшие курс и серьезно задумавшие готовиться к поступлению в университет, представлялась мне хранительницей чего-то возвышенного, идеального, где моя маленькая раздвоившаяся душа находила или нравственное успокоение, или мучилась терзаниями совести за свои ребяческие грехи и помыслы. Одним словом, насколько я помню, здесь именно чаще всего вспыхивало и находило отклик все то младенчески-чистое, светлое, что было в моей натуре. Совершенную противоположность этой домашней атмосфере представляла для меня атмосфера тогдашней гимназии. Не знаю почему — потому ли, что по происхождению и по всем жизненным привычкам я принадлежал и тяготел душою к низшему разночинскому и деревенскому слою, или благодаря самому укладу тогдашней гимназической жизни, но только эта жизнь представлялась мне всегда чем-то до того чуждым и далеким, что долго не находила почти никакого отклика в моей интимной духовной жизни. А между тем влияние ее на меня в первые четыре года в отрицательном смысле было очень велико и очень печально. Наука сделалась для меня уже со второго класса каким-то страшилищем, вроде отбывания тяжкой повинности, а товарищество и общение с однокашниками все более и более становилось для меня проводником таких антиморальных познаний, о которых я раньше не имел, да и не мог иметь никакого даже смутного представления. В этом смысле атмосфера тогдашней гимназии, в особенности ее пансиона, была довольно непривлекательна. Среди чуть ли не большинства великовозрастных пансионеров старших классов царил скрытый разврат и цинизм, скабрезные разговоры представляли самое

излюбленное их развлечение. Они собирали вокруг себя целую толпу мальцов и развращали их младенческие души, если они еще раньше не были развращены в своих крепостных дворнях. Среди них практиковались всевозможные виды школярской разнузданности, от ребячески легкомысленных до самых грубых и противоестественных проступков. Час за часом, день за днем разлагающая язва этой атмосферы невидимо впивалась и в мою душу, вызывала со дна ее темные, низменные, звериные инстинкты, заставляя прислушиваться к этой мерзости. И это в то время, когда мне было не более двенадцати — тринадцати лет!

Достойно замечания, что эта атмосфера находила косвенно скрытое сочувствие даже со стороны некоторых педагогов. Так были надзиратели, по секрету передававшие ученикам о своих любовных и иных похождениях и вообще с удовольствием беседовавшие с ними на эту тему; были и учителя в таком же роде, как, например, великолепный француз парикмахерского типа, вывезенный каким-то барином из Парижа к своим детям, а затем за негодностью приспособленный к нашей гимназии в образе заправского педагога; отчасти повинен был в этом и вышеупомянутый немец. Я помню, как раза два в неделю мы сходились по вечерам в квартиру к французу в количестве десяти и более человек для практических занятий по французскому языку. Предполагалось, что обучение артелью каждому из нас обойдется значительно дешевле; действительно, приходилось на каждого не более 50 копеек за вечер. Это были необыкновенно игривые вечера! Великолепный француз, всегда одетый по последней моде и пугавший нас в классах своими элегантно-изысканными манерами и видом сурового ментора, у себя дома совсем преображался: он был такой игривый, веселый и забавный холостяк, рассказчик разнообразных фривольных анекдотов, которые передавал нам, для практики, на французском языке, а мы должны были по очереди пересказывать их, как умели. Затем через час этой веселой болтовни раскрывался ломберный стол, и мы усаживались с милым парижанином за карты в невинную игру «по маленькой», причем разговор также старались вести по-французски. Нередко, однако, эта ве-

селая игра вводила в азарт старших учеников, и они засиживались у почтенного педагога, проигрывая уже «по большой» родительские деньжонки. Несмотря на такую разностороннюю практику во французском языке, кажется никто из нас так-таки у этого француза языку и не выучился, но зато преуспевали, и очень успешно, в познании кое-чего другого. У немца тоже устраивались какие-то вечера «для практики» тех воспитанников, которые брали у него приватные уроки, но у него, как человека семейного, вечера эти носили более невинный характер: на них пили чай, играли, танцевали, и они не отличались такой циничной откровенностью, как у парижанина; однако и эти вечера не обошлись без очень печального любовного инцидента.

Таковы были некоторые формы и результаты «внешкольных занятий» с нами педагогов. Но эти внешкольные занятия были случайностью, так как в программах мудрой «системы» таковые были совсем не предусмотрены, или же, вернее, предполагалось, что раз система требовала, чтобы ученики обязательно вызубрили дома то, что им назначено было по программе педагогами в классе, по классической формуле «от сих до сих», то это и должно было быть совершено. Как это совершалось, «системе» не было до этого никакого дела. Все до такой степени были уверены в непогрешимости и непререкаемости «системы», созданной какими-то неведомыми мудрецами там, «наверху», и скрепленной подписью «быть по сему», что ей бессознательно приписывалась чудодейственная сила: раз дети учатся по «системе», одобренной свыше, то они обязательно должны выходить лучше, чем были раньше; если же выходили хуже, то в этом виновата уже не «система», а злая воля и негодная натура ученика, «испорченная от рождения»; таких «система» могла только или «карать», или же совсем «извергать» из сферы своего воздействия. Так думали мудрые педагоги и вместе с ними громадное большинство родителей... В сущности «система» не преследовала никаких воспитательных целей, понимая это в научно-педагогическом смысле, если не считать формализма школьной дисциплины, ограничивавшейся элементарным требованием соблюдения порядка, тишины в классе и видимого почтения

к начальству. За дверями школьной дисциплины, как только мы оставляли здание гимназии в три часа, непосредственные отношения между нами и начальством прекращались до утра будущего дня, и мы, как маленькие дикари, шумно расползались по городским улицам, переполненные чувством хотя бы и относительной свободы; дома нас могли ожидать некоторые неприятности, вроде предстоящей зубрежки уроков или ворчания родителей, но все же мы, «вольноприходящие» гимназисты, чувствовали себя несравненно счастливее пансионеров или злосчастных бурсаков-семинаристов, которых школьная дисциплина продолжала давить без перерыва целый день. Трудно и представить, что было бы с нами, если бы пресловутая «система» ввела в свою программу и забрала бы в свои руки и внешкольное воспитание! К счастью, в то время она еще до этого не додумалась, ограничив свое воздействие исключительно школьной дисциплиной да неукоснительным выполнением учебной программы. И это было благо: хотя мы, в большинстве почти бесконтрольно (так как не существовало в сущности и рационального домашнего воспитания), были предоставлены стихийному воздействию разнообразных перекрещивающихся влияний и рисковали не раз нарушить основы общественного порядка, но мы по крайней мере могли в пределах своей детской природы развивать хоть сколько-нибудь свободно дарованные нам способности. И эта относительная свобода была существенным противоядием воздействию на нас «системы».

Другое противоречие коренилось в самых недрах «системы». Зависело оно от общего патриархального уклада вообще тогдашней жизни. Дело в том, что «система» в то время почти не имела среди своих адептов *-педагогов, призванных ее всячески укреплять и поддерживать, людей, преданных ей «не токмо за страх, но и за совесть», напротив, все это были только жалкие рабы, тянувшие почти бессознательно свою лямку именно «за страх» и нисколько не расположенные да и не умевшие стать ее истинными стражами «за совесть». Вспоминая учителей нашей гимназии за этот первый период моих ученических

* приверженцев (*лат.*).

лет, я не могу большинство из них представить иначе как по существу добродушными, апатичными, вялыми, полуневежественными, которые преподавали столь же механически, без малейшего увлечения, по схоластическим шаблонам, предписанным «системой», как переписывает безучастно в канцеляриях бумаги любой чиновник. Они могли в школе иногда горячиться, негодовать на маленьких шалунов и лентяев, неустанно и полусознательно в той или иной форме протестовавших против дикой «системы», пускать в ход грубые воспитательные приемы — драть за уши и за волосы, бить линейкой и книгами по голове, давать подзатыльники или прибегать к помощи нашего обер-секатора, но все это проделывалось исключительно в видах поддержания только формальной школьной дисциплины. Они, как и мы, как только выходили после уроков из дверей гимназии и снимали казенный сюртук, переменив его на традиционный по тому времени халат, так тотчас же и превращались в самых обыкновеннейших и мирнейших, как и наши отцы, обывателей, которым решительно нет никакого дела ни до какой педагогии. Мы часто видали их по вечерам и праздникам в наших семьях благодушно выпивающими, смакующими кулебяки, играющими в картишки и не выражающими ни малейшего намерения вмешиваться в интимную жизнь детей или в их отношения к отцам и матерям; когда к ним приставали по поводу каких-либо конфликтов между отцами и детьми, они только энергично отмахивались. Одним словом, все они были совершенно лишены той склонности и способности к «педагогическому сыску», который так блестяще развился в наших школах спустя два десятилетия. Были представители этого иезуитски-сыщнического типа и в наше время, но скорее как исключение. Таков, например, был вышеупоминавшийся обер-секатор и обер-сыщик, старший надзиратель. Грубый и жестоко прямолинейный, он был истинным и неукоснительным адептом «системы», не только жестоко карая нас, детей, физически, но и нравственно, грубо и беззастенчиво залезая грязными лапами в детскую душу и вывертывая ее до дна. Его боялись и ненавидели не только дети, но и родители наши и сами педагоги, которые, однако, иногда, в силу своей рабской приниженности,

обращались к нему за педагогическим содействием, радуясь в душе, что около них имеется человек, могущий исполнять грязные обязанности, к исполнению которых они сами не чувствовали ни расположения, ни умения.

К этому же педагогически-сыщническому типу мог быть причислен и знаменитый в нашей ученической летописи инспектор-поэт, но только отчасти: он был слишком «гурманд» * и эпикуреец и в то же время человек, не чуждый «высшей» дворянской образованности, чтобы соперничать по части сыска с слишком грубыми приемами вышереченного дубинообразного вахтера педагогии.

Главным столпом «системы» в нашей гимназии, усвоившим до тонкости всю соль ее, должен был быть директор, в то время единственный и бесконтрольный руководитель всего рабского педагогического совета. Но на деле наш директор был не столько столпом, сколько пугалом. По натуре добрый и даже гуманный человек, он, сделавшись директором, решил, что для того, чтобы с честью исполнять свою миссию, ему необходимо напустить на себя как можно больше строгости, запрятав елико возможно глубже под мундир все то мягкое и добродушное, что могло бы рассеять очарование этой строгости. И он, бедный, старался над этим изо всех сил! На его счастье, природа наделила его на диво уродливо-устрашающей физиономией, как будто именно с целью дать ему возможность выполнить с достоинством свою миссию — быть пугалом «системы». Он был настоящий Квазимодо[5] в мундире: кривой, с громадным безжизненно-серым глазом, который ходил коловоротом в минуты гнева, изъеденный оспой, с кривым, похожим на клюв хищной старой птицы носом, и в то же время низенький и худой, он производил на нас, особенно маленьких гимназистов, необыкновенно импонирующее впечатление. Он нам снился во сне как чудовищное олицетворение гимназической «системы», когда нас душил кошмар, а наяву мы как-то инстинктивно избегали малейшей возможности попасться ему на глаза. Эта инстинктивная боязнь его преследовала нас вплоть до окончания курса. А в сущности он был

* любитель и ценитель всего изысканного *(франц.)*.

только самое простое пугало, фактически всецело находившееся в руках обер-сыщика, старшего надзирателя, и инспектора, которые напускали его на нас в целях вящего и ничем не сокрушимого устрашения. И он устрашал и был, повидимому, очень доволен, что это ему так легко удавалось, и глубоко уверен в том, что таким образом он высоко держит врученное ему знамя «системы» на благо своих воспитанников, не сознавая, какую жалкую роль он играл в воспитательном смысле. Между тем, когда доходили непосредственно до него просьбы о смягчении участи кого-либо из учеников от их родителей или их самих, он под личиной суровости нередко бывал мягкосердечен и немало делал доброго. Но все это бесследно исчезало в нашем представлении, как и самая личность его, перед общими результатами того влияния и воздействия, какое имела для нас «система».

Я не буду останавливаться здесь на всех подробностях, характеризующих «дореформенную» школу, в которой я учился, так как это было бы совсем лишним повторением того, о чем уже неоднократно и подробно писалось и изображалось в различных мемуарах. Мне хотелось только указать на некоторые особенно типичные стороны нашей гимназии, наиболее характерно, по моему мнению, отражавшие как общий дух тогдашней образовательной «системы», так и то влияние, какое в результате оказала «система» на наши юные души.

IV

Противоядие «системе».— Спорт ребячьей улицы.— Зубрежка.— Накануне «извержения».— Педагогическое чудо.

Вспоминая первые четыре года своей школьной жизни, я прежде всего поражаюсь тем, что в моем представлении не сохранилось ни одного факта, в котором сказался бы хоть малейший проблеск духовного единения как со школой вообще, так и с единичными ее представителями; в моем воображении не рисуется ни одной личности, с которой соединялось бы представление о мягкой, сердечной близости, которая чем-нибудь дорогим и незабвенным за-

тронула бы мою ребячью душу, хотя бы на йоту раздвинула мой духовный кругозор: все рисуется серо, бледно, холодно на туманном фоне какого-то вялого и бессодержательного формализма. Влияние школы в положительном смысле было почти ничтожно. О влиянии отрицательном я уже говорил раньше. Оно было бы громадно и безнадежно-бедственно по своим результатам (как это и сказалось на дальнейшей судьбе некоторых моих сверстников), если бы жизнь стихийно не протестовала против дикой «системы», вырабатывая те противоядия, о которых я упоминал и которые при многих своих отрицательных качествах были для нас благом. Этим благом была прежде всего та относительная свобода, которой мы пользовались за границей школьной дисциплины. Положим, это была свобода чисто стихийная, свобода ребячьей улицы, но зато она давала нам возможность дышать полной грудью, жить всеми фибрами своего юного, быстро растущего организма. Можно сказать, что мы сами за свой собственный риск производили грандиознейший опыт применения разнообразных форм того «физического воспитания», о котором так много пишут теперь различные школьные реформаторы. Я уже упоминал раньше, как мы, «вольноприходящие» гимназисты, дети низшего разночинства — мелких и средних чиновников, купцов, ремесленников, небогатых дворян и духовенства,— когда после уроков захлопывались за нами двери гимназии, как быстро и с каким восторгом рассыпались мы по улицам, стремительно несясь к нашим обиталищам. Через полчаса, через час после обеда на ребячьей улице уже кипит жизнь. К гимназистикам прибавляются семинары-училищники, и вот открывается бесконечный ряд всевозможных физических упражнений, разнообразящихся по сезону: городки, клюшки, бабки — осенью, катанье с гор, постройка и осада снеговых крепостей — зимой, с грандиозными битвами снежками двух армий; а летом — чего стоят общие купанья, гулянья в городскую рощу, величественные походы, марши и парады в устраиваемых за городом лагерях, с знаменами, значками, в великолепных бумажных шлемах!.. И все это огромными шумными артелями, переносившимися на полной свободе с места на место, как стаи чирикающих воробьев и скворцов.

Конечно, дело не всегда обходилось без греха, и стихийная свобода нередко заводила нас в довольно рискованные предприятия, вплоть до экспроприаций в чужих огородах, садах и даже мелочных лавочках по части съедобного и лакомств, под предводительством какого-нибудь опытного мальца из уличного «пролетариата». Впрочем, такие экспроприаторские подвиги в больших размерах были все же редкими исключениями, совершаемыми под давлением авторитета более великовозрастных уличных героев, уже значительно искусившихся в познании добра и зла. В общем же, вся наша уличная жизнь носила характер вполне невинных упражнений юного тела и ума, среди которых, наоборот, совсем выходили из голов те уродливые влияния, которыми нас награждала «система» в школьных стенах.

Наше увлечение уличной свободой было так велико, что почти никакие усилия родителей не могли нас загнать под домашний кров ранее наступления темноты. И только тогда, запыхавшиеся, разгоревшиеся и взволнованные, мы, еще не остывшие, нервно хватались за постылые учебники и, закрыв уши, погружались в мистическое действо: жадным взором мы тщетно силились вникнуть в смысл каббалистических знаков, с единственной целью как можно скорее внедрить их в наши головы. «Что такое вера? — гудит себе под нос маленький школьник.— Вера есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем...» Вера есть уверенность... Господи! Что же это такое? Ну, да все равно не поймешь!.. «Вера есть уверенность в настоящем, как бы... в невидимом...» — гудит опять мальчик, закрывая глаза... А вот дальше еще: «Вера есть уповаемых извещение... вещей обличение невидимых...» Волосы мальчика встают дыбом, глаза начинают безумно блуждать, в сердце медленно вливается отчаяние... и мальчик опять гудит безнадежно. В соседней комнате начинает прислушиваться к отчаянному гудению отец и, отрываясь от дела, идет к сыну.

— Ну что же, все еще не выучил? — спрашивает он.

— Нет, папаша, выучил... Попробуйте, спросите...

— Ну, говори.

— Вера есть уверенность... уверенность... как бы об-

личение... уверенность уповаемых...— тараторит мальчик и внезапно спрашивает: — Папаша, что значит «уповаемых уверенность»?

— Ах, боже мой! — вместо ответа вздыхает отец,— ведь ты ничего не понимаешь... Когда же ты выучишь? Вот прогулял, прошатался... А я что могу сделать?.. Ведь придет же в голову писать таким языком для детей!.. Ведь я сам это едва уразумел только в богословском классе... Разве тебе можно понять это?.. Это — текст... Надо зубрить... Зубри!

И отец, сердито двинув к сыну учебник, раздраженно уходит к своему делу... Мальчик, уже с полной безнадежностью, опять закрывает уши и начинает гудеть, косясь на лежащую рядом стопку других учебников, все таких же доисторических ископаемых педагогической схоластики: арифметика — Магницкого [6], история — купца Зуева [7], география — Ободовского... [8] При одном воспоминании об этих неудобоваримых мастодонтах берет ужас!.. Проходит час, другой, слипаются глаза, маленький организм требует покоя, а мальчик все гудит...

— Ну, что? — опять спрашивает отец.

— Ничего, папаша, я успею, я завтра повторю в перемену,— лепечет мальчик.

— Вот пробегал по улице... Все шалопайничаешь... А теперь уже одиннадцать часов... Ступай спи!.. Этакие идиоты! — ворчит отец уже себе под нос.— Ничего толком ребенку не растолкуют... Одна зубрежка...

— Ведь и ему надо когда-нибудь погулять,— вставляет мать, гладя уставшую головку сына и провожая его в спальню...

Мальчик засыпал скоро, но сон его был тревожен: то неудобоваримые тирады из учебников продолжали дразнить его мозг, перепутываясь длинной вереницей, то коловоротом вертелся перед ним страшно-огромный неморгающий глаз директора, то угрожающе жужжал над ухом шипящий бас гимназического Аргуса. И только когда все это сменял оживленный шум ребячьей улицы, в сиянии весеннего солнца или в искристой бодрящей атмосфере морозного дня, мальчик засыпал крепко и спокойно.

Третий класс был для меня каким-то роковым: я в нем просидел три года, почти потеряв надежду пере-

браться в следующий. С каждым годом пребывания в нем мое отчуждение от гимназии росло, казалось, прогрессивно; я потерял всякий интерес не только к школьной «учебе», но и ко всему, что напоминало науку или вообще книгу, какая бы она ни была. У меня выработалось в эти годы пребывания в гимназии какое-то пренебрежение ко всякому чтению. Раньше, еще до поступления в гимназию, я любил слушать чтение, очень увлекался «Живописным обозрением», которое имелось у нас за несколько лет; после, в первом классе, я уже самостоятельно читал его, читал рассказы из священной истории в доступном изложении, с интересом рассматривал приложенные к ним, только что появившиеся в то время олеографии.

Но затем, чем больше я начинал питать отвращение к схоластическим учебникам, тем все более и более падал у меня интерес и к внешкольному чтению, да и некому было поддержать его. В гимназии посторонние книги были в чрезвычайно редком обращении; несмотря на то, что в ней существовала довольно большая так называемая «фундаментальная библиотека», последняя была недоступным святилищем не только для малышей, но и для старших воспитанников, изредка обслуживая лишь наставников, которые иногда приносили в классы объемистые томы в кожаных переплетах, поражавшие нас своею архаичностью и больше пугавшие, чем привлекавшие к чтению; книг же специально для детского и юношеского возраста в гимназии и в помине не было; на стороне брать их было тоже не у кого, так как чтение в моем родном городе в то время обреталось в полнейшем, повидимому, пренебрежении: в нем не существовало ни одной — ни частной, ни общественной — библиотеки для общего пользования [9].

Конечно, живой интерес к чтению могли бы возбудить во мне отец и дяди, довольно усердно занимавшиеся сами литературой, насколько это было возможно в нашей провинции. Но в описываемый мною период и отец и оба дяди до такой степени были поглощены заботами, чрезвычайно для них важными, что наше семейное воспитание как-то совсем ускользнуло от их внимания; они удовлетворились тем, что я был в гимназии, а для домашних занятий со мной, сестрами и другим братом изредка

нанимали репетиторов из семинаристов и великовозрастных гимназистов, достаточно сведущих, чтобы преподавать «начатки» — и только, но в то же время иногда довольно неприглядных в нравственном смысле.

Незаметно для себя, все более и более теряя всякую духовную связь с гимназией, прикованный к ней лишь формально, я, покорный возрасту, искал соответствующей своей природе живой жизни и движения и невольно всецело отдавался спорту ребячьей улицы, тем более что интересы, которые в это время начали поглощать все внимание старших членов семьи, пока только вскользь и мимоходом касались моей души и в общем стояли выше моего разумения. Таким образом, я окончательно эмансипировался от всякого почти постороннего духовного руководительства, за исключением обычных семейных отношений, и духовно и телесно развивался исключительно за свой собственный риск. И только когда я, оставленный в классе на третий год («для усовершенствования», как думал отец, так как предполагалось, что мои неуспехи главным образом зависели от слишком раннего поступления в гимназию), не только в успехах не совершенствовался, а все больше терял интерес к науке, отец заволновался: у него как будто сразу открылись глаза, и ему до очевидности стало ясно, что «система» сама по себе никакой чудодейственной силой не обладала и что, доведя меня до пропасти, она могла только, умыв руки, «извергнуть» меня, как «неспособного по природе» усвоить преподаваемую ею мудрость.

Надо было принимать какие-нибудь экстренные меры. На первый раз он решил усиленно приняться за мою внешкольную подготовку, прежде всего из тех предметов, в которых я казался наиболее слабым: в языках и математике. Для упражнения в немецком языке я должен был по вечерам ходить к нашему учителю-немцу; хотя толку из этого выходило мало, но зато он стал несколько снисходительнее ко мне; для практики во французском был приглашен на уроки ко мне и к младшему брату известный всему городу добродушнейший старик француз monsieur * Тьер, в двенадцатом году взятый в плен из

---

* господин (*франц.*).

наполеоновской армии, куда он был, еще юнцом почти, прикомандирован в качестве барабанщика, и с тех пор скитавшийся по барским домам в звании гувернера, пока не попал в наш город, где за преклонностью лет стал пропитываться дешевыми частными уроками.

Относительно занятий с m-r Тьером, который благодаря своему добродушию скоро сделался постоянным посетителем нашего дома и которого все мы полюбили за его простоту и незлобивость, нужно, однако, по справедливости сказать, что его занятия благодаря его почти полному педагогическому невежеству принесли мне сравнительно далеко не столько пользы, сколько можно было ожидать от уроков у «настоящего» француза; он дал мне только возможность кое-как справляться с приготовлением к гимназическим урокам.

Упомяну здесь кстати о заключительной карьере этого добродушного барабанщика великой армии и бывшего гувернера у разных графов и князей. Когда я, уже будучи студентом, приехал однажды на каникулы домой, я, к изумлению, встретил его на железнодорожном вокзале в качестве ламповщика, заведовавшего освещением вокзала, получавшего ничтожное вознаграждение и жившего в маленькой комнатушке вместе с своей сожительницей, старой кухаркой, куда он добродушно попрежнему и пригласил меня, устроив себе выпивку на радости, что его ученик достиг уже такого важного положения. В этой должности он и умер в глубокой старости.

Теперь о математике. Это был старый приятель отца еще по семинарии, где он теперь был субъ-инспектором и преподавателем математики и еврейского языка. Дикий, необузданный, деспотически и крайне вспыльчивый бурсак, С. был истинным страшилищем для местных семинаров, которые бегали от него, при первой возможности, как от чумы, а он гонялся за ними с остервенением по улицам, буквально как гончая собака; но в то же время он пользовался большой известностью как серьезный знаток своих научных специальностей; о том, что он составляет обширный древнееврейский словарь, знал весь город.

На этом эпизоде я остановлюсь несколько подробнее, так как он представляется мне довольно характерным

вообще и играл значительную роль в моем духовном росте.

Когда отец объявил мне о своем решении и о согласии С. давать мне у него на дому ежедневно уроки, я вначале сильно струсил. Он жил по соседству с нами, я знал близко его детей, и по рассказам как их, так и сверстников-семинаристов я хорошо знал его бешеный характер, как он в минуты гнева ругался площадными словами и в классах и у себя в семье, раздавая оплеухи и подзатыльники. Страх мой перед ним был понятен, но меня успокаивало то, что отец был с ним все же довольно близко знаком, хотя они не ходили друг к другу. И вот с первого же урока у него начало совершаться на моих глазах некоторое педагогическое чудо.

Принял он меня хотя и с обычною суровостью, но «по-семейному», и, нисколько не интересуясь, знаю ли я что-нибудь по его предмету и как, он без всяких предисловий приступил к ознакомлению меня с самыми элементарными основами математики, как будто я никогда не учился в гимназии и не сидел в ней уже четыре года. Протестовать я, конечно, не решался. Он прямо начал объяснять мне совершенно просто, «по-человечески», именно по-человечески, нумерацию и затем шаг за шагом все те необыкновенно просто и логически вытекающие одно из другого действия, которые мне казались раньше чуть не каббалистикой... Урок, другой, третий, и я каждый раз стал уходить от него как будто все более и более духовно окрыленным. Прошло два месяца, и я уже был осиян настоящим откровением. Господи! да неужели же я не идиот, не тупица, как уже начинали говорить обо мне мудрые гимназические педагоги?.. С. был, повидимому, мною тоже доволен, но он не показывал и вида, он даже не интересовался тем, за что и почему я получал в гимназии двойки и единицы; у него я уже свободно решал довольно сложные задачи по арифметике и геометрии... По прошествии двух месяцев С. сказал отцу лаконично: «Будет, довольно... Больше сыну ко мне ходить незачем пока... Пусть готовится к экзамену». И я стал готовиться к экзамену, пользуясь некоторой помощью отца, который урывал свободное от занятий время, чтобы «по-человечески» тоже помочь мне по некоторым предме-

там хотя мало-мальски разобраться в педагогической каббалистике. Я кое-как выдержал, наконец, экзамен, получив по математике «удовлетворительно», к изумлению нашего педагога, не решавшегося мне еще поставить лучший балл. (Замечательно, что с тех пор я уже не получал ниже четырех по всем отделам математики, а на выпускном экзамене имел полные пятерки.)

Наконец, я перевалил через роковой для меня рубикон третьего класса... Но главное дело было не в этом: суть была в том полусознаваемом «духовном окрылении», которое я начинал чувствовать все сильнее и сильнее... И все это совершалось благодаря тому, что́ заключается в небольшом слове «по-человечески». И толчок этому дал тот же дикий бурсак, который, как и все, был сам рабом «системы» в своем учебном заведении, где так же дико и нелепо ставил двойки и единицы, за которые секли, и где громадное большинство его учеников училось так же плохо, как и у нас в гимназии. Но стоило этому бурсаку, обладавшему недюжинным природным умом, хотя случайно, на самое короткое время отрешиться от рабства «системы» и взглянуть на дело по-человечески, и он мог творить чудеса.

После совершившегося со мною педагогического чуда и с переходом моим в четвертый класс закончился, так сказать, «дореформенный период» моих детских и школьных лет.

Но, прежде чем перейти к новому, «освободительному периоду», я должен коснуться некоторых интимных сторон нашей семейной жизни, игравших исключительную роль в моем развитии...

ПЕРВЫЕ ВЕСТНИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

I

Наша молодежь в начале освободительного движения.— Старые и юные разведчики.— Дядя Александр.

Год моего «первого», так сказать, «духовного окрыления» с переходом в четвертый класс совпал с особенным оживлением в жизни нашей семьи.

По происхождению я, как уже выше сказано, принадлежал к разночинско-чиновничьему городскому классу, не имевшему непосредственного отношения к крепостному крестьянству, но благодаря близости моей семьи к сельскому духовенству, а также и службе моего отца в канцелярии дворянского собрания в нашей семье косвенно постоянно поддерживалась связь как с крестьянами, так и с помещиками.

Первое, что вспоминается мне из этой поры моего детства,— это личность нашей кухарки Дарьи, находившейся в каких-то своеобразных «крепостных» отношениях к нашей семье. Жила она у нас, повидимому, довольно долго, вплоть до 19 февраля [1], и все это время она вспоминается мне в неизменном образе «девки-вековуши» средних лет, деловитой, расторопной, с некоторой долей самостоятельности в характере, соединенной с той «хитрецой», которая была в то время неизбежной для всякой «деловитой» мужицкой натуры.

Мой отец, как не принадлежащий к дворянскому званию, не мог иметь крепостных, но так как найти прислугу из некрепостных было нелегко, то и выработался в то время оригинальный обычай: чиновники не дворяне, духовенство, купцы обыкновенно выплачивали помещику за прислугу из крепостных известную сумму, как бы вроде своеобразного «выкупа», распределяемого на известное количество лет (мне почему-то запомнилась относительно Дарьи сумма в 300 рублей), в течение которых прислуга значилась «как бы» крепостной у нанявшего ее лица. Говорю «как бы» потому, что последний не пользовался над нею никакими юридическими помещичьими правами, не мог ни продавать ее, ни менять, ни производить каких-либо барских экзекуций над нею.

Такой формой найма крепостные, повидимому, пользовались нередко для выкупа на волю.

Так обстояло дело и с нашей Дарьей. Но так как она совсем сжилась с нашей семьей и не чувствовала над собой никакого крепостного «ига», то она благополучно дожила у нас до 19 февраля. Эта-то Дарья и была вначале одной из посредниц, связывающих нашу семью с деревенским людом. Два ее брата были на оброке и ездили в нашем городе легковыми извозчиками. Отец часто ездил на них по делам, и они, привезя его домой, долго иногда оставались у нас на кухне чаевничать с Дарьей, которая, таким образом, всегда была в курсе «деревенских дел», чрезвычайно ее интересовавших.

Благодаря этому сравнительно довольно просторная кухня с большой русской печью, примыкавшая к нашему провинциальному домику, насколько я вспоминаю, всегда была пристанищем разного простого, бедного люда: то ночевали в ней приходившие на богомолье в город богомолки и странницы, умилявшие своими рассказами матушку и Дарью, то заходили с своими горестными «докуками» крепостные мужики и бабы, домогавшиеся при помощи Дарьи и отца доискаться у начальства «правов». Количество последних особенно заметно стало увеличиваться при первых слухах о воле. Потянулись из деревень «мирские люди», ходоки, тайно получавшие от «мира» поручение обо всем «разведать» доподлинно в городе, а в

случае чего и двинуть какую-нибудь жалобу на вопиющую несправедливость по высшему начальству.

В качестве «разведчиков» от деревенского мира являлось немало и «сторонних» людей — поповых сыновей, дьячков и даже самих сельских батюшек, которые справлялись о «крестьянском деле», не меньше интересовались и тем, что не будет ли и для них чего-нибудь, какого-нибудь облегченья, что и их «тоже заедал» нередко барин, а еще того больше — консистория. Вообще чем больше росли слухи о крестьянском освобождении, тем больше являлось «разведчиков» из разнородного люда — чиновников, мещан, купцов, которые все больше укреплялись в мысли, что не только для мужиков, но и для всех должно что-нибудь быть, «что без этого нельзя», что «правда» всем нужна, но эта «правда» понималась ими в крайне сложных, разнообразных и хаотических формах. Типы всех этих разведчиков и от деревенского мира и от других «сословий» были очень своеобразны, ярко отражая собою общее напряженно-выжидательное настроение. И это несмотря на то, что подмосковный губернский город, в котором жила моя семья, являлся исключительно административным центром, переполненным чиновничеством, в высших рангах по преимуществу дворянским, и был, можно сказать, насыщен бюрократически-крепостным духом, при котором всякого такого рода разведки и ходачества являлись очень рискованными и кончались большею частью очень печально.

Более ярко в моей отроческой памяти запечатлелось воспоминание именно о том общем напряженном настроении, которое особенно сильно начало сказываться по окончании Крымской войны. Конечно, это настроение могло отражаться на мне в то время лишь в смутных впечатлениях, и только впоследствии оно обрисовалось для меня в ясных и последовательных проявлениях.

Прежде всего наиболее характерным симптомом нарождавшегося нового настроения являлась как-то сразу увеличившаяся «тяга» в высшие столичные учебные заведения среди нашей учащейся, семинарской и гимназической, молодежи, раньше в громадном большинстве обыкновенно оседавшей по окончании среднего курса на родных местах в качестве или писцов разного рода канцелярий,

или городского и сельского клира. Дворянские дети большею частью уходили в специальные военно-учебные заведения или же, реже, в светские, вроде училища правоведения. Из разночинских семей больше всего шло в духовные академии и в редких случаях в университеты. Теперь процент жаждущих высшего образования стал возрастать с необыкновенной быстротой. Это были как бы своего рода новые разведчики, которых пробуждающиеся «низы» жизни усиленно начали высылать туда, к неведомым им доселе «верхам», чтобы хотя косвенно причаститься тому, что зарождалось там, таинственное и волнующее.

Было изумительно и умилительно видеть, с каким напряженным упорством и какою-то мрачною храбростью стали вдруг готовиться все эти разночинные юнцы в неведомые сферы жизни за духовным освежением. Да и было отчего!.. Ведь сколько тревожных и нудных дней и ночей провели они вместе со своими присными, чтобы весь свой жалкий семейный скарб и «животишки» всеми мерами ухитриться «капитализировать» хотя бы в размере, достаточном на преодоление пути в сотни верст до Москвы при помощи обозных порожняков, а то и по образу пешего хождения, не говоря уже о жалком харче для пропитания в столице, по крайней мере в первые месяцы. Многим, конечно, известны яркие и трогательные примеры тогдашнего подобного паломничества хотя бы из биографий первых страстотерпцев-пионеров разночинской литературы, вроде Левитова [2]. Биографии эти особенно характерны для того времени.

И вот эти-то юные разведчики, с первых же лет своего студенчества внося в «верхи» новый строй мыслей и настроений, являлись в то время единственными и желанными вестниками в низы жизни о том таинственном, смутном и неведомом, что творилось где-то далеко, в недоступных сферах, наполняя то страхом, то надеждой смиренных, затравленных и запуганных обитателей глухих провинциальных и деревенских палестин. Эти же юные разведчики являлись и первыми непосредственными сеятелями в родную почву тех семян, из которых хотя нудно и с великими препонами, но упорно нарождался «новый» человек.

С каким глубоким, хотя и детским, чувством восторга, вспоминается мне, ожидали мы, малыши, летние каникулы в маленьких провинциальных домиках и их садиках, в городах или в селах, встречая там возвращавшихся из столиц своих дядей или старших братьев и их товарищей. Сколько в них было бодрого, жизнерадостного, юного, сколько несли они нам оживляющих, озаряющих и преображающих откровений, сколько перлов неведомой до того «свободной» мысли и поэзии неощутимо внедрялось в наши ребяческие души!.. Быть может, было в этом настроении чересчур наивно-детского, но оно было именно таково, и для тех, кого оно коснулось, уже не могло пройти совсем бесследно.

Увлеченный, с одной стороны, спортом ребячьей улицы, с другой — зубрежкой и школярской борьбой с гимназической «системой», я как-то совсем пропустил мимо глаз все то, что совершалось в жизни моих дядей: как они покончили богословские классы, как долго решали и обсуждали коренной вопрос своей молодой жизни — изменить профессии своего рода, выписаться в «светское» звание, навсегда порвав с «духовным ведомством», и, наконец, поступить в студенты в университет, поехать в Москву, в Петербург... Эти важные вопросы, конечно, не раз горячо и всесторонне обсуждались как у нас в доме, так и в семьях обоих дедов,— но все это прошло мимо меня, как в тумане. В моей памяти как-то удержалась только одна характерная подробность — как живший у нас сумрачный дядя Сергей готовился к требовавшемуся для поступления в университет экзамену по французскому языку: он в течение месяца буквально *вызубрил* от А до Z весь довольно объемистый лексикон, который был приложен к хрестоматии Марго [3]. Этот великий подвиг изумил не только меня, но и всех окружающих. Мой старший дядя, Александр [4] (по отцу), уже раньше покончил семинарию и поступил студентом в Петербург, в Педагогический институт, и приезжал только на каникулы, а дядя Сергей всего только год тому назад сделался студентом-медиком в Москве. Многие из их одноклассников по семинарии, жившие у нас в доме нахлебниками или бывшие даже моими репетиторами, тоже поделались студентами. Я, конечно, все это знал, но знал

как-то внешне, безучастно, и только теперь вдруг все это начало принимать для меня особый смысл, осветилось особым значением. Ни этот смысл, ни это значение я не мог бы еще точно формулировать, но я почувствовал, что они, вся эта студенческая молодежь, живут уже какой-то иной жизнью и иными интересами, чем жило все кругом меня и чем они жили раньше сами. Любопытно, что первое, что возбудило во мне неожиданно для меня самого какой-то особый интерес к тому, что преображало окружающую меня жизнь, был забавный на первый взгляд факт — появление у нас в доме дяди Александра в белой накрахмаленной блузе, подпоясанной кожаным ремнем, вместо обычного студенческого вицмундира, и — что еще было неожиданнее — дядя в этом костюме стал появляться всюду: и на бульваре и во всех общественных местах, к изумлению наших провинциальных обывателей! Прошло еще немало времени, прежде чем я уразумел, что эта невиданная в наших местах и резавшая всем глаза своею яркой белизной и необычностью блуза была не простым франтовством дяди, а имела некоторый таинственный символический смысл. Открылся он для меня в один из знаменательных вечеров, который особенно ярко запечатлелся в моей памяти. Почему-то к этому вечеру особенно готовились (может быть, по случаю приезда «столичной» молодежи). Матушка одела свое праздничное платье, наши маленькие столовая, зальца и гостиная, обыкновенно обретавшиеся в большом беспорядке благодаря нам, детям, приняли тоже праздничный вид: были постланы везде новые салфетки и поставлены на столы по паре «калетовских» (стеариновых) свечей в больших бронзовых подсвечниках, что считалось тогда еще большою роскошью. Батюшка сегодня, кажется, совсем не снимал сюртука. Все это возбудило во мне такой интерес, перед которым окончательно стушевались все прелести уличного спорта, и я предпочел остаться дома. К вечернему чаю стала собираться приезжая студенческая молодежь — сначала товарищи дяди Сергея, остановившегося пока у нас, затем явился очень оживленный блондин в черном сюртуке, в летах моего отца, некто Николай Яковлевич Д.[5]; я знал, что он преподавал в семинарии французский язык и сельское хозяйство и считался «очень

образованным» человеком, так как кончил курс не в знакомой более или менее всем какой-нибудь духовной академии, а в Горыгорецком агрономическом институте (не все были в силах даже и выговорить правильно такое название!); с ним пришла и его супруга, необычно шикарно разодетая, с аристократическими манерами дама, умевшая говорить по-французски. (Сам агроном был сын сельского дьячка, а супруга его была дворянского происхождения.) Все это я знал раньше, хотя Д. вообще посещали нас еще не часто. Визит их придавал нашему вечеру еще более незаурядный интерес. Пришли затем еще несколько близких знакомых отца и два «профессора» семинарии, считавшиеся дальними родственниками. Начали разносить чай, когда явился, наконец, по обыкновению с добродушной улыбкой, с мягкими изящно-простыми непринужденными манерами, дядя Александр, общий любимец и моего отца, и матери, и нас, детей,— явился в своей необычайной сверкающей белизною блузе, со свертком книг в руках.

— А! вот и вы! — крикнули гости чуть не все разом, окидывая взором его оригинальный костюм.

— В «дух времени» облеклись? — заметил один из профессоров.

— Нужно бы, батенька, по-нашему уж, по-российски, по-крестьянски... Дело теперь крестьянское наступает!..— сказал, улыбаясь, агроном.

— Ну, пусть уж в красных рубахах да плисовых поддевках ваши славянофилы[6] московские ходят... А мы-с петербургские уврunеры!.. * — говорил, смеясь и радушно пожимая всем руки, дядя. Поострив еще насчет костюмов «в духе времени», гости стали поздравлять дядю с окончанием курса и с тем, что он уже стал теперь «форменный педагог». Это последнее обстоятельство меня окончательно заинтриговало: дядя Александр, этот милый, добрый, ласковый дядя, вдруг стал «форменный педагог»! А тут еще эта блуза! Поистине изумительное преображение совершилось предо мною воочию.

— Ну, показывайте, что привезли новенького, животрепещущего, так сказать!.. Давно мы вас в нашем

---

* рабочие (от франц.— ouvrier).

захолустье ждем... Вы никогда ведь с пустыми руками не являлись,— тотчас же пристал к дяде Александру всегда нервный и возбужденный Д., стараясь взять у него из рук сверток.

— Есть, есть!..— загадочно говорил дядя, развязывая сверток.— Трудненько досталось, господа... Надо беречь, как зеницу ока... Ну-с, господа, что ж, пойдемте все в гостиную, за один стол, там порассмотрим и кое-что, может, прочитаем...

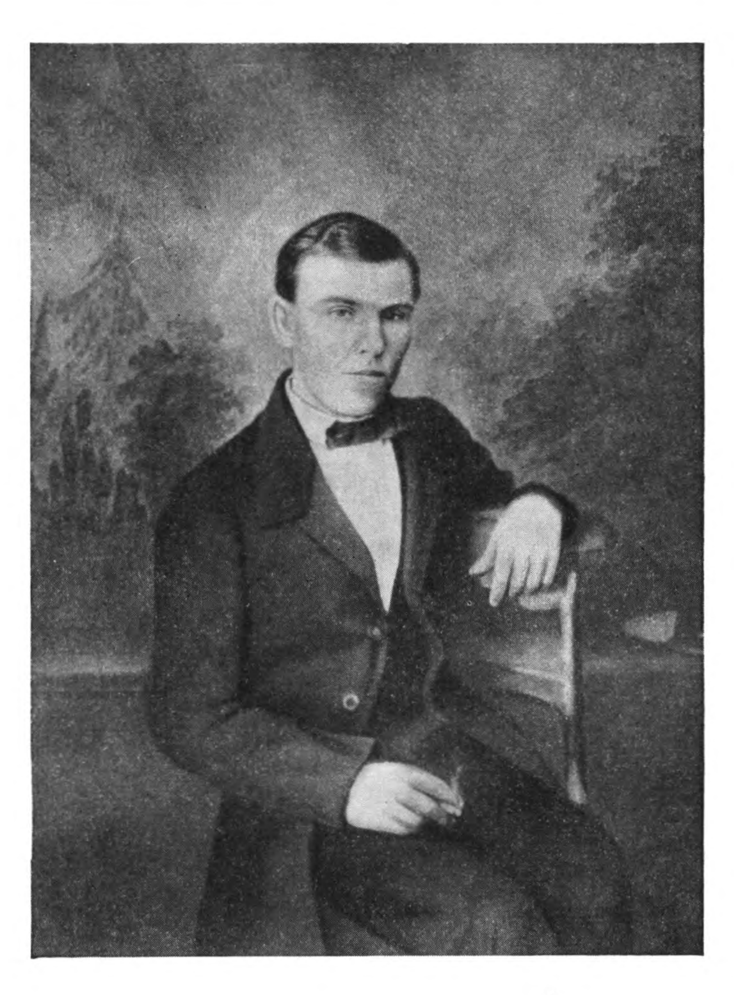
— Вот и ты здесь? — вдруг заметил меня дядя внимательно рассматривавшим его блузу.— Это хорошо... Пора тебе уже перестать только змеи пускать да по улицам бегать... Посмотри-ка, какой ты молодец!.. Пора уж тебе послушать, что и старшие говорят... Вот тогда и тебе такую же блузу сошьют!.. А? Хочешь?.. Ну, только... надо, брат, для этого поучиться... вот эти книжки уметь читать,— говорил он полушутливо, похлопывая меня по плечу и показывая на сверток.— Ну, пойдем, садись с нами, не дичись,— прибавил он, обнимая меня и увлекая с собой в гостиную, где уже собралась вся компания.— Ну-с, господа, вот вам и последние петербургские новости,— говорил дядя, развертывая сверток.— Вот вам несколько номеров «Колокола» [7], самые животрепещущие.

— Покажите, покажите! Где они? — закричал ученый агроном Д., едва не вырывая газету из рук. Я видел, как глаза профессора вдруг засверкали и жадно впились в печатные строки. Пораженный, я не мог отвести от него широко открытых глаз. Неужели какие-либо печатные строки могли быть так интересны, да еще для солидного, почтенного человека, у которого дрожат даже руки от прикосновения к простому газетному листу?!

— А это вот, Николай Яковлевич, мы уж с вами как-нибудь вместе на досуге сначала почитаем... У нас, в России, как знаете, это редкая вещь,— говорил дядя, показывая агроному томики на французском языке сочинений Руссо *.

---

* О названиях и значении этих книг я узнал, конечно, после, как и о значении разных иностранных, модных в то время слов, которые часто упоминались в разговорах. *(Прим. автора.)*



Александр Петрович Златовратский

— Великолепно!.. Превосходно!..— похваливал Д. восторженно, прочитывая заголовки.

— А вот это, господа,— говорил дядя, понизив голос,— секретные записки о негласных совещаниях комитета[8]... об эманси-и-па-ации! — прибавил он, особенно выразительно выговаривая последнее слово.

— Где? где? Это? Секретные записки? — закричал Д., моментально вскочив и хватая рукопись из рук дяди.— Ну, уж это я... к себе... до завтра... Никому не дам вперед! Ни-и-ко-ому!.. Хоть разорвите!

Гости весело смеялись над экспансивным агрономом.

— Ну, ну! — улыбаясь, говорил дядя.— Уступим это ему. Ему и книги в руки. Ведь у вас Николай Яковлевич главный здесь эмансипатор и литератор.

Изумлению моему не предвиделось конца; я не знал, чему больше удивляться: поведению ли солидного профессора, который на моих глазах уже несколько раз бесновался, как помешанный, необычайному ли потоку новых слов и названий, которые для меня в это время представлялись верхом человеческой премудрости.

— А вот это, господа, для всех нас будет очень интересно и занимательно,— говорил дядя,— это прекрасная новинка... только что вышла... Стихотворения Некрасова[9]... Это одна прелесть!.. Свежо... ново... оригинально... Да вот... прочтемте.

И дядя, развернув небольшой томик в розовой обертке, прочел вслух несколько стихотворений.

Это были первые звуки «истинной» поэзии, которые коснулись моего слуха... Я был весь внимание... Что-то, казалось, творилось неведомое в моей голове... Мне было и жутко и стыдно; у меня то замирало сердце, то вдруг кровь заливала все лицо... от стыда!.. Да, от стыда... Мне было стыдно сознавать, что стихи можно читать и понимать просто, «по-человечески»... А ведь до сих пор я думал, что их можно только зубрить, ничего не понимая, как я зубрил отрывки разных од, идиллий и посланий из нашей хрестоматии... Дядя продолжал читать дальше, но я уже ловил только гармонию стиха, которая ласкала мой слух как нечто не изведанное и не испытанное мною доселе, совсем не в силах будучи уловить ее смысл. Но мне уже не было стыдно и обидно: я чувство-

вал, что если я не понимаю сейчас, то не потому, что для меня вообще это «невозможно понять», что, напротив, я непременно все это пойму после... скоро... да, непременно пойму!..

Затем дядя стал читать «Колокол», из которого я уже, конечно, ровно ничего не понимал... Какие-то новые звуки, новые слова, новые понятия шумным каскадом вливались мне в душу, и я слушал их, как музыку, смысл которой был для меня непонятен, неясен, но приятен... приятен смутным сознанием, что и это, такое на первый раз мудреное как будто, я тоже скоро... буду понимать и читать так же, как дядя Александр, потому что ведь все это делается так просто, «не по-гимназически», по-человечески... Однако «прием» первых необычных впечатлений был настолько велик и непосилен для моего мозга, что я скоро почувствовал, как от этой музыки новых слов и понятий у меня начала кружиться голова, и у меня явилось непреодолимое желание излить хоть частицу этих впечатлений другим; я ускользнул из нашей гостиной и бросился «на улицу» к своим сверстникам. Как ни был я полон новыми впечатлениями, но передать понятно их товарищам я — увы! — был решительно не в состоянии, кроме сообщения, что в Петербурге все студенты теперь ходят, как французские рабочие, в белых блузах и носят с собой «запрещенные» книги. Я чувствовал, что этого было недостаточно и был внутренно сконфужен, что не мог передать, чем смутно была переполнена моя юная душа. Заметив, что гости от нас стали расходиться, я стремительно бросился домой и, еще застав дядю Александра, настойчиво пристал к нему показать мне все книжки. Ведь я никогда еще не видал «настоящие» книжки!.. Меня в них все интересовало: печать, бумага, формат, обертки... Все это было так не похоже на гимназический учебник!.. Обо всем этом я засыпал дядю вопросами — вплоть до того, как эти книги и кем печатаются и пишутся. Дядя наскоро отделывался от меня беглыми замечаниями, утешая, что «после... после я все узнаю, а теперь все равно не пойму», но я все же узнал в этот знаменательный вечер и крепко запомнил, что есть писатель «Искандер», который живет изгнанником в Лондоне и там печатает запрещенную газету «Коло-

кол», в которой он все пишет об «эмансипации»; что во Франции был писатель Руссо, который «освободил весь французский народ»[10]; что появился у нас новый замечательный поэт Некрасов, который все пишет о крестьянах и вообще о бедных людях... О, этого на первый раз было уже более чем достаточно, чтобы удовлетворить любознательность мою и моих товарищей, для которых уличный спорт далеко еще не потерял всей своей прелести! Этого было достаточно и для того, чтобы я все чаще стал изменять спорту ребячьей улицы, стараясь возможно чаще быть в компании съехавшейся студенческой молодежи, все больше интересовавшей меня новыми, неведомыми мне сторонами жизни.

II

В вишневом саду у деда.— Первые писательские легенды.— На лоне крепостной деревни.

В начале лета этого года и вишневый сад моего деда вдруг в моих глазах приобрел особое значение; никогда еще раньше не собиралось в нем сразу такое шумное, оживленное и интересное для меня общество молодежи, как в этот год; приехали на каникулы не только мои дяди, но и многие из их товарищей по семинарии,— и неожиданно явились в моих глазах поистине «преображенными».

Добродушный дед, крайне общительный человек и большой любитель всяких «романтических компаний», устроил грандиозную «поздравку» в честь двоих своих сыновей: дяди Александра, только что окончившего курс в Петербургском педагогическом институте, и младшего, Андрея, недавно женившегося и посвященного в сельские священники.

Собралась главным образом молодежь — студенты, молодые священники и великовозрастные семинары из родственников, кроме, конечно, родных обеих семей.

Молодежь чувствовала себя в необыкновенно повышенном настроении. В густой зелени старинных яблонь и вишен дедушкина сада, расположенного на громадном откосе «архиерейской горы», вдали от скученных городских

построек, с широким видом на реку, пойму и огромный старинный величественный собор вдали на противоположной горе, чувствовалось так свободно и непринужденно, без всяких условностей. Здесь велись почти весь день горячие споры, читались какие-то статьи, без конца пелись песни...

В спорах я не понимал ровно ничего, но песни мне нравились и увлекали меня: пелись тут и «старые» народные и семинарские песни, пелись и новые, не знакомые мне. Между прочим, помнится мне, кажется, именно здесь я впервые услыхал, как пели некрасовское: «Не гулял с кистенем»; впервые же здесь увидал я переходившую все время из рук в руки книжку стихотворений лондонского издания [11], не дозволенных в России, пользовавшуюся в то время большой популярностью, многие из стихотворений здесь читались вслух; особенно часто повторялась популярная тогда басня «Шарманка» [12]. Я, конечно, во всем этом понимал очень мало, но общее повышенное настроение захватывало и меня. Вспоминается мне такой эпизод этого вечера. Когда все сгрудились на самой широкой площадке сада, где велись горячие споры, кто-то громко выкрикнул какой-то тост общего характера; тост был восторженно подхвачен единодушными криками. Тогда дядя Александр, всегда необыкновенно быстро воодушевлявшийся, заметив кого-то из нас, малышей, крикнул:

— Ну, хочешь видеть Москву, малец? Хочешь?

И, схватив его подмышки, он быстро посадил к себе на плечо.

— Ну, смотри!.. Видишь Москву?.. Да что — Москву... Русь! Видишь ли нашу Русь, Русь будущую, великую, могучую, свободную?! — кричал он, махая свободной рукой...

И снова восторженный крик подхватил его слова.

Но что придавало у нас этому настроению в то время, особенно вскоре после Крымской войны, своеобразный, как-то невольно вдохновлявший и поддерживавший его особый смысл,— это легенды, которые были связаны с тремя крупнейшими нашими литературными именами, сначала Герцена и Салтыкова, а затем вскоре и Добролюбова.

Герцен, как известно, сосланный в тридцать пятом году в Вятку, через два года, в качестве такого же ссыль-

ного, был переведен во Владимир, здесь поступил на службу в канцелярию губернатора Куруты, где и пробыл три года [13]. Был он тогда только еще начинающий писатель, совершенно никому еще не известный, и, вероятно, так бы он надолго бесследно и исчез для нашего обывателя, если бы не случилось выходящего из ряда вон обстоятельства — его женитьбы в нашем городе на увезенной им потихоньку из родительского дома в Москве двоюродной сестре, вопреки желанию отца. Совершение этой свадьбы было окутано большой тайной, и могла она состояться лишь при особом снисхождении местного архиерея и при влиянии на него губернатора: архиереем было приказано «секретно» одному из священников повенчать Герцена как можно скрытнее в отдаленной слободской церкви, на окраине, без малейшего шума, придав этому вид, как будто священник действует на свой страх и риск. В нашей семье я слыхал, будто при венчании участвовал и мой дед, молодой еще тогда дьякон, и тоже по секретному архиерейскому наказу. Действительно ли это было так, утверждать не могу, так как дед, быть может под страхом наказания, никогда об этом деле не любил распространяться и вообще умалчивал. Но начало легенде уже было положено, и она в течение многих лет в смутном виде циркулировала среди обывателей.

Возможно, что в течение полутора десятка лет, прожитых с тех пор нашей глухой провинцией в сугубом духовном мраке, и совсем растаяла бы легенда о каком-то ссыльном чиновнике и его таинственной свадьбе, если бы в конце 50-х годов наши юные столичные разведчики не появились в первые же каникулы с целым ворохом каких-то самых жгучих и животрепещущих таинственных книг, газет и рукописных копий, из которых большая часть была написана нашим легендарным ссыльным. И вдруг легенда о нем стала воскресать во всех бывших и даже не бывших подробностях. «Так вон он каков, *наш-то* ссыльный... Ну недаром, значит, по ссылкам-то гоняли!.. Был раньше-то Герцен, а тут вдруг Искандером обернулся... Кто ж его узнал бы, что это *наш!*» — восклицали наши наивные обыватели из низов не только светского, но и духовного звания, особенно из молодых. И потихоньку, под сурдинку, с боязливо-трепетным любопытством погружались, в гуще

своих садов, в захватывающие страницы «Колокола», разных прокламаций, вроде «К русскому дворянству», «Юрьев день»[14], запрещенных книжек стихотворений лондонского издания, которые приписывались все Искандеру, наконец — в старые книжки «Отечественных записок» со статьями Белинского и Герцена.

Подоспела тут и свежая легенда о Салтыкове[15], который незадолго был прислан в наш город от министра для ревизии дел по организации местного ополчения и который так встревожил весь наш чиновный мир. «Это, брат, серьезный был человек вполне... О, какой серьезный!... Таких мы не видывали у нас... Да, гляди того, сам министром будет!» — говорили про него напуганные чинуши. И вдруг этот самый будущий министр, к великому изумлению всех, обернулся «надворным советником Щедриным» и все, что видел по ревизиям, то начистоту перед всеми и выкладывает!.. «Ну, кто ж догадается, что это он самый- то *наш* и есть!.. Вот как чисто ведет дело — никому и виду не подаст. Ну, и башка!..» — восклицали «низы» и бросались отыскивать «Губернские очерки»[16], пускались на всякие средства, чтобы проскользнуть в зал дворянского собрания на литературно-музыкальный вечер, на котором должны были читаться сатиры «нашего Щедрина».

Местная легенда, таким образом, придавала свой специфический смысл и окраску «нашим» писателям, ставила нас к ним в особое, интимное, отношение сравнительно со всеми другими, «не нашими», писателями.

Добролюбовская легенда создалась уже значительно позже.

Так все яснее и яснее стал доходить до нашей провинции гул освободительного движения.

С окончанием экзаменов в семинарии (а они тогда кончались довольно поздно, около половины июля) вся молодежь, которая ютилась около нас (и студенты и семинаристы — их родственники), стала собираться в родные захолустные палестины, по уездным городкам и селам. Лето в тот год стояло на редкость прекрасное, и деревенское приволье как-то невольно тянуло к себе. И вот я услыхал радостную для себя весть, что матушка со всеми нами, детьми, в сопровождении обоих дядей решила на лето ехать к своим родным в —ский уезд, так как пред-

стояла свадьба ее младшей сестры. Как я уже упоминал раньше, поездки наши в глушь провинции, к деду (по матушке) и к деревенским родственникам, верст за сто, на ямских лошадях, всегда приносили мне огромное удовольствие, доставляя массу совершенно новых впечатлений и оставляя на моей душе глубокий след. Нынешнее наше путешествие в сообществе обоих дядей, так весело и оживленно настроенных, представлялось мне особенно привлекательным. Когда мы одним чудным ранним утром, омытым благоухающей росой, выехали на двух тройках, запряженных в громаднейшие тарантасы, за город, когда были развязаны колокольчики под дугами и раздался их веселый переливчатый звон, когда раскинулась перед глазами широкая перспектива шоссейной дороги, обсаженной кое-где рядами деревьев,— моему восторгу не было конца. Дядя Александр, всегда необыкновенно отзывчивый, мягкий и радушный, теперь, кажется, превзошел самого себя, ухаживая за моими младшими братьями и сестрами, насаженными в оба тарантаса, как цыплята в корзине. Он шутил с нами, напевал песни, весело беседовал с ямщиками и крестьянами на почтовых станциях, которые, кажется, особенно внимательно, хотя и боязливо, прислушивались к вестям «о воле» этого заезжего барина, которыми он мимоходом и наскоро делился с ними. Благодаря такому настроению дяди Александра мы и не заметили, как весело проехали сто верст. Матушка не знала, чем и выразить свои симпатии к своему любимому деверю. Даже обыкновенно хмурый, необщительный и малоподвижной дядя Сергей, напоминавший тип сумрачного бурсака, и тот был необычно весел и оживлен, быть может отчасти благодаря своему новому студенческому вицмундиру. Это же оживленно-веселое настроение дядя Александр продолжал поддерживать и в семье моего деда, несмотря на его благочинническую сановитость и сугубо домостроевский уклад в его доме. Этому, впрочем, много помогло вообще необычно большое скопление в нынешние каникулы студенческой — университетской и академической — молодежи, которая в духовных семьях с каждым годом увеличивалась все больше и которая значительно изменяла общий характер сложившейся в них жизни. Однако, когда, отпраздновав свадьбу тетки по всем традиционным ритуа-

лам, молодежь, захватив меня с собою, двинулась на Оку, в приокские села, к родственникам молодых, это повышенное настроение скоро значительно потускнело. Чувствовалось, что оно далеко не соответствовало общей окружающей атмосфере. Крестьянская страда, да притом еще крепостная, была в полном разгаре. Робкие и забитые сельские батюшки встречали столичную молодежь сдержанно и боязливо, а о разных столичных вестях шушукались втихомолку. С еще более недоверчиво-боязливым отношением прислушивались к разговорам молодежи крестьяне. Чувствовалась непосредственная близость помещичьих усадеб, в которых еще царило полное крепостное самовластие. Эту перемену повышенного настроения заметил даже я, для которого всякий приезд в деревню раньше представлял только ряд всевозможных ребячьих удовольствий. Мы и теперь, конечно, спешили ими воспользоваться вволю: катались на лодках, ловили рыбу, варили на берегу стерляжью уху, охотились по озерам, даже пели, но все это было уже не то. И для меня впервые, хотя смутно, начало открываться нечто новое и важное, что скрывалось под прелестями деревенской природы. И это «нечто» незаметно как-то вскрыл для меня тот же дядя Александр, который благодаря своей крайне отзывчивой и впечатлительной натуре часто менял свое настроение; после бодрого и веселого подъема духа он иногда быстро впадал в меланхолию, начинал грустить и даже плакать. Теперь, когда мы на большой лодке плыли тихо по Оке целой компанией, дядя Александр все чаще запевал грустные песни, вроде «Лучинушки» [17], или читал нам некрасовские стихи, но на самые мрачные темы. В тон этим песням велись здесь и разговоры; местная молодежь рассказывала, как за вести «о воле» кого-то выдрали на конюшне, кого-то сослали в дальнюю деревню, кого-то даже арестовали, а одного дьякона услали на послушание в монастырь... Я плохо еще разбирался во всем этом, но общее настроение невольно захватывало и меня; передо мною понемногу начинала подниматься завеса над настоящей жизнью; в ответ на новые впечатления вспыхивали старые, полузабытые; вспоминался наш маленький домик в городе и кухня, в которой мы с матушкой так любили слушать рассказы «странних людей», припомина-

лись их вздохи и слезы над чем-то для меня не понятным... Все это складывалось в моей душе в новые комбинации, освещалось, хотя и смутно сознаваемым, но новым настроением.

В этом уже несколько подавленном настроении мы с дядей Александром, заехав за матушкой с детьми к деду, двинулись в конце июля обратно в наш город. По приезде домой нас ожидал целый ряд чрезвычайно важных для всех нас известий.

III

Отец и Николай Яковлевич Д. на первых порах эмансипаторской миссии.— Последние вспышки крепостнического самовластия.— Дядя Александр похищает меня.

Этому году суждено было вообще сделаться для меня источником разнообразных и неожиданных откровений. Первое, что сообщил отец по нашем приезде, было полученное известие из округа о назначении дяди Александра учителем словесности в гимназию одного из соседних губернских городов [18]. Дядя, повидимому, был очень обрадован, сказав, что лучшего пока он не желает, что о гимназии этой он много слышал хорошего, что там уже служат несколько прекрасных молодых учителей, которых он хорошо знал еще в Петербурге студентами.

Затем батюшка сообщил «чрезвычайно важную новость», что его самого губернский предводитель [19] предполагает назначить при себе секретарем с специальной задачей — следить за ходом как правительственных работ по освобождению крестьян, так и депутатов дворянского собрания в губернском комитете и затем на основании их составить докладную записку по освобождению, что, таким образом, ему предстоит новое, чрезвычайно большое и ответственное дело, а между тем ему приходится уже теперь «кипеть, как в котле», не зная отдыха, и что он с большим страхом смотрит на это предстоящее дело. Говоря об этом, батюшка, видимо, волновался. Волновалась, глядя на него, и матушка, присутствовавшая тут же, и больше, кажется, чутьем угадывая, что волновало и страшило отца.

— Так вот какие дела! Ну что ж, друзья мои, решаться, что ли? — спросил отец матушку и дядю.

— Конечно, крестный (так звал дядя моего отца). Такое хорошее, большое дело! — с обычным воодушевлением сказал он.

Матушка, не отвечая, сначала взглянула благоговейно на образ, опустилась на колени и сделала несколько земных поклонов, как она обыкновенно делала при всех важных решениях.

— Решайся, милый друг, решайся! — сказала она, поднявшись и кладя руку на плечо отца.— Дело душевное, говорят, хорошее дело, божье... Вот и братец тоже советует...

— Да, конечно! Ведь вы не одни, крестный, будете... Вы сами знаете, что из здешних дворян есть немало хороших людей, сочувствующих.

— Да, верно, есть,— сказал раздумчиво отец.

Во всем этом разговоре я, понятно, понимал далеко не все, но и меня волновало смутное предчувствие каких-то новых откровений, которые начинала раскрывать передо мною жизнь вообще и в частности нашей семьи.

Служба моего отца, насколько я запомню, вообще представляла довольно живую и разностороннюю деятельность в единственно возможных для него в то время общественных формах. Я его всегда вспоминаю в то время или погруженным в хлопоты и заботы по исполнению разных поручений предводителя и депутатов, соединенных с нередкими поездками (еще на лошадях) в Москву и уезды, куда он иногда брал и меня, или же сочиняющим бесконечные доклады по разнообразным вопросам. По поводу последних он обыкновенно всегда совещался с братьями и приятелями, вроде Николая Яковлевича, нередко также с молодыми образованными дворянами, жившими в городе. Благодаря этому в нашем маленьком зальце часто собирались небольшие компании, на которых велись оживленные беседы. Такие же компании местной «интеллигенции» (слово тогда еще, впрочем, непопулярное) собирались и у Николая Яковлевича (где впоследствии удостаивался бывать и я), слава которого как «эмансипатора» гремела тогда по всему городу, тем более что он был уже известен как «литератор». Особенно заговорили о нем,

с тех пор как новый «либеральный» губернатор[20], из статских («не солдафон», как говорили про него), пригласил его к себе и уговорил занять место секретаря при губернском комитете по крестьянскому делу, как видного в губернии специалиста по экономическим вопросам. Это еще более подняло значение наших компаний, оживление которых росло все больше, вместе с усилением в обществе освободительного движения.

Для меня остался памятным один характерный факт, подавший повод к особенно оживленным разговорам в наших компаниях. Произошло это, кажется, вскоре по приезде нашем из деревни. Было воскресенье. Я с матушкой был в кухне, когда вдруг вбежала, возвращаясь с базара, запыхавшаяся и взволнованная наша кухарка.

— Матушка барыня! — вскрикивала она сквозь слезы.— Гонют их, гонют, голубчиков моих... Тыщи гонют.

— Да кого гонят-то? — спрашивает матушка.

— Да мужиков-то, что я вам вчера докладывала... Матушка моя! тыщи гонют... кандальными... Дела-то какие, дела-то! Что уж это? Последние времена пришли! — причитала Дарья.

— Вот, гляди, скорехонько погонют мимо нас, по большаку, прямехонько...

— Ну, так скорее надо торопиться! — заволновалась и матушка.— Чего плакать-то? Собирай скорее что есть в корзины. Кликни няньку, да с нею на дорогу корзины-то и вынесите... Эх, бедные, бедные! — всхлипнула и матушка.

Дарья сорвалась с места и начала метаться из стороны в сторону, собирая из съедобного и из одежды что попало. Сорвался и я, бросившись на улицу собирать соседей-товарищей смотреть «кандальников». Долго еще нам пришлось ждать, пока показалась печальная процессия. Толпа запрудила все улицы и надвигалась на нас, как громадная волна[21]. Не знаю почему, все время, пока проходил мимо меня громадный этап, я дрожал, как в лихорадке, у меня тряслись ноги и дрожали губы, а глаза были полны слез, хотя я вряд ли в ту минуту понимал ясно весь потрясающий смысл того, что совершалось. А совершалось глубоко возмутительное, даже по тому времени, дело: громадная

деревня, в несколько сот душ, ссылалась этапом в Сибирь на поселение, без следствия и суда, неизвестно за какие провинности, по единоличному распоряжению богатого помещика [22]. И это происходило в последние, можно сказать, дни перед освобождением крестьян!

Этот факт, очевидно, возмутил даже наш, косневший в чиновничье-дворянской рутине, город, так как после прохода этапа долго еще раздавались негодующие разговоры среди не расходившихся кучек обывателей. Событие это обсуждалось и в наших компаниях очень горячо и долго. Особенно волновался Николай Яковлевич, который кричал почти, что это дело вопиющее, что оставить его так невозможно, что он завтра же будет говорить с губернатором, что надо немедленно об этом донести министру и в сенат и потребовать предания суду помещика. Молодые дворяне говорили отцу, что надо потребовать от предводителя, чтобы он собрал экстренное собрание дворянских депутатов и предложил на обсуждение вопрос о лишении этого помещика дворянских прав, как совершившего деяние, противное намерениям правительства и дворянской чести.

Волновались и вели серьезные разговоры и довольно открыто, как никогда раньше, не только у нас. Судя по рассказам отца и дядей, этот случай долго еще обсуждался всеми видными представителями как администрации, так и общества, как-то сразу поставив вопрос об освобождении крестьян и вместе с тем о «водворении законности», как тогда говорили, на открытое обсуждение, о чем раньше могли говорить только в близких компаниях, да и то осторожно, полунамеками и втихомолку. Практические мероприятия, однако, по этому делу хотя и осуществились, но очень не скоро и в очень скромной форме: помещик действительно был к чему-то присужден, но был ли лишен дворянского звания — не знаю, вернее, что не был. Помнится, что и мужиков вернули на родину, но не раньше, как они прогулялись пешком в Сибирь, и неизвестно, все ли они вернулись домой целы и невредимы.

События в нашей семейной жизни между тем продолжали поражать меня неожиданностями. Дядя Александр спешно готовился к отъезду на место, чтобы

успеть заранее познакомиться с условиями своей новой деятельности. Как-то он, особенно чем-то озабоченный, зашел вечером к нам.

— Вот и ты дома! — сказал он, встретив меня в кабинетике и ласково потрепав по плечу.— Погоди, не уходи... Мне нужно поговорить. Крестный, сестрица! — крикнул он.— Зайдите-ка в кабинет. Мне нужно кое о чем поговорить.

— Знаю, знаю, братец! — заволновалась матушка.— Насчет того, чтобы Николеньку с вами отпустить в новую гимназию. Да ведь он еще совсем ребенок! Да что это вы, братец, придумали? Да с чего это? Ах, братец, как это вы материнского сердца понять не хотите...

Матушка все больше волновалась и протестовала.

— Сестрица, вы не волнуйтесь,— ласково и мягко заговорил дядя.— Подумайте, взвесьте все хладнокровно.— Надо взвесить будущее. Признаюсь вам, я боюсь за его судьбу в здешней гимназии. Хороший, умный, способный мальчик сидит три года в одном классе, теряя лучшие годы. Что же с ним будет, если и дальше так продолжится? Страшно сказать...

Дядя говорил долго, горячо и убедительно: указывал и на то, что я остаюсь совсем без помощи, что у отца дела по горло, что у нее самой масса хлопот с маленькими детьми, а между тем он, дядя, как один, мог бы всего себя отдать моему воспитанию.

Отец молчал, повидимому во всем соглашаясь с дядей; матушка тихо плакала, но в то же время не без основания возражала, что какое же может быть воспитание ребенка у одинокого молодого человека, который еще и сам не знает, как устроится в жизни.

— Ну-с, хорошо... Оставим об этом говорить теперь,— сказал дядя.— Я вот поеду сначала один, осмотрюсь там, все узнаю, устроюсь и тогда уже напишу вам подробно свое мнение, взвесив все условия. Ну, а ты как насчет этого? — неожиданно спросил меня дядя.

Увы, застигнутый врасплох, я только пыхтел, краснел и бледнел и не мог выговорить в смущении ни слова; в глубине моей души шла борьба: мне так хотелось бро-

ситься к этому чему-то новому, свежему, неизведанному, где все будет так не похоже на заплесневевшую и опостылевшую нашу гимназию, и в то же время мне было страшно вдруг оторваться от отца, матери, братьев и сестер, от своей ребячьей улицы.

— Ну, так как же? — переспросил дядя.

— Не знаю,— едва прошептал я, красный, как кумач.

— И, конечно, так: как можешь ты решить то, в чем и старшие не могут разобраться?..

— Да, это верно,— подтвердил и отец.— А все же это вопрос важный, и его нужно как-нибудь решить... А у меня дела по горло... Вот! — сказал он, подвигая к дяде бумагу.

— Разрешение на библиотеку? — крикнул радостно дядя.— Получили? [23]

— Как видишь... Но что же я буду делать... один? Все вы разъезжаетесь...

— Это ничего... Мы все вам будем полезны и оттуда... Мы уже наметили вам все нужные книги по современной литературе... Затем о ценах, о литературных новостях, обо всем подробно справится Сергей Яковлевич в Москве... Через него будете и выписывать... Ну, а как дворяне насчет помещения в дворянском доме? [24]

— Есть надежды.

— Великолепно, крестный! Начинайте!

— Да ведь не разорваться же мне,— возражал батюшка.— Надо пока отложить, хотя ненадолго.

— Эх, досадно!.. Надо бы мне годок прожить здесь, так, приватно... Да ничего не поделаешь!.. Приходится отслуживать там, куда пошлют...

Дядя загрустил.

Переживая эту массу новых, неожиданно хлынувших на меня откровений и впечатлений, я действительно стал как будто понимать, что жизнь моих близких начинала круто изменяться, что жизнь и моего отца и многих других начинала «кипеть, как в котле», а я ничего не знал и не понимал во всем этом. Последний разговор отца и матери с дядей дал мне почувствовать это как-то особенно больно... Даже название меня «ребенком», когда мне шел уже четырнадцатый год, болезненно кольнуло меня. Мне

стало стыдно и обидно за себя... А ведь в сущности это было справедливо: ведь я действительно не больше как уличный мальчик, ведь для меня еще городки дороже всякой «новой» гимназии, дороже всяких других интересов. Я даже из-за этих городков пропустил мимо ушей, как уже неоднократно отец с дядями обсуждали и решали важный вопрос об открытии в городе «нашей» библиотеки! Чем больше я об этом думал, тем больше начинал чувствовать себя каким-то отброшенным и от всего оторванным... И чем дальше, тем будет хуже: через неделю опять гимназия, с которой у меня нет никакой духовной связи попрежнему; лишив меня разумной умственной дисциплины, она отняла у меня всякую возможность воспринять от нее в должной мере хотя бы то нужное и хорошее, что она могла дать... Отец будет «кипеть, как в котле» от разнообразных дел. Мать может только беззаветно любить, изливая эту любовь в бесконечных мелочных о нас заботах... Дяди разъедутся по разным местам, и у меня сразу обрывается всякая связь со всем тем «духовным», которое нынешним летом так оживляюще пахнуло на меня веянием какой-то новой жизни... И опять я заброшен один между гимназией и улицей... Нет, надо ехать с дядей... в «новую» гимназию!

Я долго еще колебался, но, наконец, решился побежать к деду, чтобы поговорить с дядей. Я долго вертелся около него, пока решился, покраснев, сказать ему то, что меня волновало.

— Дядя, возьмите меня с собой! — пролепетал я.

— А! ты уже обдумал? Не скоро ли? — спросил он, улыбаясь.— Смотри, не пришлось бы раскаиваться... Нет, теперь уж надо погодить... Ты знаешь, что сказала мамаша: надо прежде мне самому устроиться... И это верно. Надо подождать месяц-другой... Я огляжусь там... Тогда напишу... Бабушка хотела ко мне приехать... Вот если все будет у меня хорошо и мамаша тебя пустит, тогда ты ко мне с бабушкой и махнешь!..

Передо мною вдруг теперь раскрылись радужные перспективы и надежды, и я окрылел: я мог уже жить не одной нашей гимназией и улицей с городками, но и мечтой о «новой» жизни в «новой» гимназии.

IV

Новая гимназия и «совсем новые» педагоги.— Их «нечто», подрывавшее корни старой системы.— Самокритика.— Литературные вечера и новые таинственные писательские легенды.— Одиночество номерной жизни и жгучие томления духа и плоти. Обратно на родину.

Дядя Александр скоро уехал. В гимназии формально начались уроки, но шли вяло. Ученики съезжались плохо. Я ходил и не ходил в гимназию, поглощенный своей мечтой. Духовная связь с гимназией, слабая и раньше, порвалась теперь даже формально. Месяц прошел быстро. Стали съезжаться семинаристы и студенты, направляясь в столицы. Пользуясь временным пребыванием у нас дяди Сергея и его товарищей, отец усиленно занялся с ними библиотечным вопросом: чуть не ночами сидели они за составлением каталогов для будущей библиотеки и обсуждением других частностей. До меня опять никому не было дела, и я ходил, как потерянный, с каким-то лихорадочным нетерпением ожидая письма дяди Александра. Наконец, уехали и студенты и пришло давножданное письмо. Подробно содержания его я не знаю, так как отец читал его матушке наедине в кабинете, а я с замиранием сердца слушал за дверью, как матушка часто всхлипывала, что-то возражала и как долго убеждал ее в чем-то отец. Наконец, матушка вышла, утирая слезы и по обыкновению крестясь.

— Ну что ж,— сказала она, проходя мимо меня и погладив ласково по голове,— поезжай... Может, и лучше для тебя будет... Только единственно для братца Александра решаюсь... Для кого другого ни в жизнь не отпустила бы...

Через неделю я уже сидел опять в огромном тарантасе, между моей дородной бабушкой и каким-то толстым купцом-попутчиком, укачиваемый под «малиновый» звон колокольчика и наслаждаясь любимой картиной полей и лесов с попутными селами и деревнями. Через два дня мы уже были в городе Р.[25] и в один праздничный день, утром, въезжали во двор гимназии, где в одном из флигелей занимал квартиру дядя.

Вероятно, увидав нас из окна, дядя стремительно бросился навстречу нам на крыльцо.

— И ты приехал? — вскричал он.— Вот молодец!.. И как это вы хорошо, маменька, сделали... Пойдемте, пойдемте! Сразу всех нас увидите.

Дядя, видимо, был очень доволен.

Прошло тому много лет, а я помню этот день с замечательной ясностью. В небольшом зальце дядиной квартиры вокруг большого стола сидела оживленно беседовавшая за завтраком компания: четыре его молодых товарища-учителя и дородная фигура священника-законоучителя, с большой седоватой окладистой бородой и наперсным крестом. Представив всех их бабушке, дядя взял меня, растерявшегося и смущенного, за руку и комически-торжественно сказал:

— А это, господа, юный птенец, злосчастная жертва дикого коршуна, нашей педагогии... С этого момента он — наш общий питомец... Наша задача — отогреть его и воскресить в нем душу живую... Ну, не дичись!... Ступай здоровайся... подавай руку всем... Не бойся!

И все, улыбаясь, добродушно жали мне руку, и даже почтенный иерей захватил ее в обе пухлые свои ладони.

— А теперь садись... завтракай... Мы уже кончаем,— говорил дядя, кладя мне на тарелку кусок ростбифа.

Я сел, и вдруг все мое смущение прошло: на меня повеяло чем-то знакомым, близким... Все эти молодые, веселые, ласковые лица я где-то уже видал как будто... И все мне показалось так похожим на те оживленные компании молодежи, которые собирались в последнее время так часто в нашем доме... Неужели же все это «педагоги»?.. Меня не смущал даже сановитый законоучитель — столько в нем было знакомого мне неизреченного благодушия! Но не успел я еще оглядеть всех исподлобья беглым взглядом и приняться за завтрак, как вдруг раздался грубоватый голос бабушки.

— Александр!.. Да это что ж у вас такое?

— А что, маменька? — спросил изумленный дядя.

— Да ведь нынче, кажись, воздвиженье... Что ж это иерей-то смотрит на вас?..

— А! это вы, маменька, насчет ростбифа? — добродушно расхохотался дядя.— Вы, маменька, не беспокойтесь... Я вас смущать не буду!.. Для вас, знаю, нужно другое... вот вместе с батюшкой...

— Да мне что... Я и до куска ни до какого не дотронусь... Поди еще и обедня не отошла... А вы вот зачем сами басурманите да еще ребенка смущаете?..

— Дорогая маменька,— серьезным тоном сказал дядя,— у нас на это есть свой, не легкомысленный, а глубоко выстраданный взгляд, что христианская религия не в этих мелочах заключается, а в стремлении к чистоте душевной... А у нас везде все наоборот... Мы это уж по бурсе хорошо знаем... Не правда ли, батюшка? — спросил он.

— Вполне справедливо! — серьезно заметил тот.

— Ну, и попы... у вас! — сказала бабушка, подозрительно взглянув на почтенного иерея.

Тут уже не выдержал и сам батюшка и разразился добродушнейшим смехом.

— Ну, бог с вами! Сами за себя на том свете и ответите,— проговорила бабушка.

— Вот это верно, дорогая маменька. Без насилия лучше... Где насилие, там нет истинной религии,— мягко заметил дядя.

— Мудрено говоришь... Заучились! — махнув рукой, уже добродушнее проговорила бабушка.— Налей-ка вот лучше чайку. Чего я в самом деле в чужой монастырь да со своим уставом затесалась. Простите, бога для!..

— Вот так-то лучше, маменька! — весело вскрикнул дядя, вскакивая и обнимая старуху.— Ведь мы, право, не плохие люди... Вот поживете — увидите!.. Ну, Коляка, рассказывай же нам про свою гимназию. Нам, педагогам, все нужно на ус мотать,— заговорил он со мной.— Что же, ваш поэт-инспектор уже открыл секаторский сезон?.. Как это у вас там делается, расскажи. У нас таких представлений здесь, говорят, давным-давно слыхом не слыхать... Да, знаете, замечательный в своем роде тип — этот поэтический секатор! — обратился дядя ко всем.— Какова должна быть система, сумевшая выработать такой изумительный экземпляр!

И дядя с большим юмором стал рассказывать разнообразные сцены и анекдоты из быта наших в — ских бурс — семинарской и гимназической,— вызывая то смех, то негодование среди своих товарищей. Бабушка опять было не выдержала, вступившись за репутацию своего родного города.

— Ну, маменька,— сказал дядя,— вы в это дело лучше уж и не вмешивайтесь! Тут мы вам уж ничего не уступим!..

Разговоры становились все оживленнее, пришел еще кто-то из знакомых дяде учителей, анекдоты и воспоминания из педагогических нравов «старого» времени так и сыпались одни за другими. Это все были для меня новые и новые откровения. Из моего недолгого пребывания в р — ской гимназии многое совсем стушевалось в моей памяти, но я никогда не мог забыть этот первый день, когда я впервые увидал этих «совсем новых» педагогов.

Прошла неделя, бабушка уехала, и я мог уже несколько оглядеться в новых условиях школьной жизни. Не помню, чтобы новая гимназия сразу поразила меня чем-нибудь особенно выдающимся. В ней, конечно, царила все та же пресловутая система схоластического формализма, как и везде еще, но я не мог не чувствовать, что в этом формализме существовала здесь довольно значительная брешь. Хотя во главе гимназии стояли в сущности те же чиновники и проводили ту же мертвую систему, как и всюду в то время на Руси, но благодаря, быть может, случайной традиции, заложенной раньше кем-либо из руководителей школы, отличавшимся некоторым присутствием джентльменства в своей натуре, они не позволяли себе грубых форм применения ее: здесь действительно уже почти совсем не практиковались ни порка, на затрещины, ни дранье вихров и ушей, а с учениками старших классов даже обращались на «вы». Вообще на всем школьном распорядке лежала печать хотя и чиновнической, но все же некоторой порядочности. А это имело в результате то, что в эту гимназию охотно шли новые, молодые педагоги, которые уже нередко несли с собою «нечто», подрывавшее и корни самой системы. «Нечто» это прежде всего заключалось в том, что они стремились во всем поступать просто, «по-человечески», отметая все мертвенно-сухое, холодное и жестокое, что лежало в корне системы. Конечно, изменить всю систему, со всем ее несуразно тяжелым аппаратом, они не могли и мечтать, но личными отношениями они создавали все же атмосферу более терпимую, чем в разных тогдашних бурсах.

В новой гимназии я пробыл слишком короткое время,

чтобы она сама по себе могла оставить прочный след в моем развитии. В общем, впечатления от нее остались у меня довольно смутные, и только воспоминания о кружке молодых педагогов, группировавшихся около дядя Александра, остались навсегда в моей душе соединенными с представлением о быстро промелькнувших моментах моей юной жизни, несомненно наложивших на нее свою печать. Но в чем именно сказалось это влияние, было бы очень трудно формулировать. Это был ряд мелких, повседневных, интимных впечатлений, которые незаметно пока для меня вливались в мою душу освежительной струей.

Трое-четверо из молодых приятелей дяди сообща столовались у нас, приходили ежедневно завтракать и обедать и нередко собирались по вечерам. Все они, бодрые, жизнерадостные, оживленные, переживали первые дни медовых месяцев своей молодой жизни, откровенно и непринужденно делясь друг с другом всем, что зарождалось, бурлило и перерабатывалось в их молодых умах, охваченных идеалистическим брожением. И все это происходило на моих глазах, в домашней обстановке, просто, по-человечески и, конечно, не могло не поражать меня прежде всего контрастом между теми представлениями о педагогах, которые сложились у меня почти с детства, и тем, что я видел здесь. Уже одно было для меня поразительно, как юные педагоги предавались с необыкновенным азартом педагогической «самокритике», не щадя ни самих себя, ни друг друга, ни своих коллег. Эта самокритика всего чаще происходила во время завтрака (в большую перемену, когда собирались у нас же в квартире) и за обедом, когда еще были особенно свежи впечатления от только что оконченных уроков, на которых я видел этих «новых» педагогов, к моему изумлению, совсем, совсем такими же простыми, ласковыми, искренними и оживленными, как и дома. Многие из них, особенно юные и еще неопытные, часто делали педагогические «промахи» на своих уроках и предавались по этому поводу искреннему самобичеванию и покаянию. Мне особенно вспоминается учитель истории [26], худенький, низенький, почти еще юноша, в форменном фраке с фалдами чуть не до пят, в золотых очках на большом носу, на кончике которого вечно висела капелька, он был как-то мило-комичен и в то же время необыкно-

венно привлекателен своей юношеской непосредственностью и душевной чистотой. Лектор он был превосходный; когда он рассказывал урок, самые шаловливые школяры слушали его с увлечением; но он горько жаловался, что совсем не умеет задавать уроки, спрашивать их и оценивать познание своих слушателей, что он не умеет дисциплинировать их и они частенько «водят его за нос» (как откровенно признавался он). Но с историей дела могли быть еще поправимы.

Не то с русским языком. Особенно тяжелым испытаниям пришлось подвергаться в первое время дяде Александру. Схоластическая программа преподавания русского языка в то время царила еще всюду, и неимоверно трудно было примирить ее с преподаванием «по-человечески», при всем искреннем желании. В то время еще не существовало не только мало-мальски сносных учебников и пособий, но, повидимому, не были выработаны даже и самые методы более рационального преподавания. «Новым» педагогам приходилось все это вырабатывать самолично, на свой риск, опытным путем.

Особенно было трудно ведаться с младшими классами. Нелегко было заинтересовать маленьких школяров грамматической и синтаксической схоластикой, вкупе с славянским языком, при всем усердии сделать это по возможности по-человечески. Дядя буквально бился как рыба в этих схоластических сетях, связанный обязательным выполнением программы. А в то же время ученики старших классов, где взаимное понимание между ними и «новыми» педагогами устанавливалось скоро и легко благодаря живому интересу, который могло возбуждать в юных умах мало-мальски живое преподавание теории словесности, истории и литературы, были в восторге от молодых педагогов и чуть не на руках их носили.

И вот все эти педагогические успехи и огорчения молодых педагогов служили постоянной темой оживленных бесед на наших общих завтраках и обедах, а также и вечерами, когда опять нередко сходились все у нас.

Эти вечера, однако, носили уже не такой специальный характер: на сцену выступала главным образом «литература»; приносили книжки, журналы, статьи, брошюры; читались какие-то таинственные «секретные записки»,

чьи-то объемистые, получаемые «с оказией» письма из-за границы и Сибири... из Петербурга и Москвы... Дядя обыкновенно позволял мне присутствовать в общей компании, но только вначале и не больше, как на полчаса-час, а затем старался предупредительно спровадить меня в мою комнату, советуя заняться приготовлением уроков и не развлекаться «посторонними вещами». Но как ни педагогично-предусмотрительно это было со стороны дяди, тонкие стенки перегородки довольно свободно пропускали ко мне много очень интересных и совершенно новых для меня сведений. Так я узнал, что и дядя и некоторые из его товарищей стояли в очень близких отношениях к известным петербургским и московским литераторам [27], особенно из молодых, что некоторые из них очень умные и талантливые писатели и что сочинения их с большим интересом читаются всеми образованными людьми, но при этом прибавлялось, что они слишком «горячи», что открыто говорят «всю правду», что у них поэтому много врагов и что, пожалуй, им «не сдобровать»... Узнал я, что значит и это таинственное «не сдобровать»: не сдобровало уже и раньше много писателей,— многие из них, говорившие «всю правду», должны были бежать за границу, другие были отданы в солдаты, третьи были сосланы в Сибирь на поселенье и даже на каторгу, в рудники [28]... Стоит только представить, что обо всем этом говорилось и читалось большею частью вполголоса, отрывками или полунамеками, чтобы понять, в какой странной форме все это достигало моего сознания, какой ряд причудливых, легендарных образов создавался из этих обрывков в моем воображении, которое уже хранило в своей глубине туманное отображение каких-то других столь же причудливых образов разных «мучеников» и «страстотерпцев», о которых в детстве мне так часто и столь же таинственными полунамеками рассказывала религиозная легенда в кухонной избе нашего провинциального домика...

Я не хотел бы, однако, чтобы из этих слов читатели этих записок вывели преувеличенное представление о степени моего «разумения» в то время. Увы! эти легендарные образы, несмотря на весь свой трагический смысл, говорили пока моему сознанию не более, чем те чудовищно-фантастические сказки, которые я раньше выслушивал от

своих нянек с таким трепещущим от ужаса любопытством: реальный смысл их был еще для меня недоступен. Несомненно, однако, что все это, полусознаваемое мною, складывалось на глубине моей души, неощутимо для меня формируясь в то сокровенное «святая святых», которое носит в своей груди каждое человеческое существо и с которым уходит в могилу.

А пока... пока властные стихии жизни продолжали ткать таинственную паутину.

Прошло полтора-два месяца, как наши оживленные общие завтраки и обеды благодаря каким-то хозяйственным неудобствам (кажется, просто по непрактичности дяди и чересчур уже очевидной недобросовестности кухарки) должны были прекратиться, а затем все реже стали собираться и на наши интимные «литературные» вечера, так как и сам дядя стал все чаще уходить по вечерам из дома. Иногда он брал меня с собой в те семейные дома, где были мои сверстники, но чаще я оставался дома один, в сообществе прислуги, которая, пользуясь отсутствием дяди, устраивала у себя на кухне настоящие журфиксы с гимназическими сторожами. Начало сбываться то, что предсказывала моя матушка и перед чем действительно спасовал дядя: он был слишком молод, слишком сам еще хотел жить всеми «впечатлениями бытия», чтобы создать для меня подходящую обстановку, пожертвовав для моего воспитания всем своим молодым досугом. Сделать это он, конечно, был не в силах. Занявшись со мною час-полтора, он забрасывал меня «самыми интересными», по его мнению, книгами и затем оставлял одного, вполне уверенный, повидимому, что для меня было вполне достаточно того уже благотворного влияния, которое, по его мнению, должна была иметь на меня общая атмосфера «новой» гимназии. Но он ошибался. Меня, привыкшего к уюту семейной жизни и свободному раздолью ребячьей улицы, раздражала обстановка номерной жизни, я с каждым днем становился нервнее и недовольнее, во мне все сильнее росло чувство неудовлетворенности, которое было тем тяжелее, что оно было неопределенно и неуловимо. Я уже был накануне того критического переходного от отрочества к юношеству периода жизни, когда молодая натура бывает полна неясными, полусознанными, туман-

ными и тем не менее необыкновенно властными порываниями и стремлениями, требующими того или иного исхода. В одиночестве такой исход бывает особенно роковым. Я был положительно окутан туманом неопределенных стремлений и искал и не видел для них исхода. Меня то охватывали религиозно-идеалистические экзальтации: я решал «отречься от всего», уйти в келью, в монастырь и здесь посвятить себя «подвигу» или взять на себя какой-то «крест» и пуститься странствовать по святым местам, по далеким стогнам и весям *, то вдруг вспыхивала во мне неудержимая страсть к «греховной» жизни, и я, весь пылая внутренно от стыда, припадал ухом к перегородке, жадно вслушиваясь в хихикающий шепот кухарки с ее кумом; то, наконец, подавленный всем ужасом греховности и низменности своих помышлений, я страстно искал спасения в создании в своем воображении идеально-чистого, «святого» образа девушки, при которой даже самая тень чего-либо «плотского» не могла быть терпима. Я был беспомощен. Дядя, повидимому, и не подозревал ничего подобного: ведь он дал мне для утешения такие интересные книги. Помню, между прочим, особенно рекомендовавшиеся в то время для детей «Детские годы Багрова-внука» Аксакова [29], «Рассказы из русской истории» Ишимовой [30] и т. п. Да, книги были действительно интересны, но это был внешний интерес для меня; они не могли ответить таинственным процессам моей души, как отвечала когда-то ласка матери, ее мистически-религиозные мечты и рассказы, фантастическая сказка няни, как отвечали еще недавно хотя и не во всем понятные для меня, но все же увлекающие, оживленные беседы у нас молодежи и те полутаинственные, полные трагического смысла легенды, к которым я прислушивался с такою жадностью... Нет, забитый схоластикой, мой ум не умел еще искать и находить в книге духовного друга, да и не подозревал о возможности этого. Новые товарищи? Но я не успел еще сойтись с ними, встретить среди них близкую по душе натуру. А дядя ничего не знал этого и не замечал, по крайней мере вначале, просто потому, что он сам весь был охвачен в этот момент тоже таинственной неопреде-

---

* улицам (площадям) и селам.

ленной мечтой, теми же властными стремлениями найти исход своим душевным томлениям в интимной ласке близкого друга, в слиянии с единочувствующей душой... Проще сказать, дядя был влюблен.

Как-то незадолго до рождественских каникул дядя вернулся вечером особенно оживленным и веселым. Он вынул из бокового кармана фотографическую карточку и, вставив в рамку, поставил на письменный стол: это был портрет не особенно красивой, но с замечательно симпатичным лицом барышни.

— Коляка! — сказал он весело.— Это моя будущая невеста... Нравится тебе?

Я вспыхнул, как зарево. Вот лицо идеально-чистой, духовно-прекрасной девушки, при виде которой всякая грубая греховная мысль была бы преступна! Я уже вперед «обожал» ее. Меня как-то внезапно озарила, как молния, мысль, что, если бы я мог видеть и знать, как дядя, такое идеально-чистое существо и «обожать» его, я воскрес бы, и густой туман терзавших меня неопределенных стремлений рассеялся бы, как перед лучами солнца.

— А вы, дядя, познакомите меня с нею? — робко спросил я.

— Ну, конечно, не теперь только... После рождества разве...

— Это вы все к ней ходили?..

— Да... Влюблен, Коляка, влюблен... Да такую душу нельзя не полюбить! — восторженно сказал он, похлопывая меня по спине.— Вот ты узнаешь после... А ты мне не нравишься,— прибавил он, всматриваясь в мое лицо,— ты худеешь, стал вялым... да и занятия твои идут неважно... Я уже давно стал замечать... Да, конечно, я виноват, кругом виноват... Оставил тебя без любви, без ласки... Этого ничто не может заменить...

И настроение дяди, как всегда, быстро изменилось на мрачное и печальное.

— Надо ехать... домой, к своим,— сказал он после долгого молчания и глубоко вздохнул.— Я прежде думал, что мы останемся здесь... Весело проведем праздники вместе... с тобой и друзьями... Нет, надо ехать... Там начались хорошие дела... И для тебя надо ехать... Ты оживешь у своих... А там посмотрим.

Через неделю я ехал опять на родину... чтобы уже никогда не вернуться сюда обратно.

Этот промелькнувший в моей юношеской жизни короткий эпизод, смутный в общем, запечатлелся в моей душе некоторыми отдельными моментами: так остаются дорогими и памятными навсегда моменты зарождения в душе первых чистых и возвышенных представлений. Здесь впервые в мою душу были брошены семена той «второй легенды» — о высокой миссии писательства, которая, неощутимо и несознаваемо еще мною, духовно пленила меня.

V

Первые шаги на поприще духовного преображения.— Мой новый «храм».

Был ясный морозный день, когда мы с дядей, под веселое взвизгиванье полозьев, въезжали в нашу В — скую «большую улицу». Несмотря на прошедшие давние годы, я все же помню, что охватившее меня в то время настроение было какое-то новое, необычное, не испытывавшееся мною раньше; прежде всего оно было, несомненно, бодро и радостно, но не от того только, что я снова «дома», что сейчас опять буду в привычной обстановке, среди близких, а от чего-то другого, небывалого, что поселилось в моей душе. И это «новое», раньше не испытанное, странно преображало все, что мелькало перед моими глазами: все эти старые знакомые улицы, старые церкви, дома, люди не были, однако, прежними,— все они перепутывались в удивительных сочетаниях с новыми людьми, зданиями, улицами, по которым я недавно ходил, и все это приняло вид чего-то как будто вновь окрашенного, омытого, веселого и бодрого... Вот мелькнула наша старая гимназия, и мне бросилось в глаза, что это не она, прежняя, а другая, заново выкрашенная, весело обливаемая яркими лучами солнца, что входившие и выходившие из нее лица были уже не прежние, вроде Аргуса или «поэтического» секатора, а какие-то иные, преображенные или совсем другие, те, которых я только что несколько дней назад видел так близко... А вот и дом дворянского собрания, с которым у меня благодаря судьбе соединилось столько отрадных

и жутких впечатлений; вот и он мелькнул передо мною уже совсем «преображенным»: вместо прежней облезлой и тусклой желтой краски он блестел яркой белизной, новым вестибюлем и... и новой, как «с иголочки», игравшей золотистым переливом и окаймлявшей полукруглый угол его фронтона вывеской: «В — ская публичная библиотека»! О, я уже теперь знаю, что это такое!.. Вот они, эти маленькие существа, которые попадаются нам навстречу в фуражках с красными околышами и которых обзывают так грубо «красной говядиной» и среди которых попался бы и я раньше,— они и не подозревают, что это такое вдруг появилось на нашей Большой улице под этой невиданной раньше вывеской, какая удивительная тайна легенд скрывается под нею... Нет, я уже не тот, не «прежний», что был всего четыре месяца тому назад! И смутное ощущение этого «нового», что я нес теперь в своей душе, все то, что еще так недавно пережил я, как бурный бессознательный порыв тайных и жутких противоречивых душевных томлений,— все это сказалось теперь смутным сознанием зарождающейся возмужалости, сопровождавшимся своеобразным чувством тайной гордости.

С этим настроением я подъезжал к нашему маленькому домику, находившемуся вблизи окраин. Как нарочно, и он вдруг встал передо мной «преображенным», словно отвечал моим тайным ощущениям! Мне стало еще больше весело и радостно. Наш небольшой пятиоконный домик, который еще недавно оставил я покосившимся уже на один бок, с заросшей плесенью и местами продырявленной крышей, с тускло черневшими бревнами старых стен, теперь,— обитый тесом, окрашенный свежею охрой, с починенной крышей и даже с приделанным сбоку «парадным» крыльцом,— являлся поистине «преображенным», хотя и занесенным попрежнему глубокими сугробами до самых окон.

Выскочив из кибитки, я, как бомба, выражаясь по-школярски, влетел неожиданно в комнаты, и, наскоро сбросив теплое одеяние, наскоро поцеловав перепуганную матушку, залившуюся слезами от неожиданной радости, наскоро перечмокав мелюзгу — братьев и сестер, я, сопровождаемый, как свитой, этой щебечущей мелюзгой, быстро пронесся несколько раз по всем комнатам, ища

всюду «преображения». Да, оно было и здесь: были выбелены потолки, двери и окна, стены были оклеены новыми дешевыми обоями, по которым так весело играли врывавшиеся в окна солнечные «зайчики», а в гостиной, которая была длиной в пять аршин, стояла новая «мягкая» мебель: диван, шесть стульев и круглый стол!.. Это было невероятно!

— Это все без тебя! Все без тебя! — щебетала вокруг меня мелюзга.— Очень папаша торопился все отделать к зиме. У нас все разные гости собирались... Много гостей! А книг, книг сколько было... Целые ящики... Все разбирали... Теперь их увезли в собрание.

— Хорошо здесь стало! — воскликнул я с наивной радостью.

— Хорошо, Николенька, хорошо у нас дома! — подхватила, обрадовавшись, матушка.— А будет и еще лучше... Не хуже, чем в чужих местах... Может быть, и лучше будет на своей-то родине,— на что-то намекала она дяде Александру.

— Я очень буду рад за всех вас, сестрица,— несколько смущенно говорил дядя.— Я, конечно, немного виноват... Не сумел сделать многого или, лучше, не успел... Но все же я не сомневаюсь, Коля увидал и узнал кое-что новое и доброе... Это для него не пройдет бесследно...

Дядя продолжал беседовать еще с матушкой, а я уже опять натягивал теплое пальто.

— Теперь в библиотеку!.. Сережа, идем! — крикнул я брату.— Все там? И дядя Сергей и папаша?..

— Все, все!..

Матушка тщетно старалась меня удержать, чтобы «хоть немножко наглядеться» на меня. Через десять минут я с братишкой уже был в дворянском доме, в «нашей» библиотеке. В первой же комнате кипела работа; здесь были и отец, и дядя Сергей в студенческом мундире, и еще три-четыре студента из семинаристов; один распаковывал книги из тюков и ящиков, другие вписывали их в каталоги и сортировали, третьи наклеивали на корешки номера и ставили в шкапы... Как все это было весело, ново и интересно!.. Так замечательно свежо пахло сосной и масляной краской от новых шкапов, так ново было ощущать особый запах печатной бумаги, шедший от этих, так ве-

село лежавших на столах в разноцветных новеньких сорочках, только что полученных стопок книжек... Как и дома, я было вихрем пронесся по всем комнатам, жаждая сразу захлебнуться новизной впечатлений; но тот торжественно-строгий покой, который окружал всех стоявших в шкапах новых таинственных обитателей этих больших комнат, как-то вдруг заставил меня сконфуженно притихнуть: я вспомнил, что я уже ведь знал кое-что важное про этих таинственных обитателей... И я тихо и медленно, почти с благоговением и трепетом, как в церкви, стал робко всматриваться в новый окруживший меня мир явлений. Да, это было действительно что-то новое и необычное не только для меня, но и для громадного большинства обитателей нашего города. Оказалось, что это была не только библиотека, но целый музей, устроенный и с знанием дела и со вкусом. При очень скудных личных средствах отец сумел привлечь к делу сочувствие наиболее энергичной интеллигенции и при ее содействии сосредоточить здесь все то местное культурное богатство, которое до той поры, пренебреженное и заброшенное, терялось, как никому ненужное, по разным темным углам. Благодаря этому четыре больших комнаты оказались заполненными сверху донизу. Первая за конторой комната с длинным столом, покрытым зеленым сукном, играла роль читальни, а шкапы были наполнены современной, так сказать, «текущей», наиболее рассчитанной на спрос литературой; в следующей, в торжественном покое, из-за стеклянных рам смотрели увесистые фолианты в несокрушимых кожаных переплетах, содержавшие в себе произведения всех тех почтенных покойников от Ломоносова и Сумарокова до князя Шаликова и адмирала Шишкова, которых читатели любят «уважать», но очень редко читают. Это были археологические остатки кем-то основанной еще в тридцатых годах общественной библиотеки, давным-давно прекратившей свое существование; о ней помнили только старожилы да напоминали эти внушительные томы, которые были целые годы погребены в каком-то сыром архиве [31]. И вот они опять увидели и свет, и солнце, и новых людей, а новые люди снова вспомнили произведения почтенных деятелей, любуясь на их переплеты из телячьей кожи, но не рискуя погружаться в их содержимое. Остальные две комнаты

были заняты отчасти этнографическим, отчасти сельскохозяйственным музеем, представлявшим, кажется, довольно бессистемное собрание всевозможных предметов, но все же разнообразное и интересное настолько, чтобы привлекать публику для обозрения. Наконец, к довершению всего, в библиотечных комнатах, в простенках между окнами, на белых тумбах внушительно красовались большие гипсовые бюсты Пушкина и Гоголя и таких «великих людей», как слепой Гомер и большеголовый лысый Сократ, которые решительно ничего не могли говорить сердцу нашего ординарного обывателя и исключительно служили только для вящего его устрашения вместе с археологическими фолиантами старой библиотеки.

Итак, вот какой новый «храм» был воздвигнут в то время у нас «преображенными» людьми,— храм, который надолго, хотя и «поверженный» вскоре, оставался для меня храмом, с которым меня навсегда связали интимные нити духовной жизни.

Меня уже на следующий день прикомандировали к библиотеке помогать старшим. Надо было торопиться все привести в порядок к предстоявшему после праздников экстренному дворянскому собранию, чтобы предстать во всем блеске перед очами «просвещенного сословия». Я был польщен необыкновенно и с азартом новопосвященного принялся за дело, вписывая с таким усердием заглавия книжек в каталоги или наклеивая корешки номера, как будто я священнодействовал. Помню, что с таким же сознанием важности дела я священнодействовал, когда меня, десятилетнего мальчика, прикомандировали к алтарю помогать деду: с каким благоговейным трепетом подавал я тогда деду большую свечу во время выхода с евангелием или с дарами, держал «теплоту» во время причастия. И чуть ли не с таким же благоговейным трепетом я прикасался теперь к каждой книжке. Насколько, всего несколько месяцев назад, я был безнадежно равнодушен ко всякой книге, настолько теперь я, можно сказать, обожал тоже всякую книжку, без малейшего отношения к ее содержанию, точь-в-точь так, как я заочно обожал невесту дяди Александра... по одной фотографической карточке! Такими парадоксальными скачками, но неудержимо совершалось мое собственное «преображение».

Не следует, однако, думать, что я теперь только и делал, что священнодействовал. Я далеко не был таким «паинькой». Напротив, я с еще большим увлечением каждый вечер посвящал уличному спорту с моими прежними сподвижниками по этой части, тем более что я теперь в их глазах не был уже «прежним», а был герой, на целую голову переросший их всех, побывавший чуть ли не в другой части света, о чем им и во сне не могло сниться. А одно священнодействие в библиотеке чего стоило в их глазах! Кто из них был еще другой, который бы удостоился так близко стоять к этому новому, таинственному храму? Кто мог им, кроме меня, передать о всех тайнах этого храма и «других стран света»? Таким образом, мало-помалу преображался и спорт нашей ребячьей улицы.

VI

Накануне освободительной битвы.— Скрытый масон.— Обольщения «высшей» культуры.

Начало нынешних рождественских каникул накануне 60-го года отличалось совершенно своеобразным характером. Наша семья вместе с близкими знакомыми была охвачена лихорадочной подготовительной деятельностью к чему-то далеко не говорившему о близком праздничном отдыхе и покое. Отец, что называется, разрывался на части: никогда, кажется, не сваливалось на него столько обязанностей и забот, как в эти дни. Воспользовавшись приездом молодежи, он тотчас же сдал все устройство библиотеки в ее руки, забегая в нее только урывками. С раннего утра он уже бежал в дворянский дом, где в качестве временного секретаря дворянства и вместе смотрителя он следил за спешным приведением к концу обширного ремонта дома, долженствовавшего предстать перед ожидавшимся необычно большим съездом дворянских депутатов во всем возможном блеске; в полдень он ехал к предводителю с кипой докладов, а затем в комитет по крестьянскому делу. Спешно пообедав, он уже бежал опять на частное собрание к Николаю Яковлевичу, а вечером долго беседовал с дядей Александром, читая

какие-то обширные доклады с длинным рядом цифр, которые он писал по ночам. Нередко по вечерам же к нам забегал сам Николай Яковлевич, один или с кем-нибудь из знакомых дворян; не раздеваясь, они наскоро наводили какие-то справки, о чем-то шептались и с нервной торопливостью бежали опять куда-то или же так, нераздетые, просиживали за переговорами целые часы. И отец и Николай Яковлевич все время были в таком возбужденно-нервном настроении, в каком я их еще никогда не видывал. Очевидно, готовились события большой важности, смысл которых для меня был, однако, еще скрыт под таинственной завесой. Как-то, кажется в сочельник, уже вечером поздно прибежал Николай Яковлевич и с взволнованной торопливостью передал отцу пачку свежих брошюр.

— Уже готово? — спросил отец.

— Готово. Вот это для вашей библиотеки и для продажи.

— Так ничего и не изменили?

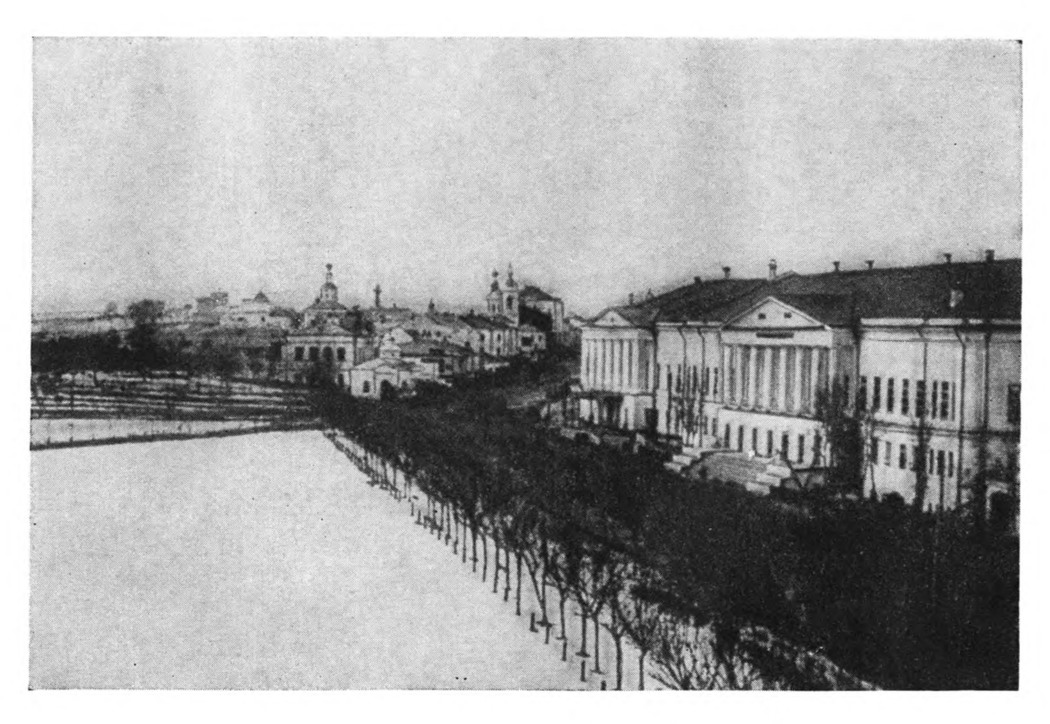
— Нет! — выразительно сказал Николай Яковлевич и, с отчаянной решимостью махнув рукой, убежал опять.

Отец ничего не сказал, но тотчас же спрятал брошюры в ящик стола и запер на ключ, может быть обеспокоенный моим присутствием.

Содержание этой брошюры [32], очень серьезной, как тогда говорили, по опубликованным данным, я теперь уже не помню; вероятно, я если и читал тогда ее, то мало понял, так как она была наполнена статистическими таблицами, в которых я тогда совершенно не умел разбираться. Но это была та брошюра, которая подала повод к ожесточенной полемике между представителями местного общества. В ней были сгруппированы чрезвычайно резкие выводы относительно экономического и правового положения крепостных крестьян...

Спустя несколько месяцев после появления этой брошюры нашего экспансивного Николая Яковлевича уже не было в нашем городе...

Рождественские праздники продолжали проходить у нас в той напряженно-деловитой атмосфере, которая так не похожа была на прежнее неизреченно-благодушное настроение, с которым они проводились обыкновенно раньше.



Дом Дворянского собрания, в котором помещалась библиотека Н. П. Златовратского

Благодаря общему возбуждению, порожденному все более проникавшими вглубь провинции слухами о реформах, наш дом, особенно теперь, в свободное праздничное время, еще более чем прежде стал буквально осаждаться разнообразными обывателями глухой провинции — и дальними родственниками, и знакомыми из бедного сельского духовенства, и кое-кем из мелкопоместных дворян, и, наконец, совсем незнакомыми, преимущественно из крестьян «как мужеска, так и женска пола», которые шли и ехали к нам для «проверки» разных «слухов», тревоживших их своей настойчивостью и часто невероятностью. В объяснениях с ними, за частым отсутствием отца, приходилось принимать участие всем нам: и матушке, и дядям, и даже иногда мне. Объясняться с ними приходилось мне, конечно, мало, но слушал и наблюдал я их с большим интересом. Среди них было немало очень своеобразных личностей; некоторые из них были мне раньше хорошо знакомы, как давнишние посетители нашей кухни и излюбленные собеседники моей матери. Впоследствии образы их часто всплывали в моем воображении со всей их своеобразной поучительностью.

Между тем, чем ближе к Новому году, тем все больше наш город начал наполняться дворянами из уездов. Каждый день все новые возки, кибитки и старинные дормезы шестернями и цугами мчались по Большой и Дворянской улицам, развозя по гостиницам и знакомым домам дворянские семьи. Наш малонаселенный и скучный городок в этом случае оживлялся необыкновенно, а в этот год особенно. Немногочисленные гостиницы переполнялись быстро, магазины и лавки торговали так только один раз в три года, все чистые отделения гостиниц кишели гостями, которые за одну неделю окупали целый год. Портные и модистки изнемогали под бременем заказов. На улицах царило давно не виданное оживление. Дворянский дом с утра до вечера осаждался дворянами, заглядывавшими в него под видом разных «справок», главным образом с целью повидаться и побеседовать друг с другом, а так как их, до публичных собраний, в главные залы пока не пускали, то они, узнав о существовании библиотеки, целыми толпами стали «обозревать» ее, не столько интересуясь тем, что в ней есть, сколько возможностью покурить

и поболтать с приятелями. Как ни интересно было для меня увидать и наблюдать сразу такое множество разнообразных представителей передового сословия, но я был очень огорчен, когда в конце концов с началом депутатских заседаний мой «храм» был превращен в буфетную и раздевальню, а посетители совершенно забыли о его специальном назначении.

Наступил Новый год. Заново, роскошно, по тому времени, отделанные залы дворянского дома должны были впервые открыться для избранной публики: сегодня был назначен литературно-музыкальный вечер с танцами. Отец волновался уже с утра, так как предполагался «генеральный» обход всего дома предводителем с депутатами, а вместе и библиотеки. Отец, уходя, сказал, чтобы я и дядя Сергей приходили к двенадцати часам в библиотеку на помощь ему. Это меня тоже немало волновало, тем более что отец обещал взять меня на литературный вечер. До сих пор я никогда не присутствовал на светских торжественных собраниях, кроме довольно вялых и официально гимназических актов и единственного случая, когда нас, гимназистов, водили в дворянскую залу на угощение конфетами по случаю приезда какого-то высокого гостя.

Мы с дядей уже давно были на своем посту в библиотеке, когда, наконец, обойдя залы дворянского дома, предводитель с некоторыми депутатами и канцелярской свитой появился в библиотеке. Мне уже давно хотелось побольше узнать этого «таинственного» для меня предводителя, имя которого чуть не ежедневно упоминалось в нашем доме, а в наших интеллигентных компаниях его иначе не называли, как «старый» или «скрытый масон».

Вначале это прозвище меня мало интересовало, но когда по приезде нашем дядя Александр как-то, обращаясь к отцу, спросил: «Ну, а как же ваш скрытый масон поживает?» — я тут же пристал к нему за разъяснением. Хотя из кратких полунамеков дяди я мог понять только, что наш предводитель когда-то, в очень давнее время принадлежал к какому-то «тайному недозволенному сообществу, распространявшему запрещенные сочинения», однако это меня сильно теперь заинтересовало. Так вот он каков, этот «наш» предводитель! Он, значит, тоже кос-

венно прикосновенен к той легенде, тайны которой еще недавно только чуть раскрылись передо мной. Понятно, с каким нетерпением я ожидал его «увидать поближе», так как до сих пор я видел его только издали, когда он приезжал иногда в гимназию в качестве попечителя или присутствовал на гимназических актах.

Это был уже очень почтенный старичок, среднего роста, сутуловатый, высохший, как стручок, на необыкновенно подвижных тоненьких ножках, с головой, покрытой жидкими седыми волосами, которые он, повидимому, старался причесывать «по-суворовски»; черты его бритого сухого лица, с таким же длинным сухим носом, были тоже чрезвычайно подвижны, а маленькие серые добродушно-острые глазки бегали с предмета на предмет, как мышата. Облаченный, как в ризу, в расшитый золотом дворянский мундир, с треуголкой подмышкой, он казался мне сначала комичным.

— Не правда ли, как это все хорошо? Что? А? Как это умно!.. А? Что? Неправда ли? А? Что? — быстро говорил он, перебегая глазами с одного спутника на другого и переходя от шкапа к шкапу, когда отец давал ему объяснения.

— Благодарю, благодарю тебя, Николай Петрович,— говорил он отцу.— Ты мне удружил этим, как никогда... Да... А? Что?.. Я очень рад, что мог тебе помочь в этом... Давно, давно пора было!.. Не правда ли? А? А ведь вот, кроме него, никто этого не придумал... А? Что? — продолжал он сыпать своей любимой поговоркой.

— А это кто? — вдруг спросил он, нечаянно заметив меня спрятавшимся за бюст Гомера.

— Гомер, ваше-ство,— подсказал кто-то.

— Нет, нет... Вот кто это спрятался тут...

— Это, ваше-ство, мой старший сын,— сказал отец, извлекая меня, красного как кумач, за рукав из-за Гомера.— Мой помощник,— прибавил отец.

— Это твой помощник?.. А? Что?.. Ты понимаешь, мальчик, что это значит?! Помощник?.. А? Что?.. Понимаешь? — вдруг спросил он меня.— Ведь это твое счастье, мальчик, редкое счастье... Понимаешь?.. Ведь до твоего отца ничего здесь этого не было... Люби отца, люби и помогай ему всю жизнь... А? Что?..— спрашивал он меня,

ласково играя глазами и обращая ко мне ухо. Но я только в ответ краснел и пыхтел.

— Хорошо, очень хорошо!.. Благодарю тебя, Николай Петрович, еще раз... Ты очень удружил мне. Я рад, очень рад, что это устроилось при мне,— говорил он при уходе.— Это честь мне и вам, господа... А? Что? Не правда ли? — обратился он к депутатам.

Но я уже не слыхал, что ему отвечала его свита за дверями. Я схватил фуражку и побежал домой, чтобы поделиться новыми впечатлениями. Признаться сказать, мне «наш» маленький предводитель, этот «скрытый масон», очень тогда понравился, и я радовался при мысли, что именно он будет покровителем моего нового «храма». Но — увы! — я и не предполагал, что дни его предводительствования уже сочтены. Мне с ним, спустя несколько лет, пришлось снова видеться и даже беседовать, но уже совсем при иных условиях.

Как ни заинтересовала меня личность старого масона, уложенная, как в футляр, в дворянскую ризу, но мысль, что сегодня вечером я, мальчик уличного спорта, впервые буду присутствовать на «торжественном» собрании в честь литературы и искусства (так в моем воображении рисовался мне предстоящий литературно-музыкальный вечер), поглощала все мое существо. Я читал и без конца перечитывал афишу с таинственными для меня именами артистов. Еще раньше долетали до меня слухи, что «передовые» дворяне решили нынче устроить концерт с небывалой помпой, чтобы «подготовить настроение», что кто-то из них должен был «привезти» из Москвы крупные артистические силы. И вот я был «там», в роскошном зале, сияющем от тысячи «калетовских» свечей в люстрах и канделябрах, переполненном разодетой дворянской публикой... Я слышал «знаменитого» комика Живокини [33], читавшего из Беранже и из «Горя от ума», слушал чарующие звуки скрипача-виртуоза, переливчатые трели «самодельных» певиц и певцов-любителей и «видел», как читал что-то «смешное» из Щедрина известный мне «передовой» дворянин, добродушный толстяк-юморист, часто бывавший у нас. О Щедрине я тогда не имел еще никакого понятия, кроме легенды об его ревизорстве [34], да слышал, как говорили, что чтение «из него» публично считалось тогда

очень рискованным «либеральным» выступлением... Впечатление на меня было в полном смысле ошеломляющее... Это было для меня настоящей феерией... Моей юной души впервые коснулось обольщение блеском «высшей» культуры, и, бог весть, сколько в этот вечер всколыхнулось в моей душе темных, еще несознательных стремлений, инстинктов, порывов... В сущности весь этот литературно-музыкальный вечер был, конечно, не больше как житейская мелочь, на которую мы привыкли смотреть с обыденной точки зрения, как на явления эфемерные и преходящие. Но сколько раз пришлось мне убеждаться, какое огромное значение могут иметь эти мелочи на дальнейшую судьбу иного юного существа. Нередко это влияние бывает более роковым и решающим в его жизни, чем иные крупные и трагические события, которые могут сильно поразить его временно, но не затронуть глубоко его внутреннего духовного существа.

VII

Генеральное сражение.— Старая гимназия и мои странствования в «величественном лесу».— Моя новая миссия и новое противоядие «всей системе».

Следующие дни я был еще весь под впечатлением этого феерического для меня вечера, а между тем вокруг меня разыгрывались события чрезвычайной важности в жизни и нашей семьи и многих других. На другой же день после концерта с утра начались заседания дворянских депутатов. Отец уходил рано и возвращался поздно, усталый и взволнованный. Обыкновенно его уже ожидали у нас дяди и кто-нибудь из знакомых, жаждавшие узнать из первых рук о ходе дела.

— Ну, теперь начинается! — однажды сказал, возвратившись, отец.— Я очень боюсь за Николая Яковлевича, его так разносят, что хоть не показывайся... Брошюру его читают нарасхват... Шум, гам, споры, чуть не до драки... Признаться, даже я не ожидал, что у нас так много еще крепостников. Завтра, поди, будет генеральное сражение.

Что это предстояло за генеральное сражение, между кем и почему, я все еще понимал очень смутно, но меня

снова охватило такое страстное желание опять увидать роскошный дворянский зал, переполненный народом, такая жажда новых впечатлений, что я неотступно пристал к отцу взять меня завтра с собой «поглядеть хоть в щелку» на то, что происходит в собрании.

— Ну, хорошо,— сказал он,— приходи завтра в библиотеку... Там увидим.

Дворянский дом с вереницей подъезжавших к подъезду богатых саней и карет выглядел внушительно. Седой швейцар в маскарадном костюме, с булавой и в треуголке так угрожающе посматривал на кучеров и лакеев, оказался давно знакомым мне добродушным стариком-сторожем, который чуть ли не носил меня еще на руках; он, конечно, тотчас же милостиво отворил мне двери недоступного теперь для многих смертных святилища. Я быстро, как мышь, проскользнул между рядами лакеев в библиотеку, которая теперь, как я уже говорил, была закрыта для читателей и превращена в раздевальню и буфет, а затем задним ходом поднялся наверх, в «парадные» комнаты, где отец и поместил меня около полуотворенной двери, ведущей в зал. Все то же, как и на концерте, все так же чинно и торжественно сидит публика, только ее меньше, и вся она во фраках и мундирах, да на эстраде за длинным столом вместо артистов блестел золотом шитых мундиров целый ряд важных дворянских особ... Кто-то что-то читал долго и утомительно... Кто-то что-то возражал... До меня долетали только смутные звуки... Но вот чтение стало прерываться какими-то возгласами, потом шиканьем... Потом вдруг как будто что-то сорвалось, и зал наполнился невообразимым шумом: громкие аплодисменты, шиканье, угрожающие крики, грохот стульев и топот ног — все перемешалось... Я ничего не понимал и както невольно, сгорая любопытством, просунул голову в дверь, как вдруг отец, заметив меня, взволнованный и бледный, схватил меня за руку и сказал: «Ступай домой... сейчас же!.. Больше тебе нечего здесь делать».

А вечером, когда собрались все наши, ожидая с нетерпением возвращения отца, он, усталый и удрученный, сказал, вернувшись: «Ну, теперь шабаш!.. *Наш* старик окончательно заявил, что он уходит и больше баллотироваться не будет...» А затем он долго сообщал о том, как

позорно вели себя крепостники, что никто этого не ожидал, что они чуть не сорвали все заседание, бросившись, схватив стулья, на передовых дворян и членов от правительства, что некоторые угрожали даже предводителю, что старик был очень огорчен... Отец еще долго передавал эту эпопею «генеральной битвы»; между прочим, меня в ней тронуло то, что касалось «нашего старого масона», который почему-то особенно стал близок моему сердцу после знакомства в библиотеке, и мне казалось, что с уходом его должно было что-то круто измениться и в нашей семье.

Известия, принесенные отцом, действительно были очень тревожны, тем более что, как я узнал впоследствии, на этом роковом заседании был прочитан и доклад моего отца кем-то из передовых дворян (так как сам отец, не будучи дворянином, не имел права читать его от своего имени), который очень не понравился большей части крепостников, знавших, что его одобряет и сам предводитель. Таким образом, судьба нашей семьи была близко связана с «старым масоном», в непосредственно близких отношениях к которому мой отец стоял три трехлетия. Все мы теперь с тревогой ожидали исхода дворянских выборов. Опасались, что крепостники проведут своего кандидата, но победили умеренные, выбрав в предводители добродушного «мягкотелого» дворянина, не способного ни на какую крупную инициативу и не желавшего круто порывать с традициями старого предводителя. Таким образом, все осталось как будто пока по-старому, только как-то вскоре таинственно исчез Николай Яковлевич, которого я встретил спустя уже более десяти лет, да старый масон ушел на покой. Но он был привязан к отцу и часто вызывал его к себе «побеседовать».

— Ведь мы сделали свое дело? Не правда ли? А? Что? — любил он повторять каждый раз, когда приходил к нему отец.— Ведь уж теперь этого дела не переделаешь? Как ты думаешь? А? Что? Ну, я и рад... Я сделал свое дело... И мне пора на покой...

Так закончилась в нашем захолустье «освободительная битва» почти накануне 19 февраля.

Наконец, праздничное настроение в нашем городке стало стихать: дворяне разъезжались, а я с нетерпением ждал того дня, когда, наконец, мой новый храм освобо-

дится от дворянских шуб и бутербродов и я, наконец, снова начну в нем священнодействовать.

Наступил этот день, библиотека была открыта для публики, и я уже с утра с величайшим удовольствием поселился среди ее безгласных обывателей. Но в этот же день уезжал обратно в Р. и дядя Александр. Удивительное дело, во все каникулы никто из нас не обмолвился ни одним словом о «новой» гимназии и о моей обратной туда поездке, как будто я никогда в ней не бывал. И только теперь вдруг этот вопрос встал во всей его реальной наготе.

— Ну что ж, Коляка, поедешь со мной назад,— спросил меня дядя, когда я с необыкновенным интересом погрузился в разглядывания каких-то роскошных иллюстраций.

Я вспыхнул от неожиданности. Мне почему-то казалось, что этот вопрос давно решен.

— Нет, дядя,— твердо отвечал я,— я не поеду теперь.

— Ну, я так и знал,— сказал он, улыбаясь.— От добра добра не ищут. Так, что ли? Ну, прощай! — грустно прибавил он, целуя меня.

И мне вдруг так стало жалко и его и «новой» гимназии, что я чуть не расплакался и со слезами на глазах бросился ему на шею.

— Не плачь,— сказал он,— и в вашей гимназии скоро будет лучше. Помогай папе! Теперь перед тобой хорошее дело,— кивнул он на шкапы с книгами.

Вот и опять она, старая гимназия. После праздников, связав в узелок учебники, я двинулся по старой, знакомой дороге. Странное дело, теперь гимназия уже не вызывала во мне чувства какого-то полувраждебного, полубоязливого отношения, как прежде. Даже встреча с Аргусом, который ехидно сказал мне: «Что, брат, недолго усидел в хорошей-то гимназии? Должно быть, в гостях хорошо, а дома-то лучше»,— не вызвала во мне обычного раньше предчувствия чего-то гнетущего и пугающего: я даже както весело-снисходительно улыбнулся на его ядовитое приветствие, как будто он был не прежний Аргус, а его преображенный двойник. Да и все мне долгое время казалось двойственным. Когда я входил и садился в класс, мне казалось, что и товарищи, и учитель, и самая комната — все это прежние, старые, а как будто какие-то уже иные;

все как будто то же, но и не то. Я долго еще путал имена и лица моих одноклассников и учителей: стоило мне закрыть глаза, и мне уже представлялось, что на кафедре сидит мой любимый «новый» учитель, юноша-историк с капелькой на носу, а не старый, весь пропахнувший нюхательным табаком «брюзга», душивший нас хронологией разных битв и походов и напечатанным на оберточной бумаге спекуляторским учебником книгопродавца Зуева[35]. И даже этот самый «брюзга» стал казаться мне более добродушным и комичным, чем враждебно отталкивающим. И вот то, что внесла в мою душу новая гимназия «примиряющего», я бессознательно принес с собой и сюда.

Да и в атмосфере самой старой гимназии стали замечаться некоторые признаки «преображения»: заскорузлая кора старой системы, хотя медленно, стала местами подаваться и трескаться под напором новых веяний. Появились кое-какие новые учителя взамен старых, вроде француза парикмахерского типа и некоторых других; появились новые учебники. Положим, это были не бог знает какие приобретения, а все же прогресс. Да и старички наши порасшевелились до того, что учитель истории изменил Зуеву, заменив его более современным, а учитель русского языка в четвертом классе прочитал «Старосветских помещиков», вызвав неописуемый восторг. Заметно было, что и экзекуций не производилось уже так часто и усердно, как раньше. Видимо, и наша бурса «прогрессировала по-своему», хотя и с великим трудом. Атмосфера рутинного, скучного и вялого продолжала висеть над ней еще беспросветно. При всем том «примиряющем», что внесла в мою душу новая гимназия, я, однако, еще и теперь не находил в старой гимназии того интимно-привлекающего, хотя бы в микроскопических дозах, что могло бы меня духовно связать с нею. Жизнь моя снова раздвоилась, но только теперь, вместо спорта ребячьей улицы, меня всецело пленила библиотека. Все, что было в гимназии, продолжало быть для меня чем-то чуждым, формальным, мертвенным; все, что трепетало первыми вспышками зарождающейся страсти к свободному духовному развитию,— все это было в моем «новом храме».

Но чем таким был для меня в то время этот новый храм? Я сравнил бы его с чудным величественным лесом,

в котором в торжественном созерцательном покое, окруженные молодой веселой порослью, высились громадные колонны-деревья, унося к небу свои зеленые короны. И вот я в каком-то полусне, обвеянный грезами, блуждал по этому лесу почти без проводника, без компаса, не видя определенно перед собою ни дорог, ни тропинок.

Так целыми часами по вечерам сидел я в своем храме, блуждая как зачарованный в хаосе образов, проносившихся перед моими умственными очами. Для меня все было полно таинственных, поражающих откровений, и я безбоязненно и с чистой детской доверчивостью переносился от какого-нибудь «Никлас — Медвежья лапа» и других романов Зотова [36] к Шиллеру и Шекспиру и от Поль де Кока — к беллетристике «Современника» [37].

Хорошо или дурно было для меня такое бесконтрольное блуждание среди бесконечного разнообразия образов, созданных человеческим воображением, я затруднился бы ответить определенно. Быть может, было лучше, что я воспринимал непосредственно все, что давал мне мой «храм», и тем навсегда охранил свой ум от узких пут того или иного руководительства и привык выше всего ставить духовную независимость. Притом же я чувствовал, что мною инстинктивно руководило что-то, уже раньше заложенное в мою душу, какой-то таинственный путеводный огонек, при мерцающем свете которого я мог в большинстве случаев различать, что было достойно внимания и восторга или же индифферентного отношения. Несомненно, тут играли уже немалую роль те «легенды», которые с самых малых лет не переставали пленять в разнообразных вариациях мое воображение, таинственно и несознаваемо сохраняясь в самых укромных уголках моей души.

Так или иначе, мой «новый храм», несмотря на мое бесконтрольное хозяйничанье в нем, был и остался в моей памяти в конечном счете исключительно источником чистых и возвышенных представлений.

Я по натуре, однако, не был исключительно созерцательным и замкнутым в самом себе; меня с самых ранних лет, несмотря на присущую мне тогда робость и застенчивость, всегда влекла к себе живая жизнь и люди. И вот, едва только я немного осмотрелся в своем новом храме, как уже у меня явилось желание прежде всего посвятить

в его таинства своих сподвижников по уличному спорту. Не прошло и нескольких месяцев, как многие из моих товарищей были уже завербованы мною в «литературный союз».

Осуществилось это тем более легко и скоро, что большинство моих тогдашних товарищей было из семинаристов, на «вольных» квартирах которых, среди великовозрастных учеников, уже существовали такие «тайные» союзы (вся конспиративность которых заключалась лишь в чтении «светских», хотя бы и самых благонамеренных, сочинений). В описываемые мною годы в семинарии вообще уже духовные запросы, как среди многих учителей, так и воспитанников, стояли значительно выше, чем в гимназии, где духовное развитие, за редкими исключениями, стояло на очень низкой степени; даже ученики старших классов почти не имели понятия об иных книгах, кроме схоластических учебников, если в их семьях не было собственных библиотек; о русской же классической литературе имели кое-какое смутное представление лишь по отрывкам из хрестоматии. Понятно, почему, едва только открылась наша библиотека, самыми первыми подписчиками в ней и наиболее усердными читателями и посетителями явились прежде всего учителя семинарии и семинаристы, а самыми редкими — гимназисты, хотя последние не подвергались за это репрессиям начальства, как семинаристы, которым вскоре было запрещено бесконтрольное пользование библиотекой. Это последнее обстоятельство неожиданно придало моей «просветительной» деятельности довольно широкие и своеобразные формы: как-то само собой я сделался неустанным поставщиком «тайной» духовной пищи для всех моих семинарских сверстников, алкавших и жаждавших ее. Это продолжалось во все последующие годы моего пребывания в гимназии, что, признаться сказать, приносило немало огорчений моему отцу, то получавшему строгие внушения и предупреждения со стороны высшего семинарского начальства, то узнававшему, что немало его книг было конфисковано этим начальством на руках юных читателей. У одного из инспекторов семинарии, за немного лет его деятельности, образовалась даже довольно порядочная библиотека, исключительно составленная из этих и других приобретае-

мых учениками «недозволенных» книг. Такие репрессии по части свободного чтения послужили только к усилению нашей энергии на поприще взаимного самообразования и большему умудрению нас в деле конспирации: спустя два года было уже положено начало существованию тайной семинарской летучей библиотеки, которая, кочуя по чердакам, подвалам и погребам обывательских домов, в течение многих лет с большим успехом обслуживала духовные нужды целого ряда юных семинарских и гимназических поколений.

Так властные веления живой жизни создавали новое противоядие всему, что ломало и угнетало маленькую человеческую душу. Из этого источника мы начали пить с тою же беззаветностью, с какою недавно отдавались спорту ребячьей улицы. И было нам благо...

ЮНЫЕ ГОДЫ

I

«Освободительные» будни.— Неудачные приключения «свободного стана».

Наступил 61-й год — год «великой исторической эры»... Характерно, однако, то, что, несмотря на напряженное состояние, которое переживали в течение нескольких лет окружающие меня близкие люди в преддверии этой эры, отдав на возможную для них подготовку ее всю свою духовную энергию, самое завершение «великого акта» 19 февраля осталось в моих воспоминаниях в самых смутных и будничных очертаниях. Объясняется ли это тем, что само высшее начальство, повидимому, считало необходимым, ввиду якобы государственных соображений, обставить опубликование этого акта возможной таинственностью и «скромностью», или тем, что мои близкие уже заранее изжили весь духовный подъем медовых месяцев «крестьянского освобождения» и формальное завершение его «манифестом» являлось для них лишь простой «юридической санкцией», значительной степени, кроме того, отравленной ядом сомнений, разочарований и жутких предчувствий... Так или иначе, но 15 марта, день официального опубликования у нас манифеста 19 февраля, остался в моих воспоминаниях совершенно бесцветным и будничным [1]. Был, конечно, торжественный молебен

в соборе в присутствии всего местного генералитета, был для него прочитан с амвона манифест, но... «народ», сам народ «отсутствовал» столь же блистательно, как в эпилоге «Бориса Годунова». О «народных же ликованиях» ниоткуда не доходило никаких и слухов. Царили, повидимому, сугубые провинциальные будни.

Из «официальных» проявлений, отметивших у нас «эру освобождения», у меня остались в памяти только два характерных факта. Один — это получение, кажется в марте же месяце, одновременно с манифестом, «Положения 19 февраля» [2], которое в сотнях экземпляров было доставлено как в канцелярию дворянского собрания, так и в нашу библиотеку, где они буквально расхватывались заинтересованными лицами, так что я едва поспевал выдавать их покупателям. «Положение», как известно, было очень объемисто, в формате писчего листа, и в общей сложности, со всякими приложениями, не менее 20 печатных листов. Понятно, что «Положение» могло произвести должное впечатление на читателя только после довольно пристального и продолжительного штудирования его и не могло поэтому вызвать какого-либо единодушного эксцесса по поводу его появления; очень естественно, что и у меня в памяти не осталось ничего экстраординарного, что могло бы характеризовать отношение к нему наших обывателей. Очевидным было только то, что «крепостники» чем более вчитывались в него, тем все таинственнее о чем-то друг с другом переговаривались и торопились принимать какие-то противодействующие «меры»; в близких же к нам кругах «Положение» обсуждалось, так сказать, «постатейно» и постепенно, вызывая то общее одобрение, то очень скептическое отношение. Передавая об этом, я уверен, что читатель не заподозрит, что и я, юнец, участвовал в этом «постатейном» обсуждении, в котором я в описываемый момент еще очень немногое мог понимать, и, конечно, передаю только мое общее впечатление.

Другой характерный факт имел место несколько позднее. Был у меня приятель-гимназистик, тоже сын чиновника, с которым мы очень часто любили вместе читать, беседовать по этому поводу и даже пробовали пописывать кое-что, особенно он, так как я пока еще относился к этому занятию индифферентно или по крайней мере боязливо,

предпочитая секретно упражняться в писании стишков «по Кольцову» (которые мне тогда казались «самыми легкими»), и в то же время не стыдился еще списывать классные упражнения с тетрадок товарищей. Так вот, придя однажды к этому товарищу, я застал его за очень странным, если не сказать откровеннее, занятием. Перед ним лежала стопка чистой почтовой бумаги, а рядом с ней другая, в которую он складывал уже каллиграфически написанные им какие-то письма, размером от 10 до 20 строк. Письма эти он копировал с десятка лежавших перед ним начерно набросанных чьей-то посторонней рукой различных образцов, а затем уже укладывал в стопки сообразно какому-то алфавитному списку. «Не хочешь ли помочь? — спросил он меня.— Ты ведь умеешь красиво и четко писать».— «Попробую. В чем дело?» — «А вот в чем: отцу заказано от начальства написать несколько сот благодарственных к царю-освободителю писем от имени крестьянских волостей по поводу манифеста девятнадцатого февраля... Ну, так понимаешь: очень просто — отец вот сочинил несколько образцов, а мне велел переписывать и, чтобы не все выходили уж очень одинаковы, поручил даже вносить и свои небольшие изменения или просто переставлять слова и фразы, только чтобы без смысла не вышло... Хочешь, так помогай. Отец обещал мне дать за это на книги... Только, чур, секрет!.. Никому ни слова... Это уж я только тебе... доверяю...» Дело предстояло во всех смыслах любопытное. «Попробуем!» — согласился я и с величайшим интересом стал вчитываться в образцы. Каждый из них заключал в себе первым делом заголовок: «От крестьян такой-то губернии, уезда и волости», затем обращение, на выразительность и строгую корректность которого обращалось особенное внимание и которое варьировалось в таком роде: «Всемилостивейший и великий государь-отец», или «Возлюбленный наш монарх, отец и покровитель», или в патриархальном тоне: «Батюшка царь!» и т. п. Дальше следовали уже самые верноподданнейшие излияния неизреченных благодарностей в стиле челобитных времен Алексея Михайловича. «Ну, вот тебе бумага, вот список волостей с буквы М... Качай!.. Если вздумаешь что написать по-другому — покажи мне»,— сказал приятель, и мы весело принялись за дело, так как

дозволение вносить свои вариации в текст образцов побуждало нас к некоему игривому творчеству, которое доставляло нам немало ребячески-школьнического развлечения. Проработав с час в помощь товарищу, я, уходя, спросил его: «Что ж, будут их крестьянам читать на сходах?» — «Ну, вот... еще канителиться!.. Прямо целой кипой отправят в Петербург — и шабаш!»

Было ли действительно поступлено так, как говорил приятель, наверное сказать не могу. Думаю, впрочем, что в этом случае приятель просто повторял то, что слышал от отца.

Так «сочинялась» у нас в провинции официальная история освобождения.

Доподлинная история между тем шла своим путем, отражаясь так или иначе в каждой маленькой ячейке обывательского существования и все больше и больше захватывая в свой хаотический круговорот мое юное существо.

Само по себе появление манифеста 19 февраля об освобождении крестьян, несмотря на его крупное историческое значение, не могло затрагивать нас, разночинную массу, с такой непосредственной жуткостью, как это касалось двух прямо заинтересованных сторон — помещичьей и крестьянской. Но в общей даже сугубо-крепостнической и чиновничьей атмосфере нашего городка как-то полусознательно чувствовалось, что за этим «крестьянским» освобождением скрывалось нечто еще более глубокое — какое-то иное, не только «крепостное», но общее, духовное освобождение человеческой личности вообще. Так смутно чувствовалось всеми, даже нами, школярами, хотя никто ясно не сознавал, в каких определенных формах это должно сказаться. Надо перенестись воображением за 50 лет назад, в глушь нашей провинции, чтобы достаточно оценить все серьезное значение тех элементарно-наивных форм, в которых сказывалось это новое настроение в постепенно «преображавшихся» людях.

Приближались летние каникулы, которые в последние три-четыре года были для нашей семьи, и прежде всего для меня, какими-то истинно духовными праздни-

ками: приезд из столиц дядей, а вместе с ними и другой студенческой молодежи, съезжавшейся у нас на перепутье в свои уездные и деревенские палестины, вносил столько неведомого, живого, освежающего и преображающего в заматерелые будни нашей провинциальной жизни. Чего стоило одно открытие библиотеки — этого моего «нового храма», в котором я с таким захватывающим усердием священнодействовал! Естественно, что в последнее время я стал ожидать этих каникул с особым напряженно смутным волнением, в предчувствии новых, еще не изведанных откровений и ощущений... И я не ошибся: нынешние каникулы принесли с собою «нечто», имевшее для меня лично некоторое как бы провиденциальное значение.

Еще стояли полупрозрачные сумерки позднего майского вечера, когда у нашего маленького трехоконного домика, немощеная дорога к которому наполовину заросла травой, наполовину была устлана густой пылью, неслышно остановилась тройка лошадей, заложенная в громоздкий тарантас.

Когда, догадавшись по фырканью у окон усталых лошадей, в чем дело, я выбежал с криком: «Они! они!» навстречу долгожданным гостям, я был довольно строго остановлен тихим окриком дяди: «Ну, тише, тише! Не мешай!» И я увидал, как приехавший дядя вместе с двумя студентами-товарищами, бесшумно, как тени, двигавшимися вокруг тарантаса, развязав веревки, потащили что-то громоздкое, закутанное войлоком, тихо и осторожно внесли в дом и уложили бережно на пол нашей маленькой зальцы; за этим тюком последовало еще несколько таких же, и, только уложив их, приехавшие стали целоваться со мной и с несколько взволнованно смотревшим, как мне показалось, на привезенные тюки отцом.

— Ну, все благополучно? — спрашивал он шепотом.

— Прекрасно. Все цело! — так же отвечал ему дядя.

— В полном виде, должно быть, забрали?

— Все до нитки... Хоть сейчас в дело.

— Ну, ну... Немножко поторопились... Ну, да ничего, авось...

— А что?..

— До сих пор нет еще разрешения... Впрочем, губернатор обещал наверное...

— Ну, чего ж еще! Вас не обманут,— единодушно утешали отца молодые гости.

— Ну, ну! — соглашался отец, приглашая гостей оставить деловые разговоры до утра и идти закусить и отдыхать с дороги. Но я не мог успокоиться: и этот неожиданный, таинственный громоздкий тюк и напряженный шепот вокруг него так заинтриговали меня, что я никак не хотел ждать до утра разъяснения дела, хотя уже догадывался, по доходившим до меня раньше намекам, что ожидался какой-то «станок» из Москвы.

— Ведь это «станок»? Да? Ну, дядя, скажите: «станок»? — приставал я, смутно понимая значение этого названия.

— Ну, хорошо: станок! И молчи... И чтобы у меня никому ни слова посторонним... Придет время — и ты узнаешь, и все будут знать...— строго сказал отец.

В этот раз на этом я и должен был успокоиться. Но зато утром я был вознагражден сторицею. Когда, проснувшись, я заглянул в зальце, в котором на полу вместе с тюками ночевала молодежь, я увидел, что все уже давно встали и хлопотливо возились около распакованных тюков, а посредине зальца стоял *он*, о котором так часто говорили намеками и по секрету в последний год в нашем интимном «интеллигентском» кружке, как о чем-то таком мистическом, достижение чего для наших обывателей было равносильно чуду. И вот это «чудо» теперь красовалось в нашем зальце *.

— Вы уже успели распаковать и все уставить? — изумленно спрашивал вошедший со мной отец.— Эх, рано, рано вы! — качал он сокрушенно головой...— Не надо бы пока распаковывать.

— Ну что вы! Чего в самом деле в прятки-то играть? Ведь уж не маленькие же ребята! — возражала довольная молодежь.— Вот, посмотрите-ка — какова штучка!.. Целый месяц охаживали его да осматри-

* Все это «чудо» представляло собою лишь небольшой пресс, пригодный для оттиска набора в одну четверть среднего печатного листа. (*Прим. автора.*)

вали в Москве... Все изучили... Хотите? Самолично напечатаем сейчас все, что угодно.

— Ну, ну! Не очень храбритесь! — говорил отец, видимо все же очень довольный появлением в нашем зальце этого «чуда», и с интересом вслушиваясь в объяснения молодежью самых мельчайших деталей.

— Вот теперь смотри! — говорил мне дядя.— Погоди, и тебя самого научим печатать.

— Все это хорошо,— говорил отец.— Только опять вас прошу: пожалуйста, до времени никому о *нем* ни слова.

Но осторожные предупреждения отца остались втунє. Уже к вечеру стали заходить кое-кто из интимных друзей нашей семьи, и, как будто случайно заглядывая в маленький кабинет, куда все же по настоянию отца был передвинут и спрятан *он*, они изумленно-весело вскрикивали: «А! Приехала штучка-то?.. Пора, пора! Не все же из казенного горшка похлебку хлебать... Пора и свой заводить» *. И, хитро подмигивая, они весело потирали руки и похлопывали отца по плечу.

Через неделю, когда приехал дядя Александр из Р., в нашем зальце уже опять собрался наш интимный кружок, раньше принимавший такое деятельное участие в обсуждении крестьянского вопроса.

— Слышали, слышали! Привезли *его*?.. Да? — выкрикивал каждый, входя и особенно выразительно пожимая руку отцу.— Великолепно!.. Значит, начинаем? Пора, пора...

— Господа! надо повременить,— смущенно говорил отец.— В особенности надо избегать излишних разговоров об этом... Ведь нет еще разрешения... Мне говорят: «Вишь, чего захотели! Частную свободную типографию у нас, здесь!.. Э! Об этом надо подумать да подумать»...

— Вздор!.. Нечего на них обращать внимания... Не те времена!.. Пишите прямо в Петербург,— отвечали отцу.— А пока что — канитель тянуть нечего. Надо подготовляться энергично, чтобы с осени двинуть дело с своей га-

---

* Намек на казенную типографию, почти исключительно обслуживающую официальные «Губернские ведомости». *(Прим. автора.)*

зетой... Дело для нас новое, нас тоже не скоро раскачаешь...

— Начинать, начинать! Раз *он* здесь, с нами, наш собственный, значит дело в шляпе...

— Садитесь, господа... Будем вырабатывать программу, намечать сотрудников...

— Позвольте... Так нельзя,— возразил один из юмористов нашего кружка, почтенный толстяк из дворян, составивший себе в городе громкую известность мастерским чтением сатир Салтыкова-Щедрина.— Надо, господа, прежде всего окрестить нарождающееся детище... Все честь честью... Прошу приступить... А вот я, кстати, захватил с собой и проектец наименования, который у меня уже давно был обдуман... Прошу внимания и оценки.

И наш юморист, вынув из бокового кармана сложенный лист, тщательно развернул его на столе: это была заглавная виньетка.

— Прежде всего, господа, должен вас предварить, что это вовсе не плод моего юмористического легкомыслия. Напротив, здесь все строго взвешено и обдумано, со всех точек зрения: государственно-исторической, культурной, экономической и прочее... Известно ли вам, господа, что уездные гербы нашей губернии представляют собою некое эмблематическое изображение тех культурно-духовных приобретений, на вящее усовершенствование которых наш русский народ с усердием, достойным лучшей участи, потратил ни много ни мало — тысячу лет? Взять эти эмблемы в основу имени нового нашего органа показалось мне идеей поистине блестящей... Прошу взглянуть... Не находите ли — как, можно сказать, гениально-удачно удалось мне скомбинировать, например, хотя бы букву В из муромских калачей и вязниковского вяза?.. Или, например, букву И из переяславских селедок?..

— Браво, браво!.. Бесподобно! — закричала молодежь, разразившись веселым смехом.— Более удачное начало трудно придумать...

— Эх, господа,— вскричал мой экспансивный дядя Александр,— черт возьми, как у вас здесь стало бодро, весело, хорошо!.. Брошу я р — скую гимназию и переберусь к вам... Ей-богу!.. Там теперь ничего не выходит... Пробовали было хотя бы у казенного станка неофициаль-

ный отдел в свои руки забрать: не дают! Ей-богу, к вам сбегу.

— Ура! Нашего полку прибыло!

— Да я что — пустяки... А вот, господа, я для нашего здешнего дела заручился обещанием настоящего, заправского литератора... Только это пока секрет...

— Говори же по секрету: кого?

— «Бова» * из «Современника»!..

— О, о! — крикнула в изумлении молодежь.— Ну, значит, начинаем!..

Вперед без страха и сомненья! — [3]

продекламировал кто-то из них начало только что вошедшего в то время в моду стихотворения.

— Да, да, крестный! — сказал дядя.— Не падайте духом: хлопочите, устраивайте, организуйте — вы свое, а мы будем подготовлять свое...

— Что ж с вами делать! — улыбаясь, говорил отец, шутливо махнув рукой. Но все же, когда были зажжены свечи, он торопливо распорядился тотчас же закрыть закрои у окон и «убрать» из зальца меня с прочей нашей детворой; первое «конспиративное» собрание по поводу появления у нас «чуда» уже продолжало заседать при вполне «закрытых дверях» до поздней ночи. А еще через несколько дней я, вернувшись с гулянья, был несколько изумлен новой «конспирацией», застав двери в наше зальце снова припертыми; толкавшаяся около них детвора таинственно и шепотом сообщила мне, что «там» сидит новый гость, только что приехавший товарищ дяди Александра.

— «Бов»? — спросил я [4].

— Он, он самый!.. Только не велено нам туда входить.

Я припал глазами к дверной щели, чувствуя, что никак не мог бы решиться на «безумный» шаг — отворить дверь и лично предстать перед очи этого, еще невиданного мною, «самого настоящего» писателя. На мое счастье, новый гость сидел как раз против моего наблюдательного поста, и я мог совершенно ясно разглядеть его молодое,

---

* Добролюбов, писавший под псевдонимом — *бов.* *(Прим. автора.)*

серьезное, энергичное лицо и мягкие, глядевшие из-за очков, глаза, которые, казалось мне, иногда пристально как будто обращались к двери, замечали мое присутствие за нею и любовно улыбались мне. Увы! мое созерцание продолжалось только несколько минут. Я застал уже конец визита. «Бов» поднялся, протянул руку отцу, расцеловался с дядей Александром и распрощался... навсегда.

Никому из нас и, наверное, ему самому не могла в те минуты явиться страшная мысль, что это свидание — последнее и что эта, такая молодая, необычайно даровитая сила, едва только успевшая размахнуть свои могучие духовные крылья, была уже отмечена неумолимой судьбой... Его живой образ промелькнул передо мной поистине «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». В то время я даже не мог и предчувствовать, что не пройдет и трех лет, как его духовный облик навсегда запечатлеется в моей душе, как одно из дорогих воспоминаний моей юности. В описываемое же здесь время я знал его только, так сказать, понаслышке, из рассказов о нем дяди Александра или из разговоров о его статьях молодежи и, наконец, из того, что я встречал его псевдоним «Бов» в получавшихся в нашей библиотеке книжках «Современника» под «серьезными» статьями, в которые я в то время еще не дерзал заглядывать, а главным образом по разговорам, которые часто велись в последнее время у нас дома и в гимназии по поводу его статей о воспитании и в особенности о розгах [5].

Не могу удержаться, чтобы не упомянуть здесь кстати об одном трогательном эпизоде. Как-то в начале зимы этого года, уже поздним вечером, когда отец что-то писал за письменным столом, я сидел за учебником, а матушка что-то чинила, присев сбоку, к нам неожиданно вошел молодой, хороший знакомый нашей семьи, учитель семинарии. Он был бледен и сильно взволнован.

— Ужасное известие! — проговорил он.

— Какое? Что с вами? — быстро вставая, проговорил отец.

— Не слыхали еще? Умер... «Бов»!..

— Уже? Боже мой, как скоро! Мне еще недавно

писал о нем брат Александр, что, как только он уехал лечиться за границу, его болезнь начала развиваться необыкновенно быстро...

Отец стал передавать учителю содержание писем, а он стоял, беспомощно опустив руки, в то время как глаза его были полны слез. Я невольно смотрел в его лицо, и мне казалось, что он сейчас разрыдается. Заметив мой взгляд, он протянул руку и, приглаживая мои волосы, сказал: «Помни: умер писатель, каких немного, которому вы обязаны тем, что уже больше не могут вас ни сечь, ни мучить. Не забывай его! Вырастешь — узнаешь об нем не это только...»

— Святая душа! — проговорила матушка, крестясь и бытирая слезы.

А когда я с отцом, проводив гостя, опять сидели за столом, матушка, войдя, тихо спросила отца:

— Так это он и был, дорогой, что малюток от иродовых детей спасал?

— Да, он.

— А как его звали?..

— Николай.

— Вот, Николенька, впиши... собственной рукой впиши,— сказала матушка, развертывая передо мною свое поминанье. И я несмелой рукой внес в него скромное имя «болярина Николая» — имя Н. А. Добролюбова.

Посещение нашей семьи «Бовом», повидимому, еще более оживило и подбодрило молодежь, которая все чаще собиралась у нас, чтобы окончательно выяснить и поставить дело устройства типографии и издания «свободной» газеты. Так как осуществление последней мысли требовало солидного оборудования типографии, на что нужны были немалые средства, которых, повидимому, еще не имелось, а также и преодоления разных административных препон, то молодежь предполагала пока использовать привезенное ею к нам «чудо» собственными усилиями... Скоро я имел великое удовольствие созерцать, как одним утром в наше зальце была внесена и установлена столяром первая «касса», около которой тотчас же собрались наши студенты и начали разбирать привезенный ими же со стан-

ком шрифт. Работа закипела. Решили на первый раз «самодельным» способом набрать и напечатать крохотную брошюрку невинного содержания. Не только меня, но и самую молодежь прежде всего увлекал и интересовал самый процесс новой для них и мало знакомой работы. Конечно, первые блины выходили «комом»: удалось кое-как, с грехом пополам, отпечатать десяток экземпляров шутливой рекламы о нарождении в г. В. первой «свободной» типографии. Тем не менее это доставило молодежи немало веселого удовольствия. Но... дело на этом и застряло: оказалось, что привезенная ли из Москвы краска никуда не годилась, или что, кроме того, недоставало некоторых важных приспособлений, которых достать в В. в то время было невозможно,— оборудовать дело «самодельным» способом так и не удалось пока. В ожидании, когда получится разрешение и с «оказией» можно будет недостающее получить из Москвы, молодежь разъехалась на лето по деревням.

Однако попытка насадить «самодельным» способом «свободное» слово не совсем осталась безрезультатной.

Спустя некоторое время после разъезда молодежи и с наступлением семинарских каникул, когда у нас наступило полное затишье, на письменном столе отца вдруг появился большой конверт, за судьбой которого я наблюдал издалека, спрятавшись за дверь. Когда вечером отец стал разбирать на столе бумаги, он с удивлением стал рассматривать содержимое в конверте.

— Николя! — вдруг крикнул он.— Где ты? Позовите ко мне Николю.

Не торопясь и смущенный, я подошел к нему.

— Это твоя затея? Да? — говорил он, показывая на два почтовых листика с напечатанными на них странным образом бледной синей краской какими-то стишками.

— Да разве я умею печатать? — сказал притворно я.

— Ну, не запирайся... Что ж тут плохого? Хочешь быть поэтом... да еще сам себя печатать? Это ты ловко придумал... Только, видишь ли, настоящие поэты всегда пишут правду. А у тебя вот написано, что будто бы «поэт утонул в бальзамическом токе воздушной струи!» То-то я думал: чего это ты стал летом в своей каморке по ночам сидеть? А это ты в бальзамической струе плавал... Ну, го-

лубчик, какие же у тебя в каморке бальзамические струи, хотя бы и у открытого окна?.. Ты сам знаешь, что, к сожалению, как раз около твоей каморки навозный хлев... Ну, и потом насчет правописания... есть грешки...

Я покраснел до корня волос: первая критика показалась мне уничтожающей.

— Ты не смущайся уж очень... С кем вначале промахов не бывает,— утешал меня отец.— Но как это ты ухитрился напечатать? Краски нет, станок почти разобран... Удивляюсь! Ты, брат, какой-то новый способ изобрел... Познакомь, пожалуйста.

Польщенный и несколько утешенный словами отца, я тотчас же познакомил его с своим «изобретением», на усовершенствование которого мною было потрачено немало остроумия и усилий, по крайней мере не меньше тех, которые, вероятно, были затрачены первобытным человеком на изобретение хотя бы первого иероглифа. Ларчик, впрочем, открывался просто. Я подкладывал под листы чистой бумаги листки цветной копировальной, брал из кассы требуемые литеры и, нажимая пальцами одну за другой на верхний лист, получал таким образом три-четыре отпечатанных копии.

— Ты, брат, перещеголял даже Гутенберга! — весело смеялся отец,— тот был только печатник, а ты еще и сам поэт!

Как-никак создавшаяся у нас с водворением «чуда» литературная атмосфера захватывала и меня...

Кончились каникулы. Молодежь стала съезжаться, возвращаясь в столицы. Но прежнего оживления в нашей «атмосфере» уже стало меньше: чувствовалось какое-то разочарование. Отец сообщил, что все его хлопоты пока не привели ни к чему, на будущее надежды еще меньше: нынешний губернатор (не «солдафон»), который был терпим еще во время подготовления реформы 19 февраля, теперь оказывался уже «неподходящим»,— и уже решено заменить его именно «солдафоном» [6] и что, таким образом, шансов на получение разрешения как на типографию, так и на газету становилось еще меньше. Молодежь разъезжалась в минорном настроении. А к концу года настрое-

ние стало еще более мрачным: получено было известие о смерти «Бова», а затем письмо от дяди Александра, недавно женившегося, который писал раздраженно, что у них в р — ской гимназии подуло «реакцией», что ему самому стало сильно нездоровиться и что ему советуют перейти на службу на Кавказ, где условия лучше как для службы, так и для лечения.

Таким образом, «чудо», водворившееся было в нашем провинциальном домике, стояло без всякого действия, и никаких чудес произвести ему у нас было не суждено.

Охладел к нему и я. Сделав еще несколько попыток печатания «самодельным» способом своих виршей, я в конце концов нашел, что значительно продуктивнее было просто переписывать собственные «творения», чем практиковать изобретенный мною «доисторический» способ печатания. Но меня не оставляла еще мечта, что молчаливо и сиротливо как-то стоявший станок вновь соберет вокруг себя молодежь и, одухотворенный, заработает, наконец, «по-настоящему» и будет творить у нас те чудеса «свободного слова», о которых так много и так восторженно говорили у нас полгода тому назад... и — почем знать? — быть может, удостоюсь и я в будущем быть сопричастным этим чудесам. Признаться, я с особым нетерпением ждал теперь рождественских каникул, хотя и знал, что молодежь не всегда на них раньше приезжала. Ожидания мои отчасти сбылись, но результат оказался совсем неожиданным. Приехали только дядя Сергей и его неразлучный товарищ, тоже медик, мой бывший учитель. Оба они были люди «серьезные», деловитые, а потому обычно и более молчаливые. Теперь же их серьезная деловитость особенно бросалась в глаза. Прежнего воодушевления и оживления нашей атмосферы с их приездом, однако, не было и следа.

Пробыв у нас в доме почти безвыходно два первых праздника, они однажды вечером вдруг принялись усердно разбирать и запаковывать станок со всеми принадлежностями. Повидимому, они занимались этой операцией до поздней ночи, и я заснул, не дождавшись ее конца. На рассвете я только сквозь сон смутно слышал звякавшие бубенцы у наших окон, а когда встал, то уже не было ни дяди с товарищем, ни «чуда» со всеми его аксессуарами.

Я был не столько изумлен этим исчезновением, сколько удручен каким-то зловещим запустением, которое с тех пор водворилось в нашем зальце. Вероятно, я расспрашивал отца, куда все девалось, но уже не помню, что он мне отвечал: наверное, он отделался от моих расспросов какими-нибудь неопределенными намеками. Сам он был расстроен, нервен и хмур и целый день вместе с нами и прислугой убирал сор, оставшийся после уборки станка, и все, что могло напоминать о его существовании у нас. А вечером я случайно увидал, как в нарочно затопленной в кухне русской печи отец самолично сжигал все это с последними остатками поломанного и неразобранного шрифта. Все это предвещало мало хорошего.

Так печально закончилась первая попытка насаждения в нашей провинции свободного и независимого слова [7]... и — увы! — уже было не за горами начало крушения и того «нового храма», который был у нас воздвигнут усилиями «преображенных людей».

Когда мне, несколько лет спустя, уже студентом приходилось приезжать в свои родные палестины, с каким грустным умилением я всякий раз вспоминал наш маленький печатный станочек, который уже одним своим присутствием возбуждал столько благородных мечтаний и порывов! Впоследствии я услыхал кое-что о его дальнейшей судьбе: после таинственного исчезновения из нашего дома ему посчастливилось найти более подходящее место, и в течение нескольких лет он не переставал работать «по-настоящему», неуклонно выполняя выпавшую ему на долю тяжкую миссию — служить независимому свободному слову во имя истины и справедливости. Затем сведения о нем исчезают, и дальнейшая его судьба покрыта мраком...

II

Эксцессы в практике старой системы.— Духовная осиротелость нашей семьи.— Первые отклики ликвидационного периода.

Я уже упоминал раньше, как в общей окружающей атмосфере смутно чувствовалось, что во все прежнее, «старое» должно было внестись и вносилось что-то новое и что еще более, конечно смутно, чувствовали это даже

мы, школяры, и всего острее, быть может, именно я. Мне тогда было шестнадцать лет. Последние годы не прошли для меня бесследно: мой «новый храм», несомненно, «преображал» меня неуклонно. Но как, в каком направлении? Я не мог бы ответить... Мое юное существо все еще, как и раньше, двоилось, и теперь эта раздвоенность чувствовалась мною временами особенно остро. С одной стороны, я сознавал, что мой духовный горизонт благодаря чтению и окружающей «освободительной» атмосфере раздвигался все шире, охватывая такой массой новых представлений, что я жил среди них, как опьяненный не имея сил достаточно определенно разобраться в них; с другой — я, однако, все еще «учился» в гимназии далеко не успешно, продолжая представлять собою самый заурядный тип школяра, отбывающего всякими правдами и неправдами повинность гимназической «учебы», со всеми обычными приемами наивного надувательства и себя и начальства. Разница, однако, в моем отношении к этому школярскому поведению прежде и теперь была очень ощутительна: меня в глубине души начинал уже снедать хоть и плохо сознаваемый еще стыд за глубокую ненормальность этой двойственности, и в то же время меня мучило досадливое сознание, что я был бессилен упразднить одними личными усилиями ту пропасть, которая все глубже и глубже росла между тем, что мне давал мой «новый храм», и продолжавшимся все еще бурсацизмом рутинного преподавания в нашей гимназии.

Подобную же двойственность в духовном развитии вместе со мною начинали переживать тогда уже многие из моих одноклассников, что сказалось в ближайшем будущем в ряде бурных эксцессов, имевших для некоторых из них тяжелые последствия. Но другого исхода, должно быть, не было; одна ненормальность неизбежно влекла за собой другую, ей противоположную. Из ряда таких эксцессов я приведу лишь два, наиболее характерных из оставшихся в моей памяти.

Один из них стал нам, гимназистам, известен в первые же дни нашего появления в классах после каникул. По классам передавалась неслыханная еще раньше весть, что один из взрослых гимназистов попался в настоящей «уголовщине»: в конце лета он, в компании с двумя сверстниками из уличных мальчиков, совершил взлом кружки у

кладбищенской церкви, воспользовавшись какой-то жалкой суммой. Скандал выходил тем больший, что новый преступник был одним из даровитых учеников гимназии (кажется, 6-го класса) и особенную даровитость он оказывал в математике. Но в последний год с ним стало твориться что-то до того неладное, что он даже среди нас стал притчей во языцех. Был он сын крайне бедных родителей, какого-то жалкого запивохи-чиновника. У бедной матери все надежды сосредоточились на сыне — и поначалу все шло так хорошо. И вдруг судьба ее сына как будто на что-то наткнулась. Он стал все чаще и чаще манкировать, иногда на целые недели. Начальство стало допрашивать мать, которая, в изумлении, божась, уверяла, что ее сын каждый день уходил в гимназию. Несчастная, измучившаяся с пьяным мужем, была в отчаянии. И вот она прибегла к изумительному «педагогическому» средству: чтобы привязать духовно свое детище к гимназии, она каждый день, едва только сын просыпался, велела ему одеваться, затем привязывала к его руке накрепко бечевку и в таком арестантском снаряжении тянула его, как теленка, в гимназию, почти через весь город, и здесь сдавала с рук на руки сторожу или даже самому надзирателю. Вечером же, дома, она неотступно следила за каждым его шагом, просиживая все часы вместе, пока он учил уроки. Конечно, такой «педагогический» эксперимент, несмотря на одобрение нашего цербера-надзирателя, не мог продолжаться долго над живым существом: юношу снедал стыд, усугублявшийся тем, что над ним смеялись в лицо и дразнили «телком» не только мы, школяры, но даже некоторые остроумные педагоги; в его сердце все больше скоплялась злоба, он часто зверел, и в конце концов его охватил какой-то бесшабашный разгул. Пойманный с поличным, он был предоставлен на полное усмотрение гимназического начальства. По постановлению последнего он был приговорен к порке и исключению из гимназии с волчьим паспортом, приведшим его к бесповоротному босячеству.

Этот случай гибели даровитого юноши долго служил темой разговоров среди либеральной интеллигенции, косвенно отражаясь и на нас. Как-то все чаще и чаще стали проявляться случаи «бравурных» столкновений воспитанников с начальством.

Наконец, сгустившаяся атмосфера разразилась скандалом, превзошедшим, по мнению начальства, все пределы распущенности. Кажется, несколько месяцев спустя после описанного вдруг по классам стали ходить два-три списка какого-то «недозволенного» произведения; списки быстро передавались с парты на парту, от кучки к кучке, то читаясь шепотом, то вызывая взрывы подавленного смеха. Очевидно, конспиративное произведение пришлось очень по душе всем школьникам: читалось оно с жадностью, некоторые места при общем одобрении повторялись несколько раз, даже заучивались наизусть: в конце концов многие принялись его списывать — и уже к концу занятий количество списков удесятерилось, а к вечеру все эти списки гуляли по всему городу. Повидимому, в этот день еще не знало о них только одно гимназическое начальство. Произведение это было очень грубой по форме и выражениям, но злой, хлесткой и ядовитой сатирой в стихах на весь педагогический состав нашей гимназии, начиная чуть ли не с попечителя и кончая сторожами-секаторами. Сатира эта, или «пасквиль», как ее называло начальство, узнавшее о существовании ее лишь после того, как она стала известной чуть не всему городу, привела его чуть не в бешенство.

Придя на следующий день в гимназию, все мы, школяры, с напряженным и в то же время жутким любопытством ожидали, чем разрешится такой грандиозный скандал. Ни в этот день, ни в следующий начальство наше, однако, ничем видимым образом своего отношения не высказывало. А между тем тайно «поэтический» инспектор и наш цербер-надзиратель уже пустили в ход всю сыщническую систему дознания; путем вымогательства, угроз, подкупа и притворных ласк им очень скоро удалось узнать все, что требовалось, то есть авторов сатиры и ее главных распространителей, которыми оказались, как помнится, несколько учеников пятого и шестого классов. Так как событие считалось выходящим из ряда вон и имело значение скандала уже далеко за стенами гимназии, то начальство, собрав полный педагогический совет, решило превзойти, можно сказать, самого себя в принятии мер к обузданию столь вопиющей распущенности.

Приговорив всех заподозренных в особенно рьяном распространении сатиры к грандиозной порке, а авторов

(кажется, двоих) и к немедленному исключению, начальство гимназии, повидимому, имело в виду произвести торжественностью самого приговора и его исполнения педагогическое воздействие не только на учеников, но и на все общество, которое допустило в своих детях развиться столь яркой распущенности. Однако педагогическое начальство ошиблось в расчете: то, что прежде из его педагогической практики молчаливо как бы одобрялось в обществе, теперь неожиданно вызвало глухой протест. Общество, конечно, находило сатиру крайне непозволительным поступком со стороны воспитанников, но оно в то же время довольно единодушно заявляло, что многие характеристики в сатире, при всей грубости формы, были в сущности справедливы и били не в бровь, а в глаз. Задавались даже вопросом: не были ли в большей степени во всем этом скандале повинны сами педагоги, допустившие возможность нарождения такого протеста? И это говорили не только какие-нибудь «либералы», а даже такие консерваторы, как моя религиозная матушка, которая, не обинуясь, называла некоторых наших педагогов «иродовыми детьми».

Так или иначе благодаря новому «духу времени» глухой протест общества возымел силу. Не помню, в какой именно мере был приведен в исполнение педагогический приговор над преступными сочинителями (авторы, кажется, все же были исключены), но самый «скандал» общественного протеста не только вызвал назначение ревизии от округа, но имел решающее значение на весь ход воспитательного дела в нашей гимназии, заматеревшей дольше других в рутинном бурсацизме.

Прежде всего исчез с поля нашего зрения инспектор, этот пресловутый «поэтический секатор» и главный демон-вдохновитель всей нашей педагогической системы, а вместе с ним окончательно исчезли розги и подобные эксперименты; вслед за ним ушли старый безвольный директор, кое-кто из педагогов и, наконец, цербер нашей гимназии, главный надзиратель, сумевший пролазничеством удержаться, однако, дольше всех...

Как будто какая благодатная гроза разразилась где-то вдали — и вдруг потянуло к нам, хотя несколько, теплом и светом...

Повеяло теплом и светом оттуда, где я видел до сих пор лишь полумрак холодного формализма, который для меня был тем более непереносимым, чем ярче разгорался яркий и теплый огонек вокруг интимного очага нашей семьи... И было это веяние лично для меня как нельзя более кстати. Бог весть до какого удручения довела бы меня та двойственность в моем развитии, которую так мучительно я начинал сознавать, и куда бы она завела меня в этот критический момент жизни — и моей и моей семьи.

Когда я теперь вспоминаю об этом времени, мне представляется, что все произошло с невероятной неожиданностью и быстротой. Был такой теплый уют близ пылавшего ярким светом очага, в лучах которого так весело и жизнерадостно расцветала и зрела молодая жизнь, и вдруг неожиданно налетевший вихрь задул это веселое пламя жизни, оставив только пепел, под которым лишь слабо тлели уцелевшие искры... В действительности, конечно, все произошло вовсе не так эффектно. Если бы я в то время был более опытен, наблюдателен и чуток, то, несомненно, заметил бы, что все произошло, как теперь говорят, вполне «закономерно»: здесь разгоралось веселое пламя жизни, а где-то, тайно и подспудно, работали в то же время темные силы...

Я уже говорил раньше, что самый ярый из наших «эмансипаторов» — Н. Я. Д. еще до появления манифеста 19 февраля должен был быстро и окончательно «стушеваться», исчезнув надолго совсем с поля нашего зрения, под стремительным напором местных крепостников, угрожавших ему, как передавали тогда втихомолку, даже отравлением. По крайней мере он сам лично, лет десять спустя, подтверждал мне это, рассказывая о травле, которую подняли против него и которая заставила его бежать из нашей губернии.

Говорил я уже и о том, какое удручающее впечатление произвело на наш молодой интеллигентский кружок известие о смерти Добролюбова, имя которого было связано с надеждами на создание «независимой» газеты в нашем городе. Через год после этого дядя Сергей, по окончании курса в университете, был послан «заслуживать» стипендию военным врачом в Новгород, а его ближайший друг, мой прежний учитель, был выслан «на выслугу» в еще бо-

лее дальнюю от нас губернию. Разлетелось вместе с ними, по разным стогнам и весям, много и другой близкой разночинской молодежи, как бы провиденциально призванной стихийно рассеиваться по лону земли русской.

В конце концов и добрый гений нашей семьи, главный вдохновитель ее идеалистических настроений, дядя Александр, с каждым годом становился все нервнее, печальнее и раздражительнее и, невидимо подтачиваемый страшной болезнью, принужден был перевестись на службу в еще более далекий от нас Кавказский край, в Ставропольскую губернию, где быстро и погиб от скоротечной чахотки...

Так, день за днем, быстро сиротела наша скромная интеллигентская храмина. Понятно, что это не могло отражаться благотворно и на настроении нашей семьи. Отец становился все печальнее и озабоченнее, так как семья росла, а между тем нравственная поддержка тех, с кем прежде чувствовалась крепкая духовная связь, все больше и больше таяла. Особенно удручающее впечатление произвела неожиданно быстрая смерть дяди Александра, этого нервного, порывистого, не всегда уравновешенного, но необыкновенно чуткого, нежного и любящего человека. Вслед за ним вскоре умер и мой любимый добродушный дед, которому дядя Александр был обязан многими лучшими сторонами своей души.

Так отрывались и от моей юной души наиболее дорогие связи, не рождая еще взамен себя новых интимных привязанностей. Я все больше начинал чувствовать себя покинутым на распутье...

Между тем то понижение общего настроения, которое сказалось на нашей семье, во многих отношениях не было исключительным в описываемый период. Объявление манифеста 19 февраля, а главным образом опубликование «Положения», провело окончательную грань между прошлым и ближайшим будущим: всяким упованиям и страхам был положен решительный предел. Любопытно, что «Положением» никто в то время не остался вполне доволен. Кто мечтал о лучшем, был недоволен слишком большими уступками «старому»; крепостники находили его «безмерно-радикальным»; крестьяне относились к нему с скептическим недоумением. Но для всех было ясно одно, что дело так или иначе решено бесповоротно, и те-

перь все сводилось исключительно к одному, чтобы все внимание уже обратить на начинавшуюся ликвидацию старого, употребив все силы на использование ее в своих интересах. И для успеха этого дела не стояли ни за чем: одни — открыто и нагло, другие — втихомолку и лицемерно. Недаром в то время создался тип «мировых посредников первого призыва», особая доблесть которых заключалась в том, чтобы хоть сколько-нибудь сдерживать хищнические и плутовские инстинкты бывших крепостников и придать ликвидации вид хотя бы некоторой законности. Но это им далеко не удавалось.

До какой степени эти ликвидационные интересы, в первые годы после освобождения, отодвинули все другие, можно было судить по нашей библиотеке. Успех ее в первый год, как я говорил, превзошел самые радужные ожидания [8]. Но не прошло двух-трех лет, как отношение к библиотеке круто изменилось, особенно с наступлением «ликвидационного периода» после 19 февраля. Мне часто приходилось слышать, как в ответ на напоминание отца кому-либо из дворян о возобновлении подписки они на ходу махали рукой и говорили: «Э, батюшка, теперь не до этого... Куда нам!.. Лишь бы быть живу...»

И действительно, «дворянская» (большею частью годовая) подписка падала с зловещей быстротой. А это грозило большим осложнением. Остальной контингент подписчиков решительно был бы не в силах поддержать престиж библиотеки на прежней высоте. Купцов в нашем лишенном всякого промышленного значения городе было лишь десяток домов, да и то среднего достатка; а кроме того, они решительно не интересовались в то время никакой высшей культурой и вели исключительно «свою линию»: одни по православной части, а другие по раскольничьей, и, за очень редкими исключениями, были совсем равнодушны ко всякой светской книге. На разночинца, составлявшего главный элемент в нашем населении, чиновного или иного вида, хотя и значившегося в большом числе наших подписчиков, трудно, однако, было возлагать прочные надежды, так как все это был подписчик месячный, за полтинник или четвертак, да и то не всегда аккуратный. Приходилось сокращать подписку на новые жур-

налы и выписку новых книг, а это, конечно, не могло служить к поддержанию старого престижа библиотеки.

Понятно, что отец становился все более удрученным, особенно в связи с быстро сиротевшим прежним приятельским кружком. Были, как я узнал вскоре, и еще другие причины его духовного удручения: для него все более становилось ясным поведение некоторых его сослуживцев, наружно оказывавших к нему дружелюбные отношения, но которые уже давно, с самого ухода из предводителей «старого масона» и переменой общего настроения в дворянской среде, повели против него тайные интриги, распространяя клеветнические слухи.

История старая, как сам мир; но для меня так изумительно еще новы были все такие «впечатления бытия»... И таких впечатлений судьбой, как оказалось, было приготовлено для меня в достаточном изобилии. Они не заставили себя долго ждать...

III

Начало крушения моего «нового храма».— Печальный финал.

Однажды, накануне праздника, отец раньше обыкновенного вернулся со службы домой и за обедом неожиданно заявил:

— Ну, готовьтесь... Надо переселяться!..

И матушка и мы, детвора, были изумлены необычайно.

— Куда нам переселяться? — испуганно крестясь, спросила матушка.

— Не нам, не нам самим... Нам дай бог уцелеть хоть на своем месте,— сказал отец.— Ты завтра свободен? — спросил он меня.— Ну, так с утра отправляйся в библиотеку и займись вместе с П. (отставным старым чиновником, замещавшим в качестве библиотекаря меня и отца) упаковкой и переправкой твоей любимой литературной братии в наш шалаш... Будет!.. Пожили в барских палатах, теперь пора и в черном теле уметь прожить...

— Господи! да куда ж мы-то денемся, Николай Петрович? Ведь у нас мал мала меньше, кроме самих девять человек. Подумал ли ты? — вскрикнула матушка.

— Так, значит, за нас подумали большие люди, а нам, хочешь не хочешь, надо слушаться... Что ж тут разговаривать! У них уж это давно подстраивалось, да только я тебе не говорил,— заметил отец матушке.— Все думал, что ежели нас не пожалеют, так по крайней мере хоть дела не загубят... «Ну, говорят, нам теперь не до этого... Нам только дай бог экономию навести... Будет, говорят, доигрались!..» Ну, нечего еще толковать. Другого ничего не придумаешь... Пойдем, брат, соображать, как нам наших литераторов по нашим каморкам рассадить... Немало ведь их... Штука эта хитрая! — говорил мне отец, стараясь шутить в то время, как губы его были белы и дрожали.

— Да как же это можно? Все книги, всю библиотеку? — вскрикнул я, все еще не приходя в себя от изумления, когда мы вошли в наше зальце.

— Все книги, которые наши... Старую городскую библиотеку опять отправят в архивные подвалы на снедь крысам... Довольно посмотрела на свет божий!

— Всю библиотеку... здесь, в зальце? — продолжал я изумляться.— Да ведь вот... померяйте: ведь в ней всего три квадратных сажени... А высоты четырех аршин нет... Да тут и двух шкапов не уставится...

— А кабинет?..

— А в кабинете девять квадратных аршин... Да туда ни один шкап не войдет.

— А еще передняя?

— Ну, в ней всего шесть аршин.

— А коридор?

— Да ведь он холодный?..

— Ну, да ведь нам и самим не очень тепло... А потом еще — чердак, амбар... Ты не считаешь?

Я пожимал плечами, думая, что отец шутит.

— А ты поскромнее, брат, поскромнее рассуждай,— сказал он.— Шкапы, брат, деланы не по нашему дворцу — значит, и думать нечего их сюда тащить... Разве один-два возьмем, а другие до поры до времени в сарай свалим... А здесь мы, брат, везде полочки, простые самые полочки вдоль всех стен наколотим, где только свободное местечко есть... Да тут мы со всего мира литераторов разместим. Никого не оставим... В тесноте, да не в обиде!

— Ну, разве ж так можно? — огорчился я.

— А что ж? Разве от этого господа поэты хуже будут, испортятся, по-твоему?

Пришлось мне согласиться и признать, что, пожалуй, с милым рай и в шалаше может быть.

— Вот возьми-ка теперь бечевку да вымеряй, сколько нам надо будет полок заказать,— серьезно заключил отец, уже раньше, видимо, обдумавший всю операцию «переселения литераторов» из барского дворца в разночинский шалаш.

Благодаря тому что с самого начала нынешнего года я должен был заниматься в гимназии и утром и вечером (в землемеро-таксаторских классах), мне пришлось совсем почти расстаться с нашей библиотекой, и я заглядывал в нее уже очень редко. Когда в начале зимы, после неожиданного известия отца о «переселении» библиотеки, я зашел в нее, то был изумлен происшедшим в ней «переворотом»: две трети прежнего обширного помещения ее уже были очищены как от сельскохозяйственного музея, так и от шкапов с книгами старых российских классиков. Вся библиотека была теперь скучена в двух небольших комнатах. Отец коротко пояснил мне: «Велено все очистить к съезду депутатов... Говорят: самим нужно... Ну, укладывайтесь да поскорее».

И вот началось печальное передвижение остатков полуразрушенного моего «нового храма» из барских палат на разночинскую окраину.

Через несколько дней переселение было закончено более или менее благополучно, и наш маленький домик до такой степени наполнился книгами, что трудно было сказать, книги ли жили в нашем доме, или мы, семья из десяти человек, жили в домике, сложенном из книг. Кажется, не осталось без книг ни одного свободного местечка: чего нельзя было поместить на полках, то лежало в ящиках под столами, под кроватями, в чуланах, на подволоке, в амбаре... Устроилось книгохранилище невероятное — поистине «нигде пред тем невиданное»...

В первое время я был очень опечален этой картиной. Но вот когда через несколько дней привезли старую вывеску, обмыли ее от пыли и водрузили, как будто вновь заблестевшую, на карнизе нашего дома, я был поражен

тем, какую сенсацию произвело это в нашем скромном околотке. В первые два дня около нашего дома буквально образовалась толкучка из больших и малых семинаристов, двадцать раз перечитывавших вывеску и заглядывавших во все окна и двери, постоянно вызывавших то меня, то брата для переговоров.

— Так она здесь и останется? Навсегда, значит, при нас? — спрашивали они в удивлении.

— Да, останется.

— Ну, это, брат, ловко!.. А?.. Вот так штука... Теперь дело-то сподручнее будет... А? — коварно допрашивали меня великовозрастные, поталкивая в бок.

И мне стало веселее, когда я увидел, какое оживление произвело появление библиотеки в нашем околотке, сплошь переполненном зеленым семинарским поколением, ежедневно по нескольку раз двигавшимся из своих квартир целыми шеренгами мимо нашего дома в расположенную вблизи семинарию. И каждому юнцу ежедневно блестела хоть раз в глаза наша сияющая вывеска, невольно возбуждая в нем духовную жажду... «А что ж, может быть, мой «новый храм» будет здесь даже более у места и у дела?» — думал я.

А через некоторое время, не имея сил устоять против напора всех алчущих и жаждущих духовной пищи юнцов, я, как богач, обладавший несметными сокровищами, тайно делился ими, не думая ни о какой мзде... И теперь, вместе с ними, уже был так доволен этим неожиданным перемещением моего «храма» из барских палат на дно жизни...

Так храм покинутый — все храм,
Кумир поверженный — все бог! [9]

Как произошло другое роковое для нашей семьи событие, я теперь не могу себе представить ясно. Ничего эффектного; все шло, казалось, так последовательно и «закономерно». Сначала крушение свободного станка и с ним надежд на «чудеса» свободного слова, потом «осиротелость», шедшая таким изумительным торопливым темпом, потом переселение нового храма из барских палат, а наконец, и этот решающий финал...

Шли рождественские каникулы. Наш городок был

опять оживлен съездом дворянских депутатов, как и три года назад, в бурное время освободительного движения. Но теперь сам съезд был уже далеко не прежним: не было ни лирических речей рыцарей освобождения, ни страстных эксцессов со стороны противников: теперь все шло в каком-то зловеще сдержанном, строго деловом настроении, диктовавшемся громадным большинством, поставившим своей целью, вкупе с новой, пореформенной администрацией, ликвидировать всеми силами все, что напоминало о недавнем освободительном «помешательстве». «Ликвидационная» партия старых крепостников выступила с таким единодушным напором, что пред нею совсем исчезли, как-то стушевались все прежние «прогрессисты».

Это блистательно доказали выборы, которыми громадным большинством голосов был забаллотирован даже прежний предводитель, мягкотелый либерал, три года тому сменивший «старого масона», а вместе с тем с корнем был высажен и мой отец, мозоливший уже давно глаза и, как давнишний знаток всей подоплеки дворянского самоуправления, мешавший тем, которые собирались ловить рыбу в мутной воде.

Благодаря клеветам и доносам, давно уже тайно распускавшимся про него бывшими якобы приятелями, а также малодушию некоторых из его прежних единомышленников из прогрессивных депутатов ему было отказано сразу от всех должностей, исполнявшихся им долгое время в канцелярии депутатского собрания, и он был выброшен буквально на улицу без всякого снисхождения...

Удар, нанесенный с такой изумительно злостной мстительностью отцу, более пятнадцати лет бесхитростно служившему лучшим традициям передового дворянства, так глубоко повлиял на его душевный строй, что он уже до конца жизни не мог восстановить в себе ни прежней духовной энергии, ни прежнего доверчивого взгляда на людские отношения, при всем своем благодушии.

О всех этих тайных и не тайных причинах крушения отца я узнал уже впоследствии, а теперь я только догадывался, что отца обидели и огорчили каким-то большим недоверием.

Вскоре после выборов предводителя отец пришел однажды необычно рано; необычно долго молился в зальце перед образом, не говоря никому ни слова. Матушка с боязливым ожиданием смотрела в его лицо.

— Что это ты так рано вернулся, Николай Петрович? — спросила она.— Али нездоровится?.. Очень уж ты все к сердцу принимаешь... Мало ли что бывает... И раньше бывало...

— Будет! — сказал отец.— Теперь мы *там* больше не нужны... Конец!..— проговорил он едва слышно и быстро опустился в кресло, как будто у него сразу подкосились ноги.

Матушка опустилась на колени и стала горячо молиться, обливаясь слезами.

— Ну, что ж, все в руках божиих!..— сказала она, поднявшись с колен и успокоенная.— Только не отчаивайся, дорогой мой... Он все взмерит и взвесит — всем воздаст по делам их!

И эта, такая простая и искренняя, лишенная всякого лицемерия, непобедимая вера в конечное торжество добра как-то в то время особенно чувствительно затронула мою душу, и мне думалось, что без этой веры — в тех или других формах — было бы немыслимо разумное человеческое существование.

В то время этот окончательный и резкий перелом в жизни нашей семьи отозвался как-то особенно жутко на всех нас, и не столько в смысле наступившей материальной нужды или потери влиятельного положения отца, а главным образом в смысле какой-то острой духовной осиротелости.

Отец, мрачный и неразговорчивый, с утра до ночи сидел в кабинете, не выходя из халата, курил машинально трубку за трубкой и писал бесконечные письма и докладные записки о своей деятельности в Москву и Петербург, к разным прежним влиятельным единомышленникам, уже успевшим занять видные места в разных высших сферах. Писал он об одном, чтобы ему дали возможность «осмысленного труда», чтобы спасли его от ужаса единственно предстоявшей ему беспросветной канцелярской лямки. Приходили ответы, очень любезные, очень сочувственные, со всякими благими обещаниями... Отец воспревал на не-

которые моменты духом, мечтал о возрождении библиотеки, типографии, даже газеты... Но обещания оставались обещаниями, комплименты комплиментами, а жизнь где-то там, далеко, уже шла мимо него, старого семинариста»...

Между тем жизнь нашей семьи, казалось, катилась с невероятной быстротой по наклонной плоскости. Проходил месяц за месяцем, продавалось и закладывалось все, что было можно и чего было нельзя даже. Матушка, обливаясь слезами, вынимала из старой укладки остатки своего приданого: хранившиеся, как дорогие реликвии, какие-то жемчужные ожерелья, бусы, кольца и браслеты, какие-то чудные кокошники, «муаровые» платья и шитые золотом кофты и туфли, рассказывала сквозь слезы собравшейся возле нее мелюзге длинные воспоминания о каждой вещи и, наконец, несла все это в заклад или на продажу. Наконец, пришлось нести туда же и милые для нее иконы, в серебряных и золоченых ризах, которые доставляли ей так много эстетических наслаждений. Оскудение шло все быстрее. Большая семья требовала много, и той скромной помощи, которую могли сделать ближайшие оставшиеся в живых родные, едва хватало на несколько недель. Наконец, был перезаложен дом, заложенный еще раньше для поддержания библиотеки, чтобы спасти и его и ее от аукционной продажи. Библиотека все больше начинала поражать своею заброшенностью: дворянский подписчик исчез совсем, не желая ходить за книгами по грязным и пыльным улицам далекой окраины; таял и разночинный подписчик, отчасти по той же причине; местный семинарский околоток один еще интересовался ею, но он все больше рассчитывал удовлетворить свою духовную жажду как можно подешевле, а то и совсем gratis*. Выписка новых журналов и книг, конечно, должна была прекратиться, а с этим вместе еще более таяли всякие надежды на возрождение библиотеки...

Я теперь вспоминаю, как, будучи студентом, мне случайно пришлось читать в одной из книжек либерального журнала провинциальное обозрение, в котором автор описывал свой визит в наш город. Боже мой, с каким высоким негодованием была им написана страница, посвящен-

---

* бесплатно, на даровщину (*лат.*).

ная посещению моего бедного «храма», с каким язвительным злорадством он описывал «небритую, обрюзгшую» физиономию старого чиновника в халате, встретившего его в библиотеке, жалкий домишко на пыльной улице, с лежащими у крыльца свиньями, рассованные по полочкам книги, жалких ребятишек, сновавших между ними. «Полюбуйтесь, читатели, каковы храмы культуры в нашей милой провинции!» — восклицал он. О да, все это была сама правда, но... но фланирующий обозреватель, очевидно, не имел ни времени, ни желания познакомиться со *всей* правдой о той судьбе, которую пережил мой бедный «храм», такой милый и дорогой для меня когда-то, да, быть может, и не для меня одного.

Сохранились у меня и иные воспоминания о нашей библиотечке в это же время: вспоминаются веселые, живые личики зеленой молодежи, потихоньку от начальства, крадучись, приходившей по двое и по трое посмотреть невиданные иллюстрации и унести с собой кипку книжек; вспоминается старая добрая помещица, жившая невдалеке в усадьбе, которая еженедельно в базарный день присылала как бы «тихую милостыню» голодающим библиотекарям в виде яиц, масла, творога и тому подобной деревенской снеди, «вместо подписной платы», как наивно уверяла она; вспоминается какой-то старый отставной улан из дворян, чуть ли не единственный из этого сословия, кроме «старого масона», сохранивший в то время дружеские отношения к отцу, который привозил с собой по вечерам, потихоньку от своей сердитой супруги, кульки с винами, закусками и гостинцами для наших малышей.

Не могу пройти молчанием и еще одного, быть может, самого трогательного из воспоминаний; когда был поставлен ребром вопрос о необходимости продать единственную корову, пропитывавшую наших малышей, и часть книг из библиотеки, вдруг наша нянька, простая деревенская девица-вековуша, вынянчившая уже нескольких моих маленьких сестер, неожиданно исчезла куда-то и, вскоре вернувшись, стыдливо и смущенно вручила матушке «до поправки» свои скудные трудовые сбережения, причем заявила, чтобы не думали, что она хотела сбежать от нас, что она такого великого греха никогда на свою душу не возьмет и что «до поправки» она «все будет наша»...

Но, наконец, для отца окончательно иссякли всякие надежды на обещания влиятельных покровителей доставить ему «осмысленный труд». Однажды, вернувшись откуда-то, он сказал мне: «Если ты скоро выучишь нынче уроки, то после ужина пойдем со мной... Дело нашлось, и для тебя будет подходящее». И часам к 11 вечера мы отправились на вокзал нашей железной дороги, когда главным образом проходили мимо нашего города пассажирские поезда. Как я, изумленный, ни приставал к отцу с расспросами о нашем неожиданном путешествии, он шутливо говорил: «А вот увидишь скоро». Придя на вокзал, отец направился прямо к газетному киоску в зале I класса.

— Ну, здравствуйте,— сказал он продавцу.— Вот и мы. Рекомендую вам моего молодца: он моей правой рукой будет... Теперь вы можете нам все сдать.

Прежний продавец быстро передал нам счета и опись всего содержимого в киоске, сказал, от кого и как получать из Москвы газеты и книги и куда посылать деньги, распрощался, спеша на поезд, а мы с отцом остались в новой роли железнодорожных газетчиков. Отец стал знакомить меня с делом, но книги и газеты были настолько знакомыми мне предметами, что я быстро усвоил всю операцию и с большим удовольствием взялся за дело.

— Ну, вы теперь, папаша, ступайте спать... А я здесь и один управлюсь. Когда мне будет некогда, тогда пойдете вы или даже сестра с братом. Будем чередоваться. Это очень хорошо!

Я был очень рад и доволен этим первым настоящим «трудом» моим. Тяжеловато, положим, было сидеть, после дневных и вечерних занятий в гимназии и приготовления уроков, до часа ночи, но зато эта профессия в среднем давала нам 10—15 рублей в месяц.

Убедившись через неделю, что я с сестрой можем легко одни справляться с несложным делом газетной продажи, отец, мрачно вздыхая, отправился к председателю гражданской палаты, прося зачислить его на службу. Через неделю он получил место помощника столоначальника, с окладом около 20 рублей в месяц. Свершилось то, чего отец так боялся и решиться на что избегал в течение це-

лого полугода: заживо похоронить себя в юдоли рабьего сухого канцеляризма. Он совсем упал духом. Исчезла как будто навсегда надежда «возрождения». Все недавнее прежнее, еще такое светлое, бурное, окутанное в дымку такого милого, манящего своей чарующей неизвестностью, но полного живой жизни будущего, все быстрее и быстрее таяло и расплывалось, как сновидение. А окружающая серая, повседневная жизнь все оголялась больше и больше...

IV

Новый носитель моих старых симпатий.— А. И. Чу — ев и начало моего духовного возрождения.

Ощущение духовной осиротелости, несомненно, все острее начало отражаться и на мне.

Мне было бы трудно представить ясно, как именно сказывалось это ощущение на моем душевном состоянии, если б у меня не сохранилось несколько разрозненных листочков с несколькими стишками — этими незрелыми плодами моих тогдашних «творческих мук» [10]. В техническом отношении «плоды» эти были очень плоховаты, но они характерны единством и напряженностью воплощенного в них настроения какой-то духовной подавленности, растерянности и страстных попыток к «осмыслению» как процесса человеческой жизни вообще, так и своего духовного «я». Много было здесь, несомненно, навеянного со стороны и чтением, воспринятого с ребяческой прямолинейностью, но жажда духовного самосознания была, безусловно, искренняя и не могла быть иной для меня в описываемый период.

Я вступал во второй этап своей юной жизни и переживал процесс «психического брожения», который переживает каждый юноша на пороге перелома от интуитивно-хаотических восприятий жизненных впечатлений к реальному синтезу. Такой процесс становится особенно напряженным, когда он сопровождается столь резкими и чувствительными житейскими катастрофами, какие переживала наша семья.

Я был опять на распутье. Прежние духовные интим-

ные связи так жестоко неожиданно прервались, когда они были для меня особенно дороги и незаменимы. В ком и в чем я должен был искать духовной поддержки?

Отец, сам духовно подавленный и удрученный, на мои смутные запросы мог отвечать только одно: «Подожди, мой милый, не торопись... Во всем этом разберешься со временем. А теперь надо одно: учиться тому, что нужно нам сейчас... Вот смотри на меня, старого недоучку-семинариста... Что вышло?.. Было время, когда и мы были нужны. А теперь грош нам цена... Теперь уже нас обходят... Смотри — отовсюду идет молодежь с высшим образованием... Без этого теперь нам погибель... Надо, мой милый, торопиться... Года идут, а жизнь не ждет.

Надо, надо торопиться во что бы ни стало кончать курс в гимназии, в которой я застрял так постыдно долго. Это я сознавал сам так жестоко обидно, что напоминание об этом только еще более усугубляло остроту моей душевной смуты... О, если бы гимназия наша хоть чем-нибудь интимно милым и душевным могла ответить смутным запросам юной души, чего я так долго искал в ней и не находил до сих пор... Гимназия наша, положим, действительно преображалась, хотя и очень медленно. Вместо прежнего грубого бурсацизма новое «мягкое» начальство старалось как будто ввести и новые, более «деликатные» педагогические приемы. В дворянском пансионе в свободные от уроков часы и в праздники стали устраиваться литературно-музыкальные вечера, поощряться домашние ученические спектакли, открылись даже для учеников прежде недоступные сокровища фундаментальной библиотеки. Даже оставшиеся дослуживать пенсию некоторые наши старички, как я уже говорил, тоже как будто вдруг подновились, пообмякли. Гимназия для меня теперь уже не была, как раньше, символом чего-то неустранимо враждебного, отпугивающего от себя всякую детскую душу. Но до сих пор еще не было для меня в ней и ничего духовно поднимающего, греющего и ласкающего, что пленило бы ей юную душу и заставляло бы доверчиво раскрывать свои интимные уголки. Лично я еще не встретил до сих пор в гимназии ни одной личности из педагогов, молодых и старых, которые хоть сколько-нибудь могли напомнить мои прежние интимные привязанности в товарищеских

кружках обоих дядей, привязанности, быть может, смутные и неопределенные вначале, но так наполнившие мое юное сердце духовной теплотой.

И я так жутко тосковал о них... И не мог не тосковать.

Величественный хаос художественных образов, которыми в течение двух-трех лет наполнял мое воображение мой «новый храм», а затем все быстрее нараставшие и сменявшиеся «впечатления бытия» неотступно и властно увлекали меня в несшийся в окутанную туманом даль стремительный поток, по которому плыл я без руля и без ветрил и без надежного рулевого. Было смутно на душе и так жутко от духовного одиночества, и в то же время так страстно хотелось прорезать этот туман, за которым, как я верил, сияет «прекрасное» жизни...

Как-то вскоре после рождественских каникул этого года, когда я был уже в шестом классе, одиноко плелся я после уроков в гимназии домой. Вдруг меня окликнули сзади. Я обернулся и остановился. Меня нагоняла, широко и уверенно ступая, высокая, сутуловатая, худощавая фигура, с большой пачкой книг и атласов подмышкой. Это был наш новый, только что поступивший с осени, молодой учитель естественной истории Чу — ев. Я раскланялся и пошел к нему навстречу.

— Пойдемте-ка вместе,— не уменьшая шага, сказал он мягким басом, приветливо взглянув на меня.— Ведь нам с вами по дороге. Я уже давно заметил, что мы ходим в одну улицу. Должно быть, мы недалеко живем друг от друга.

— Да, в одной улице,— отвечал я.— Только я немного подальше.

— Это, кажется, недалеко от семинарии? Ну, да я так и думал... Говорят, там библиотека вашего отца?

— Да.

— Ну, вот как хорошо. Значит, мы соседи. Будем ходить вместе... Ну, скажите, как нынче понятно было все, что я объяснял на уроке, или же туманно выходило, сухо? Я, видите, очень интересуюсь мнением учеников о своем преподавании... Это — лучшая проверка самого себя.

— Конечно, понятно,— сказал я восторженно, не бу-

дучи в силах скрыть свое волнение.— Спросите любого из нас...

— Ну, положим, вряд ли... Да этого и требовать нельзя, чтобы все одинаково интересовались одним и тем же... У всякого есть свои склонности...

— Да кто же из нас раньше видел или слышал в гимназии до вас что-либо подобное! Ведь мы до вас и представить себе не могли, чтобы можно было естественную историю не зубрить из страницы в страницу, а изучать как что-то живое, ясное и наглядное... Да кому же это не интересно, А. И.? — продолжал я восклицать в том же тоне, чувствуя, как мою душу все больше и больше охватывают какие-то как будто далекие, но такие милые и дорогие сердцу старые впечатления... «Да, это он *из тех, из тех*... Я уже давно догадывался!» — мысленно говорил я про себя, мельком и конфузливо взглядывая в его лицо.

— А вот с самого начала весны,— говорил он,— мы будем с вами экскурсии устраивать в луга, в леса, на реку... Будем гербарии собирать, тритонов ловить... Это еще интереснее... И побеседуем обо всем попросту...

«Из тех, из тех!» — продолжал я повторять в то время, как в моем воображении все яснее и яснее всплывали близкие моему сердцу образы юных педагогов, когда-то так очаровавшие меня своею «человечностью».

— Ну, вот и моя квартира,— сказал он, останавливаясь у небольшого деревянного флигелька в узком переулочке.— Знаете что, заходите-ка как-нибудь ко мне в свободное время — благо близко живем,— побеседуем... Вечерами я часто дома... Заходите же! — прибавил он, протягивая мне руку. Я несмело протянул ему свою, что-то пробормотал, весь вспыхнув в невероятном смущении, раскланялся и чуть не побежал от него к своему дому. Поистине, я ног под собой не чуял, до такой степени все это было неожиданно и невероятно необычно в педагогической атмосфере нашего города.

«Он из тех!» — еще раз категорически подтвердил я самому себе, вспоминая первое появление его в нашем классе. Известно, что школьники нередко отличаются какою-то инстинктивной тонкой проницательностью относительно оценки своих педагогов. Достаточно было Чу — еву просидеть полчаса в классе, чтобы уже по одному

тому, как он смотрит, говорит, ходит, по всей его солидной, сдержанной манере общая характеристика ему была сделана. «Это не из наших»,— выговорил кто-то; и вдруг всем стало ясно, что новый учитель действительно представляет собою нечто такое своеобразное, что совершенно не укладывалось в знакомые нам рамки. Высокий, худой, несколько сутуловатый, с большой красивой темнорусой головой, которую он держал несколько набок, с большими карими мягкими вдумчивыми глазами, Чу — ев был действительно как-то своеобразно прост, естественно человечен в своих отношениях к нам. Это не было ни той снисходительной и заискивающей ласковостью и даже иногда фамильярностью, в которой так много неискренности, ни сухой авторитетностью «человека в футляре», боящегося естественностью отношений к воспитанникам подорвать свой педагогический авторитет. Последние два типа педагогов были наиболее знакомы нам, изучены нами до тонкости, и мы умели вскрывать их специфические черты сразу, как только появлялся «новичок»; сообразно этому сразу же устанавливалась относительно их и та лукавая школярская политика, которая была выработана давным-давно и передавалась из поколения в поколение.

В Чу — еве сразу все признали особый тип, относительно которого никакой выработанной политики в практике нашей гимназии еще не существовало.

Достаточно было познакомиться с его первыми преподавательскими приемами, чтобы понять, насколько все в нем было для нас необычно ново. В первый же урок он прежде всего стал, не садясь на кафедру и переходя от парты к парте, попросту знакомиться с нами, беседуя о том, что и как мы проходили по его предмету раньше, до него, задавая то одному, то другому вопросы из пройденного курса и делая все это до такой степени, так сказать, душевно, что ни у кого из нас не могло зарониться и мысли, что он нас экзаменует или выпытывает. Это тут же сказалось в той доверчивости, которая установилась у нас к нему, и в той откровенности, с которою мы признавались ему в своем полном невежестве по многим существенным отделам его предмета.

— Ну вот,— сказал он, кончая беседу,— теперь мы

сообща кое-что уже выяснили... Надо подумать, что же нам предпринять?.. Что упущено, того уже не ухватишь. Будем стараться использовать оставшиеся нам два года хотя бы в том размере, чтобы составить себе общее понятие о том, как живет и развивается все окружающее нас, от растений и ничтожной инфузории до самого человека. Не знать это простительно бедным, не учившимся ничему людям, но уже нам с вами совсем стыдно... Ведь вы учились пять лет!.. И вовсе это уже не так мудрено понять, как вам казалось из сухих учебников... Давайте вот и займемся этим попросту... Задавать уроков я вам пока не стану, а займемся мы по наглядному способу и простой беседой.

Я, понятно, не буду входить в подробное объяснение его преподавательской деятельности, которая теперь давно уже практикуется всеми добросовестными и чуткими к запросам детской души педагогами. Я остановился на этом здесь, чтобы подчеркнуть, насколько тогда такая «метода» в отношениях к ученикам являлась характерной для только что зарождавшегося нового типа преподавателей-натуралистов. Это было для нас тогда поистине «новым словом», имевшим для нашего поколения огромное значение.

Я лично, как мне уже приходилось говорить об этом, был счастливее других, так как мне раньше уже пришлось очень близко соприкоснуться с этим типом «человечного» педагога. Понятно, что с первого урока личность Чу — ева как-то невольно и заинтересовала и отчасти даже пленила меня, быть может благодаря некоторой моей склонности в то время к «обожанию» вообще всего, что давало хоть какой-нибудь повод разыгрываться моему идеалистически настроенному воображению. После нескольких уроков его во мне уже вспыхнул совсем неожиданно для меня особенный интерес к естественным наукам, которого раньше я почти не замечал в себе. Когда Чу — ев вскоре стал раздавать нам для прочтения начинавшие выходить в то время в большом изобилии популярные переводные книжки по естествознанию (вроде «историй» кусочков соли, угля, хлеба, а затем и такие, как поэтические этюды из жизни растений Шлейдена[11]), я сделался самым усердным их читателем. Нередко Чу — ев интересовался,

насколько мы усваивали прочитанное, и ему нравились мои пересказы об этом в классе. Однажды он даже рискнул дать мне, не в пример прочим, для прочтения хотя бы только первых глав «Физиологию обыденной жизни» Льюиса[12]. Вначале меня совсем обескуражило и такое «ученое» название книги и ее объемистый размер; я даже приступил к ее чтению с каким-то трепетом. Но затем первые же главы были прочитаны мной с такою легкостью, интересом и даже восторгом, что я изумился на самого себя. Когда вскоре на уроке Чу — ев поинтересовался узнать, какое впечатление произвел на меня Льюис, он, выслушав мой пересказ некоторых глав, остался, повидимому, очень доволен результатами чтения. Вероятно, всем этим объясняется отчасти то, почему он заинтересовался моею личностью и вообще.

В первый же праздник я не преминул воспользоваться его приглашением и, робко и волнуясь, позвонил в его квартиру.

Он был дома и один, и сам отпер дверь.

— Прекрасно. Очень рад. Будем как простые хорошие знакомые! — говорил он, радушно, как и раньше, протягивая мне руку и усаживая за маленький стол с самоваром.— Я, как видите, бобыль, одиночка и потому особенно рад хорошему знакомству.

Радушие его было так просто и искренно, что я скоро почувствовал себя так же хорошо, как когда-то там, в далекой р — ской гимназии, в такой же маленькой холостой квартире дяди Александра, среди «совсем, совсем новых педагогов».

— Ну вот, познакомьте меня поближе с собою, с другими, вообще с вашим городом,— говорил он.— Я ведь здесь ничего и никого еще не знаю... Как вы живете?.. Вот, говорите, у вас есть библиотека... Читаете? Много читали?.. Что же больше вас интересовало?.. Гм... гм... Вот как? Даже «Современник»?.. Кто же вам рекомендовал вообще книги? Дяди?.. Даже хотели издавать газету? Станок уже был?.. Даже Добролюбов был знаком? Гм... гм... Странно, удивительно... Кто же был ваш дядя?..

В таком роде продолжался наш разговор, когда он вдруг, несколько смутившись, сказал:

— Вы, пожалуйста, простите меня, что я вас как будто допрашиваю... Нет, нет... Будемте совсем откровенны и попросту... У меня нет никаких задних целей... Я, видите, уже слыхал кое-что, но очень противоречивое. А меня очень, очень все это интересует. Вот и вы... при всем этом... то есть я хочу сказать — при всех таких благоприятных условиях... и так засиделись в гимназии... Странно, странно... Мне говорили ваши старые учителя, что вы все прежнее время учились очень слабо... да... Даже рукой на вас махнули... Удивительно, странно... Особенно, говорят, вы слабы по языкам... Отчего ваш отец не нашел возможным нанять вам гувернера?..

— Гувернера? — спросил я таким изумленно недоумевающим голосом, что Чу — ев, взглянув на меня, совсем уже смутился и, ходя по комнате, заговорил скороговоркой:

— Видите, все это для меня очень странно... Я все слышу, что будто бы ваш отец нажил на службе большие деньги... Что у него в ломбарде лежит больше пятидесяти тысяч...

И вдруг Чу — ев, взглянув опять на меня, остановился в изумлении. Я уставился на него широко открытыми глазами, чувствуя, как вся кровь отлила у меня от лица, свело губы и всего меня передернуло судорогой, как от электрического тока.

— Дорогой мой, что с вами?.. Простите меня, простите, что я так грубо коснулся этих интимных подробностей! — заговорил он с искренней лаской и горьким сожалением, сжимая мои руки.— Я думал, что в этом нет никакого секрета... А между тем меня уже давно относительно вас поражают прямо необъяснимые странности... Верите вы мне, что я интересовался этим из искренней к вам симпатии, как к юноше, который давно уже поражал меня странными, непримиримыми противоречиями в своем развитии? Верите моим словам? — продолжал он спрашивать меня, сжимая мои руки и, повидимому, совсем ошеломленный, что я все еще не могу прийти в себя.

— Да... я не знал, что везде так говорят... Вы мне открыли ужасную... ужасную... клевету и ложь,— проговорил я, путаясь и едва слышно.— Я раньше только смутно догадывался обо всем этом, об этой клевете... мне было

непонятно, почему был так убит мой отец, когда его так жестоко и несправедливо начали преследовать...

— Говорите, голубчик, мне всю правду... Я верю каждому вашему слову... Это лучше, что вы все узнали от меня, чем от кого-нибудь другого,— сказал Чу — ев.

— Мы совсем, совсем... едва можем жить,— шептал я,— у меня еще восемь младших братьев и сестер... Отец теперь служит простым писцом. Библиотека разорена... Я с сестрой по ночам торгуем на вокзале газетами... В нынешнем году я записался еще на вечерние землемерские классы...

— Зачем это вы? — грустно покачав головой, спросил Чу — ев.— Ведь вы так совсем запутаетесь в занятиях.

— Боюсь, если не кончу гимназии... с чем мы останемся?.. Идти в писцы... в писцы... в писцы навсегда,— механически повторял я, чувствуя, что у меня перехватывает горло и готовы хлынуть слезы...

— Зачем так думать? Зачем? Этого с вами не может быть... Погодите, мы об этом подумаем с вами, поговорим... Зачем так мрачно смотреть, голубчик?.. Ну, будем друзьями!.. Вы меня простите, что я вас так расстроил... Но всегда лучше знать горькую правду, чем ходить в обмане... Вы мне раскрыли глаза. Теперь многое для меня стало понятным... Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом!..

И Чу — ев стал меня расспрашивать о прочитанных мною книгах. Но я все еще не мог освободиться от своего удрученного состояния, отвечал рассеянно, и разговор наш не клеился уже. Я стал прощаться.

— Ну, смотрите же не сердитесь на меня! — сказал на прощанье Чу — ев.— И непременно приходите ко мне: чем скорее, тем лучше.

— Да, я приду,— ответил я, почти выбегая из его квартиры, смутный и взволнованный. Я не только не мог сердиться за что-либо на Чу — ева, но едва я вышел от него, как уже совсем забыл о нем; его личность совсем потонула в целом вихре тяжелых мыслей и чувств, которые обступили меня.

В течение нескольких дней я был как в кошмаре, снедавшем меня мучительным чувством ложного стыда за себя и свою семью. Куда бы я ни приходил, с кем бы ни

встречался, в гимназии или у товарищей, мне всюду чудилось, что все смотрели на меня подозрительно, говорили со мной неискренно, считая скрытыми обманщиками и меня и моего отца. Когда я вспоминал о Чу — еве или видел его в классе, меня преследовала мысль, что он, несмотря на все его успокоительные слова, в глубине души не верит мне, смотрит на меня с сомнением. И я боялся даже помышлять о том, чтобы осмелиться идти к нему. Но кошмар рассеивался мало-помалу, и меня снова инстинктивно потянуло туда, где так неожиданно для меня мелькнул теплый огонек вспыхнувших старых интимных переживаний.

Неделю спустя, все еще снедаемый ложным стыдом, я опять робко позвонил у его квартиры. Чу — ев, видимо, был доволен моим приходом и встретил меня попрежнему радушно. Ни одним словом не намекая о нашем первом тяжелом разговоре, он заговорил о нашей библиотеке, о книгах, которые я читал, о том, чем я больше увлекался, о новостях современной художественной литературы. Было ли это результатом чуткости его натуры, или разговор сам собой вращался в наиболее близком для моего сердца литературном мире, только я чувствовал, что он как будто незаметно вел меня к тому, об отсутствии чего кругом себя я смутно и плохо сознаваемо тосковал. Мы говорили о Белинском, о Добролюбове, о других знаменитых писателях и критиках, об их значении, как аналитиков не только художественных образов, но и окружающей жизни; об их способности освещать ярким светом пути и цели жизни; о том, как этот свет помогает всем, в каком бы тяжелом положении они ни находились, возрождаться духовно и находить в служении идеалам высокое духовное удовлетворение... Я передаю, конечно, только общий смысл нашей беседы, которая велась далеко не в таком последовательном виде. Это был просто ряд вопросов, которые мне задавал Чу — ев и на которые я силился ответить по возможности связно, волей-неволею стараясь вызвать полузабытые образы в их наиболее ярких очертаниях. Он поправлял меня, дополнял, ставил в связь с другими образами, заставляя вдумываться, разбираться... Несомненно, происходил эксперимент вдумчивого, опытного и проницательного педагога. Но я этого

не замечал; для меня это было нечто совсем другое — это было как бы некое «озарение души»...

— Ну-с, так вот, значит, понемногу начинаем разбираться,— сказал Чу — ев.— А не замечаете вы, что это выходит как будто забавно,— спросил он улыбаясь.

— Что? — изумленно спросил я.

— А вот то, что урок по естественной истории превратился у нас в беседу по истории литературы, а натуралист преобразился в филолога? А? Разве это не забавно?

И Чу — ев рассмеялся.

— Нет, нет! Это так хорошо! — ребячески восторженно сказал я.

— Странный, удивительно странный вы юноша! — воскликнул он, любовно смотря на меня и качая головой.— Сведений у вас, вот хотя бы по литературе, на десять таких же юнцов хватит, а вот вчера А. А. (учитель словесности) мне передавал, что он вам по теории словесности двойку поставил.

— Это за гиперболу! — сказал я, весь вспыхнув.

— Да чего же вы гиперболы испугались?.. Ведь вы по Белинскому знаете вещи куда мудренее, чем гипербола...

— Я всей этой нашей «теории» боюсь... Только взгляну на нее, так меня на сторону и оттолкнет... Понимать ее нельзя, ее можно только зубрить, а в ней чуть не тридцать листов. А для чего это — не знаю...

— Но ведь вы сущность дела знаете... во многом знаете и понимаете... Разве А. А. никогда с вами не разговаривал так, как мы вот сегодня, попросту?.. Он мог бы оценить...

— Никогда в жизни!..

— Этакие антикварии! — проговорил он, весело засмеявшись.— Ну что ж, будем и впредь с вами собеседовать... Думаю, плохого у нас из этого не выйдет...

И так еженедельно, а то и чаще стал я посещать своего нового «вдохновителя», неожиданно посланного мне судьбой, переходя от беседы о Белинском и Добролюбове, о тургеневских «Накануне» и «Отцы и дети», о «Грозе» Островского и «Очерках бурсы» Помяловского к беседам научного характера по всем отраслям естествознания, на которые он часто приглашал по очереди и моих товари-

щей-одноклассников, показывал коллекции растений, насекомых и минералов, микроскопические препараты, читал популярные очерки...

И все это, казалось бы такое незамысловатое, такое простое отношение между нами и учителем было полно для нас каких-то совсем новых, никогда не изведанных откровений, озарявших наши юные души теплом и светом. Замечательно, что не только я, но и другие мои товарищи начали смутно чувствовать, что после ряда таких бесед у них незаметно стало проявляться даже иное, не прежнее «школярское», отношение и к самой гимназии в ее целом... Конечно, совершалось это «педагогическое чудо» не разом и не во всех отношениях, но было очевидно, что своеобразная, незаурядная духовная натура Чу — ева не только духовно пленила нас себе, но невидимо и неощутимо перебрасывала духовный мост между нами и уже многим из нас давно опостылевшей гимназией. Для меня по крайней мере это было несомненно. Дух прежнего «школярского» отношения к науке испарялся во мне с каждым днем (по крайней мере относительно тех предметов, где «зубрежку» возможно было заменить свободным умозрением) — к изумлению меня самого и моих старых наставников. Секрет этого открылся мне довольно скоро: требовалась только известная доза храбрости, которою после знакомства с Чу — евым и его педагогической методой я уже обладал в значительной степени. Как он постоянно внушал нам обходиться при малейшей возможности без сухих учебников, так и я, в один из счастливых моментов моей жизни, решил не открывать постылых учебников, с их традиционными «от сих до сих», а выступать перед своими строгими менторами с ответами «по собственному умозрению». Так на уроке по теории словесности я вдруг изумил нашего старого словесника изложением теории драмы по Белинскому, вместо сухого учебника истории я рассказал эпизоды из Крестовых походов по Груббе [13], неудобоваримого и деревянного Ленца по физике я заменил Гано [14]... Эффект получился изумительный. Педагогические старички совсем растерялись, не зная, как отнестись к такому, можно сказать, нахальному новаторству.

— Это ты, братец мой, как же так?..— заговорил старый словесник.— Ведь этак, брат, нельзя по своему усмотрению распоряжаться.

— Да разве же я, А. А., что-нибудь наврал? Отчего же нельзя?— спрашивал я с наивным лицемерием...

— Дело не в том, братец, наврал ты или нет, а в том, что так не полагается... Для этого есть одобренные начальством учебники...

Тем не менее суровый ментор, хотя и не без сомнений и колебаний (время все же было какое-то не прежнее!), перестал мне с этих пор ставить неукоснительно «двойки», давно уже считая меня решительно не способным усваивать «одобренный учебник»... Приблизительно в том же роде произошли объяснения и с другими менторами.

Так или иначе, я, к своему удовольствию, мало-помалу завоевывал известную самостоятельность «собственного умозрения».

Я вступал в новый период моего «духовного окрыления».

V

Конспиративная квартира.— Проявления юношеской активности.

Вскоре после начавшихся между мною и Чу — евым столь необычных в нашей педагогической практике близких душевных отношений я встретился в нашей библиотеке с одним великовозрастным «богословом» из семинарии, В. О — вым [15], принесшим ранее взятые им книги.

— Отчего давно к нам не заходишь? Боишься, что ли? — спросил он меня.— Говорят, у вас есть такие, что боятся... Заходи сегодня...

Я несколько вначале смутился от слов О — ва. В последнее время, подавленный тяжелыми душевными переживаниями, я незаметно для самого себя все больше изолировался от своих сверстников и сохранял с ними лишь внешние отношения: тут был и ложный стыд и инстинктивная боязнь, что окружающие заметят мою психическую неустойчивость, душевные колебания, сомнения; наконец, я уже не мог с прежним легкомыслием относиться к разным увлечениям, спортивным и иным, вроде невинных

кутежей и картежной игры, к которым стали пристращаться некоторые из моих сверстников. Устранялся я от этого не в силу каких-либо ригористических претензий, а просто вследствие инстинктивной боязни окончательно загубить всю свою ученическую «карьеру», которая так мучительно сказывалась на моем настроении своей неустойчивостью и двойственностью, особенно в последние полгода, ввиду тяжелого положения нашей семьи. Поэтому, когда меня звали в товарищеские гимназические или семинарские компании, я отнекивался, отговариваясь разными случайностями. Но теперь, после того, как я под влиянием пережитого духовного перелома благодаря помощи Чу — ева почувствовал как бы «духовное просияние», я после недолгого смущения с особым удовольствием отозвался на призыв О — ва.

— Нет, я не боюсь,— сказал я,— к вам я приду... сегодня же!

О — ва я уже знал раньше, но не особенно близко. Он был на два года и курса старше меня. В семинарии он был известен за заядлого «философа», умевшего писать головоломные «задачки», хотя и не всегда пользовавшиеся одобрением начальства ввиду частого отступления автора в область «собственных умозрений». Я тогда, признаться, побаивался такой его учености и не рисковал вступать с ним в товарищеские отношения, но сам он не раз выражал желание сойтись со мной поближе, и я был уже раза два в квартире, где он жил с товарищами — одним богословом и двоими философами; при них жили еще два или три маленьких «училищных». Квартира эта помещалась в небольшом флигеле какой-то мещанки, садовницы и огородницы, на самом краю города, куда в ненастную погоду можно было пройти, лишь преодолев непролазные грязные хляби. Квартира эта в глазах семинарского начальства давно числилась как «неблагонадежная», а среди учащихся была известна под именем «секретной». Про нее ходили слухи, что в ней по преимуществу совершались всякие семинарские «конспирации», начиная от недозволенных собраний, с чтением неодобренных книг и ведением таких же бесед, укрывательства секретных библиотечек и кончая попойками, впрочем довольно редкими, большею частью только по поводу выдающихся событий,

как, например, отправление кого-либо из близких участников в университет или академию или посвящение в священники. Все такие конспирации обставлялись обыкновенно чрезвычайными предосторожностями, так как, несмотря на дальность расстояния и пустынную и грязную местность, семинарское начальство постоянно «точило зубы» на неблагонадежную квартиру и частенько насылало туда «субов». Против главным образом нашествия последних вокруг секретной квартиры в дни особо серьезных «конспираций» устраивались настоящие сторожевые посты по крышам и заборам и даже на деревьях, где сторожевую службу принуждены были «по очереди» отбывать маленькие «училищные», обязанные немедленно при малейшей опасности уведомлять конспирирующую компанию «старших». Обыкновенно особенно конспиративные собрания происходили накануне праздников, после всенощной, и чаще всего в ненастные дни, когда бдительность начальства значительно ослабевала.

Первые посещения мною конспиративной квартиры не оставили особо сильного впечатления; я больше присматривался и прислушивался ко всему и вообще относился хоть и сочувственно, но пассивно. Да и на конспирации я попал все на «деловые»: то читали вслух какое-нибудь произведение новейшей литературы (вообще не одобрявшейся духовным начальством), то трое или четверо философов, собиравшихся в университет, усердно пыхтели над переводом с немецкого Шиллера, стараясь «самодельным» образом изучить немецкий язык с помощью одного лексикона, от времени до времени проверяя себя по русским переводам, то, наконец, вели жаркие, но мало затрагивавшие меня разговоры по поводу разных семинарских распорядков. Другое дело оказалось теперь...

Когда я в этот раз пришел на конспиративную квартиру, я застал там уже довольно большую компанию «конспираторов», которые вели очень оживленный диспут. Особенно горячились трое во главе с О — вым.

Я уже слыхал раньше, что О — в умел временами говорить очень увлекательно и, главное, не по-семинарски, не сухо и схоластично, а просто, образно, как-то даже вдохновенно, но вместе с тем чересчур уж горячо, так сказать «нахраписто» относительно возражателей.

В этот мой приход О — в как-то сразу привлек к себе мое внимание своеобразной оригинальностью, которой я не замечал раньше. Худой, стройный, довольно высокий, с тонкими чертами лица, с ясными, как-то постоянно вдумчиво играющими глазами и длинными кудрявыми волосами, он был очень изящен, несмотря на плебейскую грубость некоторых его манер и выражений.

Он, видимо разгоряченный, наступал на своего оппонента, тоже богослова, великовозрастного малого, с большим носом и постоянно растопыренными ногами и руками.

— Нет, ты этого не говори,— возражал О — в.— Я, брат, сам не меньше, а может быть, куда выше тебя ценю всякое религиозное искреннее чувство... Да... Но только из этого не следует, чтобы я согласился прикрывать им всякую нелепость и ерунду... Это уж, извини, пожалуйста, чтобы я вместе с тобой верил в какого-то черта с рогами и хвостом или... Да мало ли всякой такой дребедени наслоилось около самых возвышенных воззрений...

— Нет, не дребедени... Это все связано гармонически... Вынь одно — все рассыплется,— говорил басом его оппонент.— Я не стою, положим, за то, чтобы злой дух был с рогами и хвостом, но самого злого духа отрицать нельзя... Да... Какая же тогда религия?

— Верно!.. Какая же тогда религия? — подхватили некоторые из великовозрастных.

— Какая? Какая? — вскричал О — в.— Самая возвышенная, трансцендентная, разумно-философская, чуждая всяких диких понятий и влияний.

— Это уж не религия... Религия — это нечто гармоничное, прочно связанное... Религия — это канон,— утверждал N.

— Канон! Какой канон? А ты знаешь ли, вот мой отец, сам священник, старик уж — и тот чуть с ума не сошел от этих канонов... Да! А уж, брат, человек религиозный, не тебе чета. Есть такие каноны, что извращают всякую истинную религию. Да. Попробуй-ка прикрывать святыми символами то дикие суеверия снизу, то всякие возмутительные деяния сверху... Нет, брат, религия должна быть чиста и прозрачна, как хрусталь, и на ней

не должно быть ни одного пятна... Она должна быть очищена от всякой житейской скверны.

— Ты будешь очищать так, другой — этак, где же границы? Что же тогда останется? Религия должна быть неприкосновенна, она — откровение свыше. А это, брат, одни твои фантазии...

— Нет, не фантазии! — отчего-то вспыхнув, неожиданно для себя заговорил я.— О — в прав... Да... У меня матушка, знаете, какая религиозная... Я и мысли не имею, чтобы относиться к ее религиозности без глубокого почтения и уважения... Да... но суеверие — дело другое... Да... А суеверий и у нее и у других пропасть... И это всегда меня очень волнует. И я чувствую, что надо в этом разобраться... Надо чистое, возвышенное чувство очистить от всего этого...

Помню, говорил я, отчего-то страшно волнуясь, запинаясь. Вообще я ораторскими способностями не обладал, не умел говорить последовательно, хладнокровно развивая свою мысль; всегда это выходило у меня как-то порывисто, нервно, под влиянием охватывавшего меня в данный момент чувства. Передаю здесь, конечно, лишь общий смысл моих возражений...

— Верно, верно, Николай! — ободрил меня О — в, хлопая по плечу.

— Где границы?.. Вы вот что укажите... А это все фантазии,— настаивали оппоненты.

Спор разгорался. Помнится, что я тогда рассказал, между прочим, как однажды моя матушка, найдя спрятанными мною на чердаке после рождественского ряжения маску и парик, устроила целую демонстрацию. В ужасе от своей находки матушка заставила моего почтенного деда благочинного, гостившего в то время у нас, принять меры к искоренению поселившейся у нас нечистой силы. Дед сделал все, что требовалось по требнику: провел весь чин освящения воды и затем, взяв с собой крест и кропильницу, отправился вместе с матушкой на чердак, где торжественно и совершил заклятие над невинной маской и париком, которые вслед за сим были преданы на дворе сожжению.

Рассказав этот случай, я, волнуясь, передавал, что он произвел тогда на меня сильное впечатление, так как он

мне показался профанацией чистого и возвышенного религиозного чувства, и с тех пор я невольно стал критически относиться ко многим предрассудкам, прикрывавшимся религиозным чувством.

— Положим, это так... Но где границы? — продолжали настаивать наши «ортодоксы», как называл их О — в.

— Да, да... Где границы? В этом вся суть; это необходимо определить точно и ясно. Это очень важно,— с особой категоричностью заявил один юноша, до тех пор все время молчаливо ходивший из угла в угол, но в то же время очень внимательно прислушивавшийся к разговору; иногда он подходил к тому или другому из споривших и пытался возражать, но, что-то промычав, опять сосредоточенно продолжал ходить. Это был тоже богослов. Фамилия его была, помнится, Сизов. Он был известен в семинарии своими странностями. Бледный и худой, с глубоко впавшими вдумчивыми глазами, крайне тихий, скромный и сдержанный, он был на счету у начальства как самый «идеальный» с его точки зрения ученик. Очень способный, он с необыкновенным прилежанием исполнял и проделывал все, что требовалось по семинарскому канону, и не только за страх, но и за совесть. Товарищи над ним подсмеивались, иногда даже издевались, дразнили «паинькой», но все, однако, чувствовали, что он не был плохим товарищем: он не лебезил перед начальством, не заискивал, не был доносчиком, очень охотно посещал «секретные» квартиры и большею частью с живым интересом слушал до поздней ночи всякие диспуты; но чаще молчал, довольствуясь лишь тем, что задавал некоторые вопросы — и затем уходил домой, всегда сосредоточенный, иногда сильно взволнованный. Вскоре за ним утвердилось прозвище «схимник», так как начальство и товарищи были уверены, что он кончит одним из первых кандидатов в духовную академию, по окончании которой непременно пострижется в монахи, чтобы стать впоследствии архиереем.

— Да, вопрос о границах требует самого точного и внимательного разъяснения... Это очень, очень важно... Знаете, без этого, без этого... невозможно! — сильно волнуясь, говорил Сизов.— Вот именно — где границы?

— Границы — в науке,— как бы мимоходом бросил густым баритоном молчавший до того времени богослов, один из обитателей конспиративной квартиры. Все время нашего спора он сидел в стороне и что-то переводил с немецкого. Он был известен среди товарищей как юноша с большим практическим тактом; умный, дельный, энергичный, с положительным складом ума, он был постоянным антагонистом поэтически-философствующего О — ва. Фамилия его была М — ский.

— Как ты сказал? — переспросил его Сизов.

— Границы — в науке,— спокойно и категорически повторил М — ский, не отнимая глаз от лексикона.

— Ну, наука — это особая статья... Это — область практическая,— единодушно заметили ортодоксы.

— В этом и суть,— начал было М — ский, но его прервал О — в.

— Нет, не в этом!..— сказал он особенно вызывающе.

— Да, да, не в этом!..— вдруг с особым одушевлением проговорил Сизов.— Все это надо, непременно надо уяснить.

— Постойте, постойте. Давайте разберемся! — воскликнул О — в, взмахнув своей кудрявой поэтической куафюрой (за которую ему частенько-таки доставалось от семинарских «субов», иногда настойчиво заставлявших его отправляться на стрижку).— Скажите, что такое истинное христианство? Имеете вы ясное представление?

— Это божественное откровение.

— Но ведь и библия была в свое время божественное откровение. А кто же, как не Христос, внес великий, очищающий и озаряющий свет в захламощенное всяким ужасом и сором библейство, с его книжниками и фарисеями? Кто открыл великую духовную борьбу против всемирного владычества рабского, идолопоклоннического строя жизни? Не он ли был великим очистителем старых религий?

И вдохновенный О — в, как истинный художник-импровизатор (как нам тогда казалось), развертывая одну за другой широкие исторические картины, все яснее и ярче рисовал образ Христа, осветившего миллионы чело-

веческих душ великим просиянием, призывая всех труждающихся и обремененных в единое воинство Христово...— Вот где начало очищения! Он дал нам единственный и великий пример и закон из века в век! А что сделали из его учения вы, новые книжники и фарисеи?

О — в говорил долго, увлекательно, картинно: он был в ударе.

Чем больше говорил О — в, тем больше я приходил в какое-то для меня самого непонятное волнение: я точно теперь впервые в своей жизни почувствовал, что я уже не пассивно воспринимаю то, о чем говорилось, не как младший от старших, что в душе я сам активно переживаю каждый образ, каждую высказанную мысль. Эти образы и мысли моментально, как в зеркале, отражаясь в моем сознании, вызывали за собой целый ряд образов и мыслей, когда-то полусознанно внедренных в мой мозг среди хаоса пассивно воспринимавшихся жизненных и книжных влияний и впечатлений. Все эти образы вспыхивали в моем воображении в каком-то еще неведомом мне раньше, но теперь таком ясном, понятном и волнующем освещении, и я, с тайным чувством приятного сознания зарождающейся духовной активности, в волнении прерывал О — ва: «Да, да!.. Это верно... А помнишь это у Шиллера — в «Дон-Карлосе»[16]?.. Да?.. А читал ты «Тайны инквизиции»[17]? Вот это все... вот также...»

Это мое, еще не испытанное раньше, настроение достигло высшей степени напряжения, когда О — в закончил свои импровизации таким образом:

— Погодите, постойте!.. Вот! — сказал он, роясь в своих карманах и вытаскивая оттуда целую беспорядочную кипу мелко исписанных листков различного формата и цвета — от клочков почтовой до оберточной бумаги.— Вот сейчас,— говорил он, стараясь привести в какой-нибудь порядок этот сумбурный сбор.

Оппоненты весело и ехидно подсмеивались над «пиитой» О — вым, хорошо известным всем по своей безграничной беспорядочности.

— Эх ты, пиита! Все свои фантазии перепутал, концы с концами никогда не соберешь, а тоже доказывать вздумал! — острили над ним.

— Нет, это не мои фантазии... Это... это — голос великого разума человеческого... отражение его истинной божественной сущности!.. Вот слушайте, имеющие уши олухи!! — сказал О — в и по подобранным кое-как лоскуткам стал читать перевод знаменитой поэмы Гейне «Горная идиллия».

Вначале он, путаясь в лоскутках, читал вяло и невразумительно, и нам, не знакомым с оригиналом, все казалось непонятным и сумбурным и не производило никакого впечатления. Мне даже как-то обидно стало за О — ва, жаль его, мне казалось, что он таким образом испортил все впечатление от своей прежней речи.

Но когда он дошел до половины, он вдруг бросил лоскутки, вскочил и внятно, с поэтическим воодушевлением прочел весь конец поэмы наизусть и даже с каким-то торжественным пафосом закончил, указывая на свою грудь:

Вот смотри, малютка мой:
Рыцарь Духа пред тобой!

— О, о! какой рыцарь проявился! — засмеялись ортодоксы.— Только, брат, все это пиитика, а не фундаментальные доказательства.

— Не пиитика, олухи вы царя небесного! — закричал О — в.— А настоящая, чистейшая поэзия, высочайшее вдохновенное осияние... Олухи, так олухи и есть!.. Их разве проймешь! Будет! Пойдем, Никола, на воздух... Я тебя провожу,— заключил он, наскоро собирая опять в карманы свои поэтические лоскутки.

Приятели весело смеялись, смотря на него. Только один Сизов молча и сосредоточенно ходил по комнате, иногда взглядывая на О — ва странным, блуждающим взглядом. Не было смешно и мне. Я, взволнованный, как-то жался к О — ву, хватая его за плечо, то за руку, стараясь так или иначе выразить ему переполнявшие меня чувства.

— Ты это откуда взял? Сам переводил? А? Ты дашь мне переписать? [18] — шепотом спрашивал я его, ласкательно заглядывая ему в глаза.

— Ладно,— сказал он.— Пойдем!

Мы вышли. Было темно. Я старался возможно ближе идти к О — ву и не спускал глаз с его лица. Он шел, вы-

соко подняв голову, с полным сознанием, как мне казалось, что он — истинный «рыцарь Духа».

— Это так хорошо! Удивительно хорошо! — говорил я.— Это Гейне, говоришь?.. Я его еще не знаю... И сам переводил? Пробуешь только? Трудно?

— Понравилось?

— Да, удивительно хорошо!.. А ты, должно быть, много читал?.. Ну, да ведь у вас не то, что у нас... Вот у вас философию учат и историю у вас проходят по-другому... Вот ты как все это знаешь — всю историю религий!

— Да, брат, у нас по этой части народ мозголовее... У вас что — одна практичность! Надо выше смотреть!.. Из профессоров есть теперь, из молодых, кое-кто дельный народ по этой части... Хоть бы Ксенофонта Н — а взять.

— У нас этого нет,— печально заметил я.— Ты и сам пишешь? Стихи?.. Я тоже... пробую... Я тебе как-нибудь покажу,— несмело сказал я, весь зардевшись.

— А-а! — изумленно протянул О — в.— Покажи, покажи... Да ты к нам чаще заходи. Из вашего брата у нас никто не бывает... Нет никаких связей... А у нас тут теперь разные дела пошли... Ничего — интересно... Переводим, читаем... Вот хотим разучивать «Ревизора», попробовать... Есть у нас настоящие артисты. Думаем журнал издавать... Заходи же!.. Пока прощай.

Мы подошли к повороту в мою улицу, и я, прощаясь, крепко пожал ему руку, молча, не имея сил выразить словами волновавшие меня чувства: в эту минуту я просто был влюблен в О — ва.

В сущности О — в был первой личностью среди моих сверстников, к которому я инстинктивно и сразу почувствовал особую духовную близость, какой я еще не переживал раньше. У меня много было товарищей из сверстников как в гимназии, так и в семинарии, но это были именно только товарищи, более или менее близкие, но ни к кому из них я еще не чувствовал той духовной, интимной близости и привязанности, которая определяется всегда довольно сложной комбинацией психических тяготений между двумя натурами, часто не только в силу их тождества, но и противоположности.

О — в прежде всего среди старших товарищей не мог не поразить меня незаурядностью своей натуры и духовного облика, которую чувствовали даже наименее расположенные к нему товарищи. Этою особенностью он отличался так ярко, что невольно нравственно подчинял себе многих.

С тех пор семинарская конспиративная квартира сделалась для меня источником и стимулом многих интимных душевных переживаний, в то время надолго оставивших след на моей душе. Как ни благотворно должна была влиять на меня вся та повышенная духовная атмосфера, которою жила наша семья накануне освобождения, но и по возрасту и по отношению младшего к старшим я мог воспринимать это влияние не иначе как пассивно, впитывая в свою душу все то, что должно было считаться высоким и благотворным в силу авторитета старших. Таково же по существу было еще и влияние Чу — ева. Но другое дело было здесь.

Конспиративная квартира стала для меня новой, органически необходимой для меня в то время связью с живыми и сильными ростками новой жизни. Здесь я мог уже не только воочию наблюдать процесс зарождения юных «разведчиков» из низов жизни, но и активно приобщаться к той духовной лаборатории, в которой вырабатывалась их «сознательная» психика. И вот то, что особенно охватило меня в духовном общении с сверстниками бодрящим, еще не изведанным мною раньше чувством, была именно эта моя личная духовная активность, впервые нашедшая для себя естественную почву и выход.

Не раз впоследствии — особенно в минуты душевной подавленности — с особенно теплым чувством вспоминал я эти «конспиративные» беседы, на которых, быть может, чересчур еще ребячески наивно, но так искренно перерабатывались в юных душах сложные и противоречивые «впечатления бытия»; а их скапливалось все больше и больше. Любопытно, что нас в то время, как я уже упоминал, особенно интересовала «проблема» об отношении между религией и наукой, что, вероятно, объясняется пре-

обладавшим среди нашей компании элементом «семинаризма». Конечно, для нас, еще очень мало знавших и опытных, подобного рода проблемы не могли быть решаемы бесповоротно, и мы то суживали, то расширяли «границы» той и другой области, сообразно расширению нашего кругозора и жизненных впечатлений и психической индивидуальности каждого. Для иных, как для Сизова, участие в таких беседах являлось выражением особого психического процесса, переживавшегося ими и болезненно и глубоко; для О — ва оно принимало характер творчески-философских импровизаций; третьи, как М — ский, с более положительным и практическим складом ума, хотя и склонялись к более «позитивному» решению этих проблем, в общем относились к таким «выспренним» вопросам индифферентно или по крайней мере не придавали им особо регулирующего их внутреннюю жизнь значения. Такие психические особенности ярко сказались на дальнейшей судьбе всех этих юношей.

Но все это было уже после, а пока мы были все еще слишком юны, в нас так бурно начинала кипеть молодая кровь, что всякие душевные «самоуглубления» не могли нас подчинять себе всецело. Нас неудержимо влекла к себе живая жизнь... Увлекаясь горячими диспутами о «проблемах бытия» и о разных «материях важных», мы, в границах нашего юношески наивного понимания, пытались излить свои умонастроения в жиденьких статейках, стишках и рассказцах в рукописном журнале, над перепиской которого в пятидесяти экземплярах просиживали ночи. В то же время с таким же увлечением отдавались мы и артистическому спорту, то пробираясь по вечерам целыми толпами на галерку плохонького городского театра, приходя в неописанный восторг от игры посредственных артистов, то самодельно устраивая передвижной театр, клея декорации, разучивая роли и устраивая по праздникам любительские спектакли в доме какого-либо из наших чиновных тузов, то, наконец, особенно ранней весной, большими компаниями уходили за город и с упоением отдавались пению хором «новейших» песен, привезенных к нам студенческой молодежью... Вероятно, многие и многие помнят этот период особого расцвета широкого своеобразного товарищеского общения, наложившего

характерную печать на психику целого ряда юных поколений.

Вспоминается мне, была уже ранняя весна, когда вдруг распространился в нашем городе слух, что с вокзала погонят партию «кандальных» поляков[19] в наши арестантские роты. Был праздник, и наша конспиративная компания решила во что бы то ни стало взглянуть на «пленных», несмотря на принятые начальством меры. Это было зрелище для нас новое и поразительное. Мы, прячась за калитками и заборами соседних домов, могли, к нашему изумлению, видеть, как прошла по «владимирке» целая партия человек в тридцать таких же почти юнцов, как мы сами, и эти юнцы, окруженные конвоем с ружьями, крупно и бойко шагая, в ухарски надетых конфедератках, шли с такой юношески беззаветной и даже вызывающей бодростью!

Их поместили в арестантских ротах, на краю города, вместо пересыльной тюрьмы, где они должны были пробыть несколько недель в ожидании новых партий, чтобы двинуться в Сибирь. С тех пор арестантские роты совсем завладели нашим вниманием. Вначале чуть не каждый вечер мы, скрываясь от следивших за нами «субов» и надзирателей, ухитрялись просиживать где-нибудь в кустах поблизости тюрьмы целые часы, вслушиваясь в неведомые нам мелодии, то невероятно грустные, то торжествующе вздымающие, исполняемые юными, свежими голосами, далеко раздававшимися в вечернем воздухе. Было что-то торжественно-величавое в этом пении, и мы слушали его затаив дыхание, впиваясь в то же время глазами в юные бодрые лица, которые мелькали за железными решетками тюрьмы.

— Смотрите, смотрите! — крикнул однажды кто-то, показывая на площадь перед тюрьмой.

Мы увидали скромно стоявшую молодую девушку, в черном траурном платье, в шляпке с креповой вуалью, не спускавшую глаз с тюремных окон.

Вдруг она махнула белым платком раз, другой; в тюрьме, очевидно, это заметили, и десятки юных голов уперлись в оконные железные решетки; девушка качнула несколько раз головой — и в тюрьме вдруг грянула бурная приветственная песнь. Когда ее пропели, девушка

исчезла. Мы были вне себя от изумления. «Какова, братцы! А? Кто такая?» — спрашивали мы в недоумении друг друга. На следующий вечер мы уже, понятно, с величайшим интересом вновь ждали ее появления на прежнем месте. Она не заставила себя долго ждать. Очевидно, ее ждали и юные заключенные и при ее появлении снова приветствовали ее восторженным гимном.

Демонстрации молодой девушки, конечно, быстро сделались известными в небольшом городе как всей городской культурной публике, так и начальству; сделалось известным и то, что эта храбрая девушка была Софья N, дочь очень популярного в городе врача, поляка по происхождению. Но вместе с этой широкой известностью быстро прекратились ее демонстрации. Рассказывали, что когда в третий раз Софья N появилась перед тюрьмой, то к ней подошел дежурный офицер и, любезно раскланявшись с ней, передал ей предупреждение губернатора, что если она будет демонстрировать перед тюрьмой в траурном наряде, то начальство вынуждено будет тут же на месте раздеть ее, и что если этого не сделали до сих пор, то из уважения к заслугам ее отца. С тех пор имя Софьи N прогремело в городе как имя первой у нас женщины «нового типа», и ей долго после этого нельзя было пройти незамеченной по улице или бульвару: наша молодежь останавливалась группами и всматривалась в нее с величайшим интересом, как в женское существо совершенно особого рода. Она интриговала нас и тем, что, помимо бывших демонстративных выступлений, она и теперь продолжала ходить по городу своей бойкой, деловитой походкой, в скромном черном траурном платье, и тем, что, по наведенным нами справкам, она была очень самостоятельной, независимо державшей себя в высшем обществе девушкой и что, наконец, она была знакома в подлиннике со всей польской классической литературой, о которой мы не имели никакого еще представления... Одним словом, Софья N явилась для нас совершенно неожиданным открытием.

В то время в нашей юной компании, да и вообще среди нашей молодежи, особенно семинарской, «женский вопрос» как-то еще не зарождался или по крайней мере не выдвигался на первый план, несмотря на усердное чтение

либеральной литературы. Девицы наших семей все еще были для многих из нас просто «барышнями», призванными исключительно блистать соответствующими этому званию качествами — красотою тела и познанием некоторых изящных искусств. Неожиданное «преображение» установившегося типа в лице Софьи N как будто сразу заставило многих из нас задуматься над этим явлением и начать всматриваться в окружающих нас «барышень» с иной точки зрения. Однажды я принес в нашу компанию полученное мною от моей юной сестры известие, выходящее из ряда вон: оказывалось, что на днях одна из наших барышень-соседок, некто П., дочь средней руки чиновника, сама вышла замуж и таким новым совсем способом, что об этом никто не знал не только в нашем околотке, но и на ближайшей улице и даже среди самых близких родных и знакомых. Барышня эта до тех пор жила так скромно и так редко появлялась в гостях и вообще в обществе, что как-то мало замечали ее. И вдруг оказалось, что это — замечательно развитая трудящаяся девушка, очень много перечитавшая и изучившая прекрасно немецкий и французский языки самоучкой, и что, наконец, она сама читает и переводит «Buch der Lieder» Гейне! *

И вот эта-то серьезная девушка однажды объявила родителям, что она любит скромного телеграфного механика-немца и что они намерены повенчаться, и, взяв под ручку своего суженого, отправилась в церковь, в сопровождении только двоих свидетелей. И не было ни свах, ни званого пира, ни глазеющей на свадьбу в окна уличной публики, ни всех неизбежных в этом случае аксессуаров. П. сделалась в нашем околотке по этому случаю притчей во языцех...

А мы, юнцы, к нашему приятному изумлению, все больше начинали находить, что и в наших барышнях начинается несомненное «преображение». Нам оставалось только это течение приветствовать и даже, как «рыцарям Духа», принять на себя особое попечение к дальнейшему развитию этого «преображения», в особенности среди тех, которые так или иначе успели затронуть наши юные сердца.

---

* «Книгу песен» (*нем.*).

Так народился у нас «женский вопрос», много раньше, чем в нашем городе появилось какое-либо даже низшее женское учебное заведение, не говоря уже о гимназии. До тех пор, как известно, дворянские барышни специально отправлялись в петербургские и московские институты, а наши несчастные «разночинки» должны были ограничиваться лишь жалким подобием домашнего воспитания на медные гроши. Но скоро настал черед и для появления «юных разведчиц» из «низов», двинувшихся в столицы с неменьшим рвением и самоотвержением, чем их братья.

Зарождение «женского вопроса», несомненно, еще более подогрело повышенное настроение нашей компании. Странствуя с своими передвижными декорациями по домам наших чиновных обывателей, мы теперь уже не ограничивались исключительно только созерцанием наших барышень среди публики и танцами с ними или игрою в фанты, а рисковали даже, хотя еще очень несмело, на некоторую «просветительную миссию». Доказательством того, насколько еще ни в нас, ни в наших барышнях не хватало смелости дерзнуть на полное «равноправие», может служить тот факт, что за все время существования нашей странствующей труппы в ней еще не участвовала ни одна барышня, и на исполнение женских ролей должны были затрачивать все свои артистические усилия гимназисты и семинаристы. Так еще робко совершалась у нас эволюция женского «преображения».

Повышенное настроение среди нашего юношества, однако, продолжало возрастать прогрессивно и, нужно сказать, к нашему несомненному духовному улучшению; в последние годы моего пребывания в гимназии почти совсем исчезли все дикие проявления школярской разнузданности, атмосфера видимо очищалась, и я не помню уже почти ни одного случая, подобного тем грязным половым эксцессам, которые мне приходилось отмечать в недавнее «старое» время. Имела в этом случае, как мне кажется, влияние и тогдашняя литература, носившая по преимуществу возвышенно этический характер как в индивидуальном, так и в социальном смысле, и другие явления общественной жизни. Так, например, появление в на-

шем городе ссылаемых в Сибирь юных поляков, как видно из предыдущего, не могло не произвести известного влияния на нашу молодежь, но не в смысле чисто политическом, как таковом, а, так сказать, в общем социально-этическом. Политикой, в узком смысле, мы тогда еще интересовались мало: газеты читали редко, находя, что текущей политикой могут заниматься те, кто стоит около нее, и что мы в сущности ничего в ней не понимаем. Любопытно, что просветительного значения за газетами мы в то время не признавали. Но «живые» жертвы политики, тем более в виде наших сверстников, не могли нас не заинтересовать прежде всего той удивительной юношеской бодростью и вызывающей смелостью, которая, казалось, так мало соответствовала их данному положению. Невольно с представлением о них, незаметно для нас самих, в наши души вливалось тоже что-то бодрящее, поднимавшее дух, звавшее на духовный подвиг.

Несомненно в том же направлении повышения этического настроения влиял на нас и так целомудренно распускавшийся цветок «женского равноправия», час за часом совершенно изменявший наши воззрения на девушек, начиная с наших сестер. Я вспоминаю, с каким волнением я прочитал однажды, будучи у своего товарища, помещенную в каком-то журнале краткую биографию первой американки-врача Елизаветы Блекуэль[20]. Почему-то эта биографическая заметка вдруг озарила меня каким-то просиянием: я тотчас же тщательно переписал ее и побежал домой, чтобы прочитать ее своим еще очень юным сестрам... «Господи! Да ведь вот что может быть! — наивно думал я.— Ведь может же быть, что и они не будут только рабынями своей жалкой судьбы — быть лишь невестами и женами писцов, чиновников, дьяконов, лавочников... И для них откроется иной мир жизни, духовно независимой, самостоятельно трудовой». И в этот момент я, с юношеской беззаветной наивностью, забыл, что не только мои голодающие сестры, лишенные способов получить даже самое элементарное образование, обречены еще на судьбу рабьей доли, но что и я сам, просветитель, недалеко еще ушел от возможности... остаться жалким писцом!

VI

Мечты о будущем «роде жизни».— Мои дерзания и их конечный результат.— Первые впечатления от пореформенной деревни.

Время летело быстро. Приближались экзамены. Для многих из нашей компании они должны были иметь решающее влияние на их будущую судьбу. Для меня нынешний экзамен, невыпускной, не имел еще такого значения, но результаты его были важны для меня как первое испытание применения мною системы «собственного умозрения», которая должна была решить судьбу моей гимназической карьеры. Так или иначе, экзамены заставили многих из нас круто задуматься.

Однажды, зайдя на конспиративную квартиру, я застал в ней одного О — ва. Он как-то необычно задумчиво ходил из угла в угол.

— Близко экзамены,— сказал я.

— Да, брат, пора за ум браться,— проговорил он.

— Готовишься?

— Нет, чего тут готовиться! Все одно по первому разряду в академию нас никого не выпустят, кроме разве Сизова... Это уж крышка!

— В университет думаешь?

— Нет, не пойду... Надо опять экзамен держать. Да и у батьки животов не хватит на меня.

— Значит, в священники?

— И в священники не пойду.

— Канонов боишься?

— Боюсь... Я, брат, в другие священники пойду... Пойду народ учить... в народные учителя...

— Вот как!— проговорил я в изумлении. Признаться, такое сообщение О — ва меня сначала как-то обескуражило, и мне стало даже немного обидно за него: звание народного учителя стояло тогда в общем мнении очень низко, так как эти места в то время замещались по преимуществу всяким сбродом из недоучек, исключенных из гимназий и семинарий за поведение и лень.

— Около нас,— продолжал О — в,— у меня на родине, большое село есть, фабричное... И училище есть уже... Это, брат, теперь великое дело... Только нужно

выше смотреть! Да! Не по-чиновничьи... Это вот мы учимся, чтобы в чиновники попасть, в духовные или светские — все одно, а народу не это нужно. Народу нужна чистота учения... Вот как апостолы учили... У нас там есть уже мальцы, не чета нашему и вашему брату... Обмозговываем это дело вплотную.

— Может быть, это и так... А все же ведь ты, по-моему, хорошим бы писателем мог быть, вот как Добролюбов, и поэтом. У тебя талант...

— А кто же мне помешает? Наберу с собой книг... Разобраться-то в них я теперь и сам смогу... Нужно быть писателем — буду, а то и без того дело будет... Книги книгами, а главное — дух божий! Вот что! Христос говорил и через простецов и через младенцев.

Миссия, которую выбрал для себя О — в, была по тому времени еще так необычна и нова, что вызывала и удивление, и невольное сомнение, и страх. И я не мог не высказать О — ву еще раз своего сожаления, что он не будет «настоящим» писателем, которые, как мы были тогда уверены, выращиваются исключительно в Москве или Петербурге.

— Это, брат, уж как кому! — сказал О — в, как будто и сам еще раздумывавший над своим выбором.— Вот М — ский, он и теперь в прокуроры метит... В юристы идет... А знаешь что? Сизов-то... Не хочет в академию идти! Хочет в университет, да еще на физический факультет... Удивил! Это я только знаю, мне проговорился. «Я, говорит, по духовной части много знаю, а вот что они там, другие-то, говорят, доподлинно не знаю. Хочу, говорит, до самой сути дойти...» Вот ты и поди! У всякого свое. Только боюсь я, не выдержит он: там ведь все одна практичность, а он, брат, искренно духа ищет... и служить хочет одному духу... А ты куда думаешь? — вдруг спросил меня О — в, едва я успел несколько одуматься от изумительных сообщений как относительно Сизова, так и самого О — ва.

— Ну, я еще не решался об этом думать,— ответил я, весь вспыхнув, вспоминая о своих тяжелых счетах с гимназией.

— А все же: куда бы хотел? В писатели? Добролюбовым хочешь быть? — подсмеиваясь, спрашивал О — в.

— Шути шутки!.. А я действительно хотел бы в университет... Хотелось бы мне, знаешь, в самое нутро заглянуть — в историю, в литературу... чтобы, знаешь, вся эта жизнь человеческая осветилась бы мне... Ты вот больше меня знаешь в этом... А в гимназии что у нас было? Ничего этого не было... А дома — все урывками... Ничего цельного... Вот меня и тянет туда...

— Ну что ж, это хорошо! — одобрил О — в с своей обычной категоричностью.— Если хочешь дух жизни понять и послужить ему — это хорошо!

— Да, только еще до этого далеко... Все это для меня одна мечта... Пожалуй, в землемерах останусь.

— Ну, это плохо,— заметил О — в.

— Все же лучше, чем здесь в писцах... Нет, ты это не говори. Теперь у землемеров много интересного,— настаивал я, хватаясь за перспективу быть землемером, после своего возможного крушения в гимназии, как за соломинку.— Знаешь, только сегодня узнал новость, очень важную: нас (то есть учеников землемеро-таксаторских классов, в числе которых состоял и я уже целых два года), учителя-землемеры нынче повезут на практику в настоящие деревни... Понимаешь? Вводить «уставные грамоты»[21]. Они взяли работы и хотят нас прямо в самый центр практики ввести... Это, брат, дело по теперешнему времени серьезное и важное... и интересное... Сколько новых людей увидишь, новую жизнь!.. А природа? Я, брат, очень люблю деревенскую природу... Там и леса, и реки, и поля... Сколько поэзии! Нет, ты не говори, что это плохо...

— Не знаю, может быть... Только у нас по деревням хорошо знают, что все землемеры — заядлые чиновники, взяточники и пьяницы.

В это время в квартиру вошла целая компания нашей молодежи, семинаристов и гимназистов, вместе с каким-то не известным еще мне студентом университета, недавно приехавшим на каникулы.

— О чем разговор? — спросил вошедший с ними М — ский.

— А вот об экзаменах: кто, куда и зачем пойдет,— сказал О — в.

— Ну, ты уж, известно, в апостолы! — сиронизировал М — ский.

— Плохого не вижу... А ты уж, конечно, в прокуроры?

— Это видно будет... А в юристы пойду...

— Ну что ж, у тебя губа не дура... Прямо в практику.

— Да уж не буду носиться во всяких эмпиреях, чтобы воду толочь,— перебрасывались обычными колкостями М — ский и О — в, две натуры, диаметрально противоположные по своему психическому складу.

— А ты куда думаешь? — спросил меня М — ский.

— Он в Добролюбовы... У него тоже губа не дура... Прямо в гениалы! — заметил, хохоча, один из «ортодоксов».

— Этим не шутят! — вспыхнув, ответил я, огорченный, как мне казалось, профанацией имени писателя, с которым так давно был я связан интимными чувствами и представлением о нем, как о недосягаемом идеале.

— Да, этим не шутят! — заметил О — в.— Шутить с этим могут только олухи, которые не видят дальше своего носа... Гении родятся, а не делаются!

— Старо! — заметил вдруг студент.— Все эти ваши гении — просто писатели как писатели... Были и сплыли... Все эти ваши Белинские, Добролюбовы... старая песня! Теперь уж им на смену другие идут, не чета им.

Все это произнес студентик так авторитетно и с таким апломбом, что мы с О — вым просто онемели от изумления.

— Вон, брат, как там у вас!.. Кто же это такие ваши настоящие писатели? — спросил О — в.

— Да есть... Вот хоть Писарев, например.

— Писарев? Знаем, брат, знаем... Ну, у него еще молоко на губах не обсохло... Высоко забирает, да еще неведомо где сядет... А Добролюбов — это, брат, кремень духа, огнем и мечом испытан... Мы это хорошо знаем, потому он наш, кровный... Мы его всем нутром чувствуем и понимаем... Кто нам раскрыл все подонное нашей жизни, как не он? Кто все наши заматеревшие в рабстве души наизнанку вывернул и воочию нам показал?.. Кто нам вскрыл таинственный смысл художественных творений Островского, Достоевского, Гончарова, Щедрина [22]? А? Он... И никто еще в нашу, вот эту самую рабскую,

жизнь глубже его не заглядывал... А почему? А потому, что он истинный посланник духа, провидец...

— Старо! — проговорил студент, махнув пренебрежительно рукой.— Все эти ваши гении, провидцы, творцы — одна красивая игра в слова... Это теперь доказано, как дважды два...

— Замолчи! Замолчи! — закричал на студента О — в.— Не богохульствуй против духа святого!..

Спор разгорался все больше, когда к студенту примкнул М — ский, я и некоторые другие — к О — ву, а наши «ортодоксы» иронически подливали масла в огонь и в восторге восклицали:

— Вот так баталия!

Было уже далеко за полночь, когда мы разошлись, конечно, не решив ничего. Да и не могли решить, уже по тому одному, что все мы еще очень мало в сущности знали всю литературу поднятых вопросов (не только Писарев, сравнительно еще недавно выступивший, но и Добролюбов были нам тогда известны лишь по случайно попадавшим нам статьям в журналах). Весь спор, таким образом, сводился просто к трудно определимым интимным симпатиям и настроениям, которые вызывали эти писатели в разных индивидуальностях. В частности, со стороны О — ва и моей сказывались, несомненно, наши тайные симпатии к самостоятельному значению художественного и поэтического прозрения и обида за его полное отрицание и непризнание.

Любопытно, что, когда через два-три года, уже студентом, приезжал я в родной город, в конспиративных квартирах наших преемников все еще продолжались горячие споры между двумя этими «направлениями». Быть может, это было отчасти слабым отражением шедшей на верхах литературы в то время полемики между двумя прогрессивными журналами [23]. Но по существу дело было глубже. Среди нашей местной, главным образом семинарской, молодежи создалась о Добролюбове легенда, как о «нашем» писателе, который обязан своим глубоким «прозрением» в самые недра современной жизни именно тому, что он был разночинец-семинарист, глубоко понимавший душу народа и его интересы. В то время и я был горячим сторонником этих взглядов. О Чернышевском мы не дер-

зали тогда говорить, так как он казался нам «слишком ученым».

Описанный вечер открыл мне так много нового и неожиданного, что я не только в то время, но и долго спустя не мог еще хорошенько разобраться в поставленных на нем сложных литературных и психологических загадках. Да и не мог бы я тогда это сделать.

С наступлением экзаменов специфически конспиративное функционирование квартиры О — ва прекратилось само собой. Перед главными ее представителями встала нелегкая задача сводить последние счеты со школьной учебой. Мои экзамены начались раньше. Если мой способ «собственного умозрения» в отношении школьной науки не был признан вполне «легальным», то все же благодаря ему, а отчасти, вероятно, и влияния на совет Чу — ева, с меня было снято клеймо безнадежного тупицы и лентяя, и взгляд на меня наших педагогов значительно изменился: они снисходительно иногда прощали мне прегрешения против формальных школьных требований. Это было уже серьезное упрочение моей позиции.

Экзамены прошли быстро и успешно, и я, веселый и бодрый, с нетерпением ждал минуты, когда землемеры усадят нас, юных таксаторов, в широчайшие тарантасы и повезут вглубь настоящей, доподлинной деревенской жизни, о судьбах которой чуть не с самого детства суждено мне было так много слышать и интересы которой так своеобразно переплетались с ходом моего собственного духовного развития...

Когда я через два месяца вернулся опять в город и начались занятия в гимназии, я уже не застал никого из более близких мне членов конспиративной квартиры: не было в семинарии ни О — ва, ни Сизова, ни М — ского. У более молодых их преемников дела как-то долго не налаживались в смысле прочного товарищества, и мои сношения с прежней секретной квартирой порвались совсем. С окончанием мною в наступившем учебном году курса в гимназии и отъездом из моего родного города, у меня благодаря моим злосчастным столичным мытарствам в качестве неудачника-пролетария надолго порвались почти все прежние интимные связи с родиной, за исключением, конечно, семейных.

Только спустя уже пять лет я встретился с О — вым и узнал о судьбе большинства членов нашего бывшего товарищества. Судьба эта была для многих из нас очень характерна. Как ни короток был период нашего духовного общения, как ни детски наивны и незрелы были еще наши взгляды во многом, но оно, очевидно, оставило на душе каждого из нас известный след, и мы не могли не вспоминать о нем с чувством некоторой духовной отрады за те юношески чистые помыслы и стремления, которые мы взаимно поддерживали друг в друге...

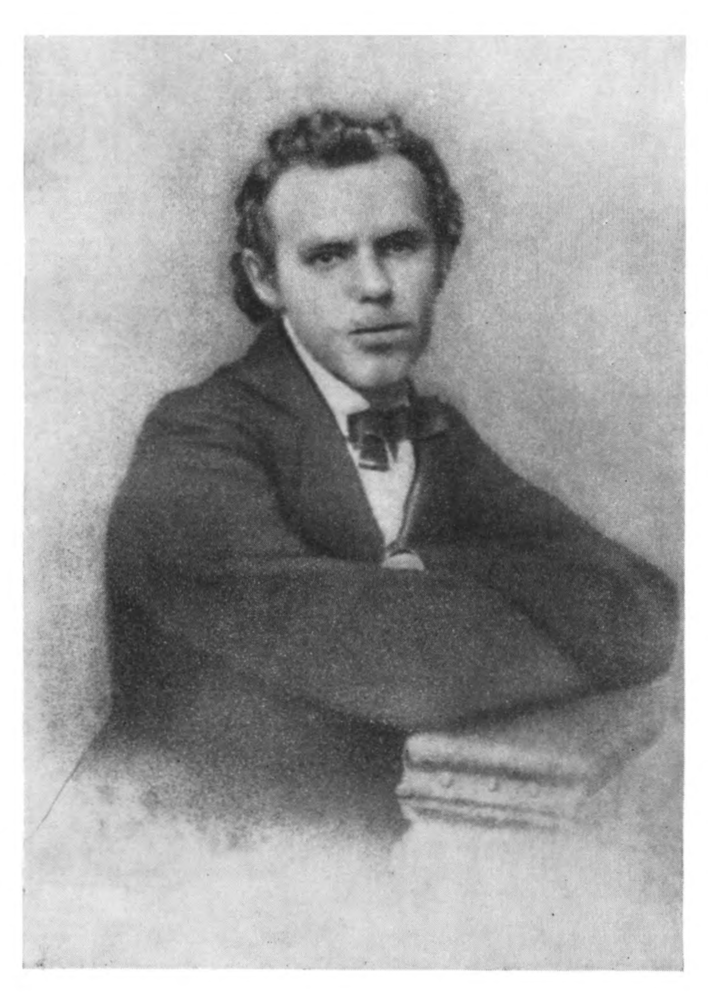
Скажу здесь кратко о судьбе тех, о которых упоминал в этих записках.

Несчастнее других кончил Сизов. Благородно отказавшись от блестящей карьеры, которую ему все сулили и которой он, несомненно, достиг бы, отказавшись во имя поисков истины, он не вынес взятого на себя бремени и, отчаявшись найти отвечавшее его душе решение терзавшего его конфликта между религией и наукой, погиб от психической болезни. Мог бы быть вполне счастлив, по-своему, М — ский, который, блестяще кончив курс на юридическом факультете, как раз ко времени введения судебной реформы сразу сделался звездой нашей местной адвокатуры и, несомненно, принес бы здесь немало пользы в смысле определенной «гражданской» миссии, но он тоже погиб во цвете лет от чахотки. Самой характерной и оригинальной была судьба О — ва. Он до конца остался верен и своей натуре и своей миссии, как она рисовалась ему в его фантастических мечтах, хотя он все же не ожидал, чтобы судьба в самом начале расправилась с ним столь сурово. Я встретил его на родине уже в качестве административно сосланного под гласный надзор, с строжайшим запрещением куда-либо поступать на казенную службу и с абсолютным запрещением всякой преподавательской деятельности, даже в частных домах. Это последнее было для него самым убийственным и по существу и в материальном смысле. Оказалось, что, пробыв года два после семинарии учителем в народной школе в одном фабричном селе, он увлекся проповедью своеобразно русского «христианского социализма», примкнув к образовавшемуся тогда кружку пропагандистов интеллигентно-социалистических колоний, был вскоре

привлечен к громкому политическому процессу, просидел больше года в Петропавловской крепости, чуть не сошел там с ума и, наконец, уже оправданный тогдашним судом, был взят под строгую опеку администрации. Встретил я его в это время жившим в крохотной семинарской каморке и попрежнему таким же бодрым и неунывающим философствующим импровизатором: к пролетарскому «роду жизни» он привык с детства, а о карьере не мечтал ни о какой, кроме, как говорил он, «апостольской»... Впоследствии, в 80-х годах, я часто встречался с ним в Москве, где он тогда жил таким же пролетарием, пристроившись учителем в железнодорожной школе, увлекаясь «свободным религиантством», изучая современных философов, вроде Шопенгауэра и Гартмана, и пристрастившись еще более к философскому импровизаторству. С ним тогда охотно «философствовали» по целым часам и Козлов, и Соловьев, и Л. Н. Толстой... К сожалению, эта незаурядно талантливая, выдающаяся и оригинальная по своему психическому складу личность не оставила после себя прочных следов. Крайняя склонность к свободной импровизации под давлением минутного вдохновения, так увлекавшая и его самого и многих его слушателей, совершенно лишила его ум и волю строгой дисциплины, необходимой для серьезного умственного труда.

Не осталось без влияния наше конспиративное товарищество и на тех, кого в шутку называли «ортодоксами»: некоторые из них впоследствии сделались медиками и учителями, а другие, будучи священниками, немало претерпели в свое время в качестве представителей прогрессивного духовенства на епархиальных съездах, только что было входивших в моду, но затем быстро «сокращенных».

В этих очерках я имел в виду исключительно те события и тех лиц, которых знал непосредственно. Помимо тех кружков, о которых упоминаю я, в нашем городе существовали, конечно, и иные, хотя, быть может, и не такие обширные, в которых принимали участие старшие воспитанники наших средних школ. Но я, примыкая больше к низшему разночинско-семинарскому кругу, не имел с последними сношений, так как они были и старше меня по



Н. Н. Златовратский

курсам. Только уже значительно позже я познакомился с некоторыми из них, сделавшимися известными своей общественной и литературной деятельностью.

Мое пребывание нынешним летом в самом центре деревенской жизни имело, судя по всему последовавшему, сильное влияние на мой духовный рост. Передо мною впервые открылся такой сложный мир своеобразных жизненных явлений, о которых раньше я не имел почти никакого конкретного представления в таком широком объеме. А главное — я чувствовал себя в этом мире не случайным наблюдателем, а до некоторой степени активным участником в его делах. Все это как-то необыкновенно бодрило меня и прежде всего возвышало в собственных глазах приливом сознания такой возмужалости, как будто я только что причастился от древа познания добра и зла. Но в то же время мир новых впечатлений был так для меня неожиданно разнообразен и обширен, что было бы с моей стороны, конечно, в высшей степени наивно думать, что я мог сразу свободно в них ориентироваться. Я только инстинктивно чувствовал, что на смену моих прежних отвлеченных и в общем все же довольно смутных представлений вдруг встало что-то глубоко жизненное, реальное, но в то же время и столь для меня хаотически-сложное, что неотступно требовало работы обосознания, и я почувствовал такой прилив духовной энергии, какого еще не испытывал раньше. Под давлением такого моего настроения по возвращении из деревни я с особой энергией принялся за штудирование, но уже в более полном объеме, тех моих любимых в то время писателей, которые уже так много послужили выработке моих «собственных умозрений». Как прежде разговоры с Чу — евым, так и теперь чтение Белинского и Добролюбова (собрание сочинений которого как раз вышло к этому времени [24], и я, к моей неописуемой радости, мог их приобрести на первый, полученный мною за частный урок гонорар) и других писателей по истории и литературе до того окрылили мой дух, что мои дерзания на собственное умозрение приняли еще небывало смелые размеры.

Прежде всего это сказалось в неожиданно страстном

порыве к писательству: я писал стихи и по Кольцову и по Некрасову, писал рассказы по Тургеневу и Помяловскому, написал даже по Островскому целую драму из народного быта в подражание его «Грозе» и, наконец, стал писать даже классные задачки «по Белинскому и Добролюбову», к изумлению и себя самого и нашего старого словесника...

Мне до сих пор помнится этот угар «собственных умозрений», который охватил меня в последний год моей школьной жизни; быть может, это был инстинктивный порыв не сознававшегося мною ясно отчаянного напряжения, чтобы так или иначе выбраться из сетей того долгого конфликта, который создался между мною и школьной учебой, победив или погибнув посрамленным... Ведь в этих дерзаниях был мой единственный козырь.

Последним моим писательским дерзанием в этом году было выпускное сочинение, написанное, как помнится, на тему добролюбовских статей об «обломовщине» и «Накануне», только уже в применении к героям щедринских сатир и, в частности, к его «талантливым натурам». Это, как видно, тоже было навеяно «духом времени» и прошло не без своеобразной сенсации.

— Ну, знаете, наши с вами дела идут пока очень недурно,— сказал мне как-то Чу — ев вскоре после экзамена по словесности,— ваше сочинение признано даже самим архифилогом Т. [25] (командированным от университета ассистентом на наш экзамен) на редкость у нас здесь выдающимся. Будем надеяться, что все кончится благополучно. Не робейте! — Вообще Чу — ев продолжал относиться ко мне с прежним радушием и был теперь как-то отечески доволен моими успехами на выпускных экзаменах, превзошедшими, повидимому, его ожидания.

Выпускное сочинение, помимо того, принесло мне другое большое удовольствие. Как-то вскоре отец сообщил мне, что он заходил к старому предводителю — «масону», который, как я упоминал раньше, потерпел крушение еще раньше отца от крепостников, накануне освободительного манифеста, и который сохранил прежние благожелательные отношения к нашей семье. Зашел разговор обо мне, о моих успехах, и старик пожелал меня видеть и послушать мои сочинительские упражнения. Я в этот же вечер отправился к нему с отцом. Мне было приятно увидать ста-

рика, который так мне понравился, когда, осматривая с депутатами только что открытую нашу библиотеку, он с большим чувством благодарил моего отца, что он в его предводительство осуществил такую прекрасную мысль. Теперь он жил одиноким старым холостяком, не сходя с дивана, почти обедневший и лишенный всякого влияния, под строгой опекой своего старого дворецкого и его семьи, которая обирала его елико возможно. Принял он нас радушно и просил прочесть ему мое сочинение. Выслушав его внимательно, все время держа ладонью ухо по направлению ко мне, старик сказал:

— Очень, очень хорошо... Главное — вполне литературно... Да!.. Понимаешь?.. А?.. Что?.. Главное — вполне литературно... Ты этим дорожи... Это не всякому дается... Да, хорошо... Только вот чего я не возьму в толк: все ты говоришь про крестьян — «народ, народ»... А мы что такое? Почему мы не народ?.. А?.. Что?.. Почему же мы не народ?

— Потому... потому,— забормотал я, смущенный совершенно неожиданным вопросом,— потому что... крепостники не могут быть «народом»... и вообще все, кто угнетает трудящийся народ,— с юношеским увлечением закончил я, вспомнив о либерализме старого масона.

— Ну, хорошо... Положим, так было... А теперь... Разве теперь есть крепостники? Разве мы все еще крепостники?

— Да, есть... Я их очень много видел нынешним летом на землемерной практике...

— Сам видел? Много еще, говоришь? Гм... Впрочем, так и надо было ожидать,— задумчиво заметил он.— Ну что же, может быть, вы, молодые, и правы... Я уже теперь от всего отстал, ничего не вижу...

Старик еще раз похвалил мое сочинение «за литературность» и уговаривал как можно дорожить этим.

— Ты, Николай Петрович, внушай это ему чаще,— сказал он отцу.

Уходя от старика, я, можно сказать, был на седьмом небе и еще больше полюбил его.

Мое приподнятое настроение было в самом зените. Экзамены еще не были закончены, и решение совета об окончательных результатах не было объявлено.

Наконец, явилось и оно: аттестат мне был выдан, но я не был признан «имеющим право на поступление в университет».

Итак, всем моим дерзаниям по системе «собственного умозрения» не удалось одолеть требования школьной системы, и они в конце концов разбились об эти несокрушимые скалы, как утлая ладья.

Это был, очевидно, вполне «закономерный» финал всех моих долгих юношеских конфликтов с старой системой.

Когда я пришел к Чу—'еву, удручаемый стыдом, что не оправдал его надежд, он только пожал скорбно плечами, сказав в утешение, что большинство стояло в совете за меня, но не решилось... нарушить формальные требования.

— Впрочем, не унывайте,— прибавил он,— поезжайте в Москву. Быть может, там Т. что-нибудь для вас сделает... Я уверен... Надо попытаться [26].

Да, надо, надо пытаться, дерзать и дерзать... Ведь не я первый, не я последний был призван жизнью на эти дерзания. Снабженный добрым Чу—евым 25 рублями для взноса платы за вольнослушательство в университете и обещанием от одного знакомого скромного урока в Москве, я двинулся по пути к столицам, куда уже раньше прошло так много наших «юных разведчиков»...

Заканчивая воспоминания из этого периода моей юности, так близко соприкасавшегося с крестьянской реформой, я не могу не остановиться, хотя бы в общих чертах, на тех впечатлениях, которые я вынес от пореформенной деревни в самые первые годы после освобождения.

Источником для восстановления этих впечатлений для меня могут служить теперь прежде всего те мои литературные опыты [27], с которыми я робко выступил через три года после окончания гимназического курса, так как они большею частью посвящены описанию этого именно периода народной жизни. Очерки эти очень слабы в техническом отношении; вполне естественно, что они односторонни и поверхностны, так как мое юношеское «прозрение» и не могло быть иным, но они так или иначе представляют вполне правдивое отражение общего моего тогдашнего настроения по своему резко обличительному и сатириче-

скому тону. Целесообразно или нет было в то время такое отношение к описываемой полосе народной жизни, но оно было таково, и не у одного меня. Не случайно, конечно, в то время видную роль играли такие сатирические журналы, как «Искра» Курочкина и «Будильник» Степанова, под редакцией Вейнберга, а наиболее видное место в литературе все прочнее и прочнее завоевывал знаменитый сатирик [28]. Я, как едва начинающий писатель, не вносил, значит, ничего особенно нового в этом отношении, а лишь примкнул к общему направлению наиболее чутких органов печати, вполне соответствовавшему пережитым мною настроениям.

Несмотря на тот жгучий интерес (или, вернее, благодаря ему), который я пережил в недавнем прошлом вместе с своей так идеалистически настроенной в освободительном духе моей семьей, несмотря на мое все же жизнерадостное в общем настроение, вынесенное мною впечатление от ликвидационного периода освободительной реформы было в общем не из отрадных.

Прежде всего, к моему изумлению, в хаосе, поднятом «ликвидацией», я почти совсем не мог отличить «освобожденного раба»: где он, какой, какая новая печать легла на его чело? В чем, наконец, ярко выразилась новизна отношения к нему прежних господ и его к ним? Ответа не было: все было смутно и неопределенно, все было запутано в сеть бесконечных недоумений и недоразумений. Вчерашний раб никак не мог уяснить себе: в чем же собственно заключалась его свобода, кроме того, что помимо конторы помещика он стал иметь теперь непосредственно дела еще с исправником, становым, непременным членом и мировым посредником из тех же помещиков?

Мужик метался, недоумевал, говорил на сходах, что, гляди того, настоящий манифест скраден и подменен, иногда «бунтовал» и получал за это, совсем по старому, арест в «клоповнике», ссылку в Сибирь или грандиозную порку. Наконец, он начал понимать, что вместо «крепостного» он стал теперь «временно обязанным»... работать и работать как на своем наделе, без леса и часто без воды, в большинстве случаев не покрывавшем самого ничтожного minimum'а наложенных на него платежей, так и на громадных пространствах господской земли — работать

так же, как и целые столетия раньше... И он стал приспособлять себя оригинальными способами «пассивного протеста» к «новому строю жизни», сущность которого он еще никак не мог себе уяснить. Он понял пока только одно, что единственное существенное приобретение заключалось для него в упразднении права помещика торговать и распоряжаться им, как собственностью, лично. Это был действительно плюс, но пока только и было... очевидного и непреложного. Вчерашний господин положения, помещик-крепостник тоже был сначала в некотором смущении и недоумении, никак еще не будучи в состоянии понять, в чем же собственно заключалась «свобода», чего ему бояться и чем его кровно обидели. Пока он это не уяснил себе, он был настроен крайне враждебно и все усилия употреблял, чтобы быть настороже от малейших новых покушений на его права и собственность. Наконец, и он понял, что такая «свобода» в некоторых отношениях даже весьма удобна, освобождая от целой обузы прежних хлопот с крепостным рабом, и он успокоился на лоне новых видов «оброчных поступлений», «добровольно» обрабатываемых прежним рабом дорогих аренд и новых начальнических окладов.

Приведу несколько типичных иллюстраций к характеристике этого ликвидационного периода, сохранившихся у меня в памяти из моей первой «практики». Особенно хорошо памятны мне два типа мировых посредников, с которыми мне пришлось иметь дело сначала в качестве землемера (хотя еще не самостоятельного), а затем уже будучи у одного из них на учительской кондиции при его детях. Последний был типичнейший Илья Ильич Обломов. Сырой, толстый, неподвижный, он почти не выезжал из своей усадьбы, состоя после смерти жены под опекой своей прежней крепостной экономки, с которой жил почти открыто. Все его дело заключалось исключительно в выслушивании жалоб мужиков, в разбирательство которых входил не он сам, а присутствовавший тут же его письмоводитель Силыч, который и ставил свои резолюции, подавая их посреднику для подписи. Силыч, обрюзгший, пьяный и взяточник, был в участке посредника — все: он не только решал все дела за посредника, но по собственному усмотрению штрафовал мужиков, сажал их под арест в

«клоповники» и даже порол, предписывая производить эти операции волостному начальству. Он же сочинял с землемерами предварительные проекты уставных грамот, забираясь в укромные углы с бутылями водки и наливок. Землемеры, часто производившие работы без всякого контроля, по лени или злоупотреблению посредников, делали что хотели. За редкими исключениями, почти все брали взятки с крестьянских обществ и деньгами и натурой, не брезгуя даже грошами, брали и с помещиков; крестьян, ничего не понимавших в межевании, обманывали, показывая в натуре одни земли и внося в уставные грамоты и в планы другие.

Для характеристики другого типа посредников укажу на известного мне в то время молодого еще помещика из отставных гусар, отчаянного кутилы с апломбом дельца, в духе Ноздрева, с утра до ночи носившегося по своему участку на ухарской тройке, в плисовой безрукавке и шелковой голубой рубашке, почему-то всегда с нагайкой в руках. Он имел претензию вести все дела непременно самолично, с необыкновенным начальническим куражем, неистово крича и топая ногами на крестьянских сходах, разнося землемеров и иногда самих помещиков; но, плохо зная «Положение» о крестьянах и разные разъяснительные циркуляры, он всюду производил своим появлением только необычайный сумбур, умея в то же время ловить рыбу в мутной воде. В течение трехлетнего воеводства этого почтенного администратора, как оказалось впоследствии, было заключено более сотни незаконных уставных грамот. Можно себе представить, какой кавардак получался из всего этого: наезжали новые отряды землемеров для проверки первых, опять врали и мошенничали, снова двигались новые землемерские партии — и так в течение десятка лет, а иногда и без конца.

Еще большую путаницу и недобросовестность вносил в это время в дело ликвидации новый элемент, так сказать, «третьих лиц», состоявший главным образом из купцов и деревенских кулаков, которые, пугая наиболее трусливых и невежественных в хозяйственном деле помещиков и помещиц мужицкими бунтами, скупали у них по невероятно дешевым ценам громадные леса и отчасти земли. Это был в то время совсем дикий элемент, вся «культур-

ная деятельность» которого в качестве новых лендлордов сводилась к тому, чтобы рубить и рубить во что бы то ни стало, что только ни росло в помещичьих имениях. С энергией, достойной лучшей участи, они вырубили в течение двадцати лет почти половину лесной России. Все сказанное — не ново и в свое время было подробно разработано и констатировано в литературе.

Было, вне всякого сомнения, немало мировых посредников, вполне гуманных и добросовестных, даже искренно преданных народным интересам; но во всяком случае таких было меньшинство. «Крепостное право» было упразднено, а все крепостнические навыки продолжали проявлять себя в полном объеме.

После первого же года практики у меня пропало уже почти всякое желание быть землемером при таких условиях.

Таким образом, «освободительная ликвидация» все больше и больше переходила в тот очень длительный и нудный процесс, который получил в истории крестьянского освобождения характерное название «недоразумений». На выход из них затрачивались безмерные духовные напряжения лучших умов и сердец.

И тем не менее уже и тогда чувствовалось, что «освобождение» совершалось; но это было не одно то формальное и юридическое освобождение, которое вводилось в жизнь лишь под формами старой опеки и старыми крепостническими приемами, урезанное и извращенное, а то потенциальное духовное освобождение, которое хотя медленно и трудно, но упорно прорывалось сквозь старые сети; то освобождение, которое, как давняя мечта, зрело и крепло в лучших умах и сердцах, неуловимое, но упорно деятельное и самоотверженное, проникая все шире и глубже в самые глухие недра жизни. «Великие чаяния» кануна реформ неотразимо увлекали и все юное, бодрое и морально сильное на духовную борьбу за их полное воплощение в жизнь.

1908—10

КАК ЭТО БЫЛО

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

В СТАРОМ ДОМЕ

Я помню хорошо его, этот старый, дряхлый дом, колыбель моих детских и отроческих лет. Вижу я его с болтающимися на полуоторванных петлях закроями, с побуревшими от времени стеклами, проплесневевший по углам, ушедший в землю, среди ряда других таких же домишек, закинутых в глушь маленького городка. Мало того что сам этот городок почти не имел никакой связи с тем, что лежало за пределами его, но и самые эти домишки не были связаны между собою никаким единством интересов и симпатий: каждый из них влачил свое жалкое существование на собственный страх и риск. Все мы, обитатели этих домишек, были мелкота, и — к добру или к худу — мы никогда не заглядывали в те высшие слои, где пировала чиновная бюрократия, разнообразя свою жизнь взаимными подсиживаниями, интригами и ералашем. Пыльная и грязная улица, вся заросшая по заборам бурьяном да столетними вязами, усаженными вороньими гнездами,— вот, прежде всего, чем мир божий показывался нам. Зато все, что наполняло наше детское сердце горем или радостью, что закладывало в наши души семя добра и любви,— все это было там, у семейного очага, за покосившимися стенами наших домишек. Холодно было в них в суровые осенние и зимние стужи, голодно было в тяжелые дни житейских неудач, когда родительское сердце тоскливо ныло и надрывалось в когтях нужды, но наивное детское сердце и здесь успевало находить теплый уголок, и трепетно забиралось в него, и наполняло его поэзией.

Бывало, очень-очень долго тянутся эти суровые и холодные дни и ночи,— так долго, что даже детскому сердцу, кажется, не вынести их, и вдруг откуда-то прорвется ясный, теплый луч, и озарит, и согреет душу, и наполнит ее жаждой веры и жизни.

Не знаю почему, может быть, потому, что они всего чаще встречались в моей жизни, моя мысль прежде всего останавливается на этих холодных вечерах.

Вспоминается отец то в вицмундире и фуражке с цветным околышем, вечно просыпавший по утрам и потому всегда хмуро торопившийся на службу, или на эту «каторгу», как выражался он, то вижу я его в старом халате, подпоясанном полотенцем, как он ходит в высоких валенках из угла в угол нашего маленького зальца, укачивая на руках больного корью или скарлатиной брата или сестру. А мы хворали часто: из-под прогнившего пола так дуло холодом по зимам, и старинные печи так много просили дров.

Я сижу тут же, за катехизисом, но мое внимание тщетно ловит мертвые буквы: больная сестренка на руках отца так жалобно стонет, а там, в спальной, грудной ребенок надсаживается и слышатся нервные восклицания больной матери: «Ах, царица моя небесная! Мученица я, мученица!» Но вот стон и плач на время стихают; отец, закачав больного ребенка, уходит в свой «кабинет», маленькую холодную каморку, и я слышу, как он глубоко вздыхает... Почему-то этот вздох и восклицания матери меня ужасно терзали: у меня замирало тоскливо сердце и на глазах навертывались слезы. Я знал эти вздохи: тайное предчувствие уже говорило мне, что за ними последует еще что-то тяжелое, нелепое, потому что эти задержанные вздохи в конце концов разразятся бурной вспышкой, в которой выльется вся внутренняя, глухо живущая в сердце, неудовлетворенность.

Проходит полчаса, и снова начинает надрываться грудной ребенок, за ним стонет другой, просыпается третий; снова слышится голос матери, тщетно старающейся их успокоить, и, наконец, опять нервные выкрики:

— Да что вы меня одну-то на каторгу оставили? Не слышите вы, что ли? Мучители вы мои!

— Ах, боже мой, боже мой! — вздыхает отец.— Где же Акулина? Позовите Акулину!

— Акулина! Акулина! — кричат и мать и отец через сени в кухню.

— О, чтоб вас! — чудится мне, как сердито ворчит кривая Акулина, сползая нехотя с теплой печи.— Экая жизнь каторжная! Господи! Пресвятые угодники! Ни часочку-то днем спокою не видишь, да и в темную ночь глаз не сомкнешь... Убегу вот, ей-богу, убегу на прорубь, да туда и махону... Один конец!..

— Акулина! — раздается опять.— Да ты оглохла, что ли?

— Иду... О, чтоб вас!..

— Да ты что, забыла, к чему ты приставлена? А?.. Забыла? — нервно вскрикивает мать.— Ты зачем живешь? На печи лежать день и ночь?.. А я здесь мучайся... Есть ли в тебе бог-то?

— Во мне-то есть,— грубит рассерженная Акулина, хватая из кроватки ребенка и перебрасывая его с руки на руку, как мяч.— Ну, нишкни, нишкни!.. А вот в вас-то есть ли,— продолжает она,— есть ли бог-то? Я вам тоже не на каторгу далась... Думаешь, деньги заплатили в кои-то веки, так и со свету сжить готовы... У нас большие господа были, да и то такой каторги от них не видала... А вы еще не бог весть какие господа...

— Ах ты, неблагодарная!.. Да как ты смеешь так говорить? Вон с глаз моих, вон, неблагодарная!.. Ее же выкупили, из-за нее же в долг вошли... триста рублей как одну копейку внесли... Вон, вон, чтобы глаза мои тебя не видали! — еще раздраженнее кричит мать, выхватывая из рук Акулины ребенка и снова кладя его в люльку.— Вон, вон, голубушка! Нет, после таких слов... Осмелилась ты сказать!.. Вон, вон! Чтобы сейчас же ноги твоей здесь не было...

И раздраженная мать толкает ее в спину за дверь, через сени, в кухню.

— Бог с вами, Ивановна, бог с вами, коли моих заслуг не считаете... Воздай вам господь!

И я слышу, как Акулина начинает горько всхлипывать.

— Вон, вон! И знать ничего не хочу! — продолжает кричать мать, выбрасывая за порог дырявую, вытертую шубенку Акулины и какие-то мешки. Матушка выталки-

вает окончательно Акулину за дверь на холод осенней ночи.

Я уже давно выскочил из-за катехизиса и из-за двери слежу за всем, что происходит между матерью и Акулиной; я чувствую, как мое сердце болезненно бьется, как весь я дрожу, как в лихорадке, между тем как щеки горят от негодования, жалости и стыда за мать. И едва только матушка возвращается в комнату, запыхавшаяся от нервного возбуждения, как я выскакиваю и, задыхаясь, едва выговаривая слова, с горящими глазами кричу на нее:

— Ты... ты... злая, злая!..

— Вот так, вот так,— это мать-то? — говорит матушка, вдруг вся вспыхнув от неожиданной обиды.— Хорош сынок! Вот так дети!.. Господи, царица небесная!.. До чего я дожила? До чего они довели меня!

Я чувствую, как в моем детском сердце начинается невыносимая борьба: мне стыдно, горько, что я обидел матушку (ведь она такая добрая, нежная, ведь я люблю ее!), но мне обидно и горько за Акулину, мне жалко ее, меня возмущает такая несправедливость к ней (ведь и она добрая, ведь она нас как любит!). И, чтобы заглушить эту борьбу, я истерически кричу с глазами, полными слез:

— Впусти ее... Она замерзнет!..

— Поди с глаз моих прочь!.. Ты мне не сын!

Но я уже ничего не слышу. Мне представляется, как Акулина, эта «старая нянька», теперь замерзает за дверью, и вот я быстро лечу в сени и, к удовольствию своему, нахожу Акулину сидящею на пороге с узелком в коленях и по особому сморканью заключаю, что она тихо плачет и жива. Я оставляю нарочно отворенною дверь и бегу обратно к матери и, всхлипывая, захлебываясь слезами, бросаюсь к ней в колени.

— Прочь, прочь с глаз моих,— кричит вконец разобиженная матушка,— ненавижу я тебя!.. Ступай к Акулине, ступай к отцу... Он вам потатчик!.. Что вам я?.. Вы все сговорились уморить меня... Варвары вы, варвары!.. Что вы со мной делаете? До чего вы меня довели?.. Какую вы мне жизнь устроили? О том ли я думала?.. Уйду, уйду от вас к дедушке, пока вы меня совсем в гроб не загнали... Господи, сжалься надо мной!

И матушка разражается целым потоком совершенно

искренних слез. Плачет она, истерически рыдаю я, надрывается грудной ребенок, за нами плачут сестренки.

— Сумасшедшая! Сумасшедшая! — кричит вне себя отец на матушку.— Что ты делаешь из дома-то, из семьи... Ведь это один ад кромешный... Что ты делаешь?.. Ты меня до петли хочешь довести?.. Мало вы изломали мою жизнь?.. Мало ты ее еще загубила?.. Смерти моей хочешь? Дождетесь, дождетесь скоро!..

И я чувствую, как голос отца дрожит и он глотает слезы, но, чтобы не выдать пред нами всей глубины своего волнения, он быстро скрывается в свой кабинет... А оттуда уже слышится опять прежний вздох: «Ах, боже мой, боже мой!.. Когда же и чем это кончится?.. *Там* — бессмысленная каторга; *здесь*... да что же может и быть здесь иное?.. Ах, дети, дети!.. Что же с вами будет?»

Гроза прошла, и все мало-помалу успокаивается, смолкает. Как-то разом наступает гнетущая тишина, но я не доверяю ей. Мое детское сердце еще томят тяжелые предчувствия, и я потихоньку начинаю осмотр: неслышно заглядываю сначала в спальню к матери,— она еще плачет, но уже без слов, без причитаний, тихо склонившись головою над засыпающею малюткой-сестренкой; в глазах ее светятся уже материнская грустная ласка и любовь, победившие раздражение и горечь жизни; потом я на цыпочках подхожу к кабинету отца и в дверную щель смотрю на его убитое, грустное лицо; но на этом лице я уже не замечаю ничего зловещего, на нем видится только одна упорная мысль, что надо, надо как-нибудь жить иначе, не так, что так жить нельзя... Но как?.. Я знаю уже, что после этого он засядет за письменный стол и будет писать какие-то письма к каким-то важным и высокопоставленным лицам в столице, прося их дать ему какой-нибудь «осмысленный труд», уверяя их, что он чувствует в себе силы и желание отдаться этому труду (впоследствии я много нашел этих писем в ящике отцовского письменного стола вместе с различными благородными проектами и даже литературными статьями и — увы! — почти столько же иногда жестких, иногда доброжелательных, признававших его заслуги и способности ответов с отказами, сожалениями и обещаниями). Теперь я только смутно, непосредственным чутьем догадывался о значении этих длинных

писем, когда он, в минуты светлого настроения, прочитывал некоторые из них матери. Наконец, я пробился и на кухню, незаметно для матери, чтобы справиться о существовании Акулины, и, когда находил ее свернувшеюся в уголку около двери на лавке, совсем одетою и готовою на всякий случай двинуться в путь, но тем не менее спавшею теперь крепким сном, я успокаивался и ложился спать, как и все, с тяжелою головой, все еще с тоской на сердце. И мое маленькое сердце никак не хотело успокоиться, и я вслед за отцом спрашивал: «Зачем же все это, зачем? И что же такое будет? Ведь я знаю, что все они, все вовсе не злые, что и мама совсем не злая, что не злая и Акулина, что и папа не «варвар», что и я вовсе не «изверг», что, напротив, я очень люблю маму... но и Акулину люблю... Ведь бывают же дни у нас, когда всем так хорошо, когда все так любят друг друга... Ах, если б поскорее праздник!»

С этою последнею мыслью, усталый, измученный, я крепко засыпаю, и вот мое детское воображение уже рисует мне во сне мирные, безмятежные, дорогие детскому сердцу картины.

Еще задолго до праздников уже начинает чувствоваться их приближение. Не знаю почему, отец всегда принимал, во-первых, вид особой торжественности, строгой и суровой; во-вторых, несмотря на то, что он уже был заражен некоторым свободомыслием, по крайней мере сравнительно с матушкой, женщиной беззаветно религиозной, он в тот же день, когда нас распускали из училищ, брал библию или евангелие, садился в зальце за большой стол, и мы все охотно усаживались вокруг него, и дети, и матушка, и даже Акулина. Акулина приносила с собой гребень, скамейку и мочки льна, и ее веретено так гармонично всегда жужжало под мерное и торжественное чтение отца. Мы, дети, да, вероятно, и матушка и Акулина, далеко не все понимали в славянском тексте божественной книги, а отец не считал нужным разъяснять нам, но нам не было скучно, нам так было отрадно вслушиваться в мерный речитатив, как в музыку, и еще отраднее чувствовать тот мир и душевную теплоту, которую вносили эти книги вместе с собой. Прикорнув к коленям матушки или Акулины, долго-долго всматриваешься в лица отца, матери

и Акулины — в эти внезапно преображенные лица, и почему-то так захочется обнять их и целовать,— так они вдруг сделались и добры, и красивы, и свежи.

Накануне праздников наша мирная аудитория увеличивается: приезжают обыкновенно родственницы матушки, двоюродные сестры и тетки, с ее родины, из села; приезжают и к Акулине кое-кто из ее родных — то сестры-вековушки, то брат, то старичок отец. Тогда наши мирные беседы из зальца, после чтения евангелия, уже переходят или в спальню к матушке, или же в кухню, к Акулине, за теплую большую печь, и далеко за полночь тянутся простые, бесхитростные рассказы деревенских гостей.

Наконец, праздник наш достигает полного расцвета, когда вместе с веселым звоном колоколов и целым облаком пара, если этот праздник рождество, в широко отворенную дверь врывается «наш дорогой ополченец», коренастый, лет под сорок мужчина, в черкесской папахе, черном полушубке и валеных сапогах... Нашему детскому восторгу нет конца!.. Едва он переступает за порог зальца, едва показывается нам его широкое, румяное, гладко выбритое, с большими усами и широчайшею, но в то же время девически стыдливою улыбкой лицо,— мы чувствуем, что теперь «праздник» нашей жизни обеспечен надолго, что нечто новое, такое любовное, свежее и бодрое озарит наше существование...

— Вот и опять мы! — говорит нам ополченец, сияя на всех своею стыдливою улыбкой и вытирая наскоро заиндевелые усы. Он медленно снимает, как бы не решаясь еще остаться, свою папаху, полушубок и, наконец, остается в сером ополченском кафтане, с большим медным крестом на груди.

— Простите... не утерпел... по обыкновению... Скучно одному торчать в своей деревнюшке! — прибавляет он, широко и как будто извиняясь, размахивая красными руками.

— Что вы это?.. Да вы для нас... все равно как родной!.. Не стыдно ли вам так говорить? — восклицает матушка.

А отец уже весь размяк как-то от внутреннего удовольствия и только топчется на одном месте да повторяет:

— Ну!.. ну!.. полно!..

Наконец, когда, расцеловавшись троекратно с матерью и отцом, наш ополченец — этот одинокий холостяк и мелкопоместный дворянин, раненный в ногу и вернувшийся из Севастополя,— усаживается около печки и закуривает длинную трубку «Жукова», как вполне «свой человек», является и сама Акулина «поклониться барину».

— Милости просим,— говорит она.— Хорошее это дело, что опять пожаловали, батюшка...

— Здравствуй, старая... А что хорошего — другим надоедать, коли некуда себя девать?

— И-и, батюшка, как хорошо-то на людях!.. Что одинокому? К чужой семье прилепишься и то свет увидишь...

— Должно быть, что правда твоя, старуха... А поди-ка ты там с Прошкой опорожни-ка сани да прибери...

— Вынесли, батюшка, все уж вынесли: и поросят и гусей...

— Ну-ну-ну!.. Знай про себя!.. Ступай с богом!..— говорит ополченец и опять стыдливо вспыхивает, как красная девка.

Нас, детей, ополченец старается не замечать совсем и даже бегло и боязливо отводит глаза, когда они невольно встретятся с кем-нибудь из нас. Но мы уже знаем, что в ближайшем будущем ополченец весь будет «наш», со всею своею тройкой, с бубенцами и широкими санями, с севастопольскими рассказами и «Живописным обозрением», запрятанным до поры где-нибудь у кучера Прошки, вплоть... до вырезывания бумажных коньков и транспарантов. Но только не надо насиловать ополченца, не надо приставать к нему, иначе... может случиться, что он вдруг «сконфузится этого своего поведения» и стыдливо уйдет в себя и даже, как бывало, возьмет и неожиданно уедет. Мы с детскою чуткостью уже хорошо понимали его. Знали мы, что ему нужно дать время, чтобы сам он «вошел в роль».

Вот сначала, в первые два-три дня, усевшись с отцом и матерью в «гостиной», между жарко натопленными печами, попыхивая «Жуков» в черешневые чубуки, бесконечно долго и неторопливо поведутся беседы. Иногда мы, ребята, очень мало понимали, о чем говорили они, но нам приятно было, усевшись в уголку, смотреть на ополченца, на батюшку и матушку, лица которых оживлялись все

больше, и взгляды их становились такими любовными, добрыми. Притом же мы знали, что ополченец будет оживляться все больше с каждою беседой, что все чаще будет он закручивать свои длинные усы и вот, наконец, перейдет к своим «севастопольским рассказам»... Шаг за шагом, день за днем расскажет он весь поход «нашего» ополчения: и проводы ополченцев с родины, и встречи их в попутных городах, и их тяжелый путь под дождем, в грязи, часто в изодранных сапогах и армяках, которые расползались раньше, чем приходили они к месту назначения... А потом и Севастополь!.. Подвиги простой серой массы, самоотвержение героев и сестер милосердия, страдания раненых, скорбь братьев, отцов и матерей — все это вставало перед нами как живое, и, затаив дыхание, мы не спускали по целым часам глаз с нашего «ополченца», который, совсем забыв свою девическую стыдливость, стоял перед нами среди комнаты уже настоящим севастопольским героем, воином, который вместе с нами снова переживал великие дни великой борьбы за родину... Как он хорош был тогда! А умилению окружающих не было конца: слушать его собирались не только мы, но и все наши сельские гости, и матушка вызывала даже Акулину из кухни, со всеми ее родными, какие в то время гостили у нее, называла ее «Акулинушкой» и усаживала у двери.

Помню особенно хорошо один случай, который произвел на нас сильное впечатление. «Наш ополченец» был особенно оживлен, когда робко подошли к дверям «послушать барина» Акулина с своей старухой теткой и стариком отцом.

— Садитесь, садитесь, старики,— сказал ополченец,— послушайте, что я вам про ваших братьев расскажу... Да, вот я, барин, полвека в деревне прожил, а до этого времени не знал, не понимал, кто такой мой брат по Христе, каков этот простой человек... И только вот как заодно с ним прошел я, под зноем и непогодой, тысячи верст, как пришлось мне не раз вместе с ним трепетать под божьею грозой, как вот вместе с ним рядом валялся и стонал я, раненый, собираясь умирать за общее дело,— вот когда я понял своего брата по Христе и узнал его!

И по раскрасневшемуся лицу ополченца потекли слезы. Он быстро отвернулся и вышел в другую комнату.

И таким навсегда запечатлелся в моей душе образ нашего ополченца. Не думаю, чтобы он говорил тогда именно такими словами, но когда я стал уже юношей, вспоминая ополченца, я любил вкладывать такие речи в его уста... А на это, значит, имелись основания.

. . . .

Но праздники проходили. Ополченец, как улитка, забирался в глушь своей деревни, и снова будничная наша серенькая жизнь, с холодом зимних вечеров и ночей, вступала в свои права. Снова отец вздыхал и охал от «бессмысленной лямки», которую тянул без вкуса и любви, снова тщетно взывал в Петербург об «осмысленном труде»...

Попрежнему матушка ежегодно рожала и мучилась в заботах о нас, попрежнему то ругалась с Акулиной, то в минуты покаянного прилива кланялась ей в пояс и говорила со слезами на глазах: «Прости меня, Акулинушка, в сердцах это я тебя обидела!..» И Акулина попрежнему тянула свою «крепостную лямку», хотя вовсе не была у нас крепостной... И попрежнему для нас из учебников мелькали «мертвые буквы» и мы безвкусно тянули свою «школьную лямку», так как и самая школа была мертва и холодна.

Крепостное право еще в полной силе царило над жизнью. Но «великий праздник», один из тех «праздников», которые венчают собою усилия, муки и надежды целого ряда поколений, казалось, был уже накануне... Наше поколение зарождалось под счастливою звездой...

МОЙ «МАЛЕНЬКИЙ ДЕДУШКА» И ФИМУШКА

Вот уж сорок лет прошло, а как хорошо я помню своего деда. Какая пестрая вереница разнообразных существований за эти долгие годы прошла предо мной,— то гордых и надменных, стоящих на самом«верху горы», то окруженных ореолом славы и почестей, пред которыми склонялись ниц целые толпы, то полных величавого самопожертвования, останавливавших на себе изумление всего мира,— и между тем никак, никак не могли они стереть с глубины души это, такое ничтожное, маленькое существование... Проходят долгие годы, полные душевных смут, и вдруг из-за этой массы пережитых впечатлений нет-нет и встанет пред тобой это маленькое существование, такое живое, такое одушевленное, полное плоти и крови. Да и не одно оно, а непременно вместе с ним и еще много таких маленьких и ничтожных существований,— и охватит душу тихое упоение детской веры и любви...

Чаще всего дед является мне после долгих и тяжких душевных смут в виде маленькой-маленькой фигурки, низенькой, худенькой, в камлотовом подряснике, с жиденькою темнорусою бородкой клинышком, с сухою загорелою лысиной, около которой вьются остатки кудреватых косичек; смотрит он на меня съежившимися маленькими глазками, смотрит и смеется,— и я засмеюсь... Потом он непременно вынет из длинного кармана кубовый платок и берестяную табакерку и, будто подразнивая меня, начнет постукивать об нее костлявыми суставами, а сам опять подсмеивается: «Вот, Коляка, видишь дьякона-то —

какой он!.. Хе-хе-хе!.. А ведь он, дьякон-то, дедушка твой!.. Видал ли дьяконов то? Да где!.. Разве у вас в городе такие дьякона-то?.. А у нас вот как, Коляка, дьякона-то живут, ну-ка!»

И вдруг маленькая фигурка в подряснике, раскинув руки, прямо пред всею деревенской улицей начинает слегка приседать и притоптывать, а тоненький-тоненький тенорок, как комариный звонок, кажется, сейчас еще звенит у меня около уха:

Как под яблонькой такой,
Под кудрявой зеленой!..

— Хе-хе-хе!.. Вот у нас, Коляка, как дьякона-то весело живут!.. Коли погостишь у деда подольше, так я тебе еще то ли покажу!.. Хе-хе-хе! — смеется опять дед прямо мне в лицо, и я смеюсь, и вся белая, вся душистая яблоня смеется вместе с нами, и вся деревенская улица смеется.

— Он тебе, дедушка-то, еще то ли покажет: погостика у нас подольше! — подтверждает деревенская улица. И мне кажется, что мой «маленький дедушка» (я звал его так в отличие от «толстого» дедушки — благочинного, по матушке),— мне кажется, что он действительно показывает мне что-то важное, любовное, веселое: то — мое детство, самое раннее, зеленое детство проносится предо мною и, как бледная зорька, гонит с души тусклый сумрак душевных смут... Но отчего ж так дороги мне эти детские ранние зори?..

Я расскажу вам теперь об этом, потому что в последнее время как-то чаще, чем прежде, стал посещать меня мой «маленький дедушка», приводя с собой, из тьмы позорного забвения, ряды таких же, как он, маленьких и ничтожных существований.

Прошло всего, кажется, сорок лет, а какое уж далекое время было, такое далекое, что если бы могли перенестись усиленным воображением на тогдашнюю сельскую улицу, вы увидали бы, как наш батюшка-поп, с большим животом и сивою бородой, в тихий летний полдень сидит на своей завальне в одной, длинной по колена, белой, без пояса, рубахе и, сложив на этом большом животе красные руки, беззвучно хохочет вместе со всею деревенскою ули-

цей — над чем? А над моим «маленьким дедушкой», которого тут же, на этой самой деревенской улице, моя толстая, высокая, суровая бабка, с большими бровями, в красном повойнике, с подоткнутым за пояс подолом, бьет кочергой по его сухой и костлявой спине, а я верезжу благим матом, схватившись за ее подол и стараясь оттащить ее от несчастного и оробевшего деда. Вы увидали бы так же, как в тот момент, когда неожиданное для деревенской улицы веселье уже достигало, кажется, наивысшей степени, вдруг раздается пугливый окрик: «Господа идут!» — и все живое, что было на этой улице: и батюшка-поп в белой рубахе, и целая уйма мужицких смеющихся бород, и сама моя суровая бабка, схватившая за что попало меня и деда, внезапно и без остатка исчезало за заборами и калитками своих убогих хат. Вот какое далекое это было время, когда жили на свете близкие мне маленькие и ничтожные существования.

Да, невозможно мне скрыть, что нередко случались с моим «маленьким дедушкой» эти неприятности, потому что дедушка любил выпить, а выпивши, любил прежде всего целый день-деньской гулять по этой деревенской улице и, остановившись перед своею хатою, дразнить бабушку своим комариным тенорком с притопыванием. Ну, да простятся же старой, запуганной и угнетенной сельской улице эти невинные минуты патриархального увеселения, так как все же не потушили они мои детские ранние зори и из-за них не переставала тлеться в маленьких, ничтожных существованиях «искра божия»!

И вот, когда мой «маленький дедушка», являясь мне, переносил меня в это далекое прошлое, мне прежде всего припоминалось одно из самых важных событий моей юности, имевшее большое значение как для всей моей жизни, так и для жизни близких мне по крови и духу. И это потому, конечно, что самое событие запечатлелось во мне неразрывно с образом деда. Событие это в общем всегда представлялось мне довольно смутным: оно прошло чрез мою душу только какими-то отрывочными, но яркими полосами света и оставило на ней неизгладимый след.

Шел мне тогда уже двенадцатый год. В начале лета мы, я и две моих сестры — одна погодка со мной, другая

еще грудная — с матушкой приехали по обыкновению гостить к дедушке из города. Приезд свой мы всегда пригоняли к престольному празднику в дедушкином селе, а затем оставались гостить на несколько недель; я же другой раз оставался один у дедушки на целое лето.

Однажды, вспоминается мне, сидели мы с дедушкой, как и всегда, около хаты, под любимою его старою яблоней, которая, перевесившись из сада через плетень на проулок, осеняла нас своею широкою тенью и обливала нежным своим ароматом. Здесь было любимое прибежище дедушки — и потому, что он в свободное время, сидя на опрокинутой кадушке, занимался здесь сапожным ремеслом, и потому, что «бегал» сюда от ворчливой и хозяйственной бабки, которая «не давала ему вздоха», когда он сидел в избе, и потому, наконец, что был он человек действительно «уличный», как обзывала его бабка, и только на этой деревенской улице, «на людях», чувствовал он себя вполне довольным и счастливым. Сидит, сгорбившись, дед и тачает какой-нибудь разбитый мужицкий сапог, я и сестренка копошимся около него, а матушка, сидя тут же на мураве, шьет и тихонько мурлыкает какой-нибудь «стих».

— Ты бы, Настя, про прекрасную мать-пустыню мне спела... Люблю,— говорит дед, умильно улыбаясь.

— Хорошо, папенька,— говорит матушка и тоненьким голоском начинает «мать-пустыню». Я любил слушать, когда пела матушка, любил, думается мне, потому, что она всею душою уходила в песню; бывало, подопрет голову рукой, сама смотрит в неведомую даль, а из ее больших темнокарих глаз потоком льются слезы... Отчего она плакала, для меня в то время всегда оставалось загадкой, приводившей меня в недоумение, но пение ее слушать я не мог равнодушно, и у меня захватывало горло, сердце отчего-то билось, и мне хотелось уйти куда-то далеко-далеко за этою песней... Недаром любил и дед эти ее песни. Да они всегда были между собою большие приятели; оттого ли, что уж искони свекровь с снохой не уживаются, или потому, что слишком уж они рознились по складу души, только матушка жила не в ладах с бабкой и зато крепче дружилась с дедом.

Матушка — сколько я ни запомню ее в молодых годах — всегда представлялась мне какою-то... «необычной», в особенности с тех пор, когда я случайно услыхал смутный рассказ о том, как она в девушках «бегала». Говорили, что был уже назначен у нее сговор с одним молодым богословом, который должен был взять с нею «место», как вдруг она пропала из дому с одною молодою черничкой, наказав сказать дома, что пошла «к святым местам». Долго бродила она с места на место, жила где-то в женском скиту и, наконец, вернулась исхудалая и изнеможденная, с истерзанными и опухшими ногами. А жених пождал-пождал и взял другую, с другим «местом»... После, когда я был уже постарше, я иногда с удивлением, незаметно, следил за нею, когда она вдруг, бросив хозяйство, остановится пред окном и долго-долго, сложив молитвенно руки, смотрит в беспредельную небесную лазурь. Я с боязнью думал тогда, что вдруг моя мама уйдет от нас... Бегство моей матушки невестой из-под родительского крова имело, однако, для нее те последствия, что «солидные» женихи свататься за нее боялись и «место» было сдано за младшею ее сестрой. Трудно сказать, что сталось бы с «беглою невестой», если б случайно не встретилась она с другим «мечтателем» — моим отцом. Он тоже бежал от «места». Кончив курс в семинарии, он, когда суровая и хозяйственная бабка уже приискала ему «невесту с местом», бежал в Москву «от свадьбы», думая поступить в университет, но у него не было ни средств, ни силы, чтобы перебиться год, необходимый для подготовки к экзамену, и он вернулся, изголодавший и обносившийся. Духовное начальство подозрительно отнеслось к «блудному сыну», и для него уже не оказалось «мест», к ужасу бабки. Тогда два «мечтателя» встретились и неразрывными узами связали себя на долгую страду «чиновничьей» жизни. И это была для них действительно одна бесконечная страда, от которой уже не было сил убежать,— страда, полная взаимных огорчений и недоумений... И вот почему в отрочестве осталось у меня такое впечатление, что как будто и батюшка, и матушка, и мы все живем не на своем месте, как будто все мы тут только «временно», и что каждому из нас где-то должно находиться совсем в других местах и служить другому богу...

Спела матушка «мать-пустыню» и долго-долго, как всегда, смотрела своими большими, темными, полными слез глазами в беспредельную даль.

— Ах, хорошо, Настя! — говорил дед в умилении.— Хорошо-то как, хорошо!.. И что это нынче Фимушка не пришла послушать?.. Не пришла вот — и на-поди. А ты, сдается, никогда так хорошо еще не пела...

Только что дед упомянул о Фимушке, как она и сама издалека показалась. Только теперь чего-то бежит она, торопится...

Фимушка тоже была большая приятельница деда, и не было того дня, чтобы они вместе не сидели здесь под любимою яблоней. Жила Фимушка как раз напротив, в избе у брата, в большой крестьянской семье. Фимушку мы все так давно знали, что почти за родную считали, да и вся деревня ее родной считала. Совсем это было какое-то безгрешное существо. Она была старушка, убогая, слепая с детства, «с самой воспы», как говорила она,— вся такая же маленькая, худенькая, хрупкая, но живая, юркая, как и мой «маленький дедушка». Ходила она всегда в синем изгребном сарафане, который висел на ней, как на худом ребенке; на голове носила черный платок с белою каймой, из-под которого виднелось худое, сморщенное в комочек лицо, но с длинным сухим носом; этот длинный нос и потухшие, но полные какого-то своеобразного, необъяснимого блеска и выражения глаза придавали ее лицу необычайно сильный и энергический характер. Но нисколько оно не было сурово, а вместе с ее маленькими сухими губами как будто сдержанно и любовно смеялось. Ходила она всегда скоро, уверенно, постоянно помахивая подогом вперед себя, как будто загребала воздух и плыла.

Это маленькое, ничтожное, но дивное существо всегда жило в моем воспоминании вместе с дедом. Откуда взялась она, откуда и как явилась на этой грешной и суровой земле в то грешное и суровое время, это была для меня такая же необъяснимая, но чувствуемая всем существом тайна природы, какою была и эта — вся такая белая, разубранная, как невеста, вся душистая, нежная и веселая яблоня, под которой мы сидели. Одно, впрочем, я знал тогда из этой тайны, да и то потому, что нам открыла ее сама Фимушка, когда мы спросили ее, как она ходит и бе-

гает — не упадет и не спотыкнется, как она всякую ямку и жердочку знает лучше нас?

— А передо мной облачко ходит,— объяснила она.— Как встану, пойду, а облачко предо мной... Я и хожу-то не сама, а облачко меня водит, белое да светлое... Куда оно поведет, туда и я... И ни пред чем у меня с ним страху нет!..

И не только мы, малые ребята, не только легковерные бабы, но и бородатые мужики, и сам дедушка, даже сами «барин с барыней» как-то боязливо и бесспорно верили, что пред Фимушкой ходит «белое облако», и водит ее за собой, и указывает ей путь,— если к кому Фимушка придет, то это значит, не сама она пришла, а облако ее привело. Да и сама Фимушка не только безусловно верила в это облачко, но она, может быть, действительно постоянно видела его пред собой.

Если бы я в то время знал и видел больше, чем мог знать и видеть, я понял бы, откуда и как явилась эта легенда о «белом облачке» и какое большое значение имела она не только в жизни такого маленького и ничтожного существа, как Фимушка, но и в жизни других таких же ничтожных существований. Но понял я это только уже впоследствии и, к стыду моему, довольно поздно. Не задавался я тогда вопросом и о том, какими образами жила душа этого убогого существа, что за мир теней носился пред ее духовным оком с тех пор, как в самом рассвете жизни упала зловещая завеса между нею и озаренным солнцем миром. Кто такие были для нее мы все из этого светлого мира и какими таинственными нитями душа ее была связана с нашими? Я не мог отвечать на эти вопросы, но вместе с другими я был уверен, что Фимушка не только знала и видела все, что делалось кругом, но знала и понимала лучше, чем все мы, и потому именно, что ей на все светило ее «белое облачко». Понятно, почему я вместе со всеми испытывал пред этим воображаемым «облачком» какой-то необъяснимый страх, смешанный с таким же необъяснимым уважением и изумлением. Понятно было мне также, почему пред этим хрупким, худеньким и ничтожным существом нередко смущенно стихал разбушевавшийся сход бородатых мужиков, боязливо заискивали пред нею моя суровая бабка и сам наш тол-

стый батюшка, знавший за собой порок мздоимства и стяжания, и бывали случаи, как приходилось мне слышать под секретом из боязливых уст, что Фимушку заводило белое облачко к самим «господам», и даже эти «господа» не менее смущенно опускали пред нею глаза и старались задобрить это бедное, но любвеобильное, правдивое и сострадательное существо. Действительно, вся она была преисполнена необычайной чуткости к малейшему страданию самого малейшего из живых существ. Поэтому вся жизнь ее была одним напряженным волнением, одною неустанно-чуткою заботой. Вот сидит она с моим дедушкой, слушает его, кажется, кругом тишина полная, мир и покой, но напряженный слух ее уже вдруг насторожился, в бесцветных глазах загорелся беспокойный огонь, и Фимушка быстро срывается с места и уже бежит куда-то мелкою семенящею походкой, быстро-быстро загребая вперед себя подогом: это коршун откуда-то спускается медленными мерными кругами над селом — и бедные наседки встревожились и заметались по задворкам. Заметалась с ними и Фимушка; бегает, волнуется, выкрикивает своим тоненьким голоском и грозит своему — увы! — невидимому и не виданному ею врагу, который невдалеке быстро схватывает и раздирает свою жертву. Фимушка слышит только болезненный крик жертвы, и, кажется, он слышится ею во сто, в тысячу раз пронзительнее и громче, чем всем другим, и, значит, во столько же раз жесточе режет ее сердце. Вокруг ее мечутся и кричат перепуганные куры, гуси, утки, вверху — целый содом галочьего стада, и она еще больше мечется из стороны в сторону, опять кому-то грозит, кого-то молит и просит и, наконец, утомленная, обессиленная, садится на землю и плачет горькими-горькими слезами. И не было, кажется, такого черствого сердца, которое в эти минуты не прониклось бы к ней самою искреннею сострадательною нежностью.

— Ах ты, бедная, ах ты, голубка! Вишь, как она везде горе-то чует, как она над ним сердце-то надрывает!.. То-то богу-то, поди, на нее с неба-то радостно смотреть!.. Ведь вот уродится же такая божья душа среди нас, грешных! — так говорят, бывало, бабы и мужики, остановившись возле нее.

Да и я теперь, когда бестелесный образ этого бедного

существа проносится в моем воображении, изумляюсь и спрашиваю: зачем, зачем это такое любвеобильное и правдивое существо бог послал на нашу суровую и грешную землю?.. И когда я вспоминаю, что сделал с нею наш грешный и суровый мир, мое сердце обливается кровью, и это сердце могло бы разорваться на части от отчаяния, если бы вечно юная и могучая природа не украсила ее бедную и забытую могилу такою яркою зеленью и не вырастила из праха ее этих нежных, веселых, голубых и розовых цветов... И мне верится, что это доброе маленькое существо не только не успел «загубить» наш греховный мир, но что оно живет духовно вокруг нас еще полнее, чем прежде,— и в этом нежном благоухании ландыша, и в милой детской песне малиновки, и среди молодой жизни, так пышно распускающейся над прахом могил...

Когда Фимушка подбежала к нам в тот злополучный для нее день, то, мне вспоминается, она была именно охвачена вся тем напряженным волнением, как я привык ее видеть: она дрожала, как мелкий лист на березке, подог прыгал в ее сухой руке, пока она старалась им ощупать дедушку; в глазах ее светилось изумление и страх, и они горели тем странным блеском, который мы замечали только у одной Фимушки и считали чем-то особенным, «не здешним». Она, наконец, ощупала дедушку и быстро постучала подогом по его плечу.

— Дьякон, пойдем! — сказала она резким, отрывистым и уверенным голосом, взяв дедушку за руку.

— Куда, Фимушка, куда идти?.. Али кто кого обидел? — спрашивал дедушка, с некоторым страхом всматриваясь в ее лицо.

— Пойдем! — выкрикнула она, словно собиралась сейчас зарыдать, и потащила дедушку за собой.

Я и сестренка побежали за ними. Мы подошли к Фимушкиной избе. Смутно помню, что в растворенные настежь двери мы увидали в избе всю семью Фимушки, чем-то взволнованную и озабоченную. Посредине стоял высокий мужик, племянник Фимушки (старший сын ее брата-большака), и старался надеть поддевку, но ему мешали старуха мать и жена, которые плакали навзрыд и постоянно припадали к его плечам и груди. В переднем углу неподвижно, словно застыв, стоял старик отец в из-

гребной рубахе и портках, подпоясанный лыковым поясом, на котором висел большой ключ. Старик, как будто в испуге, не говоря ни слова, смотрел, что пред ним происходило, и изредка медленно крестился. Малые ребятишки — наши сверстники и приятели — стояли в углу около печки и, как мы же, кажется, ничего не понимали. Другие сыновья старика, подростки, что-то озабоченно хлопотали: кто искал сбрую, кто складывал одежду, один закладывал на дворе лошадь.

Фимушка необычайно волновалась: она то подходила к любимому племяннику и, любовно заглядывая ему в лицо своими потухшими глазами, гладила костлявою рукой его волосы, мотала головой, то подбегала к старику и слегка похлопывала его по плечу и что-то таинственно шептала ему, то убегала за дверь, кому-то грозила подогом и к чему-то прислушивалась, то подходила к дедушке и спрашивала его несколько раз на ухо: «Ты слышишь ли, дьякон, слышишь?»

Дедушка тоже долго не мог понять, что такое тут сделалось, какое горе стряслось над бедной семьей. Наконец, ему что-то коротко сказал старик. Дедушка закрякал и полез за табакеркой и долго постукивал по ней пальцами, но не нюхал: это всегда было признаком, что он сильно взволнован. А когда Фимушка опять подошла к нему и, заглянув ему в глаза, так же, как и племянника, погладила его по голове, он вдруг отвернулся в угол.

Я видел, как он долго, отвернувшись, утирал глаза синим клетчатым платком. Потом пришел староста и с ним два мужика. Они долго топтались в дверях, не решаясь войти. Потом староста, нехотя и несмело, подошел к Мирону, которого все оплакивали, и, держа себя за кушак, сказал:

— Надоть, Мирон, связать... Мимо барского дома поедем.

— Вяжите,— тихо сказал Мирон, и, мне показалось, он улыбнулся.— Меня свяжете — всех не перевяжете.

Все молчали, как будто нашел на них столбняк. Никто не двигался с места. Наконец, староста снял с себя кушак и стал завязывать сзади Мироновы руки. Старик отец опять медленно перекрестился. Бабы разом заголосили и припали опять к Мирону. Фимушка, дрожа как в лихо-

радке, остановилась среди избы и долго к чему-то прислушивалась.

— Совсем? — спросил кто-то.

— Совсем.— И шепотом прибавляли: — Слышь, этапом угонят.

Фимушку словно что-то подрезало: она вдруг опустилась на пол, припала к нему своей старою головой и, затрепетав вся, как подстреленная птица, зарыдала, как больной ребенок, тоскливым и мучительным рыданием. Моя сестренка схватила меня за руку: она была бледна и тоже вся дрожала.

— Ну, скорее уж! — сказал Мирон. Потом как-то разом все опять на минуту замолчали.

Нам с сестренкой, которая держала меня за руку, стало вдруг так страшно, такой охватил нас ужас, что мы, не разнимая рук, бросились вон и бежали без звука, едва переводя дыхание, вплоть до матушки и бросились ей на колени. Объяснить мы ей ничего не могли: мы чувствовали только один невыразимый ужас.

Немного спустя пришел и дедушка и что-то долго шепотом говорил матушке. А вечером кто-то постучал в окно, когда мы укладывались спать, и спросил: не видали ли где Фимушки?.. Фимушка пропала. Потом, впросонках, я слышал, как с кем-то дедушка разговаривал и кто-то говорил, что Фимушку нашли на барском дворе, что она что-то «у господ натворила»... Но больше я не расслышал. После того мне всю ночь снилась Фимушка, как она металась и бегала по улице, словно гусыня с поломанным крылом, когда коршун утащил ее цыпленка, как она помахивала и грозила, повидимому, ее врагу своею липовою палочкой и, наконец, припала к земле и плакала тоненьким, жалостным плачем, как маленький ребеночек...

Наутро кто-то из ребятишек сказал нам, что Фимушку заперли на барском дворе в холодную баню и что они потихоньку бегали туда. Нам опять стало с сестрой страшно, и мы долго не решались идти вместе с ребятами. Но я и теперь вспоминаю, как что-то странное, непреодолимое тянуло меня за ними, только это не было простое детское любопытство: мне смутно что-то хотелось сделать, но что именно, я не мог определить — сказать ли что Фимушке от дедушки, как посылал он иногда меня к

ней, или подать ей «тихую милостыню», как это иногда делала матушка... Наконец, я пошел, но не сразу; несколько раз возвращался опять назад. Я стоял за плетнем и из-за угла смотрел на таинственную баню, в которой сидела маленькая старушка; мне хотелось дождаться, не увижу ли я ее в окно. Нас, ребят, было тут человек с десять; все перешептывались и постоянно озирались по сторонам, чтобы кому из «барских» не попасть на глаза. Повидимому, всем нам одинаково хотелось дождаться зачем-то, не покажется ли Фимушка в окне. Не знаю, почуяла ли она наше присутствие, или, как с нею часто случалось, просто разговаривала с теми таинственными тенями, которые ей заменяли действительный мир, только вдруг мы услыхали, как Фимушка сильно застучала в раму и закричала своим тоненьким голоском:

— Уйду, уйду, скажите! Не удержать меня запором!.. Придет срок — уйду, из-под чугунных замков уйду от вас!.. Господь батюшка поможет мне, старушке божьей!..

Я бежал вместе с другими не чуя под собою ног, и мне слышалось только, как маленькая, худенькая старушка из-за «белого облака» грозно кричала, помахивая подогом: «Уйду!.. уйду!.. уйду!..»

За обедом дедушка сказал, что Фимушка дома теперь, что она говорит, что неведомо кто отпер ей дверь у «темницы», что она стукнула в нее легонько подожком, дверь и отворилась, что потом за ней барыня молодая присылала, дала ей пирог и все говорила: «Молись за меня, Фимушка, молись за меня, грешную!..»

Прошло два дня, я все ждал, что вот скоро увижу Фимушку на улице, но Фимушка не показывалась, а нам с сестрой так хотелось узнать, «какая она теперь». Идти же к ней в избу мы боялись. И вот мы все эти два дня почему-то были очень тихи и скромны и все чего-то ждали. Мне казалось, что с тех пор, как увезли Мирона, и на деревне стало вдруг так тихо, как никогда не бывало, и там все как будто чего-то ждали. Дедушка тоже присмирел и все чаще и чаще нюхал табак и покрякивал, а на наши ласки и вопросы отвечал как-то мимоходом, полусловами. Вечером он уходил куда-то на зады, за деревню, где собирались мужики, а потом, за ужином, о чем-то тихо передавал матушке и бабушке. Я помню только одно, когда

он рассказывал про какого-то «старого солдата», который проходил через село и говорил, что «скоро всему будет конец». И эта напряженная тишина сельской жизни и эти таинственные, непонятные для нас рассказы еще больше запугали нас с сестрой; мы чаще, чем прежде, не отдавая себе отчета, вертелись около матушки и пытливо вглядывались в лицо дедушки, когда он возвращался от кого-нибудь из крестьян. Но никакого утешения ни от матушки, ни от дедушки мы не получали. Поэтому мы очень обрадовались, когда приехал из города батюшка и сказал, что он возьмет нас «домой». Как ни любил я дедушку, каким великим счастьем и удовольствием ни было для меня всегда то время, когда я гостил в деревне, как ни рвался я обыкновенно туда из города, но на этот раз мне как-то было тут жутко, и мы с сестрой с удовольствием ожидали отъезда. Отец тоже мало привез с собой на этот раз веселья. Больше, чем прежде, он был скучен и недоволен и тоже передавал дедушке какие-то вести, вычитывая их из газет. Дедушка, казалось, не доверял батюшке, «чтобы так могли писать вслух всем», и, надев очки, брал у него из рук газету и внимательно, чуть не по складам, но шепотом перечитывал все снова и покачивал головой.

Мы уже собирались уезжать, и дедушка пошел на село договариваться насчет подводы, когда вдруг послышался на улице звон ямщицкого колокольчика и бубенцов и перед черною, закоптелою старою избой дедушки остановилась тройка взмыленных лошадей: кучер в плисовой безрукавке и в поярковой шляпе с павлиньим пером, новый «барский» тарантас, коренастый мужчина с длинными усами, в белой фуражке и сером полукафтане с большим медным крестом на груди,— все это было по тому времени совсем необычным явлением для старой сельской улицы. Не только дедушка, но и суровая бабка моя были до того смущены приездом какого-то «важного барина», что все время, пока приезжий гость беседовал с моим батюшкой, они стояли в стряпной половине, в уголку, около печи и, тихонько вздыхая, крестились, словно ждали какого-то несчастья.

Но мы с сестрой не боялись неожиданного гостя так, как дедушка с бабушкой: это был тот знакомый нам добрый ополченец, который иногда гостил у нас в городе и

привозил нам гостинцы. Я не мог понять, почему это так испугались этого доброго человека и дедушка, и бабушка, и старая работница девка-вековуша, и крестьяне, которых застал в нашей кухне приезд гостя, и я уже собирался было успокоить дедушку, сообщив ему насчет гостинцев, когда снова звякнули бубенцы, прогремел по улице тарантас и страшный «барин» уехал. А когда я вошел вслед за дедушкой в переднюю горницу, я заметил, что что-то совершилось важное в нашей жизни: отец был взволнован, но весел и доволен; мать молилась на коленях пред образом.

Когда вошел дедушка, батюшка радостно вскрикнул:

— Тятенька!.. Как я рад! Как я счастлив, тятенька!.. Знаете ли, куда они меня зовут, к какому делу? — и, добродушно и весело посмеиваясь, батюшка что-то стал передавать дедушке.

Мы с сестренкой во все глаза смотрели на них, но ничего не понимали... Потом батюшка весело стал торопить ехать в город. Мы стали укладываться. Но я не узнал своего веселого «маленького дедушки»: всегда прежде при проводах или встрече он бывал так оживлен, добродушно-весел, подшучивал над нами, угощал и сам угощался «на дорожку» и, весь раскрасневшийся, постоянно со всеми целовался. Теперь он словно совсем потерялся, ходил постоянно из горницы в стряпную, из стряпной на двор и опять в горницу, покрякивал и изредка, как будто тихонько от других, крестился. Оттого ли, что я все эти дни не понимал хорошенько, что делалось вокруг меня, или потому, что на нас отражалось невольно общее настроение окружающих, только мне чувствовалось тоже как-то не по себе, и я невольно ходил без цели за дедушкой с одного места на другое. Когда я проходил через кухню, один мужичок сказал мне: «Скажи тятеньке, что, мол, готова подвода... Подавать, что ли?.. А слышь, теперь тятенька-то твой господам служить будет?.. Ась?.. Правда али нет?» — спросил он как будто мимоходом.

Я в недоумении посмотрел на него и не знал, что ответить: хорошее или дурное это было дело со стороны отца. Как вдруг ко мне подошел дедушка и шепотом спросил:

— У вас бывал, слышь, в городе этот барин?

— Бывал, дедушка! — обрадовался я случаю успокоить дедушку и поспешил сказать: — Он добрый!..

— Добрый, говоришь?

— Совсем добрый...

И дедушка перекрестился, но, кажется, мало успокоился.

Прежнее общее напряженное состояние продолжалось. Матушка укладывалась; отец перебирал какие-то бумаги; бабушка особенно усиленно хлопотала, собирая обед на дорогу. И она как-то совсем затихла. Я вышел к воротам, и там мне показалось как-то сумрачно, скучно. Никто ко мне не подходил из товарищей: всех, очевидно, напугал приезд «барина», и они с любопытством смотрели на меня издали... Мне отчего-то стало грустно, хотелось плакать и так захотелось почему-то увидать еще раз пред отъездом Фимушку. И вдруг я заметил, что Фимушка бежит прямо на меня, торопится, помахивая подогом.

— Где дьякон-то? Где он? Где? — быстро спрашивает она кого-то и, ощупывая подогом дверь нашего крыльца, идет в кухню. Я за нею.

— Здесь ли ты, дьякон? — спрашивает она в кухне, взволнованная, дрожащая.

— Здесь, Фимушка, здесь,— говорит дедушка.

И вдруг Фимушка стала молиться и повалилась пред ним в ноги.

— Прощай, дьякон, помолись за меня, бедную... Благослови меня, дьякон,— заговорила она.

— Что с тобой, Фимушка?

— Молиться надо идти!.. к угодникам!.. Всем надо молиться!.. И ты, дьякон, молись!.. Молись, дьякон, паче всего. Дай я тебя благословлю...

И Фимушка стала крестить его сухою, маленькою, коричневою рукой.

Я смотрел и дрожал: меня охватывал безотчетный страх; почему-то мне показалось, что мы в чем вдруг стали все виноваты.

— Молись, дьякон! — говорила все Фимушка и стала гладить его по голове.— И Лександре (моему отцу) скажи, чтоб молился. Пропадет без молитвы... Так и скажи: «пропадешь без молитвы»... Молиться надо!.. Всем надо молиться!.. Прощай, побегу... Богомолки ждут!..

И Фимушка быстро, как мотылек, такая же легкая и словно вся прозрачная, вылетела из избы и исчезла.

Я еще не опомнился, как послышался голос отца:

— Тятенька, где вы?

— Я здесь, здесь... Закусили ли? — спросил растерянно дедушка, повидимому, не зная, что сказать, и заторопился навстречу отцу.

— Пора, тятенька, ехать,— говорил отец уже в горнице.— Что ж это вы нынче... хоть бы бражки на прощанье?.. У меня такой нынче день... Хоть бы поздравили меня...

Я видел, что отец был очень весел, и это меня несколько успокоило, и мне хотелось, чтоб и дедушка был весел попрежнему. Но дедушка сделался еще серьезнее. Вдруг он как-то весь выпрямился и голосом, каким он обыкновенно говорил только в церкви, и то во время особенно торжественной службы, сказал строго бабушке:

— Анна, подай-ка мне образ!.. Ну, присядемте все, как по порядку,— прибавил он, когда бабушка подала ему образ.

Бабушка теперь совсем изменилась и стала такая смирная, послушная деду.

Мы все сели. Посидев несколько минут молча, все поднялись. Дедушка стал молиться, потом благословил образом батюшку и матушку, потом меня с сестрой.

Потом дедушка совсем заволновался: руки у него дрожали; обыкновенно влажные и мягкие, глазки его теперь смотрели строго, почти сурово.

— Саша,— заговорил он батюшке,— дай я тебя перекрещу... Смотри... будь тверд... духом... Время идет большое... Помни Иуду... сребреники... али мздоимство... али искательство... У нас в роду... этого не было... Бедные мы... простые... Долго ли до греха! Ну, прощайте... Господь благословит вас!..

Никогда, никогда еще деревня и дедушка не провожали нас так. Я смутно чувствовал, что в жизни моей и моих кровных и в жизни всех этих близких мне простых людей, которые окружали меня в деревне, готово совершиться что-то важное и чрезвычайное...

Когда мы выехали из села, мне самому почему-то хотелось плакать и молиться.

СТАРЫЕ ТЕНИ

Я уже говорил, что в минуты тяжких душевных смут особенно любил навещать меня мой «маленький дедушка», приводя с собой из тьмы забвения ряды таких же, как он, маленьких и ничтожных существований. Мое детство и отрочество, кажется, неразрывно связаны с этими маленькими существованиями. Особенно вспоминаются мне те странные таинственные образы, которые вдруг являлись неизвестно откуда — и в нашем «старом доме» в провинциальном городе и в старой сельской почернелой избе моего деда,— и так же исчезали неизвестно куда. Это были какие-то блуждающие тени, пугавшие наше детское воображение, тем более что моя старая бабка, которую я не могу иначе вообразить себе, как в огромном повойнике, с нависшими бровями и грозным сковородником в руке, сильно их недолюбливала и называла «шатунами», «шатущими людьми» и «людишками». Несмотря, однако, на существование моей старой суровой бабки, которая являлась предо мной всегда как бы воплощением того сурового времени, эти «шатущие людишки», казалось мне, все больше и больше плодились на русской земле, и вместе с тем все больше доставалось от суровой бабки и моей мечтательной матушке и «уличному пустомеле», «маленькому дедушке», которые привечали этих людишек и к которым, казалось, льнули они, как мотыльки к свету.

Смутно проходят предо мной эти странные, таинственные образы, которых так много создавало то невоз-

вратно-минувшее время. Вспоминается высокая, сколоченная из толстых бревен, старая, закоптелая, но крепкая дедушкина изба. В ней тепло, но на воле мороз к вечеру все крепчает. Вот уже половина стекол покрылась пушистым инеем, по углам то там, то здесь постукивает и потрескивает. Дедушка сидит у сальной свечи и торопится заплатать куском кожи пробитый валеный сапог. Матушка истово и певуче читает, неторопливо выговаривая слова, стихотворные переложения псалмов, и мне очень нравится, как звучно и складно льются слова одно за другим, но я плохо понимаю их смысл. Мы с сестренкой уже прикорнули под теплым овчинным тулупом и молча витаем в каком-то легкомысленном сказочном мире, для которого нет ни времени, ни пространства; из фантастических стран восточной Шехеразады быстро переносишься то на теплые, мягкие берега Иордана, то в суровое царство фараонов, то вдруг уже вертишься в вихре веселого, яркого света, среди моря торжественных звуков музыки, в блеске нового легкомысленного мира европейских столиц, куда так чарующе манит и зовет все молодое, бодрое, свежее, что раньше нас успело уже выбраться и выбиться из суровых и темных обиталищ крепостных деревень... Хотя мы с сестрой ничего не говорим друг другу, но я совершенно уверен, что она носится своей мыслью там же, где и я; мне стоит только спросить ее: «а помнишь, вчера мама читала письмо дяди Саши из Петербурга?», чтобы быть уверену, что юная фантазия тотчас же унесет ее, как и меня, далеко-далеко от этих хотя и теплых, но тусклых и темных стен дедушкиной избы.

И вдруг слышится тяжелый скрип по помосту, стукнуло кольцо у калитки, кто-то откашлялся за дверью. Мы все прислушиваемся; робко и неуверенно отворяется дверь, и, заволокнутая холодным паром, на пороге появляется незнакомая, высокая, худая фигура: длинный овчинный подрясник, занесенный снегом, толстая и высокая, набитая хлопками, скуфья на голове, в руках — длинный посох, на спине — подбитый телячьею шкурой мешок, худое, длинное, с провалившимися щеками, мокрое лицо, с жидкими клочьями седоватой бородки, и черные, боязливо бегающие под длинными бровями глаза.

— Мир и благословение дому вашему! — отчетливо

выговаривает пришедший, стоя у порога, и не трогается с места.

— Благодарствуем,— говорит дедушка.— Куда странствуете? — Маша, принеси-ка от бабки коровашек... для странника, мол.

— Не признал, отец? — спрашивает между тем странник, все еще не отходя от порога.

— Нет, нет... Али знакомы? — говорит дедушка, ища очки.— Кто же будете?

Странник пугливо окидывает комнату своими черными, пронизывающими насквозь глазами и тихо говорит:

— Презренный раб божий, раб человеческий... дворовый человек Александр... вечный жидовин, Агасфер треклятый...

— О? Александр!.. Признаю, признаю,— говорит дедушка.— Обогреться, переночевать, поди, хочешь, изустал, чай?.. Место будет... Садись, Александр, садись, странник божий...

— Дозволяешь, отец? — все еще спрашивает странник, робко озираясь кругом.

— Не бойся, не бойся... Входи с богом, располагайся...

И вот странник медленно и неуверенно начинает снимать с себя мешок и с тяжелым вздохом садится на скамью.

— Что ж, Александр, али все не нашел успокоение душе своей? — спрашивает дедушка.

Но странник сидит молча, опустив голову.

Потом слышно, как снова глубокий вздох вырывается из его груди. Потом он заговорил истово, неторопливо, опустив вниз глаза, как будто стыдясь смотреть на нас.

— Прошел все пределы... везде был... все обители посетил... Был на полднях и на полунощь... на знойном Афоне и в хладных Соловецких обителях... Везде, отец... Искал неустанно грядущего града, и нет приюта презренному рабу!.. Исхолодал, отец, изголодал... И в лето и в зиму, как тать, скрываюсь от света и брожу в нощи... Прихожу в грады — и изгоняют, стучусь у обители — и не принимают отверженного... Не вижу ни кровных своих, ни сродственников, ни жены, ни детей, в неволе пребывающих... И да будешь проклят ты, раб презрен-

ный, что возомнил о свободе, и покинул кровь свою, и отженился ближних своих!.. Нет тебе угла в пространном мире моем, и не будет успокоения душе твоей!.. Захочешь возвратиться в дом господина твоего — и отрекутся, страха ради иудейска, дети твои от тебя и ближние, и предаст тебя поруганию и истязанию господин твой... Убоишься вернуться в неволю и будешь скитаться, как вор, и приют твой будет логовище зверей...

И вдруг странник с глухим шумом падает на колена и начинает молиться. Долго слышатся среди полного молчания только одни глухие вздохи странника да редкие покрякивания дедушки.

И матушка, и я, и сестренка давно уже впились глазами в это худое, словно отлитое из бронзы, тусклое и костистое лицо, на котором так ярко лежали следы бесконечных скитаний и безмерной скорби.

Странник поднялся, выпрямился и все еще не спускал глаз с образа. По щекам его текли крупные слезы, между тем как черные глаза блестели в одно и то же время злым отчаянием и суровою верой.

— Отец!..— вдруг заговорил он, подымая к образу руку.— Там... там взыщем грядущего града!.. Там единственно!.. Там — не отринут...

— Да не отчаивайся, Александр... бог тебя поддержит,— говорит дедушка.— Нет той слезы, Александр, чтобы пролилась тщетно и не была услышана у престола всевышнего!.. И волос не упадет даром с головы человеческой... Ищи — и всегда обрящешь... Толцыте — и отверзятся врата правды... Сядь, Александр, подкрепись, чем бог послал...

И странник, несколько успокоенный как будто, опять садится на лавку, но теперь голова его поднята и блестящие глаза его смотрят куда-то вдаль, как будто пронзают стены нашей избы, и светится в них какая-то странная борьба, как будто не знают еще они, на чем остановить свой выбор: на небе или на земле...

— Ну, Александр, расскажи нам про мир божий. Вам, странникам, многое открыто... Поди сюда, присядь здесь.

Странник садится у стола, и я вижу, как матушка, с загоревшимися таинственным любопытством глазами,

уже подвигается к нему, поставив на стол руки и склонив на них голову, и своим обычным мечтательным взглядом впивается в лицо странника.

И странник начинает говорить... Но мое детское воображение, запечатлев в себе его туманно-суровый образ, уже не сохраняет ничего больше, и его речи вспоминаются мне только как шум бурного, но смутного потока, несущегося чрез безграничные степи... А по этим степям, гонимая ветром, быстро шагает высокая суровая фигура, тщетно ищущая, где преклонить главу сыну человеческому...

И мне представляется, что еще не успел кончить странник свои рассказы, которые так длинны, кажется, что длятся целую ночь, и день, и еще ночь, как уже за ним появляется в дверях нашей избы новое странное и поражающее наше детское воображение существо.

Прежде всего виден только один огромный старый нагольный тулуп, перепоясанный кушаком, и большие старые валенки, но совершенно невозможно определить ни пола, ни возраста, ни звания того, кто скрывается в недрах этого огромного тулупа, вверху которого едва виднеется голова, так плотно окутанная заиндевелою шалью, что из-за нее не видно даже глаз. Но вот странный тулуп быстро и нервно делает наотмашь три поклона пред образом, затем в углы избы и так же быстро начинает развертывать с головы шаль, и мало-помалу сначала показывается жиденькая, белесоватая бороденка, потом длинный тонкий нос, маленькие, словно мышиные, серые глазки, и, наконец, из-под бараньей шапки освобождается большая лысина, кое-где опушенная всклоченными косичками беловато-рыжих волос. А когда разом и неожиданно свалился в угол тулуп, пред нами вдруг объявился самый обыкновенный, самый «ничтожный» из «людишек», какие только живут на свете, по мнению моей бабки, старый крепостной мужичишка, в заплатанной и изодранной серой свитке. Едва только мужичок этот почувствовал себя на свободе от угнетавшей его тяжести огромной овчины, как вдруг он весь озабоченно оживился, умильно улыбнулся всем нам, поклонился еще и еще раз в оба угла и, быстро засеменив пред дедушкой короткими ногами, также умильно выкрикнул:

— Преподобный!.. Отец!.. Приюти! Подкрепи!.. Обнадежь!..

— Ах, Филимон, Филимон!.. Да неуж это опять ты? — говорит мой «маленький дедушка» в видимом волнении, стараясь найти свою табакерку...

— Я, преподобный... Не обессудь,— выговаривает мужичок до того тихо, что, кажется, боится собственного голоса.

— Ах, Филимон! — качает почему-то сокрушенно головой дедушка и торопится успокоить себя понюшкой табаку.— Доколе же ты не успокоишься?.. Друг, есть ли в тебе место живо?

И нам казалось, что в мужичке действительно не было живого места: ни мускулов, ни мяса, ни крови, только одни крепкие и несокрушимые кости, обтянутые темнобурою кожей...

Мужичок на слова дедушки еще умильнее улыбнулся, еще меньше, казалось, сделались его серые глазки, и вдруг он опять весь оживился, заволновался, задвигался всеми своими костистыми членами и, охваченный какою-то необычайною заботой, стал что-то искать за пазухой своей рваной чуйки.

Вот он вытащил оттуда что-то завернутое в темный платок; бережно, дрожащими корявыми пальцами развернул его и, обернувшись пугливо по сторонам, с заботливым взглядом положил пред дедушкой какие-то старые, замасленные бумаги и опять поклонился ему в пояс.

— Преподобный... Докука!..

— Ах, Филимон! Ах, Филимон!..— вздыхает дедушка, снова сокрушенно качая головой.— И зачем испытуешь господа бога?... Себя не жалеешь — пожалей кровных... Умирись духом... Будет!.. Будет, Филимон!.. Послужил, друг... Господь видит, господь взвесил и взмерил... Он не потребует измождения до конца... Не испытуй судьбу!..

— Преподобный... Иду!.. Забота в людях... Надо идти...

— Куда идешь, безумец?.. Вздохни... Залечи хоть язвы старые... Дай подожить...

— Отец... залечились... Не обессудь!.. Иду... до высших пределов!..

И мужичок опять умильно смотрит в лицо дедушки, и кажется нам, что дедушка никак не может спокойно выдержать этот умильный взгляд.

И вот дедушка встает, взгляд его делается суров и серьезен, и он строго говорит:

— Филимон!.. Пожалей меня... С меня бог взыщет за тебя... с меня, попустителя и помощника!..

— Отец... не жалей!.. Постучусь еще... Стук! Стук! Стук! А может, господь даст... Вот так, легонько, отец: стук, стук, стук!.. «Кто, спросят, там?» — Всё, мол, мы, бессменные, стучим... Всё мы...

— А который раз ходишь стучать?

— Осьмой, отец... Осьмой, ежели до высших пределов... Шесть разов этапом гнали... Шесть — шкуру спущали...

— Филимонушка, много ли ж с тебя останется?.. Пожалей!.. Меня, прошу, пожалей, мою душу: за что я пособничаю твоей муке-погибели?..

Мужичок еще раз умильно улыбнулся в самое лицо дедушки и вдруг быстро повалился ему в ноги.

— Преподобный!.. не жалей!..

И, так же быстро поднявшись, он нервно и возбужденно задвигал и замахал своими сухими, как скалки, руками, забегал пугливо по углам мышиными глазками и заговорил, заговорил неудержимо, словно сразу пролилось из него дождем все, что долго, бережно и опасливо нес он сюда целые дни и целые десятки верст... Это был один, казалось, нескончаемый, напряженный шепот, как отдаленный шум воды на мельнице, прерываемый какими-то неожиданными выкриками, от которых трепетало наше детское сердце... Я помню, что от этого напряженного шепота костистого мужичка у меня голова сжималась, как в тисках, страшно стучала и билась кровь в виски до того, что мне хотелось разрыдаться и выбежать вон из избы и бежать, бежать куда-то далеко от этого страшного шепота, несмотря ни на мороз, ни на глубокие сугробы, ни на ночные вьюги, сурово гудевшие вокруг нашей избы... И если бы еще хотя на минуту продолжился этот ужасный шепот, истерзавший мои нервы, я вырвался бы изпод теплой шубы и действительно убежал бы, как в горячечном бреду. Но «маленький дедушка» подошел к нам и

погладил задумчиво наши головы. Зачем? Он, казалось, и сам не замечал этого. А может быть, он невольно хотел как будто спросить нашего согласия на что-то. И он сказал, прерывая мужичка:

— Филимон!.. В последний раз... так и быть... Чую, что в последний раз... Быть концу!.. Нельзя!.. Надо быть концу!.. Велик господь в своем долготерпении — точно... но и страшен во гневе своем!..

Мужичок просиял весь и вдруг как-то сразу прекратил свой шепот.

— О чем писать? — спросил дедушка.

— Отец, пиши всю правду... Говори прямо обо всем. Ничего не скрывай... И нас не милуй: казни Иудину кровь!.. Иудина кровь над народом лютовать стала!.. Главное, чтобы по правде, отец, обо всем...

И мужичок торжественно поднимал кверху руки.

— Пиши!.. Терпели, претерпим еще. Не боюсь ни новой тюрьмы, ни новых кандалов... Преподобный, не жалей!.. Пиши!..

И долго-долго в безмолвной тишине зимней ночи, сквозь тревожный сон видится нам и костистый мужичок с своей умильной улыбкой и какой-то детски-наивной решимостью и верой, освещающей все его маленькое лицо, и наш «маленький дедушка», вдруг сделавшийся таким серьезным и строгим и, с суровым сознанием какого-то великого долга, истово и неторопливо выводивший на бумаге четкие полууставные буквы...

— Пиши, пиши, отец!.. Есть правда!.. Правда будет!..— все еще слышится нам голос костистого мужичка, и чем дальше следит он за пером дедушки, тем, кажется, лицо его все светлеет больше и больше.

Мы почему-то радуемся и за мужичка и за дедушку, но в то же время нас томит какое-то тайное чувство страха и боязни, потому что, кажется нам, что вот сейчас войдет из стряпной половины наша суровая бабка, сердито окинет подозрительным взглядом всех нас «непутных» и «шатущих людишек» и крикнет:

— Что за людишки опять набрались? Откуда бог привел?.. Не берут, должно, ни казни, ни угрозы шатущих... Чего нашли друг в друге, что льнете, как мухи к меду?.. Ну, эта хошь полоумная зародилась,— мотает го-

ловой бабка на матушку,— а ты что, старый?.. Ой, дьякон! Не сдобровать тебе, не сдобровать!.. Попомни мое слово... Дождешься ты себе за этих людишек награды!..

Но «людишки», на первое время как бы действительно смущенные и оробевшие от грозного окрика суровой бабки, однако не только не исчезают, но как будто вырастает их еще больше...

Вот я вижу, что уже около дедушки, выводящего пред сальным огарком полууставные буквы, сидит уже не один костистый мужичок Филимон, а вместе с ним и наша слепая деревенская печальница и самая близкая дедушкина подруга Фимушка, и суровый беглый человек Александр, и еще два-три каких-то новых, таинственных, «маленьких и ничтожных существования», которых, однако, я очень смутно различаю, и все, с внимательно устремленными взорами, слушают сидящую пред нами Аннушку,— слушают до того напряженно и внимательно, как будто не слова, а нектар и чудное благоухание льются из ее уст...

АННУШКА

Аннушка! Как передать мне вам этот дивный в своей простоте образ, который давно уже заполонил наши юные сердца, который не раз после, в тяжкие минуты духовного изнеможения и надорванной энергии, вдруг яркой звездочкой выплывал пред нами из-за сумрака серых туч и о чем-то говорил нам с высоты небесной и как будто манил к себе, в надзвездную высь, своим мягким, ровным блеском?..

Мы мало ее знали: это была тоже одна из блуждающих теней, которые раз-другой проносились мимо нас, как видения, и исчезали, казалось, бесследно; но это так казалось нам, пока легкомысленный угар молодой жизни еще туманил наши духовные очи и мы с детской надменностью полагали, что между нами и прошлым нет уже никакой связи, что все благодатное, что было в нас, родилось вместе с нами и из самих нас...

Я расскажу лучше всего, что мы знали об Аннушке.

Однажды, когда «наш ополченец» гостил по обыкновению у нас, в нашем старом провинциальном трехоконном домике, сокращая скучные зимние вечера своего одинокого деревенского существования, он, сидя на диване и покуривая «Жуков» из длинного чубука, после довольно продолжительного молчания вдруг сказал, обращаясь к матушке:

— А знаете ли, ведь в молодости я чуть было не женился на своей крепостной девушке?..

Он таинственно улыбнулся и усиленно стал сопеть трубкой.

— Да,— продолжал он,— и наверно бы женился и сделал бы свою крепостную девку барыней, если бы судьба так же охотно исполняла все глупости, которые нам взбредут в голову, как мы сами.

Мы были еще так юны, что подобное сообщение нашего ополченца, имевшее для него, повидимому, большое значение и которое он не без труда решился сделать, не особенно нас заинтересовало бы, если бы он не начал дальше рассказывать о какой-то черноглазой девочке, смуглой, как цыганенок, которую его мать взяла к себе «в горницы» из дальней деревни и которую все у них прозвали «галчонком». Это обстоятельство заставило меня и сестренку бросить вырезывание транспарантов и внимательно выслушать весь рассказ ополченца, хотя мы понимали в нем далеко не все.

— Н-да, удивительная вещь,— говорил задумчиво наш ополченец, прерывая свою речь долгими попыхиваниями в чубук,— не то удивительно, что я хотел жениться... Это глупости, вздор!.. А то, что вот она... этот «галчонок»... засела где-то там... в подоплеке... в глубине юнкерско-дворянской подоплеки... и свербит там... Да, по временам...

И ополченец опять начал сопеть в чубук и при этом долго и внимательно, с таинственной улыбкой, смотрел на мою сестренку.

— Вот,— сказал он, указывая на нее чубуком,— вот, помню, такая же была... Мне было лет четырнадцать, а я все еще жил дома, был сорванец-мальчишка и балбес. Один был у маменьки; была раньше сестренка, да умерла лет десяти; мать долго и очень об ней тосковала. Помню, однажды, когда матушка вернулась из поездки в одну из наших деревенек на юге, я заметил в людской нового человека, маленького, худенького, черномазенького, с черными глазами, запрятавшегося в угол за печкой... «Вот нашли еще сокровище! — сказала наша ключница.— Настоящий галчонок и зовут-то, слышь, Галькой... Полюбуйтесь! Хохлушка, слышь, а может, арапка»... Галчонок!.. И мне и всем в людской это очень понравилось... С тех пор галчонок стал галчонком и на другой же день принялся было,

грязный и босой, как и все другие дворовые галчата, прыгать на заднем дворе, как вдруг матушка вспомнила о галчонке, приказала вымыть, причесать, одеть Гальку и представить к ней «в горницы»... Священнику, который ходил к нам давать мне уроки, приказано было учить Гальку грамоте... Матушка стала ее держать при себе целые дни, занималась с ней сама, учила ее вышивать и даже баловала лакомствами... Иногда она, смотря на нее, тихо плакала... Но так продолжалось недолго; матушка вдруг ее забывала... Глядишь, а уж галчонок снова толкается в людской, на кухне, бегает на посылках у ключницы, перетирает тарелки, ходит в рваном затрапезном платьишке, нечесаный и немытый; опять урывками играет с дворовыми ребятишками на заднем дворе... А там опять — смирно и робко галчонок по целым дням сидит в комнате матушки, четко выговаривая тоненьким голосом склады, сложив под столом ручонки, и только бойко прыгают по буквам его черные глаза... Ну, да... все это, как видите, в порядке вещей... Гм!..— вдруг почему-то заволновался наш ополченец, и, поставив в угол трубку, он протянул руки к моей сестренке и тихонько привлек ее к себе.— Да, вот галчонок был такой же тогда!.. Я хорошо помню... Вот и глаза,— говорил он, как-то особенно любовно смотря в лицо сестры.— Ну, после я его забыл... Меня увезли в Москву... Вообще... из старого ничего не осталось... Новые интересы, новая жизнь... Все было забыто... Да... все... А потом... потом, знаете, как это бывает: вдруг все сразу неожиданно и хлынет.

Ополченец помолчал, забился в самый угол дивана и, как мне показалось, весь съежился, смутился, перестал смотреть на нас, робко опустил глаза и вообще совсем не стал походить на бравого ополченца.

— Да, все было забыто,— повторил он.— Ну, сначала корпус... Был и в лицее... и за границу ездил... Прошло, вероятно, лет десять... Наезжал и в деревню, но все это так, мимоходом... Другие интересы, другая жизнь... А это все... старое, что тут осталось, так мелькало только... мимо... Одно мелькание было... Вот однажды получаю письмо от матушки, что очень больна... Приехал... Кругом, конечно, заботы... Врач дежурит... Дворня ходит на цыпочках... Проходит день за днем... Матушка моя будто

стала поправляться... Вхожу к ней как-то вечером... Около нее сидит девушка с евангелием в руках и читает... Девушка показалась мне очень скромной, с маленьким, смуглым, худощавым лицом... да и вся она была не столько худая, сколько именно маленькая: и нос у нее, с горбинкой, тоже был маленький, и руки маленькие, только глаза были большие, как крупные вишни, да толстая черная коса... И я вдруг вспомнил «галчонка»...

Я стал всматриваться в нее, чтобы припомнить хорошенько сходство, но тут почему-то мне пришла в голову мысль, что она, вероятно, вот уже замужем за кем-нибудь из лакеев или кучеров... И мне стало неинтересно... Ну да, потому что все это так... в порядке вещей...

Ну, матушка, однако, не поправилась: через неделю она умерла... Надо было привести дела в порядок... Впрочем, все это должен был приготовить мой дворецкий... А я больше, грустный и меланхолический, ходил по саду, по берегу реки и думал, что это и есть самое хорошее дело. Забрел я как-то однажды в самый глухой угол сада, уже в сумерки, и слышу, что кто-то очень близко от меня тихонько всхлипывает. Гляжу, прямо предо мной на скамье сидит девушка, закрыв лицо фартуком.

— О чем ты плачешь? — спросил я, но еще не узнал, кто эта девушка.

Она вздрогнула, опустила фартук, быстро поднялась и стала смотреть мне боязливо в лицо: я заметил, как блестели от слез ее черные глаза...

— Ты — Аннушка, да?.. О чем ты плакала? — спрашивал я.— Можешь ты мне сказать искренно?..

— Мне... тоска... бывает... Мне хочется тоже... умереть,— прошептала она так тихо, что я едва расслышал ее голос.

Я никогда еще не слыхал таких слов... от дворни. Да, в романах читал, но там — другие люди... свои...

— Сядь,— сказал я,— сядь, бога ради...

Она присела на самый краешек скамьи.

— Отчего ж ты тоскуешь?... Может быть, нехорошо живет с тобой муж...

— Я — девушка...

Это меня несколько изумило, но вместе с тем мне было почему-то приятно.

— Отчего ж до сих пор не вышла замуж? Никто не любил?..

— Я была при вашей мамаше... все время... Она меня любила... очень любила и никуда не отпускала... А у меня часто бывает так.. тоска... Еще когда я моложе была, ко мне по ночам все приходили то дедушка, то бабушка... И все корили за что-то... Я все плакала... Я просилась у мамаши отпустить меня к своим... А они говорят: «Ни за что!.. Лучше убей меня! Вот умру — ступай...» Мне их жалко было... Они меня всему научили... Я им книжки читала... Все книжки, какие у вас в шкапу были, все почти перечитала... А которые и не один раз... А только на вашу мамашу тоже другой раз находило... и она не любила тогда меня... прогоняла от себя... А на меня тогда еще пуще тоска... Собиралась убежать, уйти — да не смогла... Простите меня... Это во мне, говорят, кровь говорила... Родная кровь.

И она опять заплакала.

Я старался успокоить ее, но в то же время я не хотел ее и смущать еще больше и ушел. Я проходил всю ночь до рассвета по мокрому лугу... Что-то во мне тогда вдруг заговорило, поднялось, смутное, неопределенное, что-то воскресло старое, все это забытое... «Все лучшие годы, всю молодость... не отпускала!.. Собиралась бежать — и не смогла, жалко было»... Все эти отрывочные слова девушки тысячу раз вертелись в моей голове, и она стояла предо мною, как живая: такая маленькая, худенькая, а в глазах ее было столько тоски и слез...

Мне казалось, что после бессонной ночи я пришел к какому-то важному решению — и заснул. На другой день я позвал к себе старого дворецкого и, как бы мимоходом, расспросил об Аннушке. Вся дворня смотрела на нее, как на странную девушку, немножко будто «попорченную»... «Барыня-покойница очень привечала ее при себе — точно,— говорил дворецкий.— Иной раз, слышно, так говорили: кабы ты, слышь, моя дочь была... Да нет, говорят, нет... Уйди, говорят, уйди прочь от меня! И прогонят. А то от себя не отпущают: всему ее обучили и книжки все себе заставляли читать... Ну, а она другой раз выбежит к девкам (известно, молодость!.. тоже в охотку), побегает с ними в горелки, песен попоет... А там, глядишь,

найдет на нее — где-нибудь в уголке по ночам плачет и все богу молится...»

К изумлению своего дворецкого, я вдруг объявил ему, что на этот год я останусь с ними, а может быть, и навсегда.

— Я забыл вас совсем!.. Да, совсем забыл! — прибавил я, чувствуя, что голос у меня дрожит. Но мой добрый старик дворецкий, повидимому, не оценил этого и, не осмеливаясь высказать свое недоумение, проговорил, почесав за ухом: «Слушаем-с!..»

Да, я решил «вспомнить их всех»... Я справлялся у ключницы об Аннушке, что она, не тоскует ли... Ключница подозрительно взглянула на меня и сказала: «Что ей, сударь, делать: известно, о барыне-покойнице тоскует...» Я все думал, что бы мне для нее сделать, и ничего не мог придумать... Я позвал ее и сказал, чтобы она мне что-нибудь прочитала... так же, как матушке. Я дал ей новую, только что появившуюся тогда замечательную повесть, которую привез с собой. Она скромно села за стол и стала читать. Лицо ее было серьезно; худые, смуглые, с пробивающимся румянцем щеки, опущенные ресницы, певучий тонкий голос напоминали мне тех молодых крылошанок, которых я любил так смотреть и слушать в московских монастырях... Она читала и, повидимому, начала все больше увлекаться сама чтением. Она читала долго, не смотря на меня. Я не мешал ей. Я смотрел на нее и не мог отвести глаз. Потом как-то она подняла на меня свои темные глаза и покраснела. Я чувствовал, что сам покраснел и смутился... Вечером я опять просил ее читать. Она принялась охотно, и мы кончили повесть. Но она все время не подняла на меня глаз. Так продолжалось день, и другой, и третий... Я просил ее читать мне, как матери. Она не отказывалась и аккуратно исполняла свой «урок». Да и могла ли она подумать отказаться, она, крепостная девушка? Но я не думал об этом. Мне было приятно слышать ее нежный, молодой голос, следить за переливами стыдливой крови на ее смуглых щеках и ловить робкий взгляд ее темных глаз, которые она изредка подымала от книги. И я думал: «Как мне хорошо здесь при ней... Я останусь здесь... Что же: мне стоит только протянуть ей руку — и я спасу ее сразу,

искуплю грех моей матери против нее...» Я чувствовал, что становился великодушен и нежен.

Одним утром, когда я только встал, вдруг отворилась тихо дверь и на пороге робко остановилась Аннушка. Она не смотрела на меня, но я чувствовал, что в глазах ее стояли слезы... А мне почему-то было приятно, что она сама вошла ко мне.

— Что, Аннушка? — спросил я.

— Я к вам,— стала она говорить так тихо, что едва можно было ее расслышать.— Я пришла... просить вас, Петр Григорьич... Отпустите меня... на волю... Прошу, ради господа... Я и барыню просила... Да не пустила, говорит, умру — тогда... Пустите... Я ведь не для себя... в монастырь уйду... Только на родину схожу... Ежели не верите, я клятвенно перед образом побожусь... Ежели я обману, что для себя это я, по этапу тогда меня вытребуете... Да ведь я и не нужна вам, Петр Григорьич... Для мамаши была нужна... А для вас я к чему годна?.. Петр Григорьич, бог вам воздаст за меня сторицею, потому что не для себя я... Я вот только на родину схожу... Отпустите,— тихо прошептала она,— ради мамаши, ради памяти...

Я, понятно, был изумлен и смущен.

— Что с тобой, Аннушка?.. Зачем это ты... хочешь похоронить себя в таких молодых годах? — заговорил я.— Ведь ты уж и так... ведь мать моя тебя и без того держала, как в монастыре... Она молодость твою загубила... Нет, нет!.. Это ты хочешь меня наказать... Ты хочешь, чтобы я тебя вконец загубил... Проси, что хочешь... другое... я готов... Вот я останусь здесь... Я постараюсь устроить твою жизнь... Выпишу сюда твоих стариков... Может быть, ты полюбишь... кого-нибудь... Будешь счастлива...

И вдруг Аннушка покачнулась, как былинка от ветра, и упала мне в ноги.

— Петр Григорьич, не погубите,— шептала она глухо, сквозь слезы.— Отпустите... Тоска мне... Ради памяти маменьки... Я не для баловства... Клятвенно говорю вам... Ежели что — по этапу...

— Хорошо, хорошо,— быстро сказал я, испугавшись, что она будет продолжать какие-то страшные слова.

Она вышла. А я почувствовал, как у меня заныло сердце... да и так и засело вот что-то с тех пор в дворянской подоплеке... И свербит...

Ополченец замолчал и взялся за трубку. Матушка, как мы заметили, была взволнована, но долго молчала, прежде чем спросила его:

— И она ушла? И вы с тех пор не видали ее больше?

— Нет, не видал... Но справлялся, расспрашивал... Говорили, что с нее взять? Известно, чудная была — такой и осталась. Слышно, живет, что птица, что божия птаха. Летает с места на место: то там объявится, то здесь. Где облюбует местечко в деревне, совьет гнездышко — поживет, а там опять вспорхнула и полетела... Вообще я заметил, что когда рассказывали о ней наши дворовые, то старались теперь говорить как-то нежнее, любовнее... Рассказывали, что она часто ходит по городам, по богатым, собирает деньги на что-то. На что — наши не знали, но были уверены, «что деньги эти ни к чему ей, как на божье дело... Потому что старики у нее умерли, совсем одиночка, как перекати-поле...» Однажды, когда я уезжал, говорили, что Аннушка заходила к нам, просила мне поклон передать и чтоб я не думал, что она меня обманула: что она в монастыре была недолго, только ей не показалось там, что если она теперь и живет на миру, на народе, то все равно что черничка, что ей самой ничего не нужно... Просила слезно меня в этом уверить... Что она давно думала побывать у нас, что тосковала очень, да и то думала, что вот я такой добрый — вольную ей дал, а она будет людям, с которыми свой девичий век изжила, глаза мозолить своей вольностью... Грех, слышь, это... А что она меня очень помнит и часто молится за меня, чтобы бог открыл мне сердце... К чему она это говорила — не знают; многое она говорила, что птица щебечет... Ночевала ночку, а там и опять улетела... «Что ж,— заметил мой старый дворецкий,— от нее ведь вреда нету, Петр Григорьич, а больше как бы утешение простому народу... Я так думаю...» — «И я то же думаю, Прохор Петрович»,— сказал я... Ну, вот и все, что я о ней знал, и никогда ее не видал уже... Но это, впрочем, не значит, чтоб я мог ее забыть!.. Гм... Это не так легко, пожалуй, как дать «вольную»... Да, знаете ли,— приба-

вил ополченец и тихо засмеялся,— ведь я вот часто во сне летал за этой «божьей птахой»?.. Да, дворянская фантазия разыгрывалась: то будто я ввожу ее в московский свет и мы кружимся с нею в вальсе... И все на нас смотрят... То будто она Жанна д'Арк (а я знаю, она должна была про нее читать с матушкой), а я будто рыцарь Лионель[1], стою перед нею на коленях на поле битвы (ополченец засмеялся уже громким смехом)... Да, а вот как она теперь, в действительности-то, мы это не знаем, и фантазии у нас на это не хватит...

Ополченец окончательно задумчиво замолчал, пуская густые клубы дыма, и как-то особенно выразительно и долго смотрел тогда на мою черноглазую сестренку. А матушка встала, подошла к окну и долго смотрела куда-то в неведомую даль полными слез глазами. Мы с сестренкой совсем присмирели и тоже почему-то загрустили.

Нам всегда как-то становилось грустно и жутко, когда матушка впадала в это мечтательно-грустное настроение. Нам все думалось тогда, что вдруг мама уйдет от нас. Если вы припомните, что матушка наша тоже была «мечтательница» и когда-то в девушках «бежала», накануне свадьбы своей, с одною молодою черничкой к «святым местам», то будет понятно впечатление, какое произвел на всех нас рассказ нашего ополченца, хотя, повторяю, в то время мы понимали в нем далеко не все. Перед нами носился только в смутном очертании какой-то очень милый и грустный образ маленькой черноглазой девушки, с большой черной косой и смуглыми щеками, которую похитила от ее папы и мамы какая-то злая волшебница, и с тех пор она дни и ночи принуждена была читать у кровати больной и капризной барыни. Потом, когда барыня умерла, ее выпустили из клетки, и вот она, как вольная пташка, думалось нам, летает теперь по таким же деревенькам, в какой жил наш «маленький дедушка»

. . . .

В какой последовательности случилось все это, скоро или долго спустя,— не знаю, но хорошо помню, как однажды, когда мы с матушкой по обыкновению приехали

летом гостить в село к нашему «маленькому дедушке», матушка нам сказала, что наутро мы поедем в лес, «в пустынь», прибавила она, чтобы, вероятно, яснее определить цель нашей поездки. Матушка нередко предпринимала с нами такие поездки по монастырям, скитам и «пустыням», вечно ища ответов на беспокойные, неудовлетворенные запросы своей души. А мне и сестренке, среди скудости впечатлений нашей глухой провинциальной жизни, такие поездки были истинными светлыми праздниками и чрезвычайно нам нравились: ведь столько было вечно живой и светлой поэзии в сочной, яркой зелени лесов, через которые приходилось нам проезжать, и в мягком, ласкающем воздухе тихих больших рек, переправляясь через которые на утлых паромах переживаешь так много разнообразных ощущений! Впрочем, эти поездки для нас с матушкой редко проходили безнаказанно. Прежде всего недолюбливал их и сам батюшка, скорее просто из зависти, так как ему приходилось в одиночку тянуть свою крепостную чиновничью лямку, оставаясь на целую неделю с одной кривой Акулиной; главным же врагом этих наших романтических поездок была бабка, которая приходила от них всякий раз в негодование, обзывая матушку и «полоумной» и «транжиркой», которая совсем расточит все хозяйство и пустит мужа по миру. Матушка обыкновенно на все это вздыхала, жаловалась на свою мученическую жизнь, проливала потоки слез и тем не менее в конце концов всегда делала по-своему: неожиданно подъезжала подвода, и мы уезжали. Так было и теперь. Бабка весь вечер ворчала, и в особенности доставалось от нее какой-то «шатущей бабенке», которая неизвестно откуда еще с утра забралась к матушке и все о чем-то с ней шепталась: очевидно, она и была главной «смутьянкой» и виновницей нашей поездки. К ночи бабка совсем расходилась и окончательно запретила дедушке давать нам лошадь — «шататься невесть по каким местам, незнаемо зачем!». Дедушка покряхтел и усиленно понюхал табаку, матушка горько поплакалась на свою судьбу, но когда только что чуть-чуть начало рассветать, матушка разбудила нас, наскоро и тихомолком собрала и велела выходить к задворкам. Скоро подъехала лошадь, которою правила «шату-

щая бабенка», а дедушка наскоро затискивал в роспуски два наполненных чем-то мешка. Мы «духом» уселись, перекрестились и торопливо по росе тронулись в путь, сопровождаемые успокоительными знаками нашего «маленького дедушки».

Ехали мы, помнится мне, очень долго, все больше забираясь в самую лесную глушь. Помнится, нам с сестренкой уже становилось жутко в узкой просеке, между высокими, нескончаемыми стенами вековечных сосен, цеплявшихся за нас старыми, мшистыми ветвями. При каждом шорохе, раздававшемся в лесу, мы боязливо бросались и прижимались к матушке. «Э, малыши, что боитесь? Нечего бояться,— и здесь божьи люди живут. А где люди живут, там и Христос живет. Чего бояться?» — утешала нас «шатущая бабенка», заменявшая нам теперь кучера. Действительно, скоро и как-то совсем неожиданно вдруг в лесной прогалине, на зеленом отлогом спуске к заросшей камышом речке, высыпала перед нами небольшая деревенька. «Здесь?..» — спросила матушка. «Здесь, здесь,— отвечала почему-то шепотом баба и тотчас же свернула с дороги и поехала задами.— Вот сейчас тут и изба моя... И *она* у меня... Я ведь бобылка, с дочкой только живу, убогая у меня дочка — глухонемая с рождения... Так и жили вдвоем, а вот как *она* поселилась у нас, ровно просветлело все, народ около нас стал ютиться; старички, странники заходят всякие, безродные, больные которые... Так будто друг другом и держимся, и веселее, и в бога-то батюшку будто больше веруешь... Ведь нам, милая, на кого надеяться? Никто к нам, милая, не снизойдет... А ежели господь и пошлет к тебе добрую душу с утешением, то и то оберегаешься, все тихомолком».

Лошадь остановилась на задворках двойной старинной избы. Баба торопливо вскинула себе на спину мешки и, шепотом пригласив нас за собой, повела под темный навес двора.

— Вот сюда, сюда входите,— говорила баба все более и более таинственным шепотом.

И этот странный шепот, и напряженные впечатления дремучего леса, и вообще вся таинственность нашей поездки — все это так и запечатлелось в нашей душе в смутных образах тех же пугающих теней, какие тревожили

наше детское воображение в избе нашего «маленького дедушки».

Мне припоминается большая темная изба, освещенная бледноватым светом спускающихся сумерек. Вдоль стены, где должна быть печь, висел полог; за ним была постель. На постели лежало что-то длинное и худое, чего мы не могли еще разобрать, но от чего из-за полога распространялся по избе тяжелый, смердящий запах трупа. Близ полога у изголовья сидела маленькая, худая, смуглая женщина, с большими темными глазами, повязанная черным, с белыми горошинами, платком; рядом с ней по лавкам сидели какие-то девушки в синих сарафанах, старухи, два-три старика. Привезшая нас баба ходила хлопотливо по избе и продолжала со всеми говорить шепотом.

Но мы напряженно и с каким-то неопределенным страхом смотрели на смердящий полог и сидящую близ него женщину, в руках у которой была книга.

— Мама! Это — Аннушка? — вдруг спросила моя сестренка.— А тут... за пологом... тут старая барыня умирает?..

Маленькая женщина удивленно посмотрела на нас своими темными глазами и, казалось, хотела подойти к нам. Но в это время полог раздвинулся чьими-то длинными и сухими, как тонкие палки, руками, и на кровати поднялась жидкая и сухая фигура темнокоричневого цвета, едва прикрытая синей изгребной рубахой. Это был мальчик лет 15—16, с изъеденным оспой лицом и белыми испорченными оспой же глазами, блестевшими каким-то странным, восторженным и лихорадочным взглядом.

Он вдруг закивал нам черной кудрявой головой, выразительно улыбаясь сверкающими белыми глазами, и сказал, показывая на сидевшую около него женщину:

— Вы к ней?.. Я знаю, что к ней... Послушайте... Да, да, послушайте ее! Ничего... Она ведь для всех рассказывает, у кого к тому желанье есть...

И мальчик, радостно улыбнувшись, опять лег навзничь, устремив в потолок свои сверкающие глаза.

— Это вот тот самый паренек... суседского мужичка,— говорила шепотом матушке хозяйка-бобылка.— Смердит, поди? Да, да... Точно, ежели с непривычки... Вот мы притерпелись — ничего... Что делать?.. Божье

дело... Вот уж седьмой годок, как у отца все на печи лежал... Был прежде паренек справный, годков до девяти,— отцу уж помогал... А тут ехал как-то из ночного, лошадь сшибла — упал, да с того и прикинулось: хуже да хуже... Да вот седьмой годок с одра не сходил,— ни тебе солнышка, ни тебе людей, ни травку, ни скотинку — ничего не видывал... Так и лежал один в избе... Все на работу уйдут, у всех заботы, где им заняться: и лежит один-одинешенек да в темный угол смотрит...

Маленькая женщина с добрыми темными глазами поднялась и, подойдя ко мне с сестрой, стала гладить нас по волосам.

— Хорошо, что приехали... Хорошо,— заговорила она чистым, звонким, певучим голосом.— Посмотрите, как живут здесь бедные-то... Доброе дело, сударыня, что с собой их берете... Как знать, что им вперед уготовано... Может, придет время — вдруг сердце им и откроется... И вспомнится им обо всем, что видели да слышали... Я ведь по себе знаю... Вон какая востроглазая!.. Я вот такая же была,— говорила она, любовно и весело смотря на мою сестренку.— Вырастешь — не забудь меня...

Вдруг худой мальчик опять поднялся на кровати, замахал нам руками и головой и заговорил:

— Семь лет... не видал божьего солнышка... теплого ветерка не чуял... птичьего гласа не слыхивал... цветочков, травушки зеленой не видывал... Одна тьма вокруг стояла,— говорил мальчик, порывисто, задыхаясь, нервно и торопливо.— А теперь... теперь все вижу и знаю!.. Теперь *она* мне солнышко красное, месяц светлый, звезды яркие... Теперь я везде — моря-океаны переплыву, жаркие и холодные страны пройду... Вот Авраам, патриарх, странствует в шатрах своих, со стадами... Вот Моисей пророк народ свой избранный изводит из плена фараонова... Вот младой юноша царь Давид... И сам Христос на Голгофе... И великие мученики, за нас, бедных, кровь пролившие... И что я вижу: времена и пространства... и несметное полчище людей проходит... И были для всех времена тяжкие, изживали казни лютые... И все проходило!.. Нарождались мужи великие, приходили к бедному народу, провещали могучие глаголы — и погибала неправда великая!.. Что я теперь вижу, слепец прозревший!..

В испуге смотрели мы, не спуская глаз, на мальчика: он весь был как в лихорадке, коричневое лицо его передергивалось все, он постоянно поднимал кверху руки и восторженно сиявшие глаза.

— Петя, ляг... Ляг, болезный, умирись... Нехорошо тебе так... Вот поправишься, окрепнешь... Вот тогда уж...— говорила маленькая женщина, заботливо укладывая мальчика.

— Беспокоится очень,— говорила бобылка,— того гляди, не выживет... Оченно уж его все сразу осветило... А паренек-то добрый, до всего чуткий...

— Почитай им!.. Расскажи им!..— вдруг тихо сказал мальчик маленькой женщине.— Пусть послушают...

И когда мальчик несколько успокоился, маленькая женщина начала рассказывать...

Но утомленные ли дорогой, или всеми этими странными, напряженными и необычными впечатлениями, мы с сестренкой, прикорнув в противоположном углу, скоро заснули под певучий, размеренный рассказ маленькой женщины, и для нас все смешалось с миром фантастических сновидений и потонуло в них.

. . . .

И чудится мне опять старая дедушкина изба, зимний морозный вечер и таинственные блуждающие тени, которые одна за другой собираются робко «обогреться» в гостеприимной дедушкиной храмине. Вот тут и мрачный дворовый человек Александр, и костистый мужичок Филимон, и сам мой «маленький дедушка», и его приятельница слепая Фимушка, и моя мечтательная матушка, и батюшка с ополченцем, и еще какие-то «маленькие и ничтожные существования», и бобылка, у которой мы были в лесу, и худой убогий Петя с восторженными белыми глазами, и сама Аннушка, и будто она все говорит и говорит долго-долго своим певучим, размеренным складом. Говорит она о великих пророках и ходатаях народных, о подвижниках и мучениках за правду и обо всем, что сохранила ей память... Часто в ее рассказах правда перепутывалась с вымыслом, перепутывались события, но одно только горело в них непреходящим светом — правда любви, самоотречения и подвига за униженных и обремененных.

И вот, когда она рассказывает что-то из событий, близких к нашему времени, чудится мне, как мрачный Александр поднимается и, сверкая своими пронизывающими глазами, говорит:

«Стой, женщина, останови лукавые уста!.. Кого хочешь обольстить речами сладкими? Зачем обманом хочешь напоить душу, дабы потом ввергнуть ее в пасть отчаяния?.. Зачем?..»

— Александр, не отчаивайся!.. Верь,— говорит дедушка, но Александр продолжает сверкать своими острыми глазами на Аннушку.

— Верь!.. Чему верить?.. Нет теперь защитников бедных и сирых, нет подвижников правды!.. То были древние люди,— и не посылает господь более к людям спасителей... Все померкло во мраке греха и суеты!.. Рабу презренному нет надежды, кроме петли Иуды!.. И вот конец ему, Агасферу треклятому... Отец! — вдруг с какой-то дикой мольбой, чудится мне, обращается он к моему деду.— Отец, скажи, укрепи: неужели не ложь говорит устами обольстительными этой женщины?.. Неужели и в наши дни господь может говорить через избранных — в защиту сирых и бедных, в поношение и обличение мира зла и неправды?.. Отец!.. Спаси — или... один конец ему, Агасферу треклятому!..

— Александр, не отчаивайся... Слушай эту женщину, и сердце твое откроется кроткой вере, и мир, и радость, и надежду обретет душа твоя...

— Говори, умница, рассказывай, рассказывай нам, слепым и темным! — говорит вдруг и костистый мужичок.— Верно это: быть правде, быть!.. Стучись, умница, стучись — и вскроется правда!..

КАНУН «ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА»

Когда мы с батюшкой и матушкой вернулись от дедушки, из села, в свой «старый дом», мы скоро почувствовали, что весь наш прежний жизненный обиход быстро стал изменяться. Батюшку нельзя было узнать: он стал веселее и бодрее, но вместе с тем серьезнее и озабоченнее. «Наш ополченец» совсем переселился в город и стал бывать у нас чуть не каждый день. Но для нас, детей, и он стал уже далеко не прежним. Прежних вечеров, с длинными благодушными и неторопливыми беседами, с покуриванием «Жукова» в длинные чубуки, уже не повторялось больше,— не стало больше ни севастопольских рассказов, ни «Живописного обозрения», ни вырезывания коньков. Батюшка теперь уже не нянчил больных сестренок, ходя в халате и валенках вдоль зальца, а ополченец нас не занимал и не замечал, казалось. Но мы теперь не огорчались на это; напротив, мы стали смотреть на батюшку и ополченца, отчасти с каким-то тайным страхом, отчасти с благоговением, тем более, вероятно, что нас постоянно гоняли теперь из зальца, куда стали приходить какие-то незнакомые, но важные лица, а батюшка с ополченцем теперь что-то долго по вечерам читали, писали, о чем-то говорили, часто шепотом, наглухо запершись в «кабинете». И вот этот маленький, жалкий, вечно холодный «кабинет» и наше зальце, с дырявыми и покосившимися полами, вдруг стали для нас вместилищем чего-то

таинственного, но важного и серьезного. В особенности такое впечатление укрепилось в нас после того, как это зальце и батюшкин кабинет оклеили новыми обоями, перебрали в них пол и поправили рамы, поставили новые стулья и обили новою материей старый наш диван. После этого «важные гости», как называла их Акулина, стали нас навещать еще чаще (это были большею частью помещики и чиновники, всегда только мужчины), а мы с матушкой еще укромнее забирались в спальню и детскую, и только благодаря детскому любопытству мы с сестренкой знакомились с происходившим в нашем зальце через замочные скважины или полуотворенные двери, а иногда батюшка, когда гости расходились, приходил к нам, веселый и оживленный, брал нас на колени, гладил ласково по головам и что-то весело передавал матушке. Матушка грустно улыбалась ему, и часто крестила его, и говорила:

— Ты, Саша, будь поосмотрительнее... Поосторожнее... Боюсь я.

— Да чего ты боишься? — спрашивал, улыбаясь, батюшка.

— Я не знаю... так... сердце болит. Вот зачем к тебе стал ходить этот рыжий попов сын?.. Дедушка говорил, нехороший он человек, и весь род их жадный да вероломный.

— Пустяки, голубушка!.. Это вы, женщины, всегда так... всего боитесь. И меня только смущаешь... А теперь не такое время: ты меня должна поддерживать... А ты вот заберешься в детскую, ну тебе и кажутся всякие страхи... Ты бы вот когда-нибудь к гостям вышла... Что ж, мы не люди, что ли?.. Вот другие — настоящие дамы! А у нас закуску ли подать, или чай — все Акулина.

— Ну, ты уж знаешь, что мы всегда были не так, как другие,— отвечала матушка.

— Ну, отчего же так?.. Чем же мы хуже других?.. Ты вот увидишь... куда мы взлетим!

И батюшка весело и добродушно смеялся и подхватывал сестренку подмышки и поднимал к потолку. Нам и самим всем после того становилось весело. Только матушка грустно улыбалась на нас, а когда батюшка уходил, она становилась на колени перед образом и долго молилась...

Тогда нам опять делалось чего-то боязно и жутко, и мы тихонько выбирались на кухню к Акулине.

Но и кухня и сама Акулина теперь тоже были не прежние. С тех пор, как матушка сшила Акулине новый сарафан и яркорозовые рукава и ее заставили подавать гостям чай и закуски, она преисполнилась какой-то особой важности: начала говорить шепотом, с растяжкой и стала нам читать даже нравоучение, как нужно вести себя «господам», когда к ним «важные гости» приезжают. Мы весело смеялись на это, но тем не менее Акулина все больше укреплялась в своей новой роли. И это имело, как оказалось, свои основания и последствия, получившие и для нас особый интерес. Едва только Акулина почуяла, что с нашим «тятенькой» совершилось что-то «важное», как она в скором времени, на первом же базаре, поставила в известность (конечно, шепотом и под большим секретом) об этой «важности» всех своих деревенских родных и знакомых. Что и как она им передавала — это трудно сказать, но только случилось так, что в то время, когда все чаще и чаще стали наполнять наше зальце «важные гости», в кухню к Акулине, робко и крадучись, стали все чаще заходить «неважные гости», к великому нашему детскому удовольствию. И вот наша «старая» закопченная кухня, так похожая на деревенскую избу, вдруг оживилась, заговорила с нами ласковыми и нежными голосами, как будто к нам сюда, в город, переселилась дедушкина деревня, ездить в которую для нас было всегда таким великим удовольствием.

Но теперь эта «деревня», которая собиралась в кухне Акулины, была до того робкая и смирная, что нас самих невольно охватывала какая-то необъяснимая робость и, странно, постоянная боязнь, что вот не сегодня-завтра вдруг совершится над этою робкою деревней и над всеми нами, вместе с нею, что-то ужасное, как приговор над пойманными и внезапно уличенными в чем-то преступниками. «Неважные гости» нашей кривой Акулины все являлись больше то в виде богомолок, то каких-то странников и странниц. Завидев нас в кухне, они сначала приходили в недоумение и как будто боялись нас и начинали рассказывать о монастырях и других святых местах, но потом скоро осваивались, гладили нас по головам, угощали нас

деревенскими лепешками и начинали шепотом разговаривать между собою, причем оказывалось, что та или другая были солдатки, у которых «неправдой забрили» мужей или сыновей, то какие-то «беглые», которые из своей деревни «ушли уходом», потихоньку, «не спросясь», и теперь плакали, вздыхали и говорили, что не знают, «что с ними будет, если их взыщутся...» Все рассказы этих бедных и робких людей были какие-то томительные, тоскливые, медлительные и шепотливые... А потом мы стали замечать, как тот или другой из этих «неважных гостей» вдруг незаметно выскальзывал за дверь, в сени, или уходил на двор, за избу, и здесь долго шептался с Акулиной и что-то передавал ей то из сурового мешка, то из-за пазухи, потом, вместе с Акулиной, крестились, что-то внушительно кивали головой друг другу, и, как ничего не бывало, «гость» затем возвращался в кухню и начинал молча вздыхать и рассказывать о святых местах.

Но так было только вначале; скоро стали являться к Акулине гости другого разбора, уже не такие смиренные и робкие: то были большею частью высокие бородатые мужики в толстых нагольных шубах, в больших валенках, в огромных меховых шапках и кожаных голицах. Приезжали они всегда поздно к вечеру, никогда ничего с нами не говорили и в нашей кухне ночевать не оставались; поговорив о чем-то короткими фразами с Акулиной, они сейчас же уходили опять, но за ними тотчас же скрывалась и Акулина. Иногда при этом она нам говорила:

— Неравно, спаси бог, хватится мамынька, скажите: к землякам, мол, побежала, одною минутой обернется...

Вообще значение Акулины в наших глазах вырастало с каждым часом, и мы теперь уже не только не смеялись ей в глаза, когда она читала нам нравоучение, а начинали на нее смотреть с таким же почти страхом и почтением, как и на «важных гостей», сидевших в нашем зальце. А Акулина забирала все выше и выше: она уже секретно шепталась о каких-то важных делах не только с своими деревенскими гостями, но и с самим батюшкой. Мы стали замечать, что она часто вызывала батюшку в прихожую (говорить о своих «важных делах» в «чистых» комнатах она не решалась), передавала ему завернутые в платок какие-то бумаги и долго о чем-то ему внушительно сооб-

щала. Батюшка обыкновенно над нею подсмеивался, но тем не менее бумаги брал и прочитывал их вместе с ополченцем. А Акулина, покончив с батюшкой, тоже украдкой, где-нибудь в углу за печкой, передавала матушке какие-то сверточки, мешочки то с маслом, то с поросенком или курицей.

— Бери, бери! — уговаривала она матушку.— Это тебе деревенский гостинец.

— Да откуда у тебя, Акулина, нынче столько гостинцев этих появилось? — спрашивала матушка.

— А ты бери — не брезгуй... Дают, так и бери... Другие-то еще то ли берут... силком дерут!

Вот какое было это «доброе старое время», когда даже Акулина брала безгрешные приношения!

Но когда матушка спрашивала ее, о чем это она с батюшкой шепчется и какие у нее с ним дела повелись, Акулина обыкновенно отвечала:

— А вы, барыня, молитесь знай укромно... Не нашей сестры это дело... Большие это дела!.. Куда нам их знать!

А в действительности Акулина знала, как нам казалось, очень многое и куда больше, чем знала матушка. Однажды вечером вошла Акулина к матушке в спальню и по обыкновению стала ей что-то шептать.

— Да откуда ты все это знаешь, Акулина? — спрашивала матушка.

— Э, сударыня, как свои дела не знать!.. Кровные свои ведь эти дела-то. Уж вы меня, Настасья Ивановна, пустите завтречка... Я и печку чем свет вам истоплю... Мне ведь только за заставу проводить *их*, сердечных, да попечаловаться... Хошь и далекие они нам, а все как будто свои, близкие... Жалко...— И Акулина кончиком головного платка чуть приметно утирала слезы.

— Что ж, ступай.

— В кандалах, слышно, гонят, в железных цепях.

— Спаси их господи! — перекрестилась матушка.

Мы с сестренкой давно уже насторожили все свое внимание, но плохо понимали, в чем дело, и между тем у нас отчего-то уже щемило сердце.

Странное впечатление вообще производило то время на нашу детскую душу: совершавшиеся большие события стояли, конечно, выше нашего понимания, а между тем

какая-то жуткая напряженность и таинственность, сказывавшиеся в самых даже простых явлениях, нас окружавших, мучительно трогали наше сердце и заставляли его постоянно быть настороже, чутко ловить каждый неясный звук и жизненный отклик.

— Да не напечь ли бы нам, сударыня,— продолжала опять шепотом Акулина,— пирожков, так, сочешков бы с кашей?.. Как бы хорошо-то было!.. Что говорить, дорога дальняя... Погонят их, слышно, до самой китайской земли... А у нас и мука-то есть залишняя, что даве из деревни-то в гостинец прислали...

— Ну что ж, это хорошо будет, Акулина,— вздохнув, сказала матушка.— Господи, сколько греха, сколько греха в жизни! — мечтательно воскликнула она и по обыкновению долго-долго задумчиво смотрела на образ.

Все это еще больше затрагивало наше детское воображение, но ни от Акулины, ни от матушки мы не получили никаких разъяснений. Поэтому все следующее утро мы с сестрой тщательно следили за каждым шагом Акулины и почти не выходили из кухни, смотря, как она делала загадочные пироги и сочни. А потом, когда она, собрав их в мешок, пошла куда-то, мы незаметно скользнули за нею. Она подошла к большой улице, к той общеизвестной в то время «Владимирке», которая проходила через наш город. Она долго, стоя посередине улицы и держа под рукой мешок, всматривалась вдаль и ждала чего-то. И вот скоро мы увидали большую толпу, послышался лязг цепей, чьи-то завывания и плач... Мы не могли осилить долго назревавших уже раньше и теперь сразу нахлынувших впечатлений, нам стало так чего-то страшно, что, схватившись за руки, мы, дрожа, бросились бежать, как когда-то бежали от «темницы» Фимушки, услыхав ее полубезумные выкрики. А это был этап переселяемых по власти рабовладельца в Сибирь взбунтовавшихся крестьян, но уже последний этап, последний акт великой несправедливости того времени...

Но это мы уже узнали после, а пока... пока наше детское сердце жило тоскливыми впечатлениями какой-то неотвратимой двойственности, в которой мы вместе с матушкой бились, как птицы в клетке. Там, у батюшки,— «важные гости», возбуждавшие и в матушке, и в нас, да,

пожалуй, и в самом батюшке, какие-то неясные страхи, неопределенную боязнь за что-то и неуверенность; здесь, в кухне Акулины,— другие «неважные гости», приносившие с собой к нам что-то дорогое, заветное, которым они хотели бы искренно и сердечно поделиться с нами, излить все это, накопившееся в их душе, и в то же время все они говорили только намеками, шепотом, по углам и боязливо, дрожа за каждое слово, за каждый лишний вздох... Ощущение этой двойственности в моем детстве было так велико, что оно наложило на мою душу неизгладимую печать на всю жизнь, и продолжала биться эта душа долгие годы все тою же птицей в клетке, ища у жизни выхода из жестоких тисков этой двойственности, которая терзает нашу бедную русскую жизнь... Когда же, наконец, заря истинной свободы снимет с нас ее позорные путы?..

Между тем время шло быстро, или так казалось нам, потому что мы все чего-то ждали, хотя наша жизнь и теперь уже далеко не была похожа на прежнюю. «Важные гости» прибывали в наше зальце все больше и больше, все были важнее и важнее, вместе с этим улучшалось и наше материальное положение; мы чувствовали, что значение батюшки все возрастало, говорили, что у него «талант», что никто так хорошо не умеет писать бумаг, как он, что «он теперь — птица», как сказал матушке о нем рыжий попов сын, служивший вместе с батюшкой, и при этом облизнул языком губы, как облизывается жадная и завистливая собака при виде жирного куска.

С возрастанием «важных гостей» в нашем зальце возрастали в свою очередь и «неважные гости» Акулины, и, казалось, вместе с значением батюшки росло и значение Акулины. Теперь она уже не довольствовалась ролью только посредницы, она начала прямо «доводить» своих «неважных гостей» до батюшки и ополченца, и они уже теперь сами осмеливались переступать порог того самого зальца, которое посещали такие «важные гости». Мы с удивлением, а матушка с обычною тайною боязнью следили за такими необыкновенными в той нашей жизни событиями и напряженно ожидали, чем все это кончится, когда однажды вечером вдруг вместе с новыми «неваж-

ными гостями» в нашу кухню явились наш «маленький дедушка» и Фимушка. Это было в конце ноября, в самую морозную зиму. Приехали они все покрытые снегом, заиндевелые, до того закутанные в нагольные бараньи шубы и увязанные платками, что сразу трудно было дедушку отличить от Фимушки, несмотря даже на его меховую ушастую шапку. Дедушка обыкновенно навещал нас очень редко (село его отстояло от города больше чем на сто верст), а потому такое внезапное появление его было для нас большою неожиданностью, да притом вместе с Фимушкой и еще каким-то, тоже маленьким и худеньким, шестипалым мужичком, который назвался их извозчиком. Батюшка с матушкой удивлялись, спрашивали дедушку, какими судьбами надумал он к нам приехать, не случилось ли чего-нибудь, но дедушка только шутил, смеялся, ничего особенного не говорил, а все больше забавлялся с нами, ребятами.

— Вот и мы к вам, Коляка, забрались! Думаешь, уж мы и не доедем до вас!.. А мы и тут, как снег на голову, с Фимушкой!.. Хе-хе-хе!.. Ну как, Коляка, живете?

— Хорошо,— говорим,— весело. У нас теперь все гости...

— Слышали, слышали...

И мы тотчас же поставили дедушку в известность о всех превращениях нашей жизни, даже до таких подробностей, что батюшка, например, купил себе черную шляпу цилиндр, а матушке подарил «дамскую шляпку».

Дедушка от всего приходил в изумление, в то же время покрякивал и часто понюхивал из своей берестяной табакерки. Мы заметили, что и дедушка был в озабоченном и деловитом настроении, как и все, хотя и шутил с нами, казалось, попрежнему. Несмотря на просьбы батюшки ночевать в «кабинете», дедушка настойчиво отказался и поместился в кухне. «Ты меня, Саша, оставь,— говорил он отцу,— лучше мне здесь, среди своих... А там у тебя теперь все такое важное... И не уснуть мне!.. А вот днем-то я из-за двери послушаю тихомолком да посмотрю на вас». Батюшка обижался, хотел дедушку во что бы то ни стало представить своим гостям, но дедушка ужасно смущался, присаживался только на минуту где-нибудь в уголке зальца и затем незаметно скрывался опять за дверь. Но

из-за двери он, казалось, прислушивался внимательно и чутко ко всему, что происходило в зальце среди «важных гостей». А когда батюшка, веселый и довольный, после ухода гостей говорил об успехе «их дела» и своих личных преуспеяниях, дедушка по обыкновению только покрякивал подозрительно и говорил: «Ну, ну, дай бог, дай бог!.. Пора!..» А днем он все сидел либо у матушки, либо в кухне и о чем-то говорил с «неважными гостями»; я один раз даже застал его, когда он потихоньку, как мне показалось, что-то писал за печкой, надев большие медные очки, крупным полууставным почерком, а около него сидел привезший его шестипалый мужичок и что-то, кажется, диктовал ему. Но когда пришел со службы батюшка, дедушка наскоро все бумаги спрятал и ничего ему не сказал.

Прошло несколько дней, и мы стали замечать, что дедушка становился озабоченнее, даже как-то смотрел на все подозрительнее и шутить стал меньше; говорил с нами мало, разве только зайдет к матушке, которая очень обрадовалась Фимушке и вела с ней длинные разговоры на любимую свою тему — о «святых женах-мученицах». Наконец, как-то вечером дедушка сказал, что уже пора им и ехать и что завтра он будет собираться, как неожиданно произошло важное обстоятельство. Наутро батюшка вернулся со службы очень рано, весь сияющий, веселый, и сообщил, что его назначили на очень важное место и что вместе с тем из Петербурга пришли «крайне серьезные вести», что теперь «их дело» окончательно восторжествует. Батюшка был рад несказанно: целовал матушку, нас и даже дедушку. Затем сказал, что к нему завтра соберутся все «важные гости», что Акулине одной не справиться и что надо подыскать ей на подмогу повара, и затем уехал делать закупки. Дедушку он окончательно отговорил уезжать, пока он не отпразднует этот «дорогой день», как он называл. Дедушка остался.

Мы, ребята, ожидали завтрашний день с каким-то трепетом и волнением, и, что всего было удивительнее, с неменьшим волнением ожидал его и дедушка. Про матушку и говорить нечего: она с Фимушкой весь вечер этот промолилась. Фимушка даже молитву особую придумала — «об укреплении в духе болярина Александра».

На другой день у нас с утра в доме начались хлопоты. На помощь Акулине пришел какой-то безусый поваренок, который «всячески помыкал ею», как она говорила, «а и всего-то в нем звания, что белый колпак надел!..»

Гости, по-провинциальному, стали собираться рано, «к закуске». Всех раньше приехал ополченец. Он был теперь такой же сияющий и веселый, как и батюшка; вспомнил, наконец, и о нас, забрался к нам на матушкину половину, поздравил матушку и стал шутить с нами и даже с дедушкой. Он был так беззаветно весел, что даже дедушкины озабоченность и подозрительность пропали было. Гости собрались уже почти все, как вдруг приехал «самый важный гость»: такой чести для отца никто не мог ожидать. Наш праздник принимал характер важного события. Батюшка, взволнованный, прибежал на нашу половину и приказал нам надеть самое лучшее платье. Затем нас с сестрой (матушка считалась попрежнему больной и выходить отказывалась) повели в зальце и представили «самому важному гостю», который подставил нам для поцелуя тщательно выбритую и обсыпанную душистою пудрой щеку. Был представлен, почти насильно, батюшкой и дедушка, который совсем смутился от этой чести и не знал, куда девать себя. А между тем я заметил, что дедушку охватило такое же волнение, как это было в день нашего отъезда из деревни. Он стоял в самом углу, у порога, как будто ничего не видя, смотрел на гостей, вздрагивал и то и дело искал карман с табакеркой и никак не мог найти. Среди гостей уже шли шумные разговоры. Но вот принесли вина и закуски. Стали выпивать, и начались поздравления. Дедушка весь так и впился глазами, полными страха, в толстого важного гостя, с крестом на груди, и высокого рыжего попова сына, когда они подошли к отцу с поздравлениями. Я стоял рядом с дедушкой, и он ловил все мою руку, как будто хотел опереться. Я взглядывал на него и не понимал, что с ним делается, только чувствовал, как рука его дрожала, как будто его била лихорадка.

Между тем беседа среди гостей стала оживленнее, веселее. Сам важный гость стал шутить и предметом шутки выбрал разряженную нашу Акулину.

— Ну, кривая,— говорил он,— хочешь быть вольной? А?.. Чай, спишь и видишь, поди? А?.. Хе-хе-хе!.. Только

бы, мол, дождаться, а там бы я показала хвост-то, даром что кривая! А?.. Так, что ли?..

— Ась? Чего-то я в толк не возьму, вашескородие,— говорила, кланяясь в пояс, Акулина.— Совсем с пахлей сбилась с хлопотами-то, да вот поваренок меня с ума-понятия совсем сбил...

— А ты зубы-то, кривая, не заговаривай... Говори прямо: как только объявят волю, так сейчас и в бега от хозяев, в деревню? А?..

— Да с чего ж мне тагды бежать-то, сударь, коли вольная буду? — выпалила Акулина и даже осмелилась улыбнуться всем гостям.

— Ишь хитрая!.. Крива, крива, а в оба глаза видит! — смеялся важный гость.

А дедушку все трясла лихорадка. Вот он зачем-то вышел. Потом опять появился в дверях в то время, как подали «донскую шипучку» и все снова стали поздравлять батюшку, жали ему руки, обнимались друг с другом и с чем-то тоже поздравлялись. Вдруг важный гость расчувствовался до того, что обнял батюшку и троекратно облобызал его. Увидев это, рыжий попов сын тоже обнял батюшку и потом бросился обнимать и целовать дедушку. Дедушка затрепетал весь, как осиновый лист, и его охватил невыразимый страх. Но чрез минуту он вдруг выпрямился, его влажные глазки засверкали, он сделал два шага к батюшке и громким, слегка дрожащим голосом, каким он читал в церкви ектении, подняв правую руку, вдруг сказал:

— Александр!.. бога помни... Помни... бо-ога-а!

Все сразу смолкли и стали смотреть в изумлении на дедушку. Батюшка был смущен и не знал, что сказать. Дедушка смотрел все на него, дрожал и силился что-то сказать, но его губы только беззвучно шевелились. И вдруг он заплакал, опустив голову.

— Саша,— заговорил он,— мы бедные... простые... У нас в роду этого... не было... сребреников... али мздоимства... Помни Иуду... Вспомни, Саша, в избе родился... Ах, долго ли до греха! Соблазн-то какой, соблазн-то!.. Почести барские, яства, приношения... Закупят, закупят!

— Да что вы, тятенька, что с вами?.. Какой вы чу-

дак,— заговорил батюшка.— Вот как вы засиделись в деревне-то, вам все в страх да в новинку... Неужели, думаете вы, мы не знаем себя?

Батюшка весело засмеялся, засмеялись за ним и гости, как вдруг из-за двери показалась Фимушка и, помахивая вперед себя подожком, заговорила:

— Дьякон, ты где?.. Слышно, говоришь?.. Учи сына-то, учи... Ты — отец; на тебе спросится там... А ты, Лександра, молись... чтобы духом укрепиться!.. Молись, голубь!.. Ну, прощайте, добрые мои!.. Пора нам... ждут нас.

И Фимушка с дедушкой вышли.

Потрясенный всею этою странною сценой, я чуть не разрыдался и бросился за дедушкой: мне казалось, что его кто-то больно и горько чем-то обидел. Увидав его в комнате матушки утирающим слезы, я бросился к нему на грудь и разразился рыданиями, совершенно непонятными и неожиданными.

Гости скоро разъехались. Батюшка ничего не упоминал об этой сцене, но был сдержан и молчалив с дедушкой. Дедушка тоже был серьезен и молчал. А к вечеру он с Фимушкой уехал.

Все это долго и глубоко волновало мою ребячью душу; я часто видел во сне своего «маленького дедушку», грозно возглашающего что-то, с поднятою кверху, дрожащею рукой, и мне становилось и страшно чего-то и больно за что-то. Но я совсем не понимал значения всего этого, и только уже после, из рассказов отца и матушки, я узнал, что дедушка в этот раз приезжал к нам неспроста: его послала с Фимушкой, в сопровождении шестипалого мужичка, наша родная деревня, так как до нее дошли слухи, что «Лександра запродался господам»... А еще после я узнал о своем «маленьком дедушке» нечто более поразительное.

Спустя месяц он вдруг приехал к нам опять совсем неожиданно, ранним утром. Когда я к обеду вернулся из училища, я заметил какое-то особенно напряженное настроение у нас. Отец и матушка вместе с дедушкой сидели, запершись в кабинете, и о чем-то шептались. Я долго, волнуясь любопытством и предчувствием чего-то необычайного, ходил около двери, надеясь услыхать что-нибудь хотя через щель. Наконец, вышла матушка, вся в слезах,

притворив за собою тихо дверь. Я сейчас же пристал к ней с вопросами, еще более встревоженный ее видом.

— Ничего... Так... Дедушку обидели,— проговорила она, всхлипывая.

— Кто же это его?

— Сам владыка...

— Сам вла-ады-ыка? — переспросил я почти с ужасом.

— Да, за напраслину... Наговорили на дедушку злые люди... Ты, Коленька, вырастешь — паче всего остерегайся злых людей... А ты не стой тут, не беспокой дедушку... Ступай к себе...

Я ушел и увидал дедушку, когда он уже садился в кибитку, собираясь уезжать обратно. Глаза его были красны и слезились, и он постоянно вытирал их кубовым платком. Был он теперь как-то особенно ласков и долго целовал нас, своих внучат.

Вскоре я узнал (вероятно, из рассказа самой матушки), что дедушка был экстренно вызван в город самим владыкой, и, когда он явился к нему, владыка вне себя от гнева велел встать ему перед собой на колени и, топая ногами, всячески ругал и поносил его за «преступное поведение», потом «наложил на него епитимию», приказав класть у него в келье перед образом целый час земные поклоны. В конце концов архиерей отдал приказ сослать деда в монастырь «на покаяние». Плохо еще понимал я суть того, в чем именно он провинился, но мое воображение долго неотступно преследовал образ моего старого доброго «маленького дедушки», поставленного, как школьник, на колени.

Так дорого обошлось дедушке его тайное «ходачество» за деревенский люд. «Не сдобровал-таки»,— как предрекала ему строгая бабка.

Не знаю, спустя сколько времени после того, как уехал от нас дедушка, батюшка однажды вошел к нам в детскую, грустный, озабоченный и усталый. Все это время он с ополченцем работал сильно; часто просиживали они в нашем кабинетике целые ночи. Матушка с беспокойством вглядывалась в его лицо, мы тоже

— Ну, Настя,— сказал батюшка,— завтра... важный день... бог знает что может быть... и для нас и вообще для дела... Страх меня берет...

— Все бог,— сказала матушка.— Зачем унывать?

— Я прежде не думал,— продолжал батюшка,— а теперь вижу... много врагов... Вот и тогда остались недовольны, что папенька так... позволил себе, что зачем вообще около нас простой народ... ну, и прочее... Можно все потерять...

— А ты, Саша, укрепись духом... Вспомни, что папенька говорил.

— Да уж мы решили говорить до конца... всю правду... Будь что будет! — сказал батюшка, поцеловал нас и ушел.

На другое утро батюшка, уже одетый в полную парадную форму, вошел опять к нам и велел меня одеть, сказав, что он возьмет меня с собою. «Пусть это для него будет на память». Когда я оделся, матушка перекрестила нас обоих, и мы вышли. Батюшка шел быстро; я едва поспевал за ним. Мы подошли к большому дому, около которого стояло уже много экипажей, но еще больше их подъезжало. В дверях стоял швейцар с булавой и толпились лакеи: из просторных сеней кверху шла широкая лестница, теперь покрытая зеленым ковром. Мы поднялись вверх: большая зала была переполнена народом. Батюшка посадил меня в уголок около двери, и я в изумлении смотрел, как мимо меня проходили дворяне во фраках, в гусарских венгерках, в военных и дворянских мундирах. Вот пришел ополченец; я заметил, что он был теперь в белых перчатках; он потрепал меня ласково по щеке, улыбнулся как-то таинственно батюшке и прошел вглубь залы. Наконец, посетители мало-помалу расселись по стульям. Разговоры стихли. Началось какое-то чтение. Я узнал голос нашего ополченца. Чем дальше он читал, тем в зале все стихало больше и больше; наконец, наступила мертвая тишина. Батюшка взял меня за руку; я почувствовал, что его рука была холодна и дрожала. Он, облокотившись о косяк двери, не спуская глаз, смотрел на ополченца, читавшего впереди на возвышении, покрытом красным сукном, около стола. Батюшка был бледен. Я тревожно спросил его, о чем это читают. Он тихо сжал мою руку и прошептал мне: «Слу-

шай, это твой отец писал»... Но сколько я ни напрягал внимания, я плохо слышал и понимал, только мне представлялось почему-то, что ополченец теперь был именно таким, как я привык его видеть на наших прежних семейных праздниках, и я был уверен, что он и говорил то же, что тогда, и теми же словами. Я еще не знал тогда и того, что мой бедный отец не мог от своего лица читать свою записку, так как не был дворянином.

Но вот скоро мертвую тишину начал сменять какой-то невнятный шум в разных местах залы: чтение начали прерывать какие-то возгласы, потом иногда вырывалось шиканье, наконец стали раздаваться громкие, угрожающие окрики, двиганье и стучанье стульями. Потом поднялся невообразимый шум, все повскакали с мест. Мне показалось, что одни, схватившись за спинки стульев, наступали на других. Я чувствовал, что руки отца дрожали еще сильнее; он был еще бледнее и как-то совсем растерялся. Ополченца уже не было видно. Мимо нас то входили, то выходили взволнованные лица, большею частью красные, потные и негодующие, громко, размахивая руками, что-то говорившие. Некоторые, как мне казалось, взглядывали на нас с недоверием и презрением. Вдруг кто-то, проходя мимо нас, громко сказал: «Подлец!» — и быстро прошел мимо. Отец тяжело опустился на стул, но тотчас же поднялся, как будто не зная, на что решиться. Он тщетно, кажется, искал глазами ополченца, может быть, думая от него найти утешение и успокоение. В это время вдруг подошел к нам с широкою, заискивающею улыбкой рыжий попов сын и, пожимая руку отцу, стал поздравлять его с чем-то.

Я заметил, что батюшка теперь весь затрепетал точно так же, как дедушка, когда попал в собрание «важных гостей», и его охватил такой страх, что, взяв меня опять за руку, он быстро потащил меня вон из залы по лестнице.

. . . .

Прошли долгие дни какого-то томительного и напряженного ожидания; «важные гости» нашего зальца мало-помалу сокращались, а «неважные гости» тоже почему-то вдруг исчезли. И отец, и ополченец, и мы, и все кругом, как мне казалось, чего-то ждали. Мне все представлялось еще, что где-то, в какой-то огромной зале идет шумная и

напряженная борьба, откуда-то глухо несутся ее отклики, и все ждут, с боязнью и страхом, когда и чем это кончится.

«Великий праздник» наступил.

. . . .

Но когда я уже начал не только смутно чувствовать, но и понимать все, что совершилось вокруг меня,— в жизни и моей, и батюшки с матушкой, и «маленького дедушки», и всего нашего «старого дома», и всей Фимушкиной деревни, и вместе с нами многих-многих других,— наступил глубокий кризис.

ПОТАНИН ВЕРТОГРАД

Нигде, кажется, нет стольких «мечтателей», как среди нас, русских. Это явление в высокой степени знаменательное. Мечта,— что бы ни говорили против нее люди практические,— ведь это поэзия жизни, заглушенный порыв к идеалу, страстное желание взмахнуть духовными крыльями, чтобы хотя на мгновение подняться над скорбной и серой юдолью жизни. И никогда, кажется, не плодилось у нас столько этих «мечтателей», как в годы, непосредственно предшествовавшие и следовавшие за «освобождением». Предо мною прошло много таких фигур, которые оставили на душе глубокий след.

Освободительные идеи уже носились в воздухе и проникали все глубже и глубже в самые глухие закоулки нашей родины — и вот из этих глухих «недр» вдруг потянулись, как из пещер на мерцающий вдали свет, какие-то странные личности, удивительные, приводившие всех в изумление, а иногда даже и в страх, о существовании которых никто, кажется, не мог даже и подозревать. Эти странные личности иногда появлялись и в зальце моего отца, поражая наше детское воображение. Личности были действительно странные: помещики — лохматые, бородатые, в нагольных или суконных полушубках и личных сапогах или валенках, но в то же время в очках или с какими-то особыми перстнями «с сувенирами» на грубых, толстых, загорелых пальцах, курившие из каких-то особых

«турецких» трубок с причудливыми чубуками; говорили они большею частью громко и грубовато, хотя нередко вставляли французские фразы, и очень много выпивали водки. Но зато над ними все добродушно подсмеивались и говорили, что это самый милейший и добрейший народ, за исключением, впрочем, истинных «бар», которые ими брезговали и посматривали на них очень подозрительно, встречая их теперь, к своему изумлению, на дворянских собраниях. Все они приезжали в город обыкновенно в простых крестьянских пошевнях или телегах, всегда рядом с «братом-мужиком», который, однако, непременно оказывался каким-нибудь особенным, «феноменальным мужиком»; этого «феноменального» брата-мужика они почти насильно тащили с собой в комнаты, к гостям и в гости, поили водкой и рассказывали присутствующим про его какие-нибудь необыкновенные дарования: то он оказывался замечательным оратором и знатоком народных песен и мотивов, то изобретателем удивительных машин, то настоящим «министром» по уму...

— Вот оно где сидит — это *будущее-то!*... Вот здесь-с!.. Дайте только нам с ним ход!.. Уж поверьте нам, мы с ним из одной чашки одной ложкой хлебаем!..

И увлеченный патрон, похлопывая по плечу своего протеже, машет возбужденно руками, ерошит на голове волосы и особенно выразительно сверкает на всех глазами, в которых так ясно светится какая-то неизреченная «мечта»...

Потом — какие-то удивительные добровольцы из духовного звания, добровольцы-расстриги, чрезвычайно неловко чувствовавшие себя в мешковатых, купленных наскоро и по случаю сюртуках и брюках, не знавшие, куда девать свои руки и ноги и стыдившиеся своих подстриженных затылков и бритых бород. Это они вдруг расстались с своими «пещерами» и, гонимые какой-то изумительной «мечтой», выношенной в длинные вечера в своих берлогах, двинулись в города и столицы «приложить свои силы к делу... на светском поприще».

А вот какой-то толстенький, низенький, с проседью человек, мещанин, надевший барский сюртук, но забывший переменить сапоги-кубышки, подбривающий попрежнему, как рекрут, затылок и носящий оловянную серьгу в

ухе. Это — бывшая правая рука знаменитого откупщика, вдруг взбунтовавшийся какой-то дикой мечтой, и теперь вот чего-то волнуется, бегает, суетится, плюется, на чем свет ругает и проклинает и своего бывшего «хозяина» и свою собственную «продажную душу», не дает никому покоя своим покаянным порывом и доносами на всевозможные откупные фортели и плутни и какими-то невероятными реформаторскими проектами, которые он сочиняет сотнями, просиживая напролет целые ночи в грязных номерах гостиниц. А вот еще — высокий, белобрысый, длинный и сухой, как веха, юный послушник, с висящими косицами желтыми волосами, в шумящем коленкоровом полукафтане. Он постоянно всех просит шепотом на пару слов, «по секретному делу», и затем, уведя собеседника куда-нибудь за печку, целый час мучит его какими-то странными, мало вразумительными сообщениями, вытаскивая в то же время таинственно из-за пазухи целый ворох стихотворных упражнений «обличительного направления»...

Было тут же не мало и крестьян, но так как все они в то время принадлежали к какому-то особому «секретному» разряду людей, с которыми разговаривали не иначе как в темных передних, или сенях, или прямо на кухне, и то какими-то полунамеками, то вначале мы, дети, имели о них очень смутное представление.

Намечались уже в то время личности и несколько другого характера, так сказать «обратного течения» — не «из недр», а «в недра». Я помню хорошо одного мелкого чиновника, уже не молодого, лет тридцати, который до того заинтересовался «начавшимся делом», что чуть не каждый день приходил к нам, говорил с отцом, прислушивался ко всему, что только имело какое-нибудь отношение к делу, но сам не высказывался, а между тем все более становилось заметно, что он что-то носил в душе, что-то в нем назревало. Это был раньше просто скромный, задумчивый, одинокий человек, а теперь вдруг он сделался оживленным, нервным; он чего-то ждал напряженно, со страхом, но вместе и с надеждой на что-то такое, что должно было его спасти чуть не от смерти. Он был словно заключенный, считавший лихорадочно минуты своего освобождения, о котором до него долетела смутная молва. И действительно, когда «вопрос» был уже окончательно решен, он

пришел к нам и торжественно объявил отцу, что «он теперь свободен»! И в доказательство прибавил, что уже продал довольно удачно «всю форменную свою пару». Оказалось, что Буднев (так его звали) подал в отставку и заявил его преосвященству о своем смиренном желании «принять иноческий чин». Это было так неожиданно, что даже отец был изумлен. И только впоследствии оказалось, что тайною мечтою Буднева было поступить в миссионеры... Но почему он не мог это все сделать раньше, почему все это было приурочено им к освобождению крестьян, к которому он мог иметь только очень отдаленное отношение,— это, как и многое другое, касавшееся всех этих странных личностей, составляло загадку, еще раз доказывавшую только, что 19 февраля было у нас явлением далеко не сословного только характера: оно являлось преддверием великого освобождения личности вообще, как материального, так и духовного. Чтобы хотя несколько понять это и почувствовать, достаточно было в то время взглянуть на Буднева, когда, после нескольких месяцев «искуса» в каком-то монастыре, он явился к нам, вместо знакомого, шаблонного вицмундира, в новеньком черном подряснике, подпоясанном широким кожаным поясом, с отпущенной бородкой и уже длинными волосами: глаза его вдохновенно горели, все в нем было возвышенно и торжественно. Да, действительно «он, наконец, был свободен!..» И в сияющих взорах этого чудака светилась та же таинственная всепокоряющая «мечта», которая раскрывала пред ним какие-то неизреченные перспективы.

Все это были, конечно, «чудаки», личности несколько исключительные, но в этих оригинальных «уродцах», выброшенных со дна взбудораженной общественной и народной стихии, может быть, невидимо прозябали те ростки, которые после сказались в явлениях изумительных и большого значения.

Но эти «чудаки» были и в глазах своих собственных и наших «люди серьезные», а потому исключительно имели дело с моим отцом и всегда наполняли только наше зальце. Но у нас, на детской половине, у матушки, хотя и не призванной к «серьезной, деловой жизни», были, однако, свои «мечтатели», свои чудаки и оригиналы, заявлявшие какие-то свои права на жизнь, и, конечно, это

были прежде всего женщины. И в то время, когда для нас, детей, серьезные люди батюшкиной половины были мало понятны и являлись только чудаками и оригиналами,— мечтатели, ютившиеся скромно и робко около матушки, напротив, всегда как-то очень скоро становились для нас своими людьми, «живыми», к которым мы сразу привязывались своей детской душой.

Бывало, вдруг вынырнет на свет божий из каких-то неведомых ни для кого палестин такая «душа» (и, вероятнее всего, еще крепостная), заявится к нам, всегда сначала по каким-то «делам», а там, глядишь, и живет у нас неделю и другую: нас спать укладывает, сказки рассказывает, грудного ребенка по целым часам нянчит, с матушкой по ночам какие-то таинственные беседы ведет, словно она с нами век прожила, выходила нас и вынянчила. Живет-живет так, бережно храня на сердце что-то дорогое и заветное, и вдруг снова нырнет, иной раз навсегда и бесследно, и исчезнет в необозримой глуши наших палестин. А иной раз... иной раз такая бродячая душа неожиданно соединит свои судьбы с твоими невидимыми и непостижимыми узами...

— Ну, вот и опять я прилетела к вам, милые птенчики! Прилетела опять, надоедница!

Эти слова обыкновенно произносились таким ясным, звонким, птичьим, тоненьким голоском, что он, мне кажется, еще сейчас звенит около меня.

Мы, малые птенцы, заслышав этот голос, восторженно поднимали кверху руки и, как испугнутые цыплята, еще не поздоровавшись с прилетевшей гостьей, летели стремглав в детскую к маме, в кабинет к отцу.

— Папа! мама!.. Прилетела! Прилетела!..

— Кто?

— Потаня! Да... Опять прилетела!.. Потаня!..

— А! Это опять она... Не сидится ей дома! Вот достанется ей на пряники... за эти шатанья,— притворно-сердито ворчит отец и с недовольным видом нервного, раздраженного человека спускает на нос очки и продолжает прерванное чтение.

Но мы мало обращаем внимания на слова отца и на

тон, с которым они сказаны: мы чувствуем, что нам почему-то вдруг стало ужасно весело, смешно, радостно... Пробежав обратно детскую, где мама нервно возилась с больным ребенком, мы уже неслись снова навстречу прилетевшей гостье.

А «прилетевшая» гостья по обыкновению, прежде чем войти в горницы, заходила на кухню и здесь, развязав мешок в уголке, укромно, тщательно переодевалась из дорожного в визитный костюм. Это одевание почему-то имело для нас особый, таинственный смысл. Мы останавливались молча за дверью и терпеливо ждали, когда кончится таинственный обряд. Наконец, дверь тихо скрипела — и на пороге появлялась Потаня...

Это — такое маленькое, такое жалкое существо, о котором я никогда не мог вспоминать без чувства какого-то особого грустного и тихого умиления. Она стала ходить к нам еще задолго до того, как странные чудаки-мечтатели начали заполнять наше маленькое зальце. Потаня была уродец; с двумя горбами — на спине и груди, с маленькими ручками и ножками, она была до того низенького роста, что казалась даже ниже нас, десятилетних детей; несмотря на то, что голова ее была несоразмерно велика, что на подбородке у нее сидела большая волосатая бородавка, что нос у нее был очень длинный и что ей было не меньше тридцати лет, лицо ее было такое улыбающееся, детски наивное, а быстрые глазки так живо бегали под густыми ресницами, что нам казалось всегда, что она вот-вот пустится прыгать и играть с нами в жмурки или в лошадки. И это было бы, вероятно, так, если б, по-нашему мнению, не мешал ее парадный наряд. В этом парадном наряде она желала быть такой солидной, чопорной, степенной и... даже надменной!.. Да и как же могло быть иначе? Ведь это был ее генеральский мундир, ее драгоценность, ее родовое наследство, которое она хранила пуще глаза, никогда не расставалась с ним, постоянно носила бережно в мешочке и надевала только в самых важных случаях жизни. Такими важными случаями были, между прочим, тайные посещения ею нашего маленького городка. Я даже не могу сказать наверное, знал ли кто-нибудь в ее деревне и господской дворне, к которой она была приписана, о существовании ее парадного наряда. И что это был

за изумительный наряд! В особенности для нас он был необычаен. Вы легко поймете наш восторг и изумление, когда после таинственного переодевания Потаня вдруг являлась перед нами в ярком пунцовом сарафане, спереди которого тянулся бесконечный ряд блестящих пуговок среди петель из золотого шнурка; подол этого удивительного сарафана был оторочен широчайшей каймой из позумента и целой прихотливой гирляндой цветов и листьев, вышитых шелком. Затем на Потане была надета обыкновенная душегрейка палевого цвета, значительно полинявшая, отороченная также позументом, а по воротнику и по бортам, кроме того, узкой меховой опушкой, местами, впрочем, повылезшей, и только на голове Потани был скромный платочек, из-под которого вилась чуть не до подола ее черная густая коса. Если к этому прибавить несколько колец и перстней, которые появлялись на ее тонких пальцах только в то время, когда она одевалась в свой знаменитый наряд, и, наконец, неизбежный чистый белый платочек, который она держала в руках и в который всегда было завернуто «что-то важное», то мы легко можем представить Потаню в тот момент, когда она являлась неожиданно из далекой деревни по каким-то «важным делам» в наш город. Очевидно, важные дела требовали, по ее мнению, и важного костюма.

И вот в таком-то торжественном виде наша маленькая Потаня, как-то особенно приседая и порхая, степенно входила в наше зальце, в то же время весело и любовно здороваясь с нами своими быстрыми, бегающими глазками.

— Ну, как живы, милые птенчики? Что папенька, что маменька? Всё грустят? Ничего, потерпим господу... Будет весело, будет, милые птенчики!..— быстро звенела она своим птичьим голоском.

И затем, чинно протянув батюшке, с низкими поклонами, кончики своих маленьких тонких пальчиков, украшенных перстнями, и едва прикоснувшись ими к руке отца, она степенно садилась перед ним на краешек стула, едва дотрагиваясь до полу маленькими ножками.

— Ну-ну! опять прилетела! — говорил, подсмеиваясь и посматривая на нее, батюшка.— А зачем?

— Зачем, сударь?.. А все за тем же... Мы все за тем же...

И маленькая Потаня, не без тайной хитрости, как-то двусмысленно поигрывая глазками, смотрит в упор на батюшку.

— Ну, смотри! — грозил ей батюшка.— Ведь вы все бредите там? А о чем?.. Вздор все... все пустая болтовня... Ничего не будет... Зададут вот вам всем: чик! чик!..

— Будто уж, сударь, ничего еще об ином о чем неизвестно? — недоверчиво спрашивает Потаня и стыдливо опускает глаза при таинственных словах: «чик! чик!»

— Ни о чем еще неизвестно... Ну, о чем? О чем тебе нужно? Ничего нет, ровно ничего нет... и не будет!.. Что вы там, с ума сошли все? — сердито ворчит батюшка на Потаню.

— Ну, это вы, сударь, напрасно... скрытность эту оказываете... Напрасно!.. Мы уж тоже известны кое о чем...

— Вздор, говорю тебе... Выбросьте из головы эти бредни, пока беды не нажили... Ну, что шляешься без толку? Ведь, поди, потихоньку сбежала? Ведь опять, как в прошлый раз, посадят на месяц на хлеб да на воду... засадят в свинарню... Или неймется? А то и того хуже будет... Не посмотрят, что золотой сарафан.

Батюшка начинал сердиться и уже раздраженно ходил по комнате, а Потаня еще стыдливее опускала при последних словах отца глаза, но по таинственному блеску их было заметно, что такими словами Потаню трудно смутить.

— Ну, что будет? Что? — вдруг сердито останавливался батюшка пред Потаней.— Ну, ежели кому и будет что-нибудь, так не нам с тобой, калекам. Мы все одно будем каторжную-то лямку тянуть. Для кого мы живем? Кому служим? Для своей-то души живем ли мы?

— Для души, сударь,— вот-вот истинное слово!.. Для души будем жить, все... сообща... Вот-вот золотое слово!..— вдруг подхватывала Потаня и начинала восторженно-детски махать своими ручками.

— Ну, что замахала?.. Чему обрадовалась? — еще сердитее ворчал батюшка.— Ну, кто тебе это позволит, сумасшедшая? Кто? Откуда тебе что известно?

— Ах, ах, сударь... Какой маловер! — качала головой Потаня, весело играя глазами.

— Ну вот, не угодно ли! И ей еще весело! Она всеми глазами смеется! — говорил батюшка, махая на нее в отчаянии рукой, как на неисправимую сумасшедшую.

— Стало быть, погодить велено, сударь?..— обыкновенно спрашивала Потаня.— В секрете еще это самое слово держать, стало быть, приказано?.. Ну что ж, погодим... А мы вот уж удумали... Так решили: как, господи благослови, объявится это слово, так чтобы, благословясь, и начать...

— Что такое удумали?

— А вот-с, извольте взглянуть...

И Потаня бережно развертывала свой чистый белый платочек и подавала торжественно отцу какую-то таинственную бумагу.

Отец развертывал засаленный лист бумаги и внимательно начинал читать, повидимому с большим напряжением стараясь понять, в чем дело. И вдруг, не дочитав до половины, он бросал лист на стол, вскакивал в еще большем раздражении и, снова махнув безнадежно рукой, уходил в кабинет.

Потаня совсем конфузилась, в недоумении покачивала головой и тихонько шептала, свертывая опять бумагу в платочек:

— Ах, какие маловеры!.. Ах, какие...

Нам очень было жаль, что батюшка почему-то ни в чем не верил Потане и называл ее сумасшедшей, и вместе с тем очень хотелось узнать, что такое было в ее заветной бумажке. Как-то один раз, когда Потаня осталась у нас ночевать и мы собрались в нашей детской, матушка спросила ее:

— Это что же у тебя, Потаня, в бумаге-то, вот что ты показываешь?

— А это, сударыня... это — *вертоград*... Вот тот самый, что я вам говорила.

— Вертоград-то твой, Потаня? — задумчиво переспросила матушка.

— Он! Он!.. Теперь уж тут все изложено доподлинно, обдуманно, облюбовано, осмотрено... А он вот, сударь-то, вон как... не верит!.. Ах, какие маловеры!..

— Изверились, Потаня, мы... Что делать!.. Одни из-

верились, получше-то, у кого еще совесть есть, а другим-то и так хорошо, и желать лучше ничего не хотят.

— Ах, милая сударыня, надо верить... и домогаться надо,— говорила Потаня,— бог это любит!.. А без веры что же мы будем? Трава... Тварь бессмысленная... Так ли, милые птенчики? Надо верить и надо домогаться... Как вертоград-то земной мы насадим, так все расцветем тогда и душою воскреснем!..

И Потаня весело оглянула нас такими восторженными, такими сияющими глазами, как будто в них отражался весь ее чудный вертоград!..

О добрая, наивная Потаня!.. Из всех «мечтателей», которых мы знали в то время, вряд ли кто мог создать что-либо более поэтичное, чем вертоград Потани.

И создать этот мечтательный вертоград, может быть, могла именно только Потаня, этот несчастный уродец, с такой поэтической и чистой душой, разбитый вдребезги раньше, чем он успел узнать от кого-нибудь первое слово и поцелуй любви. С тех пор как она помнит, она знала себя уже уродцем, которому знакомы были ласки только одной матери, проливавшей над ним горькие слезы. Так навсегда в памяти Потани и остались и эти слезы и это бледное, красивое, чернобровое лицо, которое с такой грустью склонялось над ее колыбелью... Помнит, что они жили в барском доме, в большом-большом флигеле, что мать ее ходила всегда нарядно, наряжала и ее, но редко пускала ее дальше флигеля; потом помнит, как часто приходил к ним высокий черный мужчина — и что все боялись его: это был «сам барин»... Только она и знала о нем. А потом их увезли куда-то далеко, в другую деревню... И вместо черного барина стал жить с ними какой-то седой, толстый, обрюзглый старик, отставной дворецкий, и велел его звать «тятенькой»... А мать все плакала, прижав к своей груди свою единственную Потаню, а потом ее не стало: ее снесли на кладбище и схоронили вблизи зеленой рощи... У старого дворецкого было много детей, и маленькую Потаню заставляли ходить за ними; у старого дворецкого было еще больше гусей, кур, уток и поросят — Потаню заставляли ходить и за ними; у дворни много было ребятишек — и Потане велено было за всеми ими смотреть, когда матери заняты были работой. Маленький

уродец хлопотливо и заботливо, с утра до ночи, не зная устали, бегал по господскому двору с хворостинкой в руках, принимая на себя все попреки и побои за шумливое и блудливое свое стадо... Но она все же пока росла на воле, под голубым божьим небом, уходя со своим веселым стадом на целые полдни то «на могилку к матушке», под зеленый шатер березовой рощи, то на веселую, шумящую в камышах речку, то в залитые душистым цветом луга. А когда ей минуло четырнадцать лет, ее вместе с другими девушками загнали в душные, темные «девичьи», где, не покладая рук, изо дня в день плели они нескончаемые кружева и вышивали нескончаемые узоры. «Ах, девушки, девушки! — вздыхала, бывало, Потаня.— Как хорошо теперь на воле-то!.. Хоть бы на часок сбегать туда на маменькину могилку!..» — «Что на часок!.. Совсем бы нам убежать, девушки... Так бы убежать, чтоб и следа нашего никто не открыл... Да куда убежишь?.. В монастырь — и в тот не пустят... Пытались бегать, да опять вернули...» — «А есть, говорят, девушки,— рассказывал кто-нибудь,— такие места... скрытные от всех... в далеких зеленых лесах... И кого, говорят, господь доведет туда, тому счастье на всю жизнь откроет... Стоят в этих зеленых лесах обители: избы выведены большие, чистые, светлые... Вокруг довольство всякое: и реки многорыбные, и сады понасажены... И живут там все одни девушки, живут на полной своей воле — на свободушке, честным трудом сами себя во всем продовольствуют; шьют они себе одежды самотканные, вышивают шелками и золотом... Все сами книгочеи-начетницы, ни от каких мужей-начальников не подневольные... И никому в те обители доступу нету, кроме как сиротам убогим, или вдовам, или девушкам, что от горя да насилия бегут... Только, девушки, не всем счастье, не всем пути в те обители открываются... Пытались, слышно, бежать и от нас, да ловили их скоро и опять на пущую неволю ворочали. Не всем пути туда ведомы!..» Идут годы подневольной девичьей жизни, вырастают тихомолком девичьи подневольные мечты, а Потаня все слушает и слушает девичьи секретные разговоры, все чаще-чаще вспоминается ей любимая матушка, ее скорбная молодость, смоченная слезами, прибитая горем красота... Ноет все больше сердце у Потани, не дает ей покоя девичье горе...

Вот и надумала она у старой строгой ключницы попроситься на богомолье сходить. Долго не сдавалась ключница, да видит, что уродец далеко не уйдет,— пустила ее. Идет Потаня с котомкой по селам, по деревням, по малым и большим городам и ко всему прислушивается, обо всем выспрашивает. И вот было веселье и удовольствие девушкам, когда она вернулась!.. Каких-то каких рассказов не рассказала им, подневольным, Потаня из своих странствий! «Вот божье дело!» — радовалась себе Потаня и стала у ключницы опять проситься. Но только старая ключница теперь не поддавалась — не пустила Потаню. Подумала-подумала Потаня: «Что ж! Для хорошего, для божьего дела и потерпеть хорошо!..», помолилась богу да темною ночкой поднялась и ушла убегом. Пропадала с неделю, вернулась, стала было у старой ключницы прощения просить, да та и слов не принимает: посадили Потаню на месяц в светелку на хлеб да на воду... Высиживает Потаня свой срок в заключении, не только не грустит и не убивается, а как будто даже радуется, что ей пришлось претерпеть «за большое, за божье дело», а какое это дело, никто у нее никакой силой из сердца не вырвет. Выпустили Потаню, опять ее в девичью «на урок» посадили. Смотрят на нее девушки с великим любопытством, потому что по играющим глазам ее видят, что хранит она что-то на сердце такое, о чем им, подневольным, и не снилось. Ждут они только темной ночи, когда тихим-тихим шепотом передаст им Потаня свои новые тайны: может быть, не узнала ли она «пути» к той удивительной обители, о которой мечтала вся «девичья». И точно, поведала им Потаня таким тихим шепотом, что, пожалуй, и сами стены его не слыхали, свою великую тайну: слышно, по большим городам, среди больших господ, молва идет, будто в скорости по всему государству объявится «слово», чтобы быть им, подневольным, от того часа вольными, чтобы все заставы, приказы и воспрещения были нарушены и чтобы все пути-дороги открылись вольные для всего простого народа черного... Удивились, перепугались девушки от такой тайны до того, что не хотели верить Потане и даже в явной лжи ее стали попрекать, что такими речами она только попусту мутит их души да не доведет до добра ни их, ни себя... Перепугалась и сама Потаня, и сама усомнилась —

уж точно ли она такие вести слышала и точно ли те вести достоверные? И вот снится одной ночью Потане такой удивительный сон: сидит будто она на матушкиной могиле под вечер, а вечер будто такой розовый весь да теплый, и во все-то небо будто заря играет, а над ней зеленая роща веселым шепотом шумит; и видит она, будто к ней из рощи ее родимая матушка идет, и такая же разряженная, как и прежде ходила, такая веселая, приветливая, какой она ее уж и не запомнит. Стала она этак поодаль, стоит, а вблизь не подходит и так любовно да радостно на Потаню смотрит, а Потаня ни жива ни мертва сидит. Матушка и говорит: «Ты, говорит, Потанюшка, не бойся; это я самая есть, твоя матушка. Только, говорит, мне подойти к тебе теперь нельзя, потому как ты — земной человек, а свидимся с тобой вблизь уж на том свете... А пришла, говорит, я к тебе на тот раз, чтобы веру в тебе укрепить... и чтобы в отчаянность ты не впадала. Верно говорят, я знаю, что господь вас, бедных и подневольных, не оставит, и что, точно, то «слово» по всему русскому царству объявится, и что всем вам, простым людям, страда ваша зачтется... А тебе, моя дочка милая, я завет даю: как придет время тому слову объявиться, как снимутся все заставы, запреты, приказы подневольные, на том месте, где могилка моя, где мы с тобой страду свою изнывали, устрой-насади ты, дочка, веселый зеленый вертоград, а в том вертограде возведи ты обитель светлую-высокую и раствори ты эту обитель для всех сирот несчастных и бедных, девушек и честных вдов, что терпят в жизни страду, насилие, и пусть живут они здесь на полной своей женской волюшке, честным трудом занимаются, книжному разуму набираются, ни от каких мужей-начальников не подневольные! И будут тебе, дочка, всякие помехи, и предадут тебя посмеянию, а ты укрепись верой и неуклонно домогайся!..»

Проснулась Потаня и сама себя не узнала: и духом стала бодрее, и на душе у нее все просветлело, и будто сила и бодрость в ней такие проявились, ровно выросли у нее невидимые крылья...

Вот что мало-помалу узнали мы от маленькой Потани, когда она, случайная нянька, долгими зимними вечерами убаюкивала нас своими рассказами.

Так вот он каков был Потанин вертоград, и вот о чем было подробно «облюбовано-обдумано» в «важных бумагах», которые носила Потаня в своем чистом белом платочке!

И долго тревожил наше детское воображение этот чудный фантастический вертоград, неразрывно связанный для нас с именем маленькой Потани.

Помню, это был особенно мрачный год для нас. Чем ближе был час, когда должна была загореться заря «новой жизни», тем сумрачные облака ночи сгущались, кажется, больше и больше. Отец был мрачен и раздражителен; тяготевшее над ним подозрение в «новом духе» ничего не сулило хорошего в будущем. Матушка была больна, а вместе с ней захворала и моя сестренка. Все мы притихли, нахохлились, как воробьи в ненастье. В это время заглянула к нам наша «надоедница» Потаня, и чуть ли это было уже не последний раз.

— Что, милые птенчики? Грустите?.. Ничего, ничего... Не унывайте!.. Будет весело, будет, милые птенчики...— щебетала она. И как чудно ласкал тогда нас ее птичий голосок! А чудный вертоград ее, кажется, расцвел тогда в ее воображении еще пышнее, еще фантастичнее! Она уже не довольствовалась бедной маленькой девичьей обителью, она любовно призывала к насаждению вертограда всех чающих и взыскующих грядущего града.

Ах, как отрадно было слышать нам эти певучие звуки, взывавшие к жизни светлой и радостной, среди зеленых благоухающих рощ, на берегах многорыбных вод... Нам, «маленьким людям», ведь так холодно было в наших жалких и бедных сырых углах!

Помню, моя бедная сестренка слушала Потаню, смотря на нее своими большими, лихорадочно блестевшими глазками, облокотившись на подушку худой белой ручонкой.

— А ты, Потаня, пустишь нас в свой... этот вертоград? — спросила она задумчиво и с некоторым страхом, что Потаня откажет ей в этом наслаждении.

— Ах, милые птенчики!.. Да как же это можно, чтобы не пустить?.. Ведь это дело-то общее будет, у всех общее... Унывать только не надо да отчаиваться... Поневоле мы брать не будем только, неволи этой у нас не будет, а коли

кто охоту такую возымеет, желание, чтобы жить с нами в любви, так мы только будем радоваться да молиться, что открыл господь вашим душенькам такие пути...

— И маме с нами можно будет?

— И маменьке... Как же можно без маменьки!..

— И... и... па-апе тоже? — спрашивала сестренка опять с некоторым сомнением.

— И папеньке... Только бы, милые птенчики, желание было... А нам всякие хорошие люди нужны... Все ведь, сообща, мы будем вертоград-то насаждать... Нам ведь только одного не нужно: неволи да мздоимства... Что господь сказал? «Приидите, сказал, в вертоград мой все труждающиеся, и я успокою вас...» Вот, милые птенчики, что господь сказал... Не надо только в уныние, в отчаянность впадать... Верить надо и домогаться надо!..

Это было последнее, что сохранила мне о Потане моя детская память.

. . . .

Шли годы. Давно уже «объявилось великое слово», и — увы! — давно уже волны новой жизни унесли нас далеко от доброй, наивной Потани, и эти же волны в свою очередь далеко унесли от нас Потаню... Мы забыли друг друга... И чудный Потанин «вертоград» отступал перед нами, как мираж, все дальше и дальше... А сама Потаня?

Это было уже долго спустя, десятка два лет.

Случайно пришлось мне проезжать через свою далекую, давно покинутую родину, и как-то само собой во мне вспыхнули забытые воспоминания, а с ними вместе и Потаня. В самом деле: что она теперь? и как? жива ли? где бродит и о чем бредит? — задавал невольно мой утомленный и саркастически настроенный ум эти вопросы, имевшие для меня теперь значение только праздного любопытства: не мог же я в самом деле думать, что она действительно «насадила свой земной вертоград»!

Но и на мои праздные вопросы никто ничего не мог мне ответить, и я, вероятно, покинув родину, снова забыл бы, может быть навсегда, этого несчастного уродца. Но случай... случай ответил на мои смутные воспоминания.

Возвращаясь с родины, я проезжал через те палестины, из «недр» которых некогда появилась Потаня. Раз-

говаривая с ямщиком, я припомнил название прежнего барского имения, в котором она жила. Оказалось, что это было действительно оно. Остановив на селе какую-то женщину, я спросил ее о Потане. Она сказала: точно, что Потаня — «горбатенькая дворовая» — живет тут; и мне указали на маленькую келью, стоявшую на отлете от деревни между кладбищем и жалкими остатками бывшего барского парка.

Когда я подъехал к келье, на крылечке стояла девушка-подросток и на мой вопрос долго в недоумении смотрела на меня и, наконец, спросила:

— Это бабыньку, может, вам нужно?

— Да, да, бабыньку,— отвечал я, припоминая, каким малышом был еще я, когда впервые узнал Потаню.

— Больная она, бабынька... Вот там, на огороде она... На огород просилась вынести ее, на солнышко...

Я прошел на задворки — и только теперь заметил, что сзади кельи был разведен длинный, узкий огород, а среди гряд были насажены целые ряды яблонь, груш и кустов малины и смородины, густо зарастивших всю правую сторону огорода.

Было прекрасное летнее утро. Солнце уже стояло высоко, но в воздухе не чувствовалось еще ни истомы, ни пыли, ни духоты. В садике Потани весело чирикали всякие пичужки, или «малые птенчики», по ее любимому выражению, а в грядах пололи траву еще три девушки-подростка. Около плетеного двора, на самом припеке, лежала на разостланном войлоке маленькая старушка, покрытая нагольным полушубком, и кашляла, прикрывая рот маленькой худой рукой. Откашлявшись, она подняла на меня глаза, и я сразу узнал Потаню.

— Здравствуй, бабушка,— сказал я.— Я вот уж и не знаю, как тебя звать-то... Прежде мы тебя Потаней звали...

— Меня и теперь на деревне все Потаней зовут... Я люблю это... Маменька-покойница все, бывало, меня так звала! — отвечала Потаня, и голос у нее, хотя и хриплый, но все попрежнему был певучий.

— А ты не узнаешь меня?

— Нет, не признаю... Много ведь я за свое-то время господ перевидала.

Я напомнил ей наш город и семью.

— Как же, вспоминаю... Только где же всех узнать! Давно уж разошлись... У вас свои дела пошли, у нас свои... Где помнить!.. Где помнить!..

И, махнув своей маленькой рукой, Потаня снова закашлялась тем томительным кашлем, который готов был на части разорвать ее сухую, узенькую грудь.

— Вот больна я... говорить-то не могу... Вот уж месяца два валяюся... Да это пройдет... Еще какая я старуха!.. Такие ли старухи бывают... Еще я вот, погоди, горошком вскочу да скорее молодых побегу... Хоть в горелки играть, так и то смогу!

— Ну, дай бог тебе!.. Довольна ли ты?.. Помнишь, бабушка, как ты нам про вертоград-то рассказывала? — спросил я, улыбаясь ей, как ребенку, осматривая жалкую лачужку и крохотный садик.

— Как же не помнить!.. Умру с этим... Вот господь помог, слава создателю,— починочик поставила,— отвечала Потаня таким серьезным тоном, что мне стало стыдно за свою насмешку,— починочик вот... Вот у меня пять сироток кормятся... Еще две вдовы честных при мне... Вот трудимся, слава богу, в любви, в согласии... Малых же девочек книжному делу обучаем... Пущай растут да уму-разуму набираются, а окрепнут духом — пущай тогда выбирают, какая доля лучше приглянется!.. Вот у меня тут и могилка маменькина под глазами... Вербой я ее обсадила... Вот только рощу-то маклаки-купцы всю свели... А какая была роща прекрасная!.. Думала я тогда в ней бы заложить обитель... Домогалась всячески, верой не падала... ну, стало быть, не вышло — все опять же в досужие руки пошло. Ну, что делать!.. Вот починочик есть... Мал он, что говорить!.. И пропитаться чуть что хватает... Да в людях все разбежалось, вот причина! «Слово»-то, точно, объявилось, а в людях-то все разбежалось... Помоги-то друг дружке уж и нет! Вот подымусь, отдышусь, встану — опять побегу по людям, надоедница, опять запою!.. А умру — молодые за меня останутся... «Домогаться, милая дочка, надоть, домогаться и верить,— говорила мне маменька-покойница,— и удостоишься, говорит, зато узреть вертограда небесного!»

Старушка оживилась, защебетала, снова заискрились

и заиграли ее глазки, и мне казалось, что передо мной опять прежняя Потаня, а я — маленький, маленький мальчик...

Я присел рядом с ней на кошму и долго-долго слушал ее щебетанье. Мне было так тепло, отрадно, мне даже не было стыдно чувствовать себя ребенком... Меня захватило всего целиком это дивное чувство неумирающей девственной веры и мечты — и во мне вдруг вспыхнули все бодрые и светлые упования моей юности...

1885

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. ЛЕВИТОВ

Когда я был еще студентом, Левитов занимал уже видное место среди молодых русских писателей. Тогда только что вышли его «Степные очерки» в двух маленьких красных книжках, в отдельном издании Генкеля[1]. Я не скажу, чтобы он особенно читался среди так называемой «большой публики», но в среде молодежи и особенно интеллигентного разночинства рассказы его читались с интересом и любовью. Мягкий, поэтический колорит его степных картин природы и лирических излияний, смягчавший некоторую мрачность выводимых им типов, отрадно действовал на душу тех сотен и тысяч юношей-бедняков, которые покинули свои далекие полуразоренные разночинские гнезда в глухих городках и селах, променяв их на сырые и холодные «каморы с мебелью» в столицах, представлявшихся им «ареной деятельной силы, пытливой мысли и труда». Как ни сумрачны были воспоминания о далеких родных местах, какие возбуждал в них Левитов, но та поэзия, которую умел он разлить по своим картинам и отыскать в сумрачных лицах своих героев, заставляла их переживать нечто такое, что согревало их сердца, наполняло верой и поддерживало в минуты отчаяния в их холодных мансардах. Нужно заметить, что этот поэтический колорит, так ярко проникавший «Степные очерки», был в то время (в 60-х годах) и одним из ярких достоинств Левитова, отличавших его от целой массы второстепенных беллетристов, сильных лишь благими намерениями, и в

то же время одной из причин, по которым он не мог быть назван особенно популярным писателем того периода; в его экскурсиях в область поэзии многие видели недостаток, как и в отсутствии модных современных тем. У всякого времени свои задачи, и такую односторонность требований от писателя нельзя всецело поставить в вину тому поколению, но вместе с тем и Левитов не считал себя вправе вполне подчиняться этим требованиям и изменять как себе, так и тем заветам старых поколений, которые ему были дороги: он был воспитан в школе старых поклонников пушкинской и гоголевской поэзии и не только не мог отрицать ее вместе с последователями Писарева, Зайцева и др., но находил в душе своей прямой отзвук ее, и она была его второй натурой, которую он, конечно, не имел ни возможности, ни намерения увечить. Это обстоятельство, по моему мнению, было очень характерно для Левитова и придавало ему, как личности, некоторый своеобразный облик, несколько не соответствовавший существовавшему в то время среднему типу писателя. И это было вполне естественно, так как сам Левитов, как крупный талант, был оригинальная личность, не укладывавшаяся в известные шаблоны. С этой стороны мне прежде всего пришлось узнать его, и прежде всего он ею меня и поразил.

Это было вскоре после моего приезда студенчествовать в Петербург. Я имел уже рекомендательную записочку к Левитову в своих руках и «горел нетерпением», как говорят, повидать своего излюбленного автора.

Разыскать Левитова было нелегко; он часто менял свои «комнаты с небилью» [2]. Я нашел его в одной из таких комнаток, в третьем этаже, на Гончарной улице, среди обиталищ его излюбленных героев; идя по довольно грязной лестнице, я мог видеть направо и налево вывески сапожников, портных, модных мастериц; чуть ли не в одной из таких квартир занимал комнатку или две и А. И. Левитов. Обстановка была поистине бедная: три-четыре стула, ломберный столик, на котором еще стоял неубранный самовар, кровать и старенький диванчик; на диванчике сидела и шила молодая женщина, худая, бледная, маленькая брюнетка с бойкими глазами — его сожительница, как оказалось, тоже вышедшая из среды облюбованных им

«маленьких героев»,— а по комнате нервно ходил среднего роста, тоже худой господин с длинными русыми волосами и маленькой жидкой бородкой, в коротеньком старом пиджачке и очках, из-за которых лихорадочно светились беспокойные глаза. Это был сам Александр Иванович; он показался мне сердитым, и я робко передал ему письмо.

— Ну что же, захотели посмотреть, какие такие писатели бывают,— заговорил он, прочитав письмо.— Ну, хорошо, будемте знакомы... Милости просим... Только ведь в нас завидного мало... Сами тоже мечтаете литераторствовать? Не советовал бы... Завидного мало... Впрочем, как для кого: разные бывают они, то есть писатели-то, разные... Что ж, поди, принесли тетрадку, стишки?

Несмотря на сердитый тон всей этой реплики, я не мог не улыбнуться: так много искреннего добродушия светилось под этой внешней суровостью. Тетрадки у меня, к счастью, не оказалось.

— И тетрадки нет? — как будто изумился Александр Иванович.— Ну, так нечего делать — будемте так беседовать. Ох, уж эти мне начинающие писатели! И откуда они только берутся! Ну точь-в-точь мотыльки на огонь летят, такие же несмысли — лезут прямо в пламя. Светло оно бывает — точно, да ведь жжется, ведь сгореть можно в одну секунду, так что и мокренько не останется... Эх! — вздохнул Александр Иванович и махнул рукой: — Уж хоть бы ко мне-то не ходили... Что от меня взять? Я ведь скучный человек, очень скучный, предупреждаю. У других там журфиксы и всякое такое благоустроенное развлечение, а у меня ничего этого нет, батенька... Уж извините, по-простецки.

Я, конечно, заверил Александра Ивановича, что он напрасно так о себе думает, но тем не менее разговор у нас совершенно не клеился. Я чувствовал, что Александр Иванович чем-то сильно расстроен, что он действительно поддерживает со мной разговор ради только любезности, и я уже готов был найти предлог, чтобы уйти, как вдруг Александр Иванович схватил шляпу и сказал мне:

— Знаете что, батюшка, мне необходимо, до зарезу нужно зайти в одно местечко... Уж извините, пожалуйста... Я, знаете, одной минуткой. Ну, самое большое — четверть часа. Пожалуйста подождите. Вы вот с нею побеседуйте,—

показал он на свою супругу,— она вас чаем угостит, а я сию минутку вернусь.

И Александр Иванович исчез. Супруга его налила мне стакан чаю, поговорила со мною тоже ради любезности и, наконец, предложила пока почитать книгу.

Прошло полчаса, и я выразил предположение, что Александр Иванович, вероятно, долго не придет и что я думаю — лучше зайти после.

— Да, вероятнее всего, что не придет,— заметила г-жа Левитова.— Это с ним часто бывает... Может быть, встретил кого-нибудь. Притом же теперь он очень расстроен.

Я полюбопытствовал,— что такое с ним случилось?

— Да ничего особенного... Просто — мученик он. Очень уж добросовестен. Вот взял аванс из одной редакции, требуют рассказ, а у него не пишется. Вчера сидел целую ночь — ничего не выходит... То есть выходит все, другой бы и этим был очень доволен, ну только не он.

— Зачем же он так насилует себя?

— Зачем? Он вон говорит: коли ты писатель, так и пиши. Назвался груздем — полезай в кузов. Ишь какой барин! А не хочешь — так ступай сапоги шей, мостовую мости. Ну да ведь это он так говорит только, а потом возьмет да все и изорвет, что за вечер написано, и мучается. В это время с ним лучше уж и не говорить.

Мне приходилось сознаться, что я давно должен был бы уйти.

Прошел месяц, прежде чем я мог снова побывать у Левитова.

— А, это вы,— встретил он меня, радушно протягивая мне руки.— Не сердитесь? Нет, не сердитесь? Ну, спасибо, спасибо за это... Что делать? Простите... Так вышло. Встретил одного человека, так, из простячков... Ну, заговорились... Ах, какой человек-то!.. Всю душу, как на блюдечке, передо мной выложил... Э, батюшка, это не часто бывает; дорогое это дело. О, какое дорогое! Так не рассердились? Ну, я очень рад... Мне это очень приятно, что вы не как другие. Ну вот теперь садитесь, побеседуемте попросту, по душе... Теперь мы уже знаем друг друга — и церемониться нам нечего...

И действительно, ни я, ни он не чувствовали теперь ни

малейшего стеснения. Он душевно, по-дружески стал спрашивать меня о моем детстве, о семье, о ранних впечатлениях. Пошли воспоминания; он делился своими, разговорился.

— Беднота нас, батенька, заела, беднота и дикость... и еще хамство... Вы вот счастливее нас,— говорил он,— вы уже не увидите того, что мы видели. А мы его во как произошли, воочию, это хамство-то, и барское хамство и хамское хамство. Насмотрелись всего: своими очами видели, своими телесами осязали... Да, а вот эта беднота-то и заполонила меня себе. Родная ведь она. Вот и теперь опять собираюсь бросить эту квартиришку, перейду на весну куда-нибудь в предместье, около заставы... Ах, какой там милый народец проживает!.. Бо-же мой!.. Лик божий, кажись, давно утерял, давно уж он весь от жизни измызган и заброшен за забор, как бабий истоптанный башмак, а эдак вот проживешь с ним, побеседуешь по душе, ан там, на глуби-то, внутри-то она и светится, как светлячок, душа-то божья и мигает. А кто к нему подойдет, к этой бедноте-то, вблизь-то, лицом к лицу, кто это будет до души-то этой вглуби докапываться?.. Никого нет, голубчик, никого. А ведь какие силы были!.. Вотъ хоть бы Лермонтов... Силища!.. А на кого наполовину ухлопал себя?.. Кавалерство, как ржа, заело его... Измотался на нем, измучился... А за что? И на что столько потратил своей души, ума?.. Только вы не думайте, что я его не ценю, во имя там тенденций каких-нибудь... Нет, нет! Я этому не сочувствую — отрицать поэзию... Без поэзии — мы нуль, потому что без нее нет жизни... и не понять без нее жизни. Поэтому я и говорю, что если бы с этим поэтическим-то чутьем, какое было у Лермонтова, да кабы он к этой бедноте подошел (а уж он пробовал ведь!), что бы он там открыл! А его вон в анализ чувств княжны Мери тянуло... А что насчет поэзии, то сохрани бог чураться ее!.. Умная, дельная мысль — что говорить: хорошо, и всякую штуку можно изобразить дельно и умно, только без поэзии все это мертво будет, холодно... да и неверно будет, наверное неверно!

Александр Иванович разговорился. Я, конечно, через двадцать пять лет не могу ручаться, чтобы он именно говорил такими словами, но таков был общий тон и содер-

жание его речей. Передо мною был теперь именно тот мягкий, любящий и скорбящий автор «Степных очерков», облик которого отразился в каждой их строчке, который давно уже, только еще смутно, носился передо мною. Мне было как-то особенно отрадно слушать его: в его речах звучало многое из того, что давно уже говорило мне собственное сердце.

Я не имею намерения ни писать биографию Александра Ивановича, ни передавать последовательно все, что мне приходилось узнавать о его жизни или что я мог наблюдать лично; лица, ближе меня стоявшие к Александру Ивановичу и отношения которых к нему не прерывались промежутками в несколько лет, когда мы не видали друг друга, лучше меня могут осветить нужным материалом его личность со всех сторон. Поэтому я позволяю себе ограничиться только двумя-тремя моментами из времени нашего знакомства, которое собственно и оставило глубокое впечатление на моей душе и которое, как мне кажется, до известной степени характерно вообще для его жизни и личности.

Уже эта первая моя встреча с Александром Ивановичем произвела на меня несколько как бы двойственное впечатление. С одной стороны, как я говорил, мне было чрезвычайно отрадно, что я встретил в нем именно того, образ чей как бы полусознательно раньше жил в моей душе, когда я читал его произведения, с другой — мне чувствовалось уже и тогда, как эта мягкая поэтическая натура бьется в жестоких сетях чего-то страшного, разъедающего, как ржа, мучительно и неустанно подтачивающего каждый свободный порыв мысли и чувства. Счастлив, конечно, тот, кто может созерцать жизнь в постоянном поэтическом настроении, который может, так сказать, безнаказанно парить над всеми жизненными явлениями, лично мало подвергаясь их разлагающему и парализующему воздействию, но как безмерно мучительно творчество для того, кто сам, всем своим существом, не только вместе со своими героями переживает те короткие моменты поэтического тепла и света, которые изредка дарит им жизнь, но и всю ту тьму-тьмущую житейских неурядиц, забот и огорчений, перед которыми моментально исчезает этот блеснувший им луч света, счастья и поэзии! Этот

холодный разъедающий ужас жизненных неурядиц, забот и огорчений, охватывающий всю жизнь маленьких людей, то приводящий их к отчаянию или безумному разгулу, то пригнетая их, уродуя и увеча, был тем демоном-мучителем для Левитова, жертвой которого он сделался на всю жизнь. Едва только его мягкая любящая натура, его чуткое поэтическое чувство отыскивали уголок среди этой жизни, где, казалось, можно уже было вздохнуть полною грудью свободного человеческого существа, когда перед воспрянувшей мыслью уже готов был открыться широкий горизонт, как вдруг перед ним являлся этот демон-мучитель и ехидно шептал: «Так вот чего захотела твоя «злохудожная душа»? Напрасно, друг... Тот поэтический луч, который ты уловил в жизни твоих героев, это только мираж, греза голодного: посмотри — его уже нет: он загрязнен, искажен, отравлен... Пей эту отраву и ты вместе с ними!..» Левитову приходилось или действительно пить эту отраву, или умыть от нее руки. Он предпочел первое, да и не мог бы сделать иначе.

Когда Левитов писал свои «Степные очерки», он был еще и моложе, перед ним носились еще его детские годы, полные невинных радостей и впечатлений под живительным влиянием родных степей; еще в окружавшей его жизни степняка-крестьянина, как ни тяжела была она в ту пору, поэтическая натура Александра Ивановича могла еще нередко своим поэтическим чутьем отыскивать те уголки жизни, где могли бы отдохнуть и напряженное чувство и исстрадавшаяся мысль, но чем глубже уходил Левитов в современную ему жизнь городского и сельского пролетария, представлявшего собой удивительно разнообразную смесь людей всякого звания, от выброшенного на улицу крестьянина и дворового до интеллигентного разночинца,— тем мучительный демон все больше и больше овладевал его душою.

Как это отзывалось на настроении Левитова и даже на самих приемах его писательства, я мог случайно видеть воочию. Это было уже несколько лет спустя после моей первой встречи с Левитовым. Однажды я зашел к нему с одним из общих знакомых. Левитов жил в то время, если не ошибаюсь, на Моховой, в довольно порядочных, сравнительно, меблированных комнатах. Он встретил нас,

как казалось, радушно, но нельзя было не заметить, что он был чрезвычайно нервно настроен.

После нескольких незначительных фраз он сказал на вопрос моего спутника:

— Как я поживаю, вы спрашиваете? Черт возьми, скверно я поживаю... скверно... Вот и теперь еще не могу отделаться...

— А что такое?

— Что такое? Да как вам это рассказать — что это такое!.. Вот я попробовал было на бумаге рассказать, что это такое... Хотите, прочту, так, отрывочек?.. Ведь я все одно, пока не освобожусь от этого, не исчерпаю до дна, все одно буду плохим вам собеседником. Теперь у меня такая уж линия.

Мы, конечно, вполне с ним согласились. Александр Иванович взял пачку мелко, но четко исписанных четвертушек.

— Видите ли, у меня еще нет этому названия... Это ведь так только — вступление. Думаю я назвать: «Говорящая обезьяна» [3]. Странно? Да? Может быть, непонятно даже? Ну, да не в названии дело. Как увидите, оно и все как будто не в обычном вкусе, чертовщинкой отзывает...

Александр Иванович начал читать четко и внятно.

Это было действительно странное произведение, совсем «не в обычном вкусе». Самая мысль воспроизвести бред наяву больного, исстрадавшегося, измученного и измучившего себя человека, со всем ужасом кошмара и терзающих галлюцинаций, но галлюцинаций не фантастических, а полных мельчайших деталей жизненного, реального содержания,— эта мысль поразила нас смелостью и глубиной. Но нужно было видеть самого автора, чтобы понять, чего ему стоило исполнение задуманного. Иллюзия была до того полная, что нам действительно казалось, будто все рассказываемое им было не только раньше пережито им самим, но и переживалось теперь перед нами в том же виде мучительных галлюцинаций. Чем дальше читал Левитов, чем больше уходил он в самую глубь своего произведения, тем больше казалось нам, что созданные им образы действительно обступают его своей терзающей семьей и он ведет с ними подлинные разговоры.

Вот перед его героем сначала, как бы в тумане, выступает маленький-маленький мальчик — это он сам, в пору своего невинного детства, со всеми своими невинными радостями. Мальчик сначала рассказывает ему, с каким радостным чувством готов он был вступить в божий мир, как сначала показалось ему, что все окружающее — и чудная природа, и люди — готово было, казалось, принять его любовно и тепло, но... это было мгновение, и не успели еще появиться в его душе первые проблески сознания, как уже демон лжи и страдания капля за каплей начал отравлять младенческую душу. Вот он — отрок. В его душе пробуждается «божия искра»; он смутно чувствует ее разгорающееся пламя; она инстинктивно влечет его к возвышенным порывам; она заставляет его искать сочувствующую душу, которая оберегла бы ее от холода и мрака, окружила бы теплом и светом, раздула бы искру в пламя дуновением любви и участия, но... но вместо этого мертвящий холод рутины, затаенная, непостижимая вражда к молодой душе тех, в которых она должна бы найти своих руководителей и просветителей. «А-а, мальчик! Ты вот о чем думал? Ты вот чего хотел? ха, ха, ха! Нет, голубчик, погоди. Мы тебе покажем, милый мальчик, какова она такая штука — жизнь». И дикий холодный хохот чьих-то злорадных теней терзает душу ребенка, наполняя ее тяжкими предчувствиями, сковывая только что распускающиеся чувства и мысль... Вот перед ним является юноша. «А-а, мальчик уже вырос!.. Ну, посмотрим, что ты скажешь!..» Вот юные порывы к свету, знанию, правде... первые мечты... И опять отрава, опять терзания вплоть до этих галлюцинаций.

Все это был почти еще сырой материал, набросанный отрывками. Читая, Александр Иванович часто дополнял многое своими словами, часто вставлял целые новые сцены, которые рождались в его фантазии тут же, во время чтения. Когда он кончил, он был бледен, рукопись дрожала в руках, глаза были полны слез.

— Все это, как видите, еще отрывки,— заметил Александр Иванович.— Но мне тяжело приступать к обработке этой вещи... Я боюсь сам ее. Надо вон отсюда... мне так и кажется, что изо всех углов и стен, отовсюду глядят эти тени и хохочут надо мной душу раздирающим смехом.

Рассказ этот так и остался недоконченным. Появились лишь отрывки из него под разными названиями.

Так дорого иногда стоили Левитову его произведения, и понятно, что ему действительно было тяжело писать эту вещь, а тем более вряд ли бы он мог бесстрастно и спокойно обработать ее.

Я долго не мог отрешиться от тяжелого впечатления как от этого рассказа, так и от тех истинных «мук творчества», которые терзали Левитова. И это было тем тяжелее, что по некоторым намекам в последующих наших разговорах ему как будто хотелось выбиться из-под гнета этой юдоли горя и скорби, подняться над нею, повеселее и пошире взглянуть в лицо жизни, отдаться вновь тому юношескому размаху поэтического чувства, которым так богата была его натура. Недаром он любил и Пушкина и Гоголя, зачитывался «Войной и миром» Льва Толстого. Он, может быть, больше, чем кто-нибудь другой, знал и чувствовал, что русский народ — как бы ни была велика его страда — был могучий, исторический народ, создавший великое государство, взрастивший и воспитавший в себе ту «душу живую», которая, лишь только касался ее свет свободы и духовного развития, являла миру высокие образцы ума, таланта, самоотречения и подвига. Но было уже поздно: «маленький человек» с его горем и демоном-мучителем крепко-накрепко заполонил себе Левитова; он выпил весь сок его нервов, истерзав муками непрестанного душевного беспокойства и заставив выпить всю ту чашу бедности и бесприютности, в которой погибал сам. Левитов был истинным поэтом нашего пролетария, «поэтом горя сел, дорог и городов» [4], сумев не только проанализировать это горе, но и согреть мягким поэтическим чувством, несмотря на все тяготы переживаемых ощущений. Некоторые справедливо замечали, что в его произведениях чувствуется что-то диккенсовское.

А как он безвременно погибал, мне, к моему великому горю, пришлось видеть довольно близко. Года через два-три после описанной мною встречи с Александром Ивановичем я увидался с ним уже в Москве, где я временно проживал в то время и куда переехал было на житье и Левитов. Я жил тогда в одной из таких же мансард, в которых всю жизнь провел Левитов. Сюда-то он ко мне и

заявился. Я был сначала чрезвычайно изумлен, когда ко мне вошел в номер Александр Иванович, весь сияющий, веселый, предовольный.

— Вот и я перебрался в Москву! — вскричал он.— Я, знаете, ее больше люблю, чем другие города... Может быть, первые впечатления остались в душе... Здесь ведь меня в литературу крестили [5]... Вот и теперь, поздравьте, здесь у меня уже есть перспектива-с! Не догадываетесь, в чем дело? Знаете N? Издателя иллюстрированного журнала? Ну, так вот, захожу к нему (признаться — за авансом), а он мне сразу: «Да, Александр Иванович! А мы вас-то и ждали! Не хотите ли взять у нас редакторство?» А? Каково? Вот, говорит, только жена приедет — вы с нею познакомитесь, переговорите обо всем, и дело будет в шляпе. Ведь она главным образом хозяйствует, так сказать официальная представительница... Какова перспектива-то, батенька? А? Нет, вы то подумайте,— свое дело, литературное, обеспечен буду хоть на месяц в некотором определенном смысле, вздох будет... Да что тут говорить!..

И Александр Иванович был счастлив и доволен, как ребенок... Он шутил надо мною с женой, произносил юмористические тосты в честь нашего «медового месяца» (мы только что незадолго повенчались), трунил над слугой в засаленном фраке, желавшим изобразить из себя самого галантного человека или «самоновейшего хама», по выражению Александра Ивановича. Но все это его веселье было какое-то подозрительное, чувствовалось в нем что-то зловещее. Не прошло и часа, как вдруг Александр Иванович закашлял страшным, убийственным кашлем. Он кашлял долго и мучительно, до рвоты, до полного истощения сил, так что мы должны были с женой уложить его в постель. Только теперь мы заметили, как он, несмотря на свои 50 лет [6], был мал, худ и бессилен. Поистине трудно было и представить, как еще в нем бодрствовал дух. Отдышавшись немного и отдохнув, Александр Иванович уже совсем не был похож на того, каким он явился. Он встал мрачный и подавленный, и глубокою грустью звучали его слова.

— Вот и вы начали уж хворать,— говорил он мне.— Ах, нехорошо как это, нехорошо... И вы, барынька, тоже

не ахти здоровьем-то... А жизнь тяжела, страшна... Впрочем, простите, добрые мои, что я вас пугаю... Будьте счастливы, хотя минутку счастливы в жизни. Помогайте друг другу... Это главное... А то мы, без помощи друг другу,— ах, тяжело!.. Ну, прощайте, буду ждать вас к себе.

Через несколько дней мы с женой разыскали Александра Ивановича опять в излюбленных им «комнатах с небилью», но, кажется, еще он никогда не занимал таких сквернейших из всех меблированных комнат. На дворе стоял мороз. Сильный ветер пронимал до мозга костей. Уже входя в вонючий и холодный коридор номеров, можно было заметить, что тут не особенно балуют жильцов, надеясь на их испытанное терпение. Когда мы вошли в крохотный номерок, на нас пахнуло той зловещей холодной сыростью, которая свойственна таким номерам. И сам Александр Иванович и его жена были в теплых пальто и чуть ли не в калошах.

— Не раздевайтесь лучше! — закричал Александр Иванович, увидав нас,— входите прямо. Черт знает, должно быть, не топят, хамы! А ведь на улице-то, говорят, что делается: светопреставление! Ну, садитесь... А я вот сейчас,— только десяток строк осталось... А ты, Надя, там скажи самоварчик, да печку бы растопить... Вот как мы разопьем горяченького — оно и потеплее будет!

Александр Иванович уселся с ногами на диван и стал просматривать корректуру своего рассказа. Десять строчек, оказалось, стоили недешево для Александра Ивановича.

— Это ужас, что они со мною делают! Да кто ему позволил издеваться надо мной,— горячился Александр Иванович, выходя из себя и с ожесточением черкая строки.— Да как он смеет кощунствовать!.. Понимает ли он, что ведь каждая строка мною взвешена и умом и чувством, каналья эдакая! Ведь это то же, что музыка... А он, изволите видеть, все слова у меня и переставил. Все, все! Не понравилось, видите ли, ему, не по канцелярскому жаргону пишу... Ах, каналья, ах, каналья!..

У Александра Ивановича выступил на лбу пот, он кашлял, задыхался и выходил из себя.

Как известно, Левитов в большинстве случаев писал особым, выработанным им, певучим, гармоническим стилем и потому дорожил не только каждым словом, которое ему казалось в данном случае наиболее уместным, но даже и расстановкой их. Понятно было его озлобление против невежественного редактора, вздумавшего исправить его слог.

— Ну что же, Надя, самоварчик? — крикнул Александр Иванович,— холодно.

— Александр Иванович! Поди-ка сюда,— вместо ответа позвала его из-за ширмочек супруга. И вот за этими ширмочками послышался тот зловещий шепот между хозяевами, который нередко приходится слышать у бедных жильцов «комнат с небилью» их не во-время навестившим гостям.

— Это невозможно! — вскрикнул Александр Иванович.— Да ведь эдак, наконец, издохнуть можно! Ах, хамы, хамы!

И он, хлопнув дверью, быстро исчез в коридор.

— Нет, этак невозможно дальше! Они даже не хотят топить печи, хамы,— волновался, возвратившись, Александр Иванович, расстроенный, задыхающийся, с выступившими багровыми пятнами на лице.

Мы спросили его, не можем ли быть хоть чем-нибудь ему полезны.

— Нет, нет... Это все устроится. Сейчас будет самоварчик... Мы побеседуем. Надо будет вот только сегодня же кончить эту вещь. Не знаю только — отпустит ли кашель... А они без рукописи ничего больше не дают, канальские дети,— намекал он на издателя.

— А знаете, насчет редакторства-то что я вам говорил? Как вы думаете — чем кончилось?.. Вот так это штука! Приехала, видите ли, *сама*, ну, меня представили... Восторг! Умиление! «Ах, какое это нам счастье; мы все вместе будем служить одному делу» — и пр. и пр. в таком возвышенном роде.— «Пожалуйста, переселяйтесь завтра же».— «Сударыня, говорю, очень рад служить: но чем? Какие то есть мои права и обязанности будут?» — «Как какие? Вы просто будете при нас... так сказать, у самого дела... Ну, поможете мужу просматривать корректуры, исправите слог... Мой муж большой лентяй... Непривычка,

конечно, а всякое дело мастера боится... Мы надеемся, что это вас оживит, возбудит ваше вдохновение, и вы будете писать, писать, писать!.. Будет вам бродяжить! Вы будете иметь готовый стол и миленькую маленькую комнатку при редакции, в хорошем семействе!.. Конечно, построчный гонорар вы будете получать попрежнему... Ваши вдохновения останутся неприкосновенны; будьте уверены — мы умеем оценить...» — «Сударыня,— говорю я, прижимая руку к сердцу,— от всей души признателен вам за участие к бедному русскому писателю, но, увы! по склонности к бродяжничеству и неблагонамеренному направлению мыслей не рискую обеспокоить своим присутствием столь почтенного семейства...» Ах, хамы! хамы! — заключил Александр Иванович.— Нет, каковы перспективы-то: стол и маленькая комнатка в хорошем семействе за обучение супруга литературным упражнениям! [7]

Александр Иванович еще продолжал острить над «перспективами», но мы скоро распрощались, подавленные гнетущими впечатлениями.

К сожалению, я сам тогда был болен и едва в состоянии был выходить из квартиры и потому не мог часто навещать Левитова. Через неделю после этого рокового дня я получаю от него маленькую записку такого содержания: «Дорогой Н. Н., поздравьте меня: я, наконец, в самом центре самого лучшего тепла и какой-то милой безмолвной тишины, т. е. в клинике, в 13 палате, на Рождественке». Затем шла просьба о кое-каких поручениях [8]. Вряд ли кто-либо из русских писателей написал когда-нибудь самому себе более характерную эпитафию, как эти немногие строки, проникнутые такою наивною искренностью и в то же время такой грустной иронией!..

Последний день нашего свидания был действительно роковым днем для Левитова. По уходе нас Левитов не выдержал и, раздраженный, в холодном пальтишке и пледе, несмотря на суровую вьюгу, потащился на «ваньке» в редакцию. В результате получилось, как говорили, счетом пять рублей в руках и воспаление в давно уже никуда не годных легких.

Вскоре я должен был уехать из Москвы и уже в провинции через несколько недель получил известие о смерти Александра Ивановича [9].

ТУРГЕНЕВ, САЛТЫКОВ И ГАРШИН

I

С Тургеневым мне пришлось встретиться при несколько исключительных условиях. Это было, кажется, в начале 80 года [1], когда был основан «молодой» группой сотрудников «Отечественных записок» [2] небольшой «артельный» журнал «Русское богатство» [3]. Помнится, молодая редакция решила просить Тургенева, через Г. И. Успенского, бывшего в то время за границей и видавшегося с ним, прислать что-нибудь для нового журнала. Тургенев, ввиду известных натянутых отношений между ним и «молодым поколением», начавшихся еще с «Отцов и детей» [4] и не рассеявшихся даже после «Нови», был, говорят, особенно тронут этой просьбой. Он тотчас же передал в редакцию, на первый раз, небольшое стихотворение «Игра в крикет в Виндзоре» (в журнале не напечатанное по цензурным условиям, как говорили ввиду дипломатических соображений) [5]. В это же время Тургенев выразил желание ближе сойтись и познакомиться с «молодым поколением», на первый раз в лице редакции нового журнала, и протянуть друг другу руки в знак «примирения». Это «слияние» и должно было произойти в первый же приезд Тургенева в Петербург. Помню, о предстоящем свидании шли среди молодых литераторов большие разговоры: «ригористы» решительно протестовали против такой «слабости», а тем более против того, чтобы самим брать на себя инициативу

этого свидания. Споры обострились еще более, когда стало известным, что Тургенев никак не может сам прийти в редакцию (или к кому-либо из членов ее), так как вследствие подагры был не в состоянии подниматься на верхние этажи. Требовалось устроить подобающую обстановку свидания. Решено было воспользоваться гостеприимством одного богатого золотопромышленника[6]. Для большинства соблазн побеседовать по душе с «большим» писателем (а побеседовать в то время было о чем) был настолько велик, что оно не устояло и приняло эту комбинацию.

В назначенный час я, в сопровождении товарища, двинулся на званый вечер в салон г. N. Признаться сказать, до такой степени большинство из нас, разночинских литераторов[7], было робко, дико, застенчиво, что одно только антре * салона привело нас в полное смущение, а когда мы вошли в богатое большое зало, убранное тропическими растениями, когда увидали впереди стоявшее отдельно кресло, а вокруг него целый ряд стульев, уже наполовину занятых не известной нам публикой, как будто ожидавшей выхода на эстраду знаменитого певца или музыканта, мы смутились окончательно и сгрудились в сторонке около входной двери. Очевидно, нас ожидало впереди вовсе не то, на что мы рассчитывали. В публике говорили вполголоса, сам хозяин постоянно подходил к лестнице и смотрел вниз, чтобы не пропустить момент приезда гостя. Во всем чувствовалось что-то необыкновенно торжественное. Вдруг зазвенели по всем комнатам электрические звонки. Хозяин сорвался с места и бросился к лестнице, за ним поднялась хозяйка. Глаза всех напряженно обратились к дверям. По лестнице поднималась величественная седая фигура Тургенева. Джентльмен с головы до ног, безукоризненно одетый, изящный и любезный, с свободно величавыми жестами, он, как истинный «король» литературы, широкими, твердыми шагами прошел к приготовленному для него месту. Публика заняла полукруг стульев вокруг него, и Тургенев, как воспитанный общественный человек, давно привыкший ко всевозможным салонам, тотчас, кажется, понял свою роль. Пока публика терялась, не зная, с чего начать разговор, он сразу взял все дело в свои

---

* вход (*франц.*).

опытные руки и начал свободно, оживленно и остроумно рассказывать о своей заграничной жизни, о встречах с разными особами; затем, мимоходом, упомянув о современных русских делах, выразил сожаление об «обоюдных крайностях» и, наконец, как-то совершенно неуловимо перешел к характеристике «народа», который, по его мнению, растет не по дням, а по часам, и мы не заметим, когда он будет совсем большой. Как иллюстрацию этой мысли, он бесподобно передал два эпизода из своей деревенской жизни [8].

В первом он рассказал уморительную сцену встречи важной особы.

Публика долго смеялась, прежде чем Тургенев, с губ которого не исчезала все время тонкая ироническая улыбка, перешел к другому рассказу.

— А вот это уже недавно было. Заехал я побывать в свое старое имение. Думаю, посмотрю, как-то там, что осталось от старого,— все же была старая поэзия, воспоминания... Признаться сказать, холодно почувствовалось, сиротливо, неуютно... Да оно так и должно быть!.. так и должно быть!.. Велел это я старосте вынести на террасу самовар; сел один, пью чай... Вот вижу: двигается неторопливо к дому молодая деревня, все ближе и ближе. Смотрю: пиджаки, сапоги с наборами, глянцем так и прыщут, на головах картузы, словно накрахмаленные, натянуты,— идут, зернышки погрызывают, скорлупки на стороны побрасывают. Подошли, остановились невдалеке от меня. Смотрят; глаза веселые, бодрые. Приподняли, не торопясь, над головами фуражки, опять, не торопясь, аккуратно надели.

— Ивану Сергеичу-с! — говорят.

— Здравствуйте, господа.

— Разгуляться, значит, к нам приехали?

— Да.

— Соскучились по родной стороне?

— Соскучился.

— Поди, не весело теперь здесь?

— Вот посмотрю.

— Тэ-эк-с!

Я не припомню хорошенько всех характерных деталей разговора, да и не в этом собственно дело было, а в том

непередаваемом тоне, с которым он велся и воспроизвести который мог только такой неподражаемый рассказчик, как Тургенев. Он действительно был неподражаем. Я, конечно, и сотой доли не могу теперь передать тех тонких черт, характерных выражений, неуловимых деталей, с которыми передавал оба рассказа Тургенев.

— Стоят, зернышки грызут, скорлупки на сторону побрасывают,— повторял Тургенев.— «Счастливо, говорят, оставаться, Иван Сергеевич!»

— Ну, мыслимо ли было что-нибудь подобное двадцать лет назад!

Иван Сергеевич иронически добродушно улыбнулся, публика была в восторге. Присутствовавшие тут некоторые редакторы и издатели тотчас же набросились на Тургенева с просьбами «непременно», «обязательно» воплотить эти «чудные вещи» в перл создания и, конечно, вручить для напечатания в их журналах.

— И, имея такой неистощимый запас творчества, вы, Иван Сергеевич, так скупо нас дарите своими произведениями! — восклицали они,— это — просто грешно!..

— Э, господа,— сказал Тургенев, — вы нас, писателей, плохо знаете. Рассказать что-нибудь забавное в игривом тоне — это вовсе не так трудно, а воплотить этот же рассказ в художественном произведении — это большое дело! Вот я вам сейчас рассказал два эпизода, вам понравилось, а попробуй я их сейчас же, придя домой, передать на бумаге, я уверен, что ничего не выйдет, даже строчки не напишу!..

Разговоры в том же направлении продолжались еще несколько времени.

Наконец, Тургенев громко поднялся: очевидно, «сеанс» был кончен. За ним шумно поднялась публика, и только теперь Тургенев, повидимому, вспомнил, что у него с кем-то должно было произойти свидание «по душе», одним словом, совсем не то, что вышло на самом деле. Он стал искать кого-то глазами и, наконец, обратился с каким-то вопросом, кажется, к Гаршину или Успенскому, с которыми был знаком раньше. Ему указали в дальний угол, где сидело несколько человек из «молодой» литературы. Проходя мимо к выходу, он любезно и благожелательно пожал нам руки, сказал каждому по нескольку

лестных слов, дав понять, что он слыхал уже нечто «о молодых талантах», и попрежнему торжественно удалился. Мы были решительно огорчены всей этой торжественностью, которой никак не могли и предполагать.

Кажется, на другой или на третий день ко мне приходит Г. И. Успенский.

— Это черт знает что вышло! — говорит он,— это совсем невозможно. Я слышал, что Тургенев сам остался недоволен, что все так случилось. Поедемте сейчас к нему, поговорим с ним и, кстати, условимся насчет нового, уже настоящего свидания у кого-нибудь из нас. Только поедем пораньше, чтобы застать его на свободе, пока еще никто на него не налетел из поклонников.

Мы поехали часов около одиннадцати. Тургенев остановился в отеле на Морской. Он занимал довольно большой и богатый номер. Мы застали его за чаем, свежего и бодрого, уже изящно, хотя и по-домашнему одетого в легкое длинное пальто. Он тотчас же разговорился с нами очень весело и оживленно.

— Да, да,— говорил он,— мне это было ужасно неприятно, что тогда собралось так много постороннего народа... Но как же бы нам это устроить получше, по-домашнему?

Успенский предложил собраться у него как-нибудь вечером, хотя при этом предупредил, что находит это в одном отношении не совсем удобным: его квартира на третьем этаже, и для Тургенева будет, может быть, совсем трудно взобраться туда. Но ничего нельзя было придумать лучше, так как ни у кого из нас не оказалось квартиры ниже третьего этажа. Тургенев предупредительно заверил, что это для его ног еще вовсе не так высоко и при помощи палки он легко взберется. Мы уговорились относительно дня и часа нашего нового свидания.

— Мы очень рады,— сказал Успенский,— что, кажется, никто еще у вас не был и мы застали вас одних.

— Вы думаете? — засмеялся Тургенев.— Напрасно. Только что перед вами у меня была одна барынька, большая моя поклонница, и мы уже успели решить с нею немало важных литературных вопросов, хотя бы, например, о том, как теперь надо писать романы. Она сама писательница [9], мне кажется, у нее есть талант... но она затруд-

няется, видите ли, насчет содержания и спрашивает меня, что бы я ей посоветовал изобразить, на какой тип обратить внимание, какая тема была бы интереснее... Довольно, знаете, затруднительно отвечать на такие вопросы... Но мне пришла в голову счастливая мысль. «Знаете, что бы я посоветовал, сударыня,— сказал я,— вместо того чтобы нам, романистам, пыжиться и во что бы то ни стало выдумывать «из себя» современных героев, взять, знаете, просто самым добросовестным образом биографию (а лучше, если найдется, автобиография) какой-нибудь выдающейся современной личности и на этой канве уже возводить свое художественное здание. Конечно, при условии, что из этого не выйдет «личностей»!..» Как вам кажется эта мысль? Я сказал ее барыньке вместо шутки, а теперь мне думается, что она может иметь за себя некоторое серьезное основание.

Мы согласились с ним и попросили его развить свою мысль.

— Да ведь это действительно верно! Посмотрите сами, разве наше время не представляет целый десяток в высшей степени оригинальных и глубоких по своим психическим свойствам личностей?.. Да какая же беллетристическая «выдумка» может сравниться с этой *подлинной* жизненной правдой. Вот хотя бы взять недавно умершего писателя Слепцова...[10] Говорят, была преоригинальная личность... А других, других сколько — не чета Слепцову!

Тургенев воодушевился, повидимому его самого заинтересовала новая мысль, и мы могли ожидать продолжения очень интересного разговора, как вдруг звонок.

— Входите! — кричит Иван Сергеевич.

— Вас ли мы видим, Иван Сергеевич, опять в наших местах! — захлебываясь, залпом выпаливает запыхавшийся поклонник, врываясь в номер.

— Здравствуйте!.. Очень рад вас видеть... Мы, кажется, виделись с вами случайно в Париже?..

— Как же, как же!..

Но не успел еще гость высказать своих «приятных» воспоминаний о встрече с Иваном Сергеевичем, как уже второй звонок.

— Мы ли вас видим, Иван Сергеевич! — кричит

новый поклонник, неистово потрясая руки Тургенева и умиленными глазами впиваясь в его лицо.

— Садитесь, садитесь! Очень рад,— говорит Тургенев.

— Ну, значит, достаточно,— шепчет мне Успенский.— На нынешний раз и того довольно, что успели переговорить... Теперь уж баста — *он* в плену! Поедем.

Мы еще раз напомнили Тургеневу о нашем уговоре и распрощались.

В назначенный вечер нас собралось у Г. И. Успенского человек более десяти, сгрудившись в его маленьком зальце за обыкновенным раздвижным обеденным столом. К назначенному часу явился и И. С. Тургенев, и появление это теперь совершилось уже без всякой торжественности. Это было приятно, но, увы! и теперь не произошло, кажется, того, чего так долго мы все ждали, именно того «по душе», о чем мы сильно мечтали, то есть и мы — «новое поколение» и он — маститый ветеран славного прошлого. Не могу, конечно, отвечать за других присутствовавших на этом вечере, которые, может быть, вынесли другое впечатление, но я... я не был удовлетворен, и мне казалось, что не были удовлетворены ни сам Тургенев, ни многие другие. Тургенев, быть может, наивно думал, что мы вдруг оживимся, заговорим, заволнуемся так же вольно, широко, беззаветно, как бывало это в кружках Станкевича и Белинского [11], а его старческому сердцу оставалось бы только таять и млеть и любовно-отечески радоваться на нас, а мы столь же наивно ждали, что вдруг он развернет перед нами свою душу, ту святую святых, в которой совершается великая тайна творческого проникновения, или по крайней мере поведает нам свои тайные взгляды на ту новь, которую, как нам думалось, он только чуточку еще затронул, робко, неуверенно, даже иногда фальшиво. О, как далеко было это время от тех блаженных времен, когда могли вестись эти беззаветные, бесконечные разговоры о «матерьях важных», когда юные приятели могли писать друг другу письма в десять, двадцать или более печатных листов, когда между ними царила такая же дружба, как между платонически влюбленными институтками! Многие из нас сидели по углам замкнутые, сосредоточенные, из которых каждое

слово надо было тянуть клещами. И не потому, конечно, чтобы они уж так «холодны» были сравнительно со своими идеалистами-предшественниками, и чтобы у них вместо «души» был пар, и чтобы они были «жестки и черствы», как то думал когда-то о Добролюбове сам Тургенев [12], а потому... Впрочем, вряд ли бы тогда кто-нибудь из них, а тем более сам Тургенев — в то время уже человек из далекого мира грез и художественных созерцаний,— могли понять и объяснить эти «почему». Но теперь, когда знаешь, как многие из присутствовавших там уже были отмечены неумолимой страшной судьбой, когда вспомнишь Гаршина, Левитова [13] (хотя его там и не было, но были подобные ему)... самого хозяина... все это сделается так понятно, так естественно. Конечно, разговоры велись, и больше всего опять-таки вел их сам Тургенев, очевидно не любивший натянутых положений, но не было, насколько мне помнится, ничего захватывающего, сильного, характерного, хотя, конечно, было немало интересного в том смысле, в каком интересно всякое «слово» знаменитого человека.

Между прочим, Тургенев все расспрашивал о «новых», «оригинальных» людях, о существовании которых он мог догадываться, но видеть и знать которых не мог. Ему, между прочим, тут же были указаны некоторые «из кавказских колонистов» прежнего еще, не «толстовского» типа [14]. По поводу этой темы Тургенев говорил, что он сам недоволен «Новью», что это он только наметил некоторые черты, которые мог проследить по своим заграничным знакомым, что он теперь очень занят мыслью глубоко изучить это явление и что у него уже теперь имеется план изобразить русского «социалиста», именно «русского», который не имеет ничего, в главных психических основах, общего с социалистом западноевропейским [15].

Все это, конечно, было очень интересно; но, к сожалению, вследствие головных болей, какими я страдал в то время, я не мог высидеть до конца беседы. Знаю, впрочем, что, повидимому, особенно выдающегося ничего не произошло. «Слияние» и «примирение» состоялись само собою, насколько могли состояться, так как прежде всего в них и надобности не было: с одной стороны, Тургенев вскоре же мог убедиться из необыкновенно шумных ова-

ций, которыми он был встречен на первом же публичном чтении [16], что между самым «новейшим» поколением и им не существует уже ничего из прежних, отшедших в область преданий недоразумений, с другой — времена были настолько другие, что никому уже и в голову не приходило поднимать старые дрожжи.

II

А какие тогда были времена и какие они развивали в глубоко чутких натурах настроения, достаточно припомнить одного из «молодых» писателей — Гаршина и то, что с ним произошло чуть ли не через несколько дней после этого вечера.

Познакомился я с В. М. Гаршиным незадолго до выхода первой книжки нашего «артельного» журнала [17], куда он передал для напечатания свою «крохотную» рукопись, состоявшую всего из двух-трех четвертинок бумаги, исписанных мелким, «бисерным» почерком и заключавших в себе его известный рассказ «Attalea princeps»,— это был, кажется, всего только второй его рассказ после знаменитых «Четырех дней» [18], которые сразу создали ему известность. Эта «Attalea princeps» послужила, между прочим, поводом для одного очень характерного инцидента, о котором очень стоит здесь упомянуть.

В то время в «Отечественных записках» существовало два приемных дня в редакции: один — официально редакционный, по понедельникам, днем, когда собиралась вся редакция в полном составе, с М. Е. Салтыковым во главе; в этот день главным образом и могли видеться и беседовать с Салтыковым все, имевшие до него дело. На своей квартире он принимал сотрудников редко и только в исключительных случаях, так как общих журфиксов у него не было. Для общения же сотрудников между собою и с редакторами существовали такие журфиксы в квартире Г. З. Елисеева, в помещении редакции, куда нередко появлялся и сам Салтыков, если ему было с кем «повинтить» (разговаривать на этих вечерах он, повидимому, не любил) [19]. На одном-то из таких вечеров я и познакомился с Гаршиным. Известно, какой это был мягкий, нежный, не-

обыкновенно деликатный и застенчивый человек, застенчивый больше от своей необыкновенной нервности. Зашел разговор о нашем новом журнале[20]; я напомнил ему об обещании дать что-нибудь для первой книжки.

— Я, конечно, очень, очень рад был бы, если бы мог,— сказал Гаршин.— Только... я... видите... пишу мало... Все у меня не выходит... Вот попробовал... новенькую написать.

— Ну, вот и дайте..

— Да нет... видите ли... Ничего не вышло... Говорят, плохо... Не приняли... возвратили назад...— смущенно говорил Гаршин.

— Кто не принял?

— «Отечественные записки»... Салтыков... Да это верно!.. Я теперь сам вижу... Не следовало отдавать...

— Все же вы дайте нам.

— Да как же?.. как-то неловко...

— Ну, однако... дайте нам прочесть хотя...

— Хорошо... Как хотите... Я только еще просмотрю ее... может быть, исправлю.

Немного спустя «Attalea» появилась в первой книжке нового журнала.

Нужно сказать, что к нашей затее с «артельным» журналом опытный старец Салтыков относился очень скептически и все время, пока шла организация этого дела, добродушно ворчал на нас и иногда даже сердито выговаривал, что мы этой затеей только будем обессиливать «Отечественные записки», сами закабалимся в новую работу, а толку из этого никакого все одно не будет. Но молодость плохо верит «брюзжанью» опытных старцев; мы продолжали вести «свою линию» и только старались утешать старика, что мы своей затеей никакого ущерба ему и его делу не принесем. Однако, тем не менее, чем больше приближался час выхода в свет нашего новорождающегося литературного детища, мы все больше трусили и побаивались, как-то примет его наш старик?

Между прочим, представлять ему это новорожденное детище жребий пал на меня.

Как ни глубоко я верил в «добродушие» нашего сурового старика, однако меня не покидала мысль, что мне предстоит выдержать «крупное» объяснение.

Скрепя сердце в одно туманное петербургское утро поднялся я в квартиру Салтыкова с «детищем» подмышкой.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте... Вижу уж, вижу! — сердито улыбаясь, встретил меня старик, кивая головой на протянутую ему мною свеженькую книжку.

— Вот, Михаил Евграфович, просим вас любить и жаловать,— проговорил я заранее приготовленную фразу.— Принес на ваше усмотрение...

— Что усмотрение!..— махнул он безнадежно рукой.— Говорил — не послушали, вольному воля... Хотите руки себе еще связать — ваше дело... Ну, показывайте, что у вас там,— проговорил он, начиная просматривать оглавление.

Я не спускал глаз с него. Вдруг по его лицу пробежала судорога; он сердито закряхтел...

— Гм... Гм... Это вы зачем же «Атталею»-то приняли?.. Это... значит... я, по-вашему, преступление сделал, что не поместил ее? А? Значит, мол, старик из ума выжил, чутье, мол потерял... так, что ли? — вдруг загремел он, повидимому действительно огорченный.

— Вы напрасно это так принимаете к сердцу, Михаил Евграфович,— говорил я,— мы решительно не думаем, чтобы эта невинная в сущности вещица могла вызвать какое-либо между нами и вами недоразумение... Написана она очень талантливо, греха в ней особого мы не видим, и для маленького журнала эта маленькая сказочка кажется вполне уместной... Другое дело — для «Отечественных записок»...

— Талантлива! Греха не видим? — заворчал опять старик.— А по-моему, это... по-моему, это — черт знает что такое! Талантлива!..

— Мне кажется, Михаил Евграфович,— говорил я,— что вы напрасно увидали в ней то, чего она не заключает в себе, вам показалось, быть может, что автор что-то проповедует...

— Да, конечно, проповедует... Фатализм проповедует... вот что-с! Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее... Ведь с таким фатализмом — куда же дальше идти? Ну, говорите...

— Михаил Евграфович, не найдете ли вы, что на этот рассказ можно смотреть с другой стороны, которую, как кажется, автор именно и имел в виду... В сущности чего же иного, как не безнадежного отчаяния, и можно было ожидать от хрупкого, оранжерейного существа, неожиданно заглянувшего в иной мир для жизни и борьбы, в котором вырастают и воспитываются иные силы?.. Я уверен, что именно так думал и чувствовал сам автор...

— Ну что ж, как хотите,— заговорил старик уже другим тоном.— Хотите так смотреть — смотрите... Может быть, я и ошибся... Устарел уж... Пора мне и на смену из редакторов...

Долго еще добродушный старик говорил на эту тему, долго мне пришлось защищать перед ним новое детище и рассеивать в нем разные мрачные мысли и перспективы, которые возбуждало в нем будущее и нашего журнала и нас самих. Много было высказано им хороших мыслей по этому поводу, но я когда-нибудь передам их лучше при другом случае *.

А теперь я вернусь к Гаршину.

Первое мимолетное знакомство с ним, а потом инцидент с его «Attalea» — вызвало во мне сильное желание познакомиться с ним поближе и именно побеседовать «по душе».

Однажды Гаршин зашел ко мне,— я очень ему обрадовался,— я было заговорил с ним радушно, попросту... но, когда пристальнее вгляделся в его лицо, у меня вдруг перехватило горло: очевидно, он не слышал и не понимал ни слова из того, что я ему говорил; глаза его, широко открытые, смотрели странным, блуждающим взглядом, щеки горели. Он взял меня за руку своей холодной и влажной.

— Нет, не говорите... Все это ужасно, ужасно! — проговорил он.

— Что ужасно? — в изумлении спросил я, так как ничего ужасного совершенно не было в том, что я ему говорил.

---

* В конечном результате между обоими журналами скоро установились самые благодушные отношения, а рассказ Гаршина был единственным поводом к возникшему недоразумению. Приведенный же эпизод навсегда запечатлел во мне симпатичный образ сурово-добродушного идеального редактора-ригориста. *(Прим. автора.)*

— Нет, не говорите лучше... Я не могу... Надо все это остановить... Принять все меры...— И он боязливо сел в угол.

В это время вошел другой знакомый, я занялся с ним и не заметил, когда исчез Гаршин из комнаты. Через несколько времени входит прислуга и передает, что «барин» сидит на лестнице и что, должно быть, ему «плохо». Я бросился туда. Гаршин сидел в одном сюртуке на ступеньках лестницы, несмотря на мороз. Когда я его окликнул, он, с улыбкой провинившегося ребенка, взглянул на меня и заплакал. Я привел его в комнату.

— Это ничего, ничего... Это так... нервы,— говорил он.— Там у меня в пальто есть пузырек...

Я нашел ему пузырек с какими-то каплями. Он выпил и, повидимому, успокоился.

— Ну, теперь надо идти,— сказал он.

— Куда же вы? Подождите еще немного...

— Нет, нет... надо... Надо непременно к одному знакомому...

И он ушел.

На другой день приходит один из наших общих знакомых и взволнованно спрашивает:

— Не видали Гаршина?.. Был он у вас? Когда?

Я сказал.

— Ведь он пропал... Его два дня уже не было дома...

Я рассказал о его странном поведении у меня. Товарищ снова бросился на поиски.

На следующий день Гаршин нашелся: где и как, я уже теперь хорошо не помню; кажется, сам явился к себе домой. Он был болен и никуда не выходил. Только спустя уже порядочное время удалось выяснить, что с ним произошло. Выйдя от меня, он отправился к одному своему знакомому, кажется чиновнику какого-то министерства, не застал его дома, написал ему записку и, оставив свое легкое пальто (я припомнил, что он в нем именно приходил ко мне), надел его «важную» богатую шубу и ушел. Оказалось, что он, наняв лихача, в этой важной шубе подкатил к подъезду дома графа Лорис-Меликова и позвонил, несмотря на поздний час (кажется, было около 9 час. вечера). Изумленный швейцар не решил его впустить, но, видя такую «важную» шубу и притом настойчи-

вое требование видеть графа «по очень экстренному делу», лакей решил доложить. Граф был дома и принял Гаршина. Что произошло между ними — никому в подробностях неизвестно *.

После того Гаршин болел очень долго [21].

* После таинственно передавали, что все это произошло почти накануне приведения в исполнение приговора по делу Млодецкого. Рассказывали, что будто бы Гаршин даже на коленях умолял графа об отмене исполнения приговора.

Было ли это действительно так, я лично не знаю, так как говорить с самим Гаршиным по этому поводу мне уже не пришлось. *(Прим. автора.)*

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ о Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

В биографиях Н. А. Добролюбова (гг. Скабичевского[1] и Филиппова[2]), а также в «Материалах» для его биографии[3] (переписка Добролюбова) упоминается имя А. П. Златовратского[4], моего родного дяди, который был довольно близким товарищем покойного Николая Александровича как в Педагогическом институте, так и после, до смерти его.

По окончании курса в институте дядя поступил учителем словесности в рязанскую гимназию, а затем года через три или четыре перевелся в ставропольскую гимназию, где скоро и скончался от скоротечной чахотки.

В это время, в 64 году, я кончал гимназический курс и особенно увлекался чтением критических статей Добролюбова, которые в то время вышли уже отдельным изданием[5]. Этот особенный интерес к нему поддерживался во мне в то время, помимо всего прочего, тем, что я хорошо знал о приятельских отношениях между дядей и Добролюбовым. Последнего я даже лично видел в нашем доме, когда он в 61-м году, возвращаясь с родины из Нижнего в Петербург, заехал в конце летних каникул к нам для свидания с гостившим у нас дядей. В это время отцом моим, совместно с близким интеллигентским кружком, предполагалось издание первой независимой в нашем городе газеты «Владимирский вестник», в котором обещал принять участие и Добролюбов. Но этому не суждено было осуще-

ствиться; в конце октября этого года Николай Александрович умер [6], а вслед за ним, года через два, умер и мой дядя. Когда я уже кончал курс в гимназии, мне передавал отец, что Чернышевский, собирая материалы для биографии Добролюбова, обращался к дяде с просьбой прислать ему как свою переписку с Добролюбовым, так и воспоминания об их совместной институтской жизни [7].

Письма Добролюбова к дяде последним, очевидно, были посланы, так как некоторые из них появились в «Материалах» [8] в свое время и были цитируемы впоследствии биографами Добролюбова. Что же касается воспоминаний дяди, то после его смерти сохранились только черновые наброски, касающиеся лишь первых лет институтской жизни [9].

Повидимому, дядя обработать их благодаря болезни не успел, и они Чернышевскому посланы не были. Эта черновая тетрадь сохранилась у меня. Сличая имеющиеся в ней сведения об Николае Александровиче с теми, какие сообщены в биографиях гг. Скабичевского и Филиппова, я нашел, что в существенных чертах они не представляют особой новизны. Но ввиду того что в них имеются некоторые штрихи, дополняющие характеристику личности Николая Александровича, а также и общей атмосферы студенческой жизни в институте, я думаю, что выдержки из этих записок могут быть не лишены некоторого значения, как показания лица, близко стоявшего к делу.

Свои записки дядя мой начинает таким диалогом: «Ты к нам в академию? — спрашивали меня товарищи медицинской академии.— Нет, в институт.— Помилуй, туда в прошлый раз с перекрестков ловили! Как не стыдно?» (август 1853 г.)

«Однако я поступил в институт (педагогический) и, кроме меня, многие другие, и многим другим было еще отказано. Такому наплыву молодых людей в институт способствовали совершенно независящие от него обстоятельства, именно — учреждение штатов в университете и медицинской академии, вследствие чего многие из непоступивших ни в университет, ни в академию, тоже по не зависящим от них обстоятельствам, шли в институт. Институтское начальство могло сделать выбор между желающими поступить, и, к несчастью для него, оно выбрало и

таких лиц, которые положили конец безобразному владычеству его. В числе поступивших был и Добролюбов».

Состав первого курса, по словам дяди, оказался крайне разнохарактерным: в одних камерах преобладали семинаристы, в других гимназисты, были даже поляки и немцы. Вместе с этим и общее настроение студенчества, особенно в первые месяцы, отличалось крайней хаотичностью. Так, в семинарских камерах воцарились те же бурсацкие навыки, которые принесло с собою большинство бывших семинаристов, имевших слабость к ведению громогласных диспутов, вращавшихся большею частью в среде сплетен о профессорах и преподавателях, прежних и теперешних, о начальстве вообще и друг о друге; причем оценка производилась с точки зрения самых бурсацки заскорузлых понятий о чинах, орденах, повышениях; авторитетами для них являлись прежде всего те, которые так или иначе пользовались благоволением и милостями высшего начальства. Мировоззрение большинства юношей тоже не поднималось выше официально-чиновничьего патриотизма и формальной религиозности, воспринятых с детства. Еще низменнее было настроение в камерах с преобладающим, так сказать, «светским» составом из гимназистов и пансионеров разных столичных заведений. «Мальчики эти были, повидимому, все чистенькие, но на самом деле грязные школьники; у всех у них была удивительно развита страсть к циническим рассказам и анекдотам, любителями которых являлось немало и семинаристов. Помимо этого, сильно развилась в то время в институте картежная игра, захватившая эпидемически чуть не всех студентов: одни играли, другие созерцали игру. Распущенность одних, какое-то бестолковое препровождение времени другими, мелочность интересов — были поистине печальны». Все это, впрочем, относилось лишь к большинству первокурсников. Но среди них было немало таких, которым претило такое времяпрепровождение и подобные дружеские беседы, но они еще не могли подыскать себе подходящей компании, оставались какими-то одиночками-бобылями, не имевшими никакой возможности пристать ни к тому, ни к другому кружку. В первые месяцы к этим «бобылям» принадлежали мой дядя и Добролюбов; последний держал себя настолько обособленно, что казался для многих «загадоч-

ной» личностью. Не только в картежной игре или фривольных дружеских беседах он не принимал никогда участия, но даже к семинарским диспутам относился с полным равнодушием, иногда только в разговоре с дядей высказывал или удивление, или негодование по поводу «диких» воззрений гг. диспутантов хотя бы относительно того, что уважаемый профессор, по их мнению, должен быть непременно украшен чинами и орденами. Уже и тогда Добролюбова начинала возмущать какая-то стадная склонность студенчества рабски поклоняться всяким авторитетам, особенно апробованным высшим начальством. В первые дни институтской жизни дядя «всегда видел Добролюбова одиноко сидевшим с краю стола, с очками большей частью поднятыми на лоб, с одной рукой около груди, а другой переворачивающим Виргилия, имея терпение заниматься даже прямо после обеда, когда в номерах все шумело в пылу картежной игры».

Таким «бобылем» он, однако, оставался недолго.

Юношество, как бы низко ни падало при неблагоприятных условиях, всегда остается юношеством, хранящим в себе все возможности духовного возрождения, раз будет для этого достаточно сильный импульс. К сожалению, институтское начальство далеко не стояло на высоте своей педагогической задачи, и юношество встретило в нем почти те же типы педагогического чиновничества, которые оно привыкло видеть и в начальной николаевской школе. Таким образом, импульс для общего оздоровления мог явиться лишь из среды самого студенчества, из среды его наиболее даровитых и нравственно чутких личностей. Долго ждать их не пришлось, так как те, которые казались сначала хмурыми «бобылями», далеко по существу своей натуры не были замкнутыми, лишенными чувства живого товарищеского общения личностями, раз для этого находилась мало-мальски подходящая почва. Такой личностью оказался прежде всего Добролюбов, который вскоре не только стал популярным среди товарищей, но и незаметно послужил общему подъему настроения своих однокурсников.

Как натура незаурядно даровитая, Добролюбов прежде всего сразу выдвинулся своими сочинительскими способностями. Сначала блестяще составляемые им лек-

ции по русской словесности, а затем и поданное им в совет профессоров оригинальное сочинение о Виргилии обратило на него общее внимание как начальства, так и товарищей [10]. Последние не преминули осадить его, как знатока предмета, самыми докучливыми просьбами о разных указаниях, разъяснениях, исправлении тетрадок лекций и т. п., и Добролюбов шел им навстречу без всякого неудовольствия, очень охотно жертвуя всякой свободной минутой. Товарищи за ним ухаживали, но он не играл между ними никакой роли покровителя и, как говорили о нем, «никогда не драл носа».

Но еще большее внимание обратил на себя Добролюбов, когда, вопреки всяким традициям, он, не удовлетворяясь слушанием лекций, начал вступать с профессорами в беседы, прося разъяснений, указаний, и даже вступал с ними в оживленные дебаты. Такое новшество многим профессорам очень не понравилось. За исключением немногих лиц, известных своими научными заслугами, большинство профессоров были просто чиновники, отбывающие повинность, недалекие и малознающие. Понятно, что они старались всячески избегать «приставаний» студентов, так как это нередко вело к комическим инцидентам, подрывавшим профессорский авторитет. Между прочим, дядя приводит такой характерный факт. Однажды Добролюбов, не удовлетворившись лекцией профессора о «Мертвых душах» Гоголя [11], которая вся сводилась к одним бессодержательным почти восклицаниям (вроде того, что Гоголь — это русский Гомер, что и выражения у него все «гомерические», возьмите, например, такое: «на деревянном лице» — разве это не бесподобно? и т. п.), попросил его выяснить, наконец, в чем же, однако, существенное значение «Мертвых душ» для русской литературы. Озадаченный профессор, вместо ответа, спрашивает Добролюбова: «А кончил ли Гоголь «Мертвые души»?» Добролюбов уклоняется от ответа и снова задает прежний вопрос. Профессор продолжает настаивать на своем вопросе. Наконец, Добролюбов говорит, что — нет, не кончил.— «Ну, что же вы и спрашиваете меня о значении «Мертвых душ», когда они не кончены?!» Понятно, что такого рода дебаты создавали довольно веселое настроение в аудитории. Отзывчивая и даровитая натура Добро-

любова и здесь сказалась; он принялся составлять очень удачно юмористические пародии на лекции профессоров, подобных вышеописанному. Пародии эти имели огромный успех, гуляя по всему институту. Как известно, в этих пародиях уже тогда сказалась та склонность Добролюбова к юмору и сатире, которая впоследствии нашла такое удачное выражение в «Свистке» [12].

Однако такие комические дебаты на лекциях и добролюбовские пародии рождали не одно только веселое настроение. Они незаметно поднимали общее духовное настроение студенчества, заставляя его критически относиться к тому, на что прежде смотрелось, как на обычное отбывание школьной учебы.

Вместе с Добролюбовым в это время стал пользоваться не меньшей популярностью и влиянием юноша Щеглов [13] — личность чрезвычайно энергичная, с широким энциклопедическим образованием; сын священника, он сначала воспитывался в семинарии, но оттуда был «выгнан», очевидно за излишнюю самостоятельность характера и мнений, и принужден был закончить курс в гимназии. Это развило в нем, по словам дяди, непримиримую ненависть к «семинарской закваске», и он пользовался всяким случаем, чтобы протестовать против заскорузло бурсацких взглядов, которых держались многие институтские «семинаристы». Последние отнеслись к нему вначале очень враждебно, обвиняя его в личной ненависти к ним. Но Щеглов в это время близко сошелся с Добролюбовым, и скоро все поняли, что его протест истекал из чистых побуждений рассеять мрак и предрассудки своих товарищей.

Сближение между Щегловым и Добролюбовым, скоро перешедшее в близкие дружеские отношения [14], имело благотворное влияние на их развитие. «Это была замечательная пора в жизни Н. А. Добролюбова,— замечает дядя,— начало перемены в нем, перемены во всяком случае к лучшему», так как и Добролюбову были в это время еще не чужды многие предрассудки, воспринятые из близкой среды. В первую пору новые приятели были, можно сказать, неразлучны, они даже кровати в спальне поставили рядом, вопреки институтским правилам. Добролюбов в это время серьезно принялся за изучение французского языка, и, вместо Виргилия, у него появились в руках сна-

чала французские романы, а потом сочинения Руссо и Прудона; все больше и больше времени он отдает чтению, все чаще начинает посещать Публичную библиотеку; от кого-то он стал приносить в институт «Отечественные записки» и «Современник» времен Белинского. Дядя брал у него эти книги, толковал с ним по поводу статей Белинского, и это послужило началом их сближения. Вообще в это время он сделался еще общительнее, все более расширяя круг своих товарищей. «Помню, говорит дядя, придет он, бывало, в нашу камеру с Белинским и начнет читать; потом вдруг поднимет по обыкновению на лоб очки и заговорит восторженно: — Удивительно! Ведь все это было читано и перечитано прежде, и теперь все читаю как будто новое!» И затем шли по поводу прочитанного длинные беседы с дядей, Щегловым и со всем товарищеским кружком.

Но это повышенное и жизнерадостное настроение Добролюбова скоро сменилось таким удрученным душевным состоянием, которое в значительной степени изменило его юношески наивное умонастроение. Как известно, в это время неожиданно умерла у него горячо любимая мать, а затем вскоре отец [15], оставив исключительно на его попечение семерых младших братьев и сестер. По поводу этого дядя утверждает, что «Дневник» [16] Добролюбова, впоследствии напечатанный в «Современнике», очень ясно представляет влияние этих неожиданных невзгод на его душевный строй и перемену некоторых убеждений. В первые дни после пережитых тяжелых впечатлений он то впадал в самый мрачный мистицизм, например, доказывая дяде, что отец его умер от того, что снял с себя фотографический портрет, то с необыкновенной резкостью отрицал всякие мистические предрассудки. Очевидно, в нем, как в натуре глубоко искренней и любящей, происходила тяжелая борьба. Так одно время, чтобы спасти семью, он думал даже оставить институт и поступить в священники на место отца.— «Знаешь что? — сказал он дяде,— мне предстоит удовольствие быть священником...» — «Как так? — заметил дядя,— ведь теперь уж нельзя, ты уволен из духовного звания». — «Нет, это ничего, а *другое*...» Очевидно, он намекал на происходившую в нем душевную борьбу.

Но ни этой борьбе, ни тяжелым ударам судьбы не удалось надломить духовную энергию сильного морально юноши; напротив, они только еще более закалили ее, и он вскоре выступил снова на энергичную борьбу за право на разумную человеческую жизнь.

Несмотря на то, что ему теперь для поддержания семьи и устройства собственной будущности требовалось крайнее напряжение сил, он не только не отходил от товарищества, но, вместе с Щегловым, продолжал группировать около себя целый кружок своих товарищей и поклонников. Многие из них, по словам дяди, благоговели перед Добролюбовым, и он служил для них высшим авторитетом. Кружок этот впоследствии получил название «Добролюбовской партии» [17]. В нем прежде всего шло ускоренное знакомство с передовыми литературными течениями; выписывались вскладчину «С.-Петербургские ведомости», «Современник», «Русский вестник», и все это под страхом наказания и конфискации от своего начальства. «С.-Петербургские ведомости», например, приходилось выписывать на имя швейцара, по секрету. Под строгим запретом были и все те журналы, в которых помещались статьи Белинского. Мало этого, институтское начальство крайне неодобрительно смотрело на посещение студентами даже императорской Публичной библиотеки. Чем, однако, больше духовные интересы и запросы юношей, тем, конечно, их все более начинали раздражать институтские порядки, и, понятно, прежде всего это раздражение и критическое отношение к начальству и профессорам сказалось в кружке Добролюбова. Он до мелочных подробностей анализировал недостатки института и во всеуслышание и резко агитировал за коренное его переустройство. Скоро начальство (и особенно директор) зачислило Добролюбова и Щеглова в число самых злонамеренных людей и вооружилось против них всей силою своей власти. «Смешно и грустно,— замечает дядя,— становится, припоминая эту борьбу, борьбу всесильного деспота, старающегося в своих преследованиях быть законным». Директор [18] искал только случая, который бы послужил ближайшим предлогом к удалению Добролюбова из института. Вскоре ему донесли, что у Добролюбова и Щеглова хранятся запрещенные книги и политические памфлеты (вроде распространенных

тогда воззваний «К дворянству», «Юрьев день», приписывавшихся Герцену, запрещенных стихотворений, каким, например, считалась тогда «Забытая деревня» Некрасова). У Добролюбова и Щеглова был сделан в ящиках тщательный обыск, и, хотя ничего серьезного найдено не было, за исключением невинного юмористического стихотворения (кажется, на Греча) [19], Добролюбов был посажен под строжайший арест. Однако на другой же день Добролюбов был освобожден благодаря заступничеству Галахова и других профессоров, ценивших Добролюбова как очень даровитого студента. Директору пришлось затаить свою месть до более благоприятного времени. Со своей стороны, и Добролюбов с Щегловым убедились, что их агитация против начальства, которую они вели непосредственно в стенах института, не стоила таких хлопот и риска; их уже начали увлекать другие, более серьезные и общие интересы. Вместе с наиболее близкими из своих товарищей они наняли частную квартиру [20], где и собирались в свободное от лекций время для чтения «запрещенных» институтским начальством книг и дружеских бесед. Между прочим, кружок лиц, собиравшихся на этой квартире, несмотря на свои очень скудные средства, делал складчины и собирал пожертвования в пользу, например, таких лиц, как несчастные студенты медицинской академии, сосланные в звании фельдшеров в отдаленные губернии «за донесение о непорядках в академии не по начальству».

Между тем крайняя необходимость иметь заработок, с одной стороны, и все сильнее сказывавшаяся склонность к литературной деятельности, с другой, уже к концу институтского курса поставили Добролюбова в близкие отношения к современной литературе.

Однажды он показывал дяде том «Академических известий второго отделения». «Смотри! — говорил он, указывая на первую страницу.— Читаю труды: академиков — имена, членов корреспондентов — имена, посторонних ученых — имена, и в том числе имя Н. А. Добролюбова. Он по обыкновению расхохотался и указал на составленный им по «Известиям» указатель помещенных в них трудов, доставивший ему от редактора «Известий» название «ученого» [21]. Алфавитные указатели были его

первые печатные труды, которые он исполнял с редкой добросовестной кропотливостью. «И охота тебе возиться с этим!» — сказал дядя. «Экий ты, братец! — отвечал он.— Ведь я за это получаю целых 30 рублей». Вероятно, в это же время он с той же кропотливостью начал свою первую большую работу о «Собеседнике Л. Р. С.» [22], вызвавшую, как известно, впоследствии неодобрение таких записных ученых, как Галахов, с которым после пришлось ему полемизировать [23].

Но еще раньше этого Добролюбов пытался выступить в роли критика. Так, по поводу статьи Боткина о Фете, он пишет антикритику, в которой доказывает всю необоснованность и пустословие так называемой «эстетической» критики [24]. Затем он написал критику на статью Буслаева о пословицах [25]. Статьи он читал дяде в рукописи; обе они были проникнуты саркастическим тоном и вместе с тем свежим, здоровым взглядом на предмет и живым изложением, которое скоро создало ему имя в литературе. Тогда же дядя спросил его: отчего ты не напечатаешь? — «Ты думаешь, это очень легко? — сказал он.— Я уже пробовал, отдал было статью о Буслаеве в «Отечественные записки», а там не приняли, потому что в статье задеты Буслаев и Афанасьев, а они хорошие вкладчики в «Отечественные записки» [26]. Так статья и осталась ненапечатанной. Впрочем, это — ничего. Я через нее по крайней мере познакомился с Чернышевским» [27]. Добролюбов передал дяде, что Чернышевский в то время работал при «Отечественных записках» [28], прочитывал статьи; ему-то и досталось читать его статью. Он хотя печатать ее не велел, но зато захотел лично познакомиться с автором. Это был момент в высшей степени важный в жизни Добролюбова, окончательно определивший его будущую судьбу.

На этом и прерываются заметки дяди о Добролюбове, которые он заканчивает такой общей характеристикой настроения в институтской жизни в последние годы.

«Статьи Чернышевского в «Современнике» о критиках гоголевского периода [29] сделали популярным его имя и между студентами. Оно сделалось для них неразлучным с именем Белинского, о котором он стал говорить в то время, когда студенты института не могли в Публичной библиотеке взять «Отечественные записки» потому

только, что в них печатался Белинский. Статьи Чернышевского произвели умственное движение в институте, все с жаром бросились на них и очень наглядно увидали из сравнения наших лекционных записей с его статьями педантизм и мертвую схоластику первых. В нашем малом кружке институтском случилось то же, что совершается теперь в кругу университетском. Прежде всего, с голоса Чернышевского мы перестали считать гениальным то, что не имело *смысла*, а называли настоящим именем; равным образом мы не восхищались блестящей шумихой слов без всякой мысли. Вследствие этого между многими студентами исчезло святое рвение переписывать тетрадки лекций, готовить репетиции чуть не ежемесячно, но вместе с тем участилось путешествие в Публичную библиотеку, несмотря на строгие эдикты начальства. Неприятности между начальством и студентами росли. Так, на экзамене у Срезневского почтенный директор очень громко говорил о развращающем влиянии статей Чернышевского, в том же духе, как теперь говорят «Русский вестник» и «Северная пчела». «Помилуйте,— говорил он,— на Шевырева напал. У него только и есть недостаток, что пишет стихи! Что он нашел хорошего в Надеждине? Какое теперь вредное направление развивается в литературе, да и что от нее ждать хорошего [30]. Кто нынче писатели? Мужик или семинарист».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ об А. И. ЭРТЕЛЕ

С покойным Александром Ивановичем мне пришлось познакомиться впервые в 80-м, кажется, году, но я, к сожалению, уже не помню, при каких обстоятельствах это произошло [1]. Впервые я вспоминаю его, когда он уже был заведующим в Петербурге в одной частной библиотеке, вновь открытой на углу Невского и Литейной [2]. Несколько раз я и бывал у него там. Библиотека была небольшая, в очень скромном помещении, составленная исключительно из «серьезных» книг, в то время наиболее ходких и, повидимому, предназначавшаяся главным образом для обслуживания духовных запросов интеллигентного разночинства. А. И. в то время, кажется, помещался в одной или двух небольших комнатках при библиотеке, где и собирались у него кое-кто из молодежи. Между прочим, помнится мне, некоторое время состоял у него в качестве помощника, в то время еще студент, небезызвестный впоследствии, рано умерший молодой писатель И. Н. Харламов [3], которого я хорошо знал, как близкого мне земляка. В то время Эртель уже начал печатать свои «Записки степняка» в «Вестнике Европы» [4]. В это же время мы, младшие по времени сотрудники «Отечественных записок», затевали дешевый артельный журнал «Русское богатство» [5], преисполненные мечтаниями создать орган, возможно доступный по цене для разночинской читающей публики. Эртель, насколько помнится, сочувствуя общей идее журнала, несколько скептически относился к нашему предприятию с практической стороны и не торо-

пился записываться в его сотрудники. Да и вообще он не состоял в числе сотрудников «Отечественных записок» и ничего в них не печатал до 84-го, последнего года их существования, когда (неразобр.?) был напечатан его небольшой очерк [6], хотя он был в очень близких отношениях с ближайшими сотрудниками их, как, напр., С. Н. Кривенко [7]. Отчего это происходило, сказать не умею, но он долгое время предпочитал печататься исключительно в «Вестнике Европы». Вообще его литературная физиономия как начинающего писателя в то время еще недостаточно выяснилась, и он стоял как бы между двух литературных лагерей, хотя во многом и очень близких друг к другу.

В личных отношениях, которые между нами ограничивались тогда отношениями доброго знакомства, он мне тогда нравился своим мягким, тактичным и дружелюбным отношением к товарищам, к которому, однако, всегда примешивалась доза как бы некоторой добродушно-скептической иронии. Эта черта, повидимому, глубоко лежала в его натуре и объяснялась, надо думать, преобладанием в нем несколько практического взгляда на людские отношения, быть может, воспитанного в той сурово деловой сфере (крепостнического строя жизни), в которой прошло его детство. Кто читал его «Записки степняка» — это наиболее характерное для его творчества, наиболее ценное и непосредственное из его произведений, тот не мог не заметить, насколько все оно было проникнуто этим настроением. Впрочем, это его обычное настроение не мешало ему тогда относиться все же с сочувствием к тем проявлениям идеалистических стремлений, которыми так беззаветно жило тогдашнее молодое поколение.

Наше петербургское знакомство продолжалось недолго. В половине 80-го года он сильно заболел [8], доктора спешно отправили его на кумыс, вообще на юг, где он провел около года и вернулся в Петербург уже в 82-м году. В этот приезд я его уже не видел: он вскоре был арестован по какому-то политическому подозрению и выслан из Петербурга в Тверь (город этот он, кажется, сам выбрал) [9].

Вскоре после этого, вслед за крушением под нашей редакцией «Русского богатства», а затем и журнала

«Устоев»[10], вновь открытого той же группой сотрудников «Отечественных записок»[11], который был по выходе 3-4 книжек запрещен навсегда, я больше кочевал из Петербурга в Москву и в провинцию, а после 84-го года, когда были закрыты «Дело» и «Отечественные записки», я окончательно переселился в Москву, где в то время начинала процветать «Русская мысль»[12].

Эртель к этому времени, повидимому, уже прочно обосновался в Твери, прожив там до 87-го года; по крайней мере моя наиболее оживленная переписка с ним продолжалась на Тверь до этого года.

В этот период времени несколько раз бывал в Твери и я. Тверь тогда начала представлять из себя нечто совершенно экстраординарное среди других губернских городов. Он превратился, как мы в шутку говорили, в настоящий «русский Цюрих», куда съезжались, вольно и невольно, разные так называемые «неблагонамеренные» элементы.

Александр Иванович с семьей занимал в Твери сравнительно довольно большую квартиру, где собиралось немало всяких интеллигентов. Я встречал в его квартире как представителей местной, тверской, интеллигенции, так и заезжей. Так я видел там Петрункевичей[13], статистика Покровского[14], с разнообразными интеллигентами-подвижниками на поприще статистики, Лесевича[15], кажется, тоже высланного в Тверь, Мачтета[16] и, наконец, новообращенных «толстовцев».

Несмотря на крепчавшую в те годы реакцию, среди тверской интеллигенции царило большое оживление, особенно благодаря быстрому развитию «толстовства», вызывавшего шумные и продолжительные дебаты как в Москве, так и в Твери. Такие дебаты нередко происходили и в квартире Эртеля[17]. «Толстовство» как-то неожиданно врезалось тогда в установившиеся раньше «идеологии», выражаясь новейшим определением, каким-то острым клином. Ни одно из существовавших в интеллигенции направлений не удовлетворялось им вполне, не могло с ним примириться, особенно в первое время.

Главным образом протестовали против его узкосектантского характера, с принципами исключительно личного усовершенствования и «непротивленства», которое

тогда понималось в смысле абсолютного непротивления злу, не могли примиряться и люди либерального направления с теми нападками на «культуру», которые так ярко окрашивали проповедь самого Толстого.

Впрочем, и само «толстовство» в то время находилось еще в первом периоде созидания, и сам Лев Николаевич, переживая процесс «правдоисканий», далеко еще не высказался вполне определенно и часто в своих глубоких аналитических работах поражал парадоксальными афоризмами, ставившими нередко в недоумение его адептов.

Так или иначе, на этой почве споры велись горячие. Александр Иванович Эртель, хотя и принимал в них участие и стоял в довольно близких отношениях с видными толстовцами, но я не помню, чтобы он тогда горячо и последовательно развивал свои взгляды и так или иначе высказывался по поводу этой идейной борьбы или определенно становился на ту или другую сторону. Но уже года через два он имел случай высказаться по этому поводу вполне определенно. У меня сохранилось очень характерное для его взглядов письмо, в котором он с грустью говорит о том разброде, который охватил часть нашей интеллигенции и представителей передовой литературы после разгрома многих тогдашних «фракций» и литературных органов.

Имея в виду, что его довольно обширная переписка приготовляется к опубликованию [18], я позволю себе привести здесь конец этого письма.

«Главное,— пишет он,— способность делать общее дело, одинаково относиться к тем враждебным влияниям русской действительности, которых накопляется все больше... Писатель — тот же пахарь (в числе других, вовсе не писателей), и что бы сказали, если бы пахари, вместо того чтобы дружно идти за сохой, вцепились бы в виски друг друга — и ну волочить! А у нас именно это и происходит. Ведь самый простой, самый дюжинный человек понимает, что одно из условий российской дикости — заматерелые формы церковные и государственные, и тот же человек знает, что в народе идет борьба с этими формами (сознательная и активная с церковью, бессознательная и пассивная с государством), что чем сознательнее и активнее первая, тем больше шансов, что и вторая будет

такая же. И вот появляется писатель, который дает огромный арсенал для этой борьбы — дает его такому количеству людей, которому до сих пор не могли дать самые блистательные представители борьбы с государством и с церковью почти ничего.

И что же, именно за этот арсенал, за то, что великий писатель сошелся в своей исходной точке зрения с народом, за то, что он взял этой исходной точкой зрения учение Христа,— на него и напали с посрамлениями и заушаниями. Есть ли тут смысл? Мыслима ли такая диверсия от настоящих друзей народа? Возможно ли такое отношение к Толстому от истинных приверженцев свободы?»

Дальше из письма видно, что между нами шли по этому поводу разговоры раньше и что я не совсем был согласен с его таким категорическим заявлением относительно отношения к Толстому наших передовых публицистов. Эти недоразумения, как известно, достаточно полно были разъяснены Михайловским в его статье «Шуйца и десница Толстого» [19]. Но Эртель был, несомненно, прав, говоря, что Толстой был безусловно понятен народу и по многим своим воззрениям и писательским приемам стоял к нему бесконечно ближе, чем наши передовые писатели, обслуживавшие почти исключительно «верхи».

В Тверь, как я уже говорил, я заезжал несколько раз, и всегда мне приходилось у того или другого из тверских интеллигентов присутствовать при дебатах, на которых производилась, если и не совсем такая «переоценка всех ценностей», которая была выдвинута несколько лет спустя вновь народившимися «фракциями», но все же «переоценка» как многих социально-политических, так и религиозно-философских вопросов благодаря главным образом все более и более энергичному выступлению Толстого на поприще своеобразной «народной» публицистики. Дебаты эти в сущности были отражением тех, которые в значительно больших размерах происходили у нас в Москве.

Вообще пребывание в Твери, несомненно, сослужило Эртелю большую службу во многих отношениях. Не говоря уже о результатах общего идейного развития, Тверь развернула перед его наблюдательным взором целый ряд характерных типов тогдашней интеллигенции, которые он впоследствии не без успеха использовал в своих рома-

нах. А затем знакомства эти открывали ему в будущем перспективы в практически духовной сфере, к которой он, повидимому, всегда чувствовал особое тяготение, возымевшее, как кажется, роковое значение впоследствии для всей его чисто литературной деятельности, как-то внезапно оборвавшейся и прекратившейся совсем. Но в этот, «тверской», период он, повидимому, работал наиболее энергично за все время своей литературной деятельности. Работал он по преимуществу в «Русской мысли», которая заняла в то время амплуа погибших «Отечественных записок», завербовав к себе почти всех выдающихся сотрудников петербургских журналов. В этот же период он много и охотно переписывается со своими близкими знакомыми, представляя в этом случае в среде нашего литературного поколения исключительно редкий пример, напоминая людей 30-х и 40-х годов, отличавшихся особой склонностью к письмописанию: наше поколение, как известно, этой склонностью далеко не отличалось; как по личному нерасположению к ней, так еще больше, должно быть, по причинам, так сказать, «охранного» характера. Об этом, вероятно, не раз придется пожалеть историкам нашей литературы. Эртель оказался в этом отношении счастливее. Переписка А. И., как мне передавали, достигает очень солидных размеров. Надо думать, судя уже по приведенному выше письму, что она даст немало ценного материала как для его личной характеристики, так и в общественно-литературном смысле.

Между прочим, в течение этого времени у меня с ним идет переписка по поводу некоторых проектов, предположений и мечтаний в области разных литературных предприятий. Так, еще во время моего первого приезда в Тверь у нас уже заходила речь о зарождавшейся среди тверских литературных и общественных деятелей мысли об издании местной *областной* газеты. Когда я уже окончательно обосновался в Москве, эта мысль, очевидно, пришлась очень по душе Александру Ивановичу, и он ведет по поводу ее практического осуществления деятельную со мной переписку относительно вербовки единомыслящих сотрудников и подыскании лица, которое могло бы быть достаточно влиятельным и компетентным, чтобы взять на себя официально представительство газеты, так как предпола-

галось, очевидно, что такое представительство никому из крупных тверских либералов заполучить в то время не удалось бы. Дело это так и не осуществилось в предполагавшемся виде. В чем была тут причина — осталось для меня неясным.

Но неудача в Твери не остановила других наших предположений и мечтаний. Так, я переписываюсь с Эртелем по поводу сначала задуманного нашим московским кружком издания сборника в память 25-летия годовщины Освобождения, в котором, как предполагалось, все произведения, не теряя в серьезности содержания и художественности исполнения, были бы в то же время доступны и интересны народу. В редакции сборника обещали принять участие многие видные писатели при сочувствии и содействии Л. Н. Толстого. Сборник не осуществился, хотя, повидимому, были и необходимые средства для издания,— почему так вышло, решительно не могу припомнить[20]. Затем наш московский кружок переживает характерный, но в то же время и глубоко печальный для характеристики тогдашних настроений инцидент с изданием дешевого ежемесячного журнала, в котором предполагалось и участие А. И. Эртеля, журнала, прекратившегося с выходом первой же книжки[21]. Однако попытки создать общедоступный орган, несмотря на все неудачи, нас не покидают. Так, уже в 89 году наш московский кружок, в то время близко сошедшийся с некоторыми лицами, группировавшимися около Л. Н. Толстого, хлопочет об осуществлении в Москве давно уже носившейся в головах так называемой «народнической» интеллигенции мечты об издании народной газеты[22]. К этой мысли очень сочувственно отнесся и Л. Н. Толстой, заходивший в то время иногда ко мне на квартиру потолковать насчет программы издания и ее практического осуществления[23]. Ко всем этим предположениям и начинаниям А. И. Эртель относился с большим сочувствием, хотя и выражал сильное сомнение в возможности вести дело народной газеты настоящим образом при существовавших в то время условиях. Вот что, между прочим, писал он мне по поводу последнего предприятия:

«Какая это трудная вещь — журнал проектируемого типа. Я представляю себе такой журнал лишь совершенно

удовлетворяющим вкусам и интересам *нового* читателя, читателя, который, точно грибы после дождя, появился теперь на Руси. Смотрите: вот вам газета Гатцука[24]. По цене, по той среде, в которой газета была распространена еще при старой редакции, этой газете нужно было иметь в виду только нового читателя, то есть отчасти самоучку, отчасти плохо и поверхностно образованного, но жадного до знаний и весьма последовательно разбирающего, где его интересы, где лево, где право в любой экономической, общественной и политической обстановке. Что же делает новая редакция и «старые элементы», составляющие контингент ее сотрудников *. Боже мой, да для кого вы издаете? Для кого пишете, господа? И не мудрено, что эту самую газету Гатцука ругают на чем свет стоит и старые и новые подписчики. Нет, эти подъезжания и подразумевания, этот алгебраический язык и алгебраические ситуации, эти темы, интересные для маленькой кучки людей, надо бросить с новым читателем, надо говорить с ним простым, бесхитростным языком, надо помнить, что в большинстве случаев он народился только сегодня и «вчерашнего дня» он не знает; надо знать, что прежде всего этот новый читатель — грубоватый, положительный человек, что ему не нужны всякие там тонкости и нюансы... Вот «Русское слово» 60-х годов умело говорить с этим типом читателя; там и переводы-то были Эркмана-Шатриана, а не Жоржа Дюруа, там и стихи-то били прямо в точку[25]. Вот в этакой бы форме, хотя, разумеется, совсем о другом и еще ближе к пониманию нового читателя, говорить новому, «деревенскому журналу». Но возможно ли это по цензурным условиям?..»

Оказалось безусловно невозможным, как и все прочие наши литературные предприятия. (Между прочим, оказался, кажется, неосуществленным и сборник, который предполагал издать Эртель в Воронеже в благотворительных целях и в который приглашал участвовать и меня.) Характерно, что невозможными все эти предприятия оказывались не только исключительно по цензурным условиям, но и под давлением создавшейся тогда обществен-

* Он разумеет здесь видных сотрудников обычных прогрессивных изданий. (*Прим. автора.*)

ной атмосферы, при которой становилось немыслимым предаваться каким-либо «мечтам», напоминавшим настроения и тип литературы 60-х и 70-х годов. Для нашего поколения наступал период как бы временной литературной «прострации».

В конце 80-х годов Эртель, кажется, уже окончательно перекочевал на постоянное жительство в Воронежскую губернию и вообще в юго-восточные палестины. В это приблизительно время мне пришлось лично быть у него в Самарской губернии, где он проживал на хуторе одного знакомого помещика, а я в то время поселился на лето с семьей в соседском самарском имении Сибирякова, куда попал благодаря отчасти «протекции» Александра Ивановича, часто там бывавшего, а главным образом потому, что мне приятели рекомендовали взглянуть на имение Сибирякова, как на любопытный опыт культурно-филантропического крупного хозяйства и на зарождавшуюся там же благодаря содействию Сибирякова полутолстовскую общину. То и другое в то время возбуждало много толков. Приехало в имение Сибирякова много общих знакомых, велись продолжительные беседы и споры, ездили по окрестным деревням и хуторам. Вообще, поле для наблюдений было и обширное и интересное, которое могло дать Александру Ивановичу, близко стоявшему к заправилам дела и ко многим крупным местным старожилам, много ценного литературного материала, которым он потом и не преминул воспользоваться в своих романах «Гарденины» и «Смена» [26].

После этого он, нередко приезжая в Тверь и Москву, заходил ко мне и от времени до времени продолжал еще переписываться со мной. Так я получил от него в 89-м году (из Твери) большое письмо, которое, по-моему, является особенно ценным для характеристики, так сказать, литературного периода его жизни. В заключение я позволю себе привести несколько отрывков из этого письма, характеризующие его взгляды на значение и характер художественной литературы: «Начал было статью не столько по существу, сколько по поводу ваших сочинений,— пишет он,— хотелось мне противопоставить нынешним запросам от искусства («как собака прищемила хвост» и «что думают о своих знакомых женщины во

время родов» и т. п.) ту *«мечту»*, которая от Радищева, от Новикова и до сегодня составляла гордость русской литературы, ее характерное отличие от литератур западных, ту «мечту», которой вы, в свою очередь, являетесь выразителем и которая в «нынешнее время» обретается не в авантаже. Но, увы! ни времени не хватает, ни уменья! А тема заманчивая. Мне хотелось представить характеристику тех, несомненно очень крупных, писателей — Золя, Мопассана, Доде, с легкой руки которых у нас так прививается якобы объективное созерцание жизни и понятие о писательстве как о *карьере*, и в противоположность им охарактеризовать писателя «мечтательного типа». Мне хотелось показать нынешнему «трезвому» читателю, что без «ключа» нельзя читать... Что если у него нет такого ключа, то можно только почитывать в свое удовольствие... и опять с радостным сердцем бежать на биржу, на прокурорскую трибуну... да куда хочешь — даже с доносом можно побежать, ибо ничто не вопиет против доноса в той «трезвой» литературе, которая входит с легкой руки великих французских буржуа у нас в моду. Для литературы иного склада нужен и иной ключ. Отомкнуть «Исповедь» Толстого потруднее, чем «Trents ans» Доде[27] и «Грозу» Островского, чем водевиль. Вот все это и хотелось мне написать. Так это глубоко интересует меня... Конечно, я вовсе не был намерен унизить таланты французов... но беда в том, что талант-то «мамоне» работает... Конечно, так как произведения-то ярки, фотограф[ически] и психически правдивы, то и из них «устрояющий» и «созидающий» дух воспользуется тем, другим, но что сказать о наших-то отечественных копиистах? Подражать мастерам, по-моему, должно, но зачем расставаться нам с нашей «мечтой»? Спускаться в низменные и безотрадные подвалы их научно-буржуазного мировоззрения не только не должно, а, значит, прямо подписать приговор нашей индивидуальности, нашей самобытности — rasion d'être нашей литературы с времен Радищева и Новикова. С этим надо бороться, по моему мнению».

Письмо это, кажется, было последним из сохранившихся у меня. С первой половины 90-х годов Александр Иванович все реже и реже появляется среди московских литературных кружков (по крайней мере тех, к которым

мы раньше вместе стояли близко), все реже пишет письма, а затем прекращает и литературную деятельность. Но в чем заключалась его дальнейшая «практическая» деятельность, так и осталось для меня закрытым. В течение последних 15 лет я уже не встречал его близко и не получал от него писем. Очевидно, его поглотили какие-то другие интересы, отнявшие его так резко и от литературы и от прежних литературных товарищей... Мы, конечно, могли об этом только жалеть. Искупалось ли, однако, это значительностью этих «практических» интересов? Ответить на этот вопрос, конечно, могут только те, которые близко стояли к нему в это последнее десятилетие. В моих же воспоминаниях образ покойного сохранился в том симпатичном освещении, каким я знал его в первые 10 лет его литературной деятельности. Приведенные мною выдержки из его писем ко мне достаточно ярко рисуют его возвышенный душевный строй в то время и духовную между нами близость в описанный мною период.

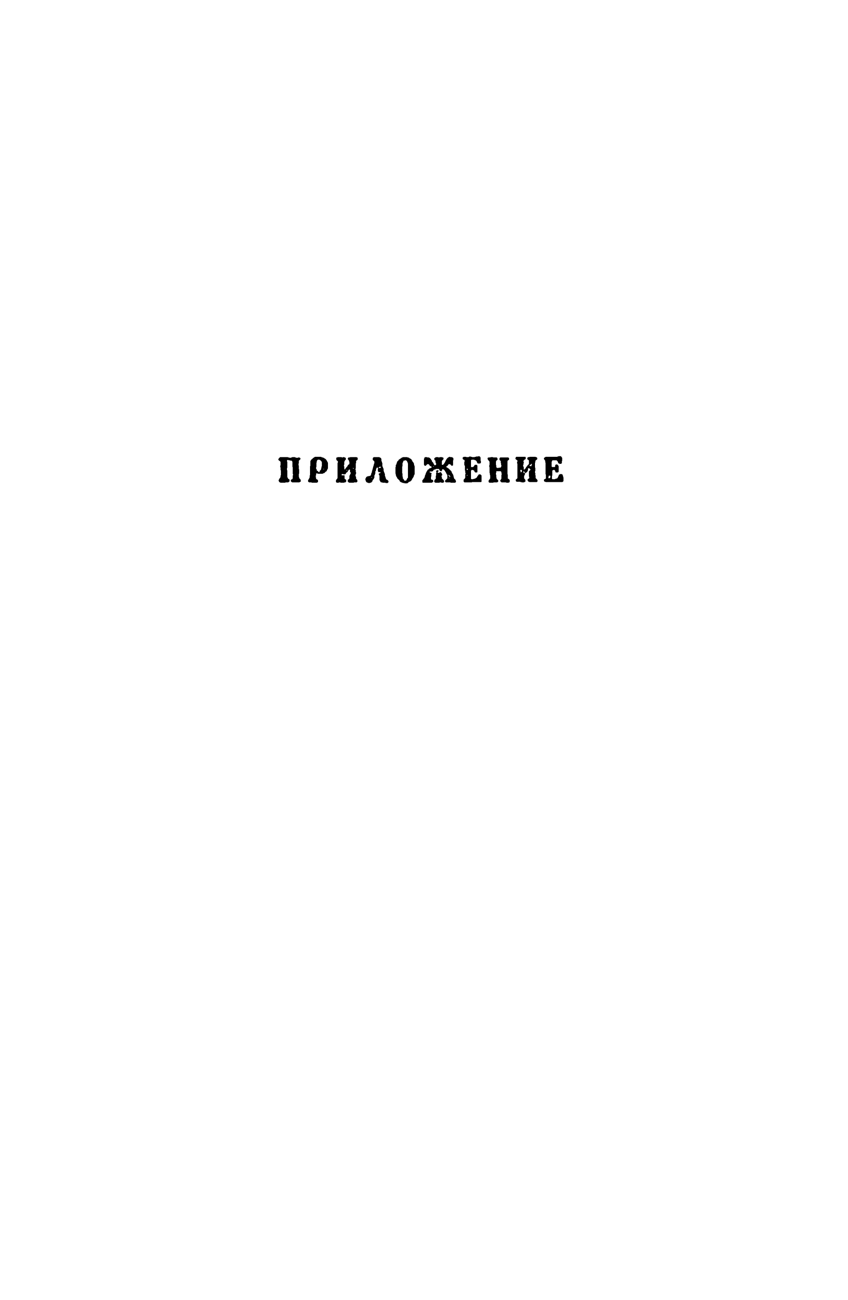
Что касается общего взгляда на его литературную деятельность, то я могу только указать на то, что в наших литературных кругах А. И. Эртель считался обладавшим выдающимся, хотя и в значительной степени подражательным, дарованием, что его литературной деятельности, несомненно, не была чужда та *«мечта»*, о которой он с таким увлечением говорил в своих письмах, но он, до конца находясь как бы в периоде «поисков» за неуловимой для него определенностью художественного созерцания жизни, колеблясь постоянно между различными влияниями от Тургенева и Толстого до разночинцев 60-х годов, не успел придать своим произведениям яркости, силы и определенности того, так сказать, «художественного прогноза», который свойственен лишь яркой художественной индивидуальности. Тем не менее, несмотря на то, что он явился в литературу на рубеже двух периодов, в смутные 80-е годы, несомненно имевшие на него влияние, несмотря на то, что ему не удалось придать своим произведениям печать определенной художнической индивидуальности, он сумел в своих произведениях ярко отразить ту «межеумочную» структуру русской жизни, в которой для него главным образом бросались в глаза крепостнический атавизм и хищнические аппетиты вновь

вылупившихся слоев, с одной стороны, и хаос смутных идеалистических настроений тех молодых сил, которые шли на смену армии старых идеалистов.

Таким образом, если допустимы вообще краткие общие характеристики таланта, литературно-художественное наследие покойного А. И. Эртеля можно характеризовать как первую ступень к тому периоду нашей литературы, которому такую яркую окраску дал впоследствии Чехов.

Как бы, однако, ни оценивать художественный талант Эртеля, самая его личность во всей совокупности периодов ее развития, от ранних духовных исканий до форм «практической деятельности» последнего периода, представляет, несомненно, характерное явление для его времени, воплотив в себе многие своеобразные черты того более или менее «*нового*» разночинского типа, который дали 80-е годы.

Для характеристики этого типа, к ярким представителям которого можно причислить и А. И. Эртеля, переписка последнего, его биография дадут очень много ценного материала.



ПРИЛОЖЕНИЕ

С. Н. ЗЛАТОВРАТСКАЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ОТЦЕ

САМЫЕ РАННИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Город вишневых садов — Владимир-на-Клязьме. Высоко стоит он над рекой и очень красив со своими старинными соборами.

Широко разливается река по весне, почти вплотную подходя к вишневым садам, сбегающим по склонам холмов.

Ильинская улица — почти на окраине города. Копаются в навозе беспокойные, говорливые куры. Чинно прогуливаются гуси, пощипывая траву. Протрусит, хрюкая, вырвавшийся на свободу поросенок, проскрипит плохо смазанными колесами телега, и опять все тихо и пустынно на зеленой улице, точно погруженной в непробудный, глубокий сон. Даже детей не слышно. С самого утра они убегают на свой любимый Зачатьевский вал, весь в зелени трав и пестроте цветов. Кругом вишневые сады. Трещат трещотки сторожей, и стаи мелкой птицы поднимаются над садами.

На углу Ильинской (теперь улица Герцена) и Сергиевской улицы (переименованной в улицу Златовратского) и сейчас еще стоит дом, принадлежавший родителям моего отца. В 1881 году старый дом Златовратских сгорел. Смутно помню, как на месте сгоревшего дома строился новый дом. Мне два года (родилась я в ноябре 1879 года). Ясный солнечный день. Я на руках у матери.

Мои ноги прикрыты ее широким летним пальто с большими пуговицами. Братья — Коля и Саша (один на два года, другой на год старше меня) — лазают по бревнам. Здесь же стоит и отец.

Новый дом несколько лучше старого, но и он небольшой — обычный дом провинциальных окраин: с кирпичным низом и деревянным верхом, с парадным ходом на улицу и черным на двор.

Позади дома сад. Он невелик, но чего в нем только нет. Старые яблони — антоновка, белый налив, анис. С потрескавшейся корой, с отвисшими сучьями, как на костылях, стоят они на своих подпорках. Вдоль забора разрослась малина, крыжовник, знаменитая владимирская вишня... Здесь же ряды клубники. Дальше огород. Как хороши красные маки и желтые ноготки в пестрой зелени овощей!

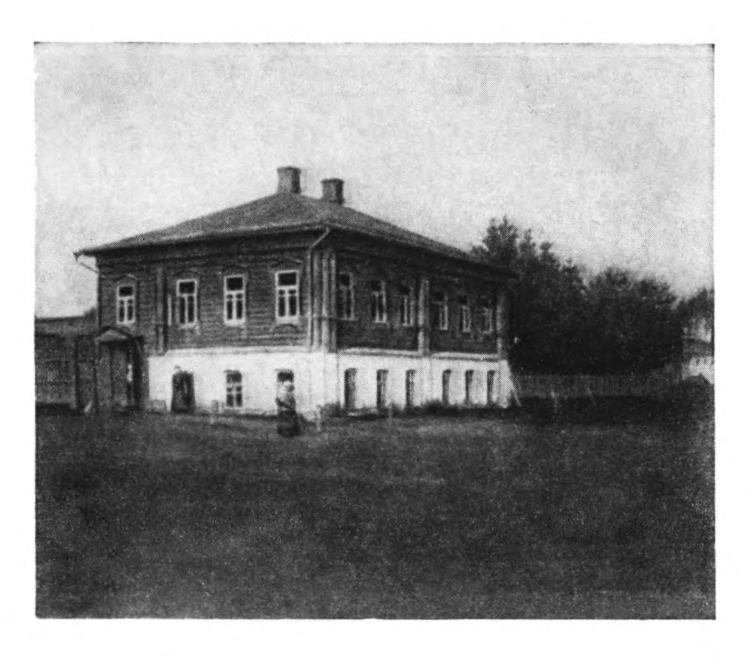
Дома, в котором жили родители матери до выхода ее замуж, я не знала. Я знала другой дом — на Б. Мещанской, недалеко от центра, от Золотых ворот и церкви Николы Златовратского. Одноэтажный, солидно построенный барский особняк, с флигелем, просторным двором, прачечной, сараями и конюшней. Сад, сбегающий под гору. Он кажется нам, детям, необыкновенно большим Мы боимся заглядывать в задний его конец, густо заросший вишней, терновником и бурьяном.

По рассказам матери, первый дом ее родителей был темен и мрачен. Впрочем, может быть, это только в памяти матери он остался таким: ведь здесь протекли годы ее невеселого детства и юности.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ МОЕЙ МАТЕРИ

Мать часто рассказывала нам, детям, о своем детстве и юности. И почти всегда эти рассказы кончались слезами. Она была еще ребенком, когда в их семью вошла женщина, которая искалечила ее жизнь и жизнь ее матери.

Мать моя, Стефанья Августиновна Яновская, родилась в 1850 году. Отец ее, Августин Игнатьевич Яновский, был поляк, а мать Софья Егоровна (в девичестве Постовская) происходила из знатного литовского рода.



Дом Златовратских в гор. Владимире

Яновский был учеником известного русского медика Иноземцева. Окончил университет в 1830 году. К тому времени, когда родилась моя мать, он пользовался уже большой известностью как опытный врач, и не только во Владимире, но и во всей Владимирской губернии. Яновский в 1855 году самоотверженно работал в эпидемию холеры: из 64-х больных у него выздоровело 42 человека.

Я помню деда совсем уже стариком: несколько чопорного, с суровым взглядом умных, глубоко сидящих глаз.

По рассказам матери, он представляется мне человеком деспотическим, замкнутым в семье, но вне семьи умным и приятным собеседником.

Моя мать в молодости хорошо танцевала, и на балах в дворянском собрании в первой паре часто шел старый Яновский со своей младшей дочерью.

Свою бабушку, Софью Егоровну Яновскую, я помню лучше. Она умерла несколькими годами позднее деда (Яновский умер в 1890 г.).

Помню я ее, когда она была уже монахиней. Бледное, скорбное лицо, темные ласковые глаза, тонкие бледные пальцы, перебирающие четки...

Что послужило поводом для драмы, разыгравшейся в семье Яновских, сказать трудно. Было ли тому причиной несходство характеров супругов, слабое ли здоровье жены и ее излишняя экзальтированность, припадки меланхолии, от которых она искала успокоения и утешения в религии... Наглость ли другой, здоровой, красивой и властолюбивой женщины, которая сумела забрать в свои руки моего деда,— сказать трудно.

Фамилии этой женщины я не помню, звали ее Берта. Знаю, что она была приглашена Яновским к детям в качестве гувернантки.

Мне не трудно восстановить образ моей матери в юности, так как она принадлежала к тем людям, которые до старости сохраняют основные черты своего характера. Это была натура страстная, впечатлительная, непосредственная и правдивая, не терпящая лжи даже в мелочах, не знающая границ как в любви, так и в ненависти.

Стефа обожала свою мать и ненавидела гувернантку.

Старшая сестра Стефы, Софья, была на 10 лет ее старше, пользовалась особенной ее любовью и имела на

нее большое влияние. Софья была некрасивая, несколько сутуловатая, но умная, талантливая девушка, прекрасная пианистка. Софья же давала и первые уроки музыки моей матери, у которой были, повидимому, большие музыкальные способности.

Софья Яновская, как полька, не могла оставаться равнодушной к тем событиям, которые происходили в Польше в 60-х годах. И когда во Владимир пригнали партию ссыльных поляков, она, как могла, старалась облегчить их участь. Вот об этой-то «девушке в черном», демонстративно появлявшейся каждый день у окон тюрьмы, из которых неслись звуки революционных польских песен, и пишет отец в своих воспоминаниях.

Вот как рисуются мне, по рассказам моей матери, годы ее жизни в родительском доме.

Ряд мрачных пустых комнат, крайняя — детская. Зима... потрескивают дрова в печи. Бабушка почти не выходит из детской. Она сидит в кресле, шьет или чинит детское белье. Около ее ног играют дети.

Бледное лицо Софьи Егоровны полно печали и страданья. Она не плачет, так как знает, что маленькая дочь не спускает с нее глаз. Но вот мать улыбнулась. Как солнцу, девочка рада этой улыбке. Она бросается на шею матери. Софья Егоровна не в силах больше сдерживаться, и слезы одна за другой падают на голову ребенка.

На плач прибегает испуганная старуха нянька и берет девочку за руки: «Иди, иди... придет немка, раскричится».

— Иди, деточка, иди...— говорит и мать.

— А ты не будешь плакать? — спрашивает девочка.

— Не буду...— И вот уже Софья Егоровна улыбается, целуя и благословляя детей.

Вечер... Большой стол накрыт для ужина. Белоснежная скатерть, серебро, хрусталь, редкий фарфор — ценные подарки доктору от его знатных пациентов. Гувернантка, красивая, богато, но безвкусно одетая женщина, заменяет хозяйку... Та больна и не выходит к гостям. Отец Стефы, Августин Игнатьевич, мрачен и молчалив. Он не знает, как выйти из нелепого положения, в которое он поставил себя этой недостойной связью.

Среди гостей брат Яновского и ксендз.

Все говорят тихо, как говорят, когда в доме тяжело больной.

Но вот гости разошлись. Остались ксендз и дядя Стефы.

Стефа входит в гостиную, чтобы пожелать покойной ночи отцу. Отца нет... Но опять эти трое: гувернантка, дядя и ксендз... Девочка тихо выходит из комнаты. Ей страшно: она бежит к матери и испуганно прижимается к ней.

— Простилась с отцом? Теперь иди спать, девочка...

— Папы нет в гостиной. Там только «они», трое...

— А?! — Софья Егоровна съеживается, как под ударом. Она знает, что эти трое ведут против нее гнусную интригу, что эта ужасная женщина хочет расторгнуть ее брак с мужем, чтобы самой стать его женой. Что они сделают с ней? Увезут ли в Польшу и заточат в монастырь... Объявят сумасшедшей... Может быть, потому-то так мрачен муж. Виновато опускает он глаза, когда встречает на себе страдальчески недоумевающий взгляд жены.

Нет, нет, уйти самой... Уйти, скрыться...

Да, да, уйти... Но как же дети?!

— Что делать? Что делать... Научи...— И опять Софья Егоровна на коленях стоит перед распятием.

И вот, взяв маленьких детей, Софья Егоровна едет в ближайший женский православный монастырь... Долго беседует с игуменьей. Через несколько дней едет опять, но уже одна. Вернувшись из монастыря, она идет к мужу.

Она больше не хочет стоять на его дороге, мешать ему. Она уходит в монастырь.

— Но здесь же нет наших монастырей... Вы должны будете ехать в Польшу...

— Я приняла православие.

— Православие?!

Августин Игнатьевич не религиозен, но его национальная гордость возмущена.

— Вы, верующая католичка, решились изменить своей вере?!

— Перед богом все веры равны. Я иду туда, где, я знаю, я найду покой...

— Ах, вот что... Ну что ж... Но с этого дня между нами все кончено. Я не могу дать вам развода, так как этого не допускает моя религия... А дети? Подумали ли вы о детях?.. Они ведь останутся католиками.

Она подняла на него полные муки глаза... опустила их и, по-монашески сложив руки на груди, вышла из комнаты.

Софья Егоровна уезжает послушницей в глухой монастырь.

Девочек — Ольгу и Стефу — увозят в Москву и помещают в пансион «Мага и Бесс».

Весна... Грязь на московских улицах. За окном задорно чирикают воробьи...

Стефа Яновская стоит у окна. В руках у нее книга. Но мысли девочки далеко... Далеко от Москвы, от пансиона...

Одни и те же вопросы волнуют ее... Почему мама в монастыре, папа дома и гувернантка там? А они с сестрой здесь одни? Почему в воскресенье и в другие праздники почти ко всем девочкам приходят родные, приносят подарки, а к ним никто не приходит. А мама? Бедная мама! Как тоскливо ей одной в монастыре...

Стефу тяготит пансионная обстановка... Ей скучно с подругами. Она очень способна, но ей не до ученья...

И вот в сердце девочки вдруг вспыхивает надежда. Не все еще потеряно... Сейчас она еще мала и ничего не может сделать для мамы... Но ведь она вырастет. Она будет учительницей; у нее будут свои деньги, и она сможет взять маму к себе... И Стефа рьяно принимается за ученье.

Учителя не понимают, что такое случилось с девочкой. Она настолько успешно учится, что перегоняет сестру Ольгу, и среди года ее хотят перевести в следующий класс... Но Стефа не соглашается: ей не хочется обижать сестру и разлучаться с ней.

Но вот Стефа в последнем классе. За эти семь лет они с сестрой только раза три-четыре были дома. Да их и не тянуло домой. Они знали, что они найдут там лишь ненавистную гувернантку и хмурого отца...

А мать? С матерью они встречались еще реже. Иногда, когда у детей были каникулы, она приезжала во Владимир.

В черном монашеском одеянии, грустная, молчаливая, она ласкала детей, рассеянно слушая их... Потом торопливо собиралась и уезжала, точно стены этого дома давили и угнетали ее.

Но вот новое горе постигло бедную женщину: от родов умерла ее старшая дочь Софья.

К этому времени Стефа и Оля окончили пансион и вернулись к отцу. К этому же времени, насколько я помню из рассказов матери, нужно отнести и разрыв Яновского с гувернанткой. Сын гувернантки, теперь уже юноша, которого дети Августина Игнатьевича считали своим братом, оставался в семье Яновского. Здесь же жила и маленькая Юзя, дочь умершей Софьи.

Софья Егоровна теперь чаще бывает дома. Ее муж относится к ней с большим вниманием. Он покупает ей келью во Владимирском женском монастыре. После смерти мужа Софья Егоровна постриглась в монастырь

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ МОЕГО ОТЦА СО СТЕФАНЬЕЙ ЯНОВСКОЙ

Стефа, еще будучи в пансионе, решила идти на курсы. Через свою пансионную подругу она знакомится с Александрой Николаевной Дубенской. Между девушками возникает тесная дружба. В семье Дубенских собирается передовая молодежь: студенты, приезжающие на каникулы к своим семьям из Москвы и Петербурга, семинаристы и гимназисты старших классов. Здесь же, в семье Дубенских, Стефа Яновская впервые встречается с Николаем Николаевичем Златовратским.

Их знакомят... Златовратский дружески протягивает ей руку... Он расспрашивает Стефу о ее занятиях, о семье...

Златовратский вводит Стефу Яновскую в свою семью. Как здесь все не похоже на то, что она привыкла видеть в своем доме! Как все бедно и убого...

Как мал этот зеленый садик... Как низки, как мещански обставлены комнаты... Правда, на окнах и по уг-

лам в кадках много цветов: Марья Яковлевна Златовратская очень любит цветы...

Маленькая, худенькая женщина в темном платье и платке радушно встречает девушку... Она любит всех, кого любит ее первенец, ее Николенька.

Ласков со Стефой и отец писателя — Николай Петрович. Это — высокий, худой, несколько хмурый человек. Но его глаза смотрят на нее ласково.

Стефа любит его сына.

Она всем своим робким, потерянным сердцем привязалась к этому большому человеку.

Его сестры немного пугают ее... Они суровы в своей аскетической простоте. Гладко причесанные, в некрасивых платьях, сшитых из дешевой жесткой материи, они напоминают ей клирошанок. Одна пятнадцатилетняя Варя, голубоглазая толстушка, с вьющимися белокурыми волосами, не пугает ее. Но она застенчива и смешлива. И прячется по углам, когда приходит красиво одетая дочка доктора Яновского.

Завязавшаяся между молодыми людьми дружба прерывается. Златовратский должен ехать в Петербург. Он не решается признаться Стефании Яновской в том, что полюбил ее... Он не хочет, не может просить эту хрупкую, не знающую лишений, не знающую жизни девушку стать его женой... Да и имеет ли он на это право. Сестры, а их шесть, еще не встали на ноги... Мать, слабоумный брат... Отец стареет... и едва держится на службе: слишком несговорчив этот старик... Семья не выходит из нужды... Работать, работать... Но где? Как? Писать? Много есть о чем писать... но... Златовратский слишком честен, слишком правдив... Но и молчать он не хочет... Да и нельзя молчать. Хоть «эзоповским» языком, а надо писать. У молодежи чуткое ухо, острый глаз, она прочтет между строк.

В 1876 году против воли своего отца Стефанья Августиновна Яновская выходит замуж за Николая Николаевича Златовратского.

Старик Яновский был очень огорчен и рассержен своевольным поступком своей дочери. Не знаю точно, дал ли отец ей разрешение на брак с Златовратским. Но знаю, что венчались родители не во Владимире, а в Москве, в военной церкви при Спасских казармах.

Помню, мама часто рассказывала об этой довольно грустной свадьбе. Отец после полуголодного существования в Петербурге был настолько слаб, что его невеста должна была все время держать его под руку. Священник старался, насколько возможно, сократить обряд венчанья, так как отец мог каждую минуту упасть в обморок.

Конечно, понятны и огорченье и гнев ее отца, аристократа и националиста. Он грозился отказать дочери в помощи, предоставив ее самой себе. Но с рождением первого ребенка, моего старшего брата Николая, Яновский изменил свое отношение к дочери. Думаю, что в этом примирении немалую роль сыграла Софья Егоровна (моя бабушка), а также сестра и братья моей матери... Зная, насколько слаба здоровьем моя мать, мой дед не позволил ей кормить ребенка и прислал для внука кормилицу, на содержание которой посылал деньги. Примирение Яновского с «неравным» браком младшей дочери, думаю, объяснялось главным образом еще и тем, что, узнав близко моего отца, Яновский проникся к нему большим уважением. И, насколько я помню, при редких встречах с Златовратским он был очень внимателен к нему.

Хотя они резко расходились в убеждениях, старый поляк отдавал должное и большому уму и большому сердцу писателя-народника... его неподкупной честности, его благородству. И их беседы всегда носили теплый и дружественный характер.

После женитьбы Н. Н. Златовратский первую зиму жил с женой в Москве (в гостинице «Крым» против Александровского сада), а затем они вернулись во Владимир, где в 1877 году родился у них сын — первенец Николай.

Следующие четыре зимы (1877—1881) мои родители жили в Петербурге, где в сентябре 1878 года у них родился сын Александр и в ноябре 1879 года родилась я.

Летом жили в ближайших от Владимира селах и деревнях: в селе Добрынском, в селе Устье и в других. Наша мать много рассказывала нам, детям, о «молоканском» селе Добрынском. Отец же в своих очерках и рассказах отобразил своеобразный быт этого села.

В зиму 1882—1883 гг. и в следующую зиму мы бывали в Москве только наездами и, так как постоянной квартиры не имели, останавливались в номерах.

Больной отец не мог пользоваться номерными обедами, да и мы были еще слишком малы, чтобы питаться подозрительной стряпней номерной кухни. Поэтому моей матери приходилось готовить для всей семьи обед на спиртовке.

Как моя мать, так и ее помощница, наша няня, были плохими кулинарками. Мясо не доваривалось или пережаривалось... Мне кажется, что я и сейчас помню запах пригорелого мяса. За эти недозволенные запахи моим родителям сильно доставалось от номерной администрации.

Вообще, хозяйство велось у нас в семье неладно. Московская прислуга обсчитывала и обворовывала нашу добрую, доверчивую мать. Если же попадали честные крестьянские женщины, то выходило еще хуже. Тут уж торговцы обсчитывали безграмотную прислугу.

В 1884 году мы уже имели в Москве квартиру, а именно в доме Дурново по Гагаринскому переулку. В этом доме в ноябре 1884 года родилась моя младшая сестра Стефа.

Помню день ее рождения. Накануне нас отделили от матери. Должно быть, отец нам сказал, что у нас скоро будет сестренка или братишка и что мы теперь уже большие и сами должны одеваться. А вечером отец уводит нас к себе в кабинет и читает нам Лермонтовского «Ангела» («По небу полуночи ангел летел»).

Привожу отрывки из воспоминаний моего отца о дне рождения его дочери Стефочки *:

«...Я... вернулся улыбающийся к ребяткам и сказал, что к нам... пришла маленькая деточка Стефочка. Ребятки все разом повскакали с мест и в то время, как они, не зная, что им делать — плакать или смеяться, прыгать или сидеть смирно, радоваться или грустить,— в недоумении

* Воспоминания эти записаны Н. Златовратским 16 ноября 1894 года в альбом его дочери Стефании Николаевны Сорокиной.

всматривались в мое лицо, как бы спрашивая: «Да какая ж она такая?..» Но в это время вдруг раздается звонок. Я бросился к дверям раскрывать их и только тут вспомнил, что к нам сегодня обещалась прийти компания моих хороших приятелей — писателей, добрейших малых, любивших иногда шумно поговорить «о материях важных», а кстати, и выпить при случае. И вот теперь эта добрая компания стояла передо мной под предводительством самого старого, самого высокого, самого толстого, обросшего цельным лесом черных волос и самого добродушнейшего ветерана всяких веселых литературных компаний М. И. О.

Я, конечно, был совершенно смущен и растерян.

— Что случилось? — вдруг зыкнул на меня своим неистовым басом ветеран, просовывая в щель между дверьми свой большой, мясистый красный нос.

— Тсс! — замахал я на него, и он сконфуженно быстро исчез за дверью. Я вышел на крыльцо и кратко объяснил доброй компании, в чем дело.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — крикнул несколько пораженный неожиданностью, расстроившей его планы на веселую беседу, старый литератор: — Ну, так быть же ей за то «народницей»! Ведь недаром же мы все здесь собрались — это, значит, неспроста вышло... Передай же матери и ей от нас доброго здоровья. Ну, а нам, братцы, ничего не остается при этом случае, как идти в хорошее место... да поздравить.

И почтенная компания шумно и весело двинулась от крыльца.

А пожелание «быть народницей», по словам добродушного ветерана, значит любить свою родину, свой добрый, бедный народ и вместе с ним и всех страдающих и трудящихся и по возможности отдать им на служение свои силы и знания и этот же завет передать и своим детям. Итак, вот какое воспоминание уцелело у меня от первых минут появления на свет моей деточки Стефочки».

Отец потом не раз говорил нам, что компания, пришедшая в день рождения Стефочки, собралась и пришла к нему, чтобы отпраздновать только что полученное разрешение на выпуск журнала «Русское богатство».

ШЕКСПИРОВСКИЕ ВЕЧЕРА

В 1885 году мы живем в Москве, в одном из домов при церкви Спаса на Песках, в Б. Спасском переулке, близ Каретного ряда. Тихий переулок с редкими пешеходами и еще более редкими извозчиками и ломовыми, тарахтящими тяжелыми колесами по булыжной мостовой. Две лавки — мясная и колониальная, булочная, из которой по утрам так вкусно пахнет свежеиспеченными булками. Белая церковь за чугунной оградой. Подстриженные тополя, желтая акация, одуванчики в густо разросшемся газоне.

В этой квартире у Н. Н. Златовратского происходили известные литературной Москве, а также и среди молодежи, шекспировские вечера. Этих вечеров я, конечно, не помню, я была еще слишком мала. Помню только, что у нас по субботам, как это было и все последующие годы, собирались друзья и почитатели отца, много студенческой молодежи. Кто именно бывал на этих вечерах, сказать затрудняюсь. Думаю, что на этих вечерах присутствовали все те, кто бывал на наших субботах уже позднее: Николаев, один из видных идеологов народничества, Пругавин, Маракуев, Городецкий, Владимир Дмитриевич и Елизавета Ильинична Соколовы. Бывали и петербуржцы: Воронцов, Южаков, Станюкович, Мамин-Сибиряк и др.

В этом же доме, в первом этаже, снимали комнату студенты-медики: Леонов, Васильев — друзья отца.

Позднее мне приходилось встречаться с лицами, которых я не знала до этого и которые с особенной теплотой вспоминали отца и шекспировские вечера.

Помню, мать рассказывала, как в один из вечеров нагрянула полиция. Один из присутствующих на вечере (не знаю, кто это был, наверное один из тех, кому не особенно приятна была встреча с полицией) бежал и надел по ошибке шляпу моего отца. Каким-то образом полиция узнала, что шляпа принадлежала Н. Н. Златовратскому, и по этому случаю его несколько раз вызывали на допрос, но отец, кажется, даже сам не знал, кто из «подозрительных» людей на этот раз чуть не попал в руки полиции. Народу на шекспировских вечерах бывало много, и «подозрительных» тоже, конечно, немало.

Беззаботное детство. Все радостно, все весело, все просто... Все полно интереса. Отец, мать... Они так близки детям.

Начало мая. В нашем саду и на соседнем огороде все зазеленело. Кусты малины, крыжовника, черной и красной смородины, длинными рядами расположенные по забору, распустились и как будто за эти последние солнечные дни выросли. По траве рассыпались одуванчики. На широких грядах показались молодые всходы.

Я люблю наш небольшой двухэтажный деревянный дом, сад, маленький дворик, два небольших сарая, прилепившихся к амбару, место наших детских игр. Громко чирикают повеселевшие воробьи, на соседнем огороде журчит ручей...

Отец очень ласков с нами, детьми. Положит руку на мою голову, а потом задумается и скажет: «Ну беги, беги, девочка. Папе надо работать». А ведь так хочется о многом его расспросить! Ведь никто не сумеет так просто и интересно ответить на все наши ребячьи вопросы, как он.

Дом спит, погруженный в сон, только в комнате отца поскрипывает перо.

Короткий, крепкий сон возвращает потраченные силы. А утро такое чудесное. На высоком открытом балконе, на который свешиваются ветки старой черемухи, так легко дышится.

Вот мы увидели отца. Мы видим, что он так же, как и мы, по-ребячьи готов радоваться каждой распустившейся желтой головке ноготка, зарумянившейся вишне. Так же, как и мы, поднимает голову, и мы вместе решаем, что это за маленькая птичка щебечет, затерявшись в весенней зелени старой липы. Но отец не любит сидеть без дела, не любит видеть нас бездельничающими, да и дела в саду немало. За последние недели напряженной творческой работы столько упущений сделано в нашем садовом хозяйстве. И вот мы все за работой. У кого в руках лопата, у кого грабли, у кого пила. Подойдет мать с младшей до-

чуркой на руках, выйдут степенные тетушки учительницы и сядут с работой или книжкой под старой липой.

Вспоминаются мне длинные зимние вечера в маленьком зальце в доме бабушки Марьи. Много цветов — в кадках и на окнах. Большой киот в углу с образами в золотых и серебряных ризах. У печки диван. Перед ним овальный ломберный стол, покрытый ковровой скатертью. На диване отец. Около него мама с маленькой Стефочкой на руках. Тут же на диване примостились и два моих брата: Николай и Александр. На одном из кресел бабушка. Она благоговейно и умиленно смотрит на своего Николеньку. На других креслах тетушки учительницы, приехавшие на рождественские каникулы и, конечно, с рукоделием в руках. Я не могу представить их без крючка, спиц или иголки. Отец читает свой последний рассказ или отрывок из повести.

Я была еще слишком мала, и то, что читал отец, было, конечно, не доступно мне. Но когда я стала постарше, я очень любила слушать, когда он читал нам свои юношеские стихотворения и переводы.

Помню, мне особенно нравилось его чтение «Горной идиллии» Гейне.

Наша бабушка Мария Яковлевна Златовратская занимает две комнаты в нижнем этаже. С ней живет ее младший слабоумный сын Сергей... До 16 лет это был здоровый, способный юноша. Неплохо учился. Что послужило толчком для его тяжелого психического заболевания, я не знаю, не помню. Как будто у него вышли какие-то неприятности в гимназии... Это вполне могло случиться: в то время и начальство и педагоги мало считались с детской психикой.

ДРУЗЬЯ МОЕГО ОТЦА

У отца много друзей. Друзья эти шумны и веселы. Они способны с таким же увлечением отдаваться играм, прогулкам, рыбной ловле, как и мы, дети.

Я хорошо помню эти, полные солнечного блеска и тепла, летние дни во Владимире-на-Клязьме, когда мы все — и мать, и отец, и мы, дети, и наши тетушки, и наши

веселые друзья,— нагрузив на телегу самовар, посуду, корзину с немудрым провиантом, отправлялись в Марьину рощу на берег Клязьмы или к будке 305-й версты,— к той будке, которая послужила впоследствии темой для чудесного, трогательного рассказа Н. Н. Златовратского «Сироты 305 версты»,— или просто отправлялись на Зачатьевский вал. Нас усаживают на телегу, но нам скучно ехать. Нам хочется вмешаться в эту веселую молодую толпу. И вот уже нас подхватывают сильные руки. Кто же эти друзья отца? Здесь московские студенты, проводящие каникулы на родине, семинаристы владимирской семинарии, статистики, сельские учителя, врачи.

Я люблю, когда наши большие бородатые друзья веселы. Люблю слушать их то веселые, то грустные песни. Люблю их шумные игры в лапту или в городки, которые обычно устраивались на Зачатьевском валу. Но я очень не люблю их споров, в которых такое горячее участие принимает мой отец. Мне кажется, что они ссорятся. Не люблю, когда мама, с раскрасневшимся лицом и горящими глазами, также вмешивается в этот спор. Меня пугает и волнует ее страстность. Мне трудно разобраться, кто здесь друг, кто враг. Да есть ли вообще здесь враги? И я бываю очень рада, когда, охрипнув от споров, друзья затихают. А мы, ребята, тут же, на диване, засыпаем под их мирную и тихую беседу

В ДЕРЕВНЕ ЛЕМЕШКИ

В 1882—1885 годах мы каждое лето уезжаем в деревню Лемешки, расположенную недалеко от исторического села Боголюбова, Владимирской губернии.

Хорошо помню эту деревню. Широкая зеленая улица. Двухэтажные дома крепкого мужика-середняка чередуются с покривившимися, подслеповатыми избенками деревенской бедноты. Недалеко от деревни погост. Белая церковь за чугунной оградой. Здесь же недалеко дом получше — священника, похуже — дьякона. Каменная с крепкими чугунными дверьми кулацкая лавка. Почти все мужское население Лемешков на заработках в Москве и в

Петербурге: маляры, плотники, столяры. В деревне командуют одни женщины. Правда, на летние страдные месяцы — пахоту, покос — приезжают их мужья и братья. Это та деревня, которая так хорошо знакома всем, кто читал Н. Н. Златовратского.

Город часто отвлекал отца от творческой работы, деревня же, наоборот, создавала особенно благоприятные условия. Родная природа, которую так любил отец, люди, интересы которых особенно были близки ему, давали ему богатый материал, вдохновляли его.

Под кабинет, или, вернее, под рабочую комнату, гостеприимные хозяева отводили отцу прохладную «клеть» (светелку) или даже баню. Баня, кажется, особенно нравилась отцу. В жаркие дни здесь было прохладно, не было надоедливых мух. А так как баня, кроме того, помещалась в заднем конце усадьбы, далеко от шумных ребят и горластых хозяек, то это было и совсем хорошо.

Но отец работал не только в своей рабочей комнате. У него была работа и другого рода. Мы, дети, еще этого не понимали. Иногда мы обижались, что отец не идет с нами на реку или в лес, а часами сидит на завалинке с каким-нибудь убеленным сединами «деревенским Авраамом» и беседует с ним о «скучных» деревенских делах.

Шумит, гудит сход... На бревнах со стариками сидит мой отец. Он внимательно слушает: он черпает обильный материал, который здесь, на сходе, дает ему деревня.

Моя мать, вышедшая из зажиточной семьи, сумела отказаться от традиций и предрассудков своей среды. Имея четверых детей и больного мужа, она все же находила время, чтобы помочь тем, кто шел к ней за помощью или за советом. А таких людей в старой деревне было немало: по преимуществу это были женщины, которые шли к моей матери со всеми своими «горестями и болестями». Заболел ребенок — «приди, Густавовна, погляди...» Запьянствовал хозяин — «приди, усовести». Поссорилась свекровь со снохой — «разбери дело». И Стефанья Августиновна шла туда, куда ее звали. Шла к больному ребенку, часто рискуя заразить своих детей.

Не говорю уже об отце. Он всегда считал себя как бы равноправным членом единой крестьянской семьи. Свое уважение к трудовой жизни крестьянина он старался пере-

дать нам, своим детям. Слабого здоровья сам, он не мог принимать активного участия в этом труде, но нам, детям, особенно мальчикам, уже с детства старался привить трудовые навыки. Отец с удовольствием смотрел на то, как его босоногие, загорелые сыновья, отвезя навоз на поле, лихо катили на навозных телегах с поля на село или же подвозили душистые копны сена, захлестнув их толстым канатом. Ничего, что мальчуганы поплачут ночью от «цыпок» или синяков, набитых на «мягких местах» от езды без седла на крестьянских лошадях.

Родители почти никогда нас не наказывали. Когда мать сама не справлялась с нами, она говорила: «Я скажу папе». Этого было достаточно, чтобы мы одумались.

Как ни занят был отец своей работой, все же он находил время, чтобы погулять и почитать с нами интересную книжку, продекламировать нам особенно понравившееся ему стихотворение или прочитать отрывок из своих, доступных нашему пониманию, рассказов. На этих чтениях обыкновенно присутствовала и мать. Отец очень считался с мнением жены и часто по ее совету исправлял написанное. Вообще между отцом и матерью были исключительно хорошие, товарищеские отношения.

ПО ВОЛГЕ В САМАРУ

Призвание писателя, к голосу которого прислушивалась не только молодежь, но и передовая интеллигенция, не позволяло отцу замыкаться в узком кругу профессиональных «литературных» интересов. Он стремился расширить круг наблюдений, насытить свой жадный ум новыми впечатлениями.

И вот Златовратский берет свою семью и едет или в одну из ближайших от Владимира или Москвы деревень, или далеко вглубь России, в Поволжье. Отец мой, как и все наши русские люди, любил Волгу нежной, неизменной любовью.

Отец часто декламировал Некрасова. Любил слушать и пел сам: «Волга, Волга, весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля».

Помню нашу поездку в Самарскую губернию в 1886 году. Мы едем на пароходе по Волге. С нами едет муж сестры отца, Анны Николаевны Златовратской, статистик и писатель, Харламов Иван Николаевич, брат известного художника Николая Николаевича Харламова.

Я плохо помню Харламова, но говорят, что это был очень одаренный человек. Человек исключительной честности и доброты. Близкий по своим убеждениям моему отцу, он очень был предан ему.

У Харламова тяжелый туберкулез. Его жена — врач, не может с ним ехать, к тому же у нее на руках двое маленьких детей.

У моей матери много своих забот, но может ли она отказать в помощи тяжело больному другу отца. Едет с нами и наша двоюродная сестра Юзя (дочь Софьи Яновской), рано потерявшая родителей.

В Самарской губернии мы жили в имении Сибирякова, в небольшом флигеле. Не знаю, как далеко находилось это имение от Самары, но ехали мы на лошадях довольно долго. Ехали на просторной линейке, запряженной парой крепких лошадей.

Я хорошо помню это богатое барское имение. Да это и понятно. Ничего подобного я до этого не видела.

Большой белый дом с колоннами, широкая мраморная лестница, ведущая к реке, разбросанные по парку беседки, фонтаны — все это так необычно, так богато и красиво, что иногда мне кажется просто сказкой.

Мы с братьями совершаем целые путешествия, каждый день открывая все новые и новые уголки, полные чудес.

Отца мы видим редко. Он часто уезжает в город и подолгу остается там или с кем-нибудь из своих друзей ездит по губернии, знакомясь с жизнью и бытом самарских крестьян, собирая материал для своих литературных работ.

Матери живется нелегко. На руках у нее тяжело больной Харламов, дочь, которая только начинает ходить, и я, за которой нужны еще глаза да глаза.

Мой отец и в молодости был из числа тех натур, у которых мысль, чувство и слово не расходятся с делом даже в мелочах. И это происходило не только от его убеждений, нет, он и не мог поступить иначе. Не мог не быть

добрым, искренним, отзывчивым, потому что был таким по натуре, хотя часто по его несколько суровому лицу и хмуро сдвинутым бровям можно было заключить, что это человек замкнутый, необщительный. Но таким он был только для тех людей, которые его не знали. Кто знал его, те до конца жизни оставались его ближайшими друзьями. Его мать, братья и сестры боготворили его. Это был не только сын и брат, а друг и учитель, слово которого было для них законом. «Так сказал Николя... Так писал Николя... Так думал Николя».

С юношеских лет разделяя со своим отцом заботы о большой, не выходящей из нужды семье, Н. Н. Златовратский и после смерти своего отца оставался ее опорой. Влияние его на сестер было огромно. И из шести сестер четыре — простые провинциальные девушки, для которых в те времена единственной целью, казалось, должно было быть удачное замужество, пошли: три — в сельские учительницы, одна, окончив медицинские курсы, уехала врачом в деревню. Привожу характерное письмо моего отца к сестрам Елене и Магдалине, написанное в 1886 году из Самары:

Дорогие наши Лена и Магдаля!

Простите меня, что я так долго не собрался ответить на Ваши письма и вообще ничего не написал Вам по поводу вступления вашего на новую самостоятельную житейскую дорогу, на служение тем высшим и лучшим идеалам и целям, которые всегда в моих глазах были непререкаемыми для нашей интеллигенции. В особенности я раскаиваюсь перед Еленушкой, что по неизвинительной небрежности не поздравил ее с окончанием курсов. Но я утешаю себя тем, что ей настолько хорошо известны мои чувства и мнения, что она не поставит этого упущения мне в особую вину. Нечего и говорить, как я несказанно рад, что Вам предстоит так хорошо устроиться при народной школе. Что лучшего я мог бы пожелать для Вас? В нашей жизни для интеллигенции из нашей среды я не нахожу лучшего и достойнейшего положения. Нет сомнений — этот путь не усыпан розами, будет полон тяжелого, хлопотливого труда, мелочных забот и еще более мелочной и гнетущей борьбы с темными силами, но, по-моему, не

только важно вперед знать, что это неизбежно, и приготовиться к этой борьбе, но что и высочайший наш идеал в данное время есть это интеллигентное подвижничество: в нем наше утешение, в нем наш единственный смысл жизни, в нем наша единственная сила и в нем же надежда на победу добра и света!

Укрепитесь в этой мысли, и вы увидите, что «иго ваше благо и бремя ваше легко будет». И эта мысль будет освещать ваш путь и согревать, но не только теперь, когда вы вступаете в жизнь ответственными только за одну свою личность, но и тогда, когда судьба возложит на вас двойное бремя и двойное иго. Величие русской интеллигентной женщины всегда мне казалось особенно необычайным и прекрасным не только тогда, когда она подвижничала единолично, одиночкой, часто ломая свои естественные потребности или, еще хуже, не имея сил побороть их, коверкая их всячески, принося себе этим всевозможные тайные мучения, а тогда, когда она умела и находила силы соединить свое подвижничество с подвижничеством друга, который встретится ей в жизни, и еще более, когда она успевала эту высокую идею интеллигентского подвижничества передать в плоть и кровь своих детей и тем положить нравственные основы для новых поколений. Что говорить! Трудно это, тяжело такое полное соединение и гармония, но зато как велик и самый подвиг! Тут-то вот и лежит истинное решение женского вопроса. Не в отрешении от естественных потребностей, не в чурании от назначения «матери», не в желании сделаться вполне мужчиной, а именно в этом *двойном подвиге*, который сразу вознесет и поставит женщину не только наравне, но и обязательно *выше* мужчин (как это и подобает). Это закон природы, который всюду попирался до сих пор или обходился. Не смущайтесь разнообразными возражениями (которым не бывает конца), когда вам будут говорить, что то невозможно, другое невозможно, что там условия плохи, в другом месте народ нехорош, что для здоровья вредно, что, дескать, или себя, или детей загубишь и пр., пр.

Все это увертки или недомыслие. Помните одно, что лучшее украшение нашей жизни в данный момент есть *только подвиг*, и иной жизни для нас быть не может: не

рай устроить для себя должны мы иметь в виду (пока нет его для миллионов — не может быть и для нас), а *интеллигентный подвиг, борьбу* с темными силами, и в этом же подготовлении к подвигу должны воспитывать и своих и чужих детей. Шероховатости жизни, ее мелкие неудачи, нужда, болезни, неумение и невозможность устроить другой раз для себя то, что хотелось бы,— все это должно исчезнуть перед сознанием, что жизнь наша есть и должна быть подвигом, что в этом все наше умственное и нравственное спасение. Простите, что я пустился как будто в такие длинные поучения, но я не знаю, будет ли еще скоро случай вернуться мне к этому вопросу. Я говорил искренно и почти все сказал, что на душе. Я думаю, что вы поймете, что я хотел сказать. Мне остается только еще раз выразить мою радость ввиду предстоящей вам деятельности. Повторю, лучшего для нас в данное время я не знаю и не вижу.

Вы просите написать Вам, как мы живем? Но о чем тут писать? О моих впечатлениях, которых у меня такая масса, что в год не перепишешь, вы узнаете из печати, наверное. Стефанья Августиновна и ребятишки живут порядочно, хоть и скучновато, так как нынешнее наше положение было скорее похоже на дачную жизнь, чем на настоящую деревенскую. Очень мало было у них знакомых ребят. Но зато и они увидали многое, и прежде всего Волгу, путешествие по которой на пароходе было для нас истинным удовольствием. Иван Николаевич все так же, но мало поправился благодаря крайне неблагоприятной погоде. Я частенько разъезжаю в разные окрестные селения. Теперь пишу Вам из Самары. Виделся здесь с Португаловым В. О. и др. К первому сентября думаем добраться до дому, то есть до Владимира, откуда Вам и напишем... Все мы Вас крепко целуем и еще раз желаем силы и бодрости! Всегда сердечно любящий вас

Н. Златовратский

Передайте мой искреннейший привет и глубокую признательность Дмитрию Николаевичу. А что насчет Бондарева? Сделал ли он что-нибудь? Передайте мое почтение и г. Варгунину.

НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ МОЕГО ОТЦА

Летом 1887 года мама была нездорова. Все лето и всю осень, почти до декабря, мы оставались во Владимире-на-Клязьме. Отец летом дважды или трижды ездил в Самару, тщетно стараясь наладить выпуск новой газеты. Осенью этого же года ездил в Петербург (откуда из-за отсутствия средств едва мог выехать) и дважды был в Москве.

Привожу здесь семь писем моего отца к жене во Владимир-на-Клязьме *.

Самара, 3 июля 87 г.

Наконец, мы все собрались в Самаре, дорогая Стефа, откуда теперь и пишу. В Казани я пробыл двое суток, на вторые сутки мне удалось кое-кого разыскать, а потому этот день провели мы довольно порядочно: обедали у Дудкина, который теперь секретарем в земстве, а вечером пошли к некоему Рейнгардту, хорошему знакомому Михайловского и других литераторов и составляющему в Казани центр, около которого собирается местная интеллигенция. Затем мы двинулись и, не заезжая в Самару, прямо с парохода проехали в Сколково. Здесь я остановился у Виктора Сергеевича. Там у них много перемен, подробно теперь описывать пока не буду... Сообщу только последние новости. Виктор Сергеевич освобожден на днях из-под надзора и собирается переселиться в Самару.

Побывал в Алокаевке и на Висячем у Эртелей; вчера мы двинулись в Самару, куда должны уже съехаться все учителя. Сегодня приехал Преображенский. Все вместе отправляемся к одному учителю обедать, чтобы там повести разговоры окончательные о том, быть или не быть газете. Пока же, как видишь, совсем ничего нет: ни разрешения, ни денег, а потому приходится дело начинать вновь. Вообще, я не особенно верю в скорый успех дела, хоть и есть кое-какие шансы; но скоро ли оно осуще-

* Письма публикуются впервые. Они хранятся в архиве Златовратского (ИРЛИ, Ленинград).

ствится — трудно сказать. Впрочем, все будет зависеть от сегодняшних переговоров. После напишу.

Завтра здесь молодежь устраивает концерт, на котором просит меня читать, а Виктора Сергеевича петь.

Забегал на минутку к Португалову, у которого встретил Нефедова. Вот пока все, что здесь нового. Кстати, сообщу тебе любопытную новость, которую сообщил мне Короленко в Нижнем: Бахметьев снова жестоко проворовался: он наделал на 40 000 фальшивых векселей на Лаврова. Но всего любопытнее — сам об этом Лаврову пишет и говорит, что постарается *все это заслужить своим участием в редакции.*

Очень сожалею, что не видал Силантьева. Здесь же уверены, что Михайловский ушел из редакции «Сев. Вест.»...

Самара, 10 августа 87 г.

...Из письма Преображенского ко мне и из последнего моего письма ты уже, конечно, можешь заключить, что я приехал сюда ни к чему, то есть что все имеющиеся предположения рассыпались прахом, ибо некий купец Субботин, который обещал на газету от 10—20 тысяч, внезапно был привлечен к делу по обвинению в составлении ложной расписки в 200 тысяч рублей... Вот тебе и штука! Будет ли он обвинен, или нет, но во всяком случае это дело пропащее... Но так как здешние литераторы уже очень разохотились на газету, то теперь пришлось мне начинать дело самому и снова, то есть вместе с Миролюбовым, мы пустились искать в Самаре и подбивать на издание газеты денежных людей, в роли адвокатов. А для этого пришлось с ними сначала знакомиться, вести длинные предварительные разговоры. Все это мне не особенно нравится, хотя, повидимому, рисуются кое-какие надежды в будущем и они относятся ко мне, повидимому, доверчиво, но окончательное решение дела еще так далеко, что возлагать на него какие-либо ближайшие упования невозможно. Я, впрочем, теперь стараюсь всячески добиться как можно скорее выяснить дело. Но этому мешает то, что все они теперь живут по дачам. Впрочем, дня в три-четыре я надеюсь уже выяснить положение дела и затем поеду с

Португаловым в село Сухая Ведзовка к молоканам, где останусь один дней на пять пожить, чтобы уже окончательно не пропала моя поездка в Самару даром. После того я тронусь обратно, во Владимир, так как, даже в случае благоприятного исхода, газета не осуществится раньше декабря. Во всяком случае мне еще хотелось осенью побывать в Москве, в Твери и Петербурге! Что делать! Придется нам, должно быть, еще потерпеть, пока что-нибудь выйдет и где-нибудь мы усядемся попрочнее. Ради бога, только не унывайте и не тоскуйте,— это всего ужаснее. Займись теперь, пожалуйста, поплотнее с Колей и Сашей — это самое лучшее и необходимое для них и для тебя. Вы тогда меньше будете обращать внимания на посторонних людей и обстоятельства, и бог даст пройдет и тоска и уныние. Крепко всех целую.

Ваш *Н. Златовратский*

О мелких новостях как-нибудь напишу после. Ник. Никол. живет у колонистов, где пашет, сеет, жнет машиной и вообще чувствует себя хорошо. Пожалуйста, не вдавайся в разговоры обо мне с другими, ведь это ни к чему, кроме напрасных раздражений, не поведет.

19 авг. 1887 г. (Самара)

Моя поездка с Португаловым не состоялась пока, так как я дня четыре лежал больной самарской лихорадкой и только вчера поправился и стал выходить. Вероятно, попаду домой в воскресенье, но уже на один день.

Завтра думаю опять съездить в Совково и побывать там у колонистов и затем у Миролюбова. Вообще езды, беготни и разговоров у меня пропасть...

...Поцелуй от меня всех ребяток; скажи им, что они меня очень порадуют, если будут заниматься серьезнее и прилежнее. А ты, дорогая Стефа, почаще почитывай с ними по вечерам, если тебе будет не тяжело. Прочти им «Тараса Бульбу» Гоголя, им будет это очень интересно. Кланяйся всем нашим. Пожелай Магдале от меня всяких успехов в продолжении ее дела.

Итак, будьте здоровы, живите мирно. Бог даст, может быть, нам улыбнется и счастье. Ведь оно не всегда дается в жизни!

Тяжело мне, конечно, что я не сумел устроить это счастье для вас до сих пор... Ну, буду надеяться, что, может быть, удастся это поправить в будущем. Ведь счастье всегда впереди!

Крепко тебя целую твой

Н. Златовратский

(Письмо из Петербурга без даты, написано в конце сентября 1887 г.)

Среда. Ну что за несчастье, дорогая Стефа, жду сегодня билет, чтобы выехать завтра, и вот приходит Карл Антонович и говорит, что билет только что перед ним взяли, и когда вернется, неизвестно.

А билеты вообще достаются теперь очень трудно. Просил было достать Венгерова, и тот не может...

И вот мы теперь сидим с Карл Антоновичем... и безнадежно придумываем всякие комбинации: как бы мне уехать. Денег решительно негде и не у кого взять. Заложить нечего, все заложено. Просто голова кругом идет. Сколько времени проболтаться здесь без всяких результатов и притом и без возможности выехать. Просто я волосы на себе рву. В такое время и столько времени болтаться без дела. Завтра решусь на последнее средство: иду к Евреиновой и прошу хотя 20 руб. Даже подобной неприятности избавиться не могу... и если она откажет... завтра решусь на последнее средство: послать тебе телеграмму, чтобы ты выслала мне на дорогу, если Соловьев прислал.

Вот до чего здесь безобразны дела, что не у кого достать 10 рубл. Признаться, все наши родные и знакомые живут трудно, все в кредит от 20 до 20-го числа.

Ну, прости же меня, что все мне приходится писать тебе только неприятные вещи... Да вообще невесело здесь.

Твой *Н. З.*

Целую тебя и ребяток крепко, крепко. Значит, пора смириться и работай, работай... Больше ничего.

(Письмо из Петербурга, 3 окт. 87 г.)

Вот и застрял я, дорогая Стефа, вопреки обещанию выехать в среду. Да что сделаешь? Всего не предусмотришь, и дел здесь оказалось, во 1-х, много, во 2-х, по каждому делу не всегда достанешь сразу дома нужных людей. Притом же мне все приходится выжидать случая, чтобы поймать провожатого. Притом и дело с Самарой затянулось. Только вчера получил я оттуда ответную телеграмму на свою — и увы! — оказывается, что последовал отказ. Очевидно, от губернатора! А это все переворачивает вверх дном. Значит, надо подыскивать новое лицо в редакторы, новые хлопоты, переговоры, а время не ждет: оно уж и так ушло. Одним словом, дело с Самарой надо считать не состоявшимся, по крайней мере на нынешний год. Авось, может, в течение зимы удастся подыскать более подходящую комбинацию и как-нибудь исподволь и заблаговременно выхлопотать разрешение. Это дело нынче очень трудное и повернуть его так скоро, как думали мы, почти невозможно. Итак finita la comedia *. И опять скоро новые неудачи на мою голову. К лучшему или к худшему — не знаю. Затем я еще здесь должен устроить дело в литературном фонде с отсрочкой ссуды (ведь срок в октябре платить 200 руб). Оказывается, что это тоже не легко: срочные ссуды за поручителями не отсрочиваются по уставу и деньги взыскиваются с поручителей. История очень неприятная. Надо хлопотать. Был по этому случаю в редакции «Северного Вестника», к сожалению застал только одну Евреинову. По обыкновению она рассыпалась в любезностях и говорит, что они недавно всем редакционным советом говорили обо мне и решили во что бы то ни стало перетянуть меня в Питер, с какой целью все будут отыскивать мне место, которое бы обеспечило меня помимо литературы! Что здесь правда и что — евреинская ложь, увидим после. Вчера был у меня Юрашев. (Сегодня иду к нему на завтрак; там будет Плещеев.) Вообще будут разговоры, на которых надеюсь узнать об отношениях ко мне. Денег у меня всего 10 руб., а нужно еще покупать очки, так как был у доктора; говорит, давно бы

* конец комедии (*итал.*).

уже пора. Несчастье в том, что К. А. не может достать билета, а Евреинова денег не дает, да я и не просил. Это ужас, что Соловьев денег не прислал. Я послал ему телеграмму. Найду где-нибудь еще 10 р. и завтра или послезавтра выеду в Москву в 3-м классе. Как-нибудь доберусь.

Целую вас крепко

Твой *Н. Златовратский*

(Письмо из Москвы, даты нет. Написано в октябре 1887 года.)

Вчера получил от тебя деньги, дорогая С...— хотел было выехать сегодня, но отложил, во 1-х, потому что нездоровится, во 2-х, потому что решительно ничего не сделалось для меня здесь.

Думаю еще пробыть два дня, чем ехать домой, ничего окончательно не выяснивши.

Завтра вступлю в переговоры с Сытиным, которого для этой цели приглашает к себе Пругавин. Не найдется ли у него работы хотя на 50 руб. по редактированию народных книжек. Необходимо здесь хотя к чему-нибудь прицепиться, чтобы рискнуть на переезд, а то у меня без этого энергии не хватает. Если дело с Сытиным не удастся, пойду в «Русский курьер»: не будет ли там чего, хотя это уже последнее дело.

Черт знает как я устал с этим цыганством! Ужасно хочется надолго уйти в укромный угол ото всего — хоть капельку отдохнуть. Вот уже три месяца цыганствую, а пока реальных результатов никаких... Опротивело просто!

На днях проезжали здесь Эртели. Кланяются тебе.

Целую вас всех крепко-крепко.

Думаю, вряд ли завтра выеду ввиду переговоров с Сытиным и «Русским курьером». Постараюсь выехать в воскресенье, если будет здоровиться.

Твой *Н. Златовратский*

(Письмо из Москвы, даты нет.
Написано в конце октября 1887 г.)

Получила ли ты мое письмо, дорогая Стефа, которое я послал во вторник? С тех пор нельзя сказать, чтобы все, но многое уже уяснилось!

Во 1-х, относительно газеты дело, кажется, между нами решено окончательно. Маракуев на днях подает прошение о разрешении трехдневной газеты «Север» * (вроде «Страны») **. Он находит, что, как будет дано разрешение, за деньгами дело не станет, а так как он человек практический, то зря говорить не станет. Если все пойдет хорошо, в ноябре, числу к 15-му вероятно, нам придется обосноваться совсем в Москве, взяв с собой и Добротворского. Подробности о газете передаст Маша, а еще более подробно — до личного свидания.

Во 2-х, относительно моих изданий дело провалилось окончательно почти. Осталась одна надежда на Солдатенкова, с которым хорошо знаком Юрьев, но Солдатенкова нет еще в Москве. Зато мы уже здесь испекли отдельные издания моей «Израильской жизни» для народной библиотеки. Какая это славная штука «народная библиотека»! Мы теперь совещаемся постоянно с Маракуевым и рекомендуем ему авторов для издания. Так порешили этим же месяцем издавать еще мою вещь: «Сон Пимана» (из «Устоев»), потом «Кающегося» Наумова, Бретгарда «Ночь на рождестве» (св. Николай) и пр. Скажи Н. А. Добротворскому, чтобы он обязательно приготовил оттиски своих рассказов из «Детского чтения»; мы их пустим туда же. В 3-х, вчера был у меня Юрьев и просил нас сегодня быть у него, так как, может быть, приехал Толстой, и он пошлет ему телеграмму и пригласит к себе. Толстой очень нами интересуется. Ив. Ник. с ним уже знаком. Толстой сказал обо мне: «Я ото всех слышу такие прекрасные отзывы о З — ом [Златовратском], что он должен быть очень хороший человек». Мы надеемся наверное, что Толстой будет сотрудничать в нашем «Се-

---

* Издание политической газеты «Север» не было осуществлено.

** «Страна» — либерально-оппозиционная газета, начала выходить в 1881 году. Издатель Л. А. Полонский. В 1883 году издание было прекращено.

вере». Свидание с ним необходимо. И если не увижу я его сегодня и узнаю, что он приедет на днях, подожду его еще. Это крайне необходимо. Надо еще съездить к Орлову-статистику.

Вот пока и все. Денег из «Русской мысли» все еще не получил. Такая досада! Что касается покупок, то я не знаю, как теперь быть ввиду возможности переезда в Москву. Не лучше ли подождать покупать кровати, чем возить их с места на место, а купить одеял? Как ты думаешь? Напиши мне тотчас. Да чего не надо ли еще?

Посылаю ребяткам обещанный ворох книг, самых интересных. Многие будут интересны даже для них самих. Выбор прекрасный. Пусть читают, почитай и ты им, но только, пожалуйста, пускай не рвут. Скажи, что папа иначе ничего не привезет еще. Поцелуй их за меня. Как вы живете? Очень досадно, что ты не хочешь мне написать ничего. В случае, если бы твое письмо не застало меня здесь, пиши на адрес Пругавина — Тверская, гостиница «Англия», рядом с английским клубом, Ал. Ст. Пругавину с передачей.

Крепко тебя и всех целую.

Н. Златовратский

Всем нашим мой низкий поклон.

В ДЕРЕВНЕ ГОРБОВО

Лето 1888 года мы проводили в деревне Горбово Клинского уезда Московской губернии.

Хорошо помню эту глухую, затерявшуюся в лесах деревушку на берегу веселой речки, с таким милым душевным названием «Сестра». Воспоминание о «Сестре» связывается у меня с стихотворением Ал. Толстого: «Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод»,— потому, наверное, что это стихотворение я выучила в то лето со слов мамы. Мама много знала стихов.

В Горбове мы жили не как дачники, а как и раньше — среди крестьян, как члены трудовой общины деревни.

В 1877 году в письме своему большому другу, писателю Нефедову, Златовратский пишет: «Вообще нужно сказать, что писать о народе в этом направлении теперь нисколько не затруднительно, во всяком случае далеко легче, чем говорить не о самом народе, а об отношении к нему. Меня, впрочем, может извинить то, что я никогда не провозглашал себя «народным писателем» и никогда не писал исключительно о народе, а только о моих собственных *отношениях как разночинца и пролетария к народу и его ко мне. А в этой области я чувствовал себя столь же на точке правды в Питере и в Москве, как и в избе с телятами»*.

Несмотря на то, что мой отец не получил высшего образования,— помешала этому и тяжелая болезнь, перенесенная им в годы скитаний в Петербурге, и нужда, которая многие годы не оставляла семью родителей Н. Н. Златовратского,— по своим разносторонним знаниям он стоял на уровне передовой интеллигенции. И всегда у него находились ответы на многочисленные вопросы его деревенских друзей.

Не помню фамилии крестьянской семьи, у которой мы снимали избу под дачу. Помню, что хозяина звали Григорием. Высокий, статный, с большой русой бородой, с детски ясными, всегда улыбающимися глазами — вот каким запечатлелся в моей памяти этот чудесный человек.

В Горбове отец снял для себя, для своей творческой работы только что отстроенную крохотную избушечку у старой вдовы со слепой дочерью. Я помню хорошо эту бедную девушку, с большими бельмами на обоих глазах, ощупью, по стенке пробирающуюся домой. В избушке пахло только что срубленным деревом и какими-то травами.

Отец с утра уходил в свою «келейку» работать,— так он называл избушечку вдовы, свой рабочий кабинет. Наша мать строго охраняла покой отца. Я не помню, чтобы в часы работы мы были у отца в его «келейке».

В Горбове на даче поселились ближайшие друзья моих родителей: сестра Веры Засулич, Александра Ивановна Успенская с сыном. Сестра публициста народника Василия Павловича Воронцова, Лидия Павловна Топоркова с сыном Николаем, нашим товарищем. Из Москвы приезжали на лето кое-кто из писателей, друзей отца. Из

Подсолнечного приезжал врач Иван Иванович Орлов. Отец часто бывал у Орлова. Ездил с Иваном Ивановичем по уезду, ловил с ним рыбу в озере Сенеж.

В Горбове Златовратским были написаны: «В старом доме», «Гетман».

Совсем недавно, насколько помню в 1940 году, Анна Владимировна Филатова, заслуженная учительница одной из московских школ, приходила к нам с сыном Григорием, председателем горбовского колхоза; к колхозу перешла земля и усадьба ее родителей, Филатовых. Горбовский колхоз стал одним из передовых колхозов: у него большое ягодное хозяйство, свои оранжереи, парники.

ТЯЖЕЛАЯ ЗИМА

Вернувшись осенью 1888 года в Москву, мы поселились на Малой Бронной улице, в доме Ермолаева, недалеко от Патриарших (теперь Пионерских) прудов. Квартира наша была в первом этаже, сырая и холодная. В кухне бегали крысы. Дверь из кабинета отца, который также служил и общей комнатой, выходила прямо в сени.

Зима и для отца и для всей нашей семьи была очень тяжелая.

Я вообще росла очень впечатлительным ребенком, и, должно быть, переживания взрослых отражались на моем состоянии.

Литературный заработок и вообще-то давал отцу очень немного, но 1888 год был особенно тяжел в этом отношении. С изданием журнала «Эпоха» дело не ладилось. Рассказы, печатавшиеся в этом году, не могли дать многого. А между тем наша довольно многочисленная семья требовала больших расходов. Мальчики подросли, и нужно было готовить их в гимназию. И в смысле всяческих заболеваний этот год был особенно неблагополучен для нашей семьи: младший брат Александр болел дифтеритом. Только что поправился брат, заболела моя мать... Болезнь была очень серьезная, и врачи не ручались за благоприятный исход ее.

Помню отца, взволнованно шагающего по зале. Он курит папиросу за папиросой, и я вижу, как сильно дрожат его руки, когда он закуривает.

Приезжают врачи и долго остаются в комнате матери. Они стараются успокоить отца... Но это плохо удается им.

Приезжал к нам справляться о здоровье моей матери Лев Николаевич Толстой, который относился к ней с исключительным уважением и вниманием.

Отец и Л. Н. Толстой бывали друг у друга. Помню довольно курьезный случай.

Звонок... Новая прислуга идет открывать дверь. В дверях — бородатый мужик в полушубке, в валеных сапогах, намеревается войти в комнаты.

— Куда ты! куда ты! Нешто не знаешь порядка... Здесь господа ходят. А для вас, мужиков, есть черный ход, со двора!

Прислуга была московская и жила у нас совсем недавно. Она еще не знала, что посетители у отца бывали самые разнообразные: и в шляпах, и в шапках, и в шубах, и в полушубках. Не знаю, чем бы кончился спор между Л. Толстым и нашей чересчур заботливой прислугой, если бы в это время не вошла моя мать.

Помню, как Л. Н. и моя мать сидят у круглого стола и тихо беседуют между собой.

Мать моя была большой поклонницей Л. Н. Толстого и одно время серьезно увлекалась толстовством, что вызывало горячие споры между нею и моим отцом.

Высоко ценя Толстого как художника и мыслителя, мой отец отрицательно относился к его проповеди «непротивления» и «опрощения».

Год был тяжелый. Но он был бы еще тяжелее, если бы у отца и вообще у всей нашей семьи не было бы преданных друзей. А таких друзей было немало. Как и в прошлые годы, по субботам собиралась у нас студенческая молодежь, писатели, врачи, учителя. Я хорошо помню эти субботы. Опять же потому, наверное, что молодые друзья отца были и нашими друзьями. И были они не только веселыми товарищами, но и внимательными учителями. Мы засыпали их вопросами (братья особенно) и всегда находили ответ если не у одного, так у другого из студентов.

ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ-НОВГОРОД В УФУ. — В БАШКИРСКИХ СТЕПЯХ

Весну 1889 года мы провели во Владимире. Но так как здоровье матери за последнюю зиму сильно пошатнулось, то отцу посоветовали отправить жену на кумыс. Ехать одной она категорически отказалась. Решили ехать всей семьей.

В Уфе в то время жил писатель-народник Петр Иванович Добротворский. Он, как и все друзья отца, был очень рад, когда отец написал ему, что собирается с семьей в Уфимскую губернию, и обещал ему помочь устроиться в башкирской деревне, которую знал хорошо.

Это интересное путешествие предстояло проделать и нам, детям. И понятно, что мы ждали дня отъезда с большим нетерпением. И этот день пришел; сколько волнений перед отъездом. Тетя Маша укладывает в дорожную корзину еще не успевшие остыть «подорожники» (слоеные пирожки с малиновым вареньем), которые, как кажется нам, только она одна умеет печь так хорошо... Вещи уложены на подводу. На крыльцо с иконой в руках выходит бабушка Марья и благословляет нас в дорогу. Подвода трогается. А мы, провожаемые тетушками, двигаемся на вокзал кратчайшим путем, спускаемся по деревянной лестнице, которая соединяла верхнюю часть города с нижней.

Но вот мы в вагоне. Вещи уложены по полкам. Мы, дети, уткнулись в окно и ждем третьего звонка, когда заглушенно захрипит паровоз, дрогнет длинный тяжелый поезд и поползет вдоль перрона. Побегут мимо красные, синие и желтые вагоны, то покрытые слоем пыли, то только что вымытые и потому веселые, манящие вдаль.

В Нижний приехали утром. Парохода еще не было. Его нужно было ждать три, четыре часа. Оставили вещи на пристани и пошли осматривать город. Из городского сада открывался чудесный вид на Волгу и Заволжье. Но нам очень хотелось подойти к самой реке, и мы уговорили родителей спуститься вниз.

Мы любили природу, как почти все дети любят ее. И около нас был отец, который не переставал до конца своей жизни с такой же юношеской горячностью любить природу и восхищаться ею. Для каждого из нас нахо-

дился у него ответ. И наши детские восторги перед раскрывавшейся красотой природы находили отклик в его душе.

Мы собирали ракушки и камушки, вылавливали из воды водоросли или выкапывали прибрежные растения, всматривались в неясные очертания берегов и желтеющие отмели, и у нас рождались новые и новые вопросы к отцу. Полулежа на песке с потухшей папиросой в руке, отец был в том созерцательно-безмятежном настроении, какое бывает у городского жителя, когда он оставляет город с его шумом, сутолокой и работой и отдается во власть природы.

Где-то далеко загудел пароход. Мама заволновалась, заторопилась, как бы не опоздать...

С радостным волнением входили мы на пароход. Знакомый запах рыбы и смолы ударяет в нос. Как я любила всегда этот запах... Он уносил меня в новый, неведомый еще для меня мир.

Мы едем по Волге, Каме и Белой. Кама и Белая — это все новое. Белой посвятил мой отец один из лучших своих рассказов — «Мечта».

Мы едем на пароходе очень долго. Нам, детям, уже скучно. Хочется поскорее почувствовать землю под ногами, вволю побегать, увидеть близко деревья, подержать цветы в руках. На пристанях, где пароход стоит подольше, мы выбегаем на берег. И вся накопленная за долгое путешествие энергия выливается у нас в беготне, визге и крике.

Накрапывал теплый весенний дождь, когда наш пароход подошел, наконец, к своей последней пристани.

В Уфе пробыли недолго, и вскоре пыльный поезд уносил нас все глубже в башкирские степи...

Слезли на небольшой станции среди степей. Затем около пяти верст ехали на лошадях и прибыли в большую башкирскую деревню Курманкай. Башкиры добродушно, с любопытством разглядывали нас.

Вскоре мы, дети, освоились здесь совсем, нам очень нравилось в Башкирии. Братья мои сменили картузы на тюбетейки, часто они уезжали верхом на лошадях в степь с юными друзьями башкирами или уходили далеко от деревни рыбачить на реку. С собой брали в бутылке кумыс и хлеба или лепешек.

Не пугало нас горячее степное солнце или налетевшая

с дождем и вихрем гроза, когда смерчем крутилась по дорогам черная пыль и, подхватываемая ветром, уносилась далеко в степь: со смехом, чуть не сбиваемые с ног вихрем, бежали мы домой.

Мой отец любил уходить утром в степь и, потягивая кумыс из деревянной чашки, читать там написанное или обдумывать в степной тишине то, что писал или хотел написать дома. Качались тонкие стебли ковыля, и, казалось, колыхалась и серебрилась вся степь.

Как-то отец пошел утром в ту сторону, где степь прерывалась пологими зелеными холмами.

Он устроился поудобнее, раскрыл свой большой зонт и, как это с ним часто бывало, начав записывать что-то в свою тетрадку, увлекся. Карандаш быстро бегал по бумаге. Иногда отец подымал голову и тогда видел мирно пасущийся табун кобыл. Но чем дальше, тем он реже подымал голову и с тем большим любопытством и вниманием рассматривали степные лошади странный предмет — его раскрытый зонт. Вот одна из них подошла совсем близко и остановила на человеке и его зонтике внимательный взгляд красивых влажных глаз... К ней подошла другая, третья... И когда мой отец поднял голову — лошади окружали его плотным кольцом. Их нисколько не смутило, что человек высунул голову из-под зонта и стал махать белой широкополой шляпой... Он, казалось, сам был больше смущен, чем любопытные животные... Положение действительно было критическое. Лошади, повидимому, совсем не думали уходить, и, казалось, не было никакой возможности выйти из этого живого кольца.

Тогда отец сложил зонтик и попытался им разогнать животных. Те, что были помоложе, немного отступили и тревожно заржали. Но другие упорно продолжали стоять. И отошли только тогда, когда вполне удовлетворили свое любопытство. Они понемногу принялись пощипывать густую, сочную траву. И только тогда отец, стараясь не нарушать это мирное занятие и пряча за спину свой злополучный зонтик, пробрался между лошадьми и выбрался на свободу.

С большим юмором рассказал отец семье о своем приключении в степи, и вместе с ним мы в этот день много и весело смеялись.

Помню летний праздник у башкир. Гости съезжались в ярко раскрашенных повозках. Иногда из них выходили закутанные покрывалами женщины и проходили на женскую половину. Женщины не могли участвовать в празднестве. Они только прислуживали мужчинам да украдкой смотрели в приоткрытую дверь и окна, как пируют мужья и их гости.

Пировали весь первый день, запивая жирную пищу медом и пивом.

На следующий день были состязания и скачки около соседней деревни. Началось с борьбы. Выходили бороться сначала подростки, потом парни, а потом и взрослые бородатые башкиры. В скачках участвовали только мальчики. Возвращались мы в деревню на просторных роспусках. Лошади бежали не спеша, и отец всю дорогу разговаривал со старым башкиром. Мы нередко всей семьей совершали поездки в ближайшие отроги гор, на украинский хутор, на ярмарку в соседнее село, а то и просто на свою же реку, версты за две. Забирали с собой самовар, бочонок с кумысом, всякую снедь и пускались в путь.

Проходило лето, и конец его омрачился тяжелыми впечатлениями смерти и болезни. Началась сильная эпидемия дизентерии. Чаще умирали дети, и почти каждый день кто-нибудь из отцов проносил на кладбище ребенка, завернутого в белую кошму.

У нашего старика хозяина умерла четырехлетняя внучка Магрефа, черноглазая красавица, всеобщая любимица и баловница. Мне было жалко девочку до слез. Нам пришлось уехать из башкирской деревни, не дождавшись осени.

И все же мы немного задержались, так как отец ждал денег.

МОЙ ОТЕЦ И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ ИЗ НАРОДА

Лето 1890 года мы прожили в Лемешках. На зиму вернулись в Москву, опять в тот же Большой Спасский переулок. Здесь, в Москве, у отца был уже несколько иной круг друзей и знакомых. Приезжали петербургские писатели. Лучше других помню Мамина-Сибиряка. Может

быть, потому, что он больше других уделял нам, детям, внимания. Помню петербуржцев: Скабичевского, Кривенко, Воронцова, Станюковича, Миролюбова — редактора «Журнала для всех»... Помню писателей москвичей: Астырева, Крандиевскую, позднее Александра Федорова, Бальмонта. Часто бывал у нас поэт Аполлон Коринфский, молодые тогда врачи: М. И. Молчанов, Н. Н. Архангельский.

Здесь начал бывать у нас Николай Артемьевич Лазарев-Темный, тогда рабочий в машиностроительных мастерских. Он был большим другом отца, и дружба эта не порывалась до смерти Николая Артемьевича. Пришел он малограмотным рабочим. Отец просил своих приятелей студентов заняться с ним русским языком. Впоследствии уроки русского языка и литературы стал давать ему Павел Никитич Сакулин, тогда еще преподаватель средней школы (он давал уроки в женской гимназии Мещерской).

Не было ни одной субботы, которую пропустил бы Николай Артемьевич. У нас была его семья, его «школа». Он же дал тему моему отцу для его рассказа «Мечтатели». Насколько я помню, сохранены были даже и имена «Липатыча» и «Демы».

Отец особенно дорожил теми из своих друзей, в которых видел признаки таланта. Их он нашел и в Н. А. Лазареве-Темном и всю его дальнейшую жизнь был его учителем и другом. Темный вырос в настоящего писателя. Его рассказы: «В проходной», «Блоха» и др. говорят как о таланте писателя, так и о его значительном уже мастерстве. К сожалению, смерть слишком рано прервала эту кипучую жизнь.

Если был труден и тернист путь писателя-разночинца, то еще труднее он был для писателя из рабочих или из крестьян. И как мало было людей, которые помогли бы им и своим участьем и своим советом на этом тернистом пути.

И понятно, что такие писатели-самоучки, раз побывав у отца, надолго оставались его друзьями и навсегда сохранили светлую память о нем. Таковы были: Н. Лазарев-Темный, И. Белоусов, С. Дрожжин, С. Фомин, М. Леонов, Ф. Гаврилов — поэт и др.

Помню, как-то А. М. Розов (скончавшийся в июле 1945 года), который бывал у нас еще студентом (впоследствии литературовед), очень преданный отцу, привел к отцу грузчика Фомушкина. Широкий в плечах, коренастый, с рыжей кудлатой головой, Фомушкин был типичным представителем этой тяжелой профессии. Его безграмотные писания, набросанные на клочках бумаги, иногда почти невозможно было разобрать. Но отца это не пугало. Повидимому, с первых строк он увидел в авторе человека талантливого. Но Фомушкин был уже сильно «отравлен алкоголем». Трудно ему было удержаться на поверхности, и он очень скоро исчез.

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ К СЕБЕ

А жизнь дома шла своим чередом. Отец выходит из кабинета к завтраку, к обеду. Иногда он весел, оживлен, шутит с нами, детьми, особенно нежен со своей младшей дочуркой Стефочкой. Иногда же, наоборот, озабочен, взволнован... Работу надо сдавать в печать, но он все еще не решается. Зовет в кабинет мать, читает ей... Редакция шлет посыльного за посыльным.

Отец сидит за столом. Перед ним рукопись... Пот каплями выступает на его лбу.

— Николя... Ну, как? Посыльный ждет.

— Нет, не могу.— Отец встает и взволнованно ходит по кабинету.— Ведь не они, а я отвечаю за все, что здесь написано... за каждое свое слово. Я не могу дать свою рукопись в таком виде. Я должен еще поработать над ней.

Отец выходит в переднюю, говорит с посыльным. Возвращается в кабинет и пишет письмо.

Матери нужно бы сказать отцу, что денег нет, что лавочник и мясник жалуются, что давно не уплачено по книжкам. Что опять приходил псаломщик и напоминал, что отец дьякон просил уплатить за квартиру — не уплачено уже за несколько месяцев, что Степаниде еще за прошлый месяц не платили жалованья. Нужно платить в гимназию за мальчиков, нужны учебники, и проч. и проч.

Но мать молчит. Не потому, что боится взволновать отца, но потому, что она так же требовательна и строга ко всему, что выходит из-под пера мужа, как и он сам.

Посыльный уходит... Отец сразу меняется, точно сбросил тяжелый груз со своих плеч. Но он все же чувствует себя немного виноватым перед женой.

— У тебя, Стефа, совсем ничего не осталось?

— Нет. Но завтра я пойду в ломбард, что-нибудь заложу,— спешит она успокоить мужа, хотя знает, что все имеющее какую-нибудь цену давно заложено.

— Нет, не надо... Я что-нибудь придумаю...

И вот звонок. Входит кто-нибудь из друзей отца и нашей семьи. А таких друзей немало. И каждый из них готов разделить с Николаем Николаевичем последний свой рубль.

Сколько раз кто-нибудь из этих скромных преданных друзей — Николай Артемьевич Лазарев-Темный, врач Николай Николаевич Архангельский, впоследствии и Иван Алексеевич Белоусов,— видя, что отец ведет какие-то таинственные переговоры с женой, видя замешательство обоих, встает, надевает пальто... (помню, что это было с Лазаревым-Темным).

— Ты что же это, братец, бежишь-то?.. А я хотел тебе прочесть свой рассказ. Кончил. Что-то конец не нравится... Не отдал... Надо поработать...

— Я сейчас вернусь, Николай Николаевич... Обещал к товарищу забежать.

— Ну коли так, беги... Но смотри, не надуй!

— Не надую.

Друг убегает и через 15—20 минут возвращается: в руках у него бутылка сливянки, вареная колбаса и булки... Не забывает он и нас: из кармана пиджака вынимает четыре копеечные конфеты и оделяет нас, ребят.

Отец смеется.

— Ах ты мошенник, мошенник,— говорит он, похлопывая по плечу друга.— Стефа, скажи Степаниде, чтобы приготовила закусить. А мы вот с ним пока почитаем.

И отец начинает читать то место из своей статьи, или повести, или рассказа, которое почему-то его не удовлетворяет. И когда друг и жена, которая присела тут же на диване, начинают убеждать его, что сомненья его напрасны,

что все хорошо, и когда он, хотя и не совсем, убеждается в этом, отец говорит:

— Ну, спасибо, спасибо... Теперь я спокоен... Кое-где немного почищу... И в печать!

На следующий день мама, а позднее, когда мы были постарше, кто-нибудь из нас, детей, относим рукопись в журнал или издательство.

Мы с сестрой живем в комнате рядом с кабинетом отца.

Проснешься ночью и слышишь шаги отца за стеной. Повернешься на другой бок, успокоишься и крепко уснешь. А утром, часов в 9, выпив стакан чаю и просмотрев газету, отец садится за письменный стол и пишет. Пишет почти без помарок. Обладая, несмотря на частые головные боли, прекрасной памятью, которую сохранил до последних дней своей жизни, отец до слова помнил то, что сложилось в его голове за ночь...

Так он работал сам: упорно, страстно, самоотверженно, всего себя отдавая работе. Так учил он работать и своих учеников. Фразерство возмущало его до глубины души. И как он ни был сдержан и деликатен по отношению к тем, кто шел к нему за советом, здесь он был беспощаден, насмешлив и суров. И уже больше такой горе-писатель не решался показываться на глаза отцу.

ПОЕЗДКА НА УКРАИНУ

Среди студентов Сельскохозяйственной академии, посещавших в Москве наши субботы, был студент-украинец Колокольцев. Кончив академию и получив от отца большое имение в Харьковской губернии, он уехал на родину, женился на крестьянке и занялся хозяйством.

Он очень просил моего отца приехать к нему с семьей на лето, прельщая его красотами украинской природы и реки Донца, рыбной ловлей в теплые украинские ночи, песнями у костра.

Имение Колокольцева находилось верстах в пятидесяти от города. Ехали мы в середине лета: было пыльно и душно. Мы, дети, не особенно страдали от жары, но наши бедные родители просто изнемогали от зноя. Мать волно-

валась за отца, отец — за мать. И вдруг мать замолчала. Бледная, с высохшими губами, ловя воздух, она пыталась что-то сказать и не могла. Повидимому, у нее было что-то вроде теплового удара. Мы остановились в первом же встретившемся на пути хуторе, чтобы дать матери отдохнуть, и выехали только на следующий день вечером.

Колокольцев был обладателем обширного владения. Бескрайные поля, засеянные золотистой пшеницей... Богатые бахчи, где среди пожелтевшей зелени огромными зелеными и полосатыми шарами лежали арбузы, а кое-где уже полопавшиеся дыни испускали нежный аромат. Большой фруктовый сад, богатые цветники перед домом. Длинный, в два этажа старинный дом, заканчивающийся высокой башней, большой скотный двор и богатые конюшни — все говорило о значительном состоянии владельца этого чудесного имения.

Имение расположено было на берегу Донца. Помню его зеленые берега, остров, на который братья совершали свои путешествия на лодке или на плоту. Иногда они брали с собой и меня. Помню, как мы с хозяевами всей семьей ездили на рыбалку. Вместе с рыбаками варили вечером уху из только что пойманной рыбы, кулеш из тарани и курицы.

Василий Григорьевич Колокольцев применял сельскохозяйственные машины (завел на одном из хуторов даже паровую молотилку) и образцово поставил свое хозяйство.

Я хорошо помню его жену — высокую, стройную смирную женщину с прекрасными темными глазами. Вечер... Пригнали коров. Сытые породистые животные спокойно стоят, помахивая хвостом. У столика над большой счетной книгой склонилась Анна Александровна, жена Колокольцева. Доярки одна за другой подходят к ней с ведрами, полными пенящегося парного молока, и сливают его в большое медное ведро. Так опытная хозяйка ведет учет удоя каждой коровы. Чувствуется, что крестьянки любят Анну Александровну. Она, хотя и жена дворянина, но зато сама такая же крестьянка: с ней можно поговорить запросто о своих нуждах, попеть, посмеяться. Анна Александровна и в нужде, чем могла, помогала нуждающимся.

Отец приехал на Украину не только на отдых. Писа-

тель ищет той «народной правды», которая поддерживает в нем неугасимую веру в будущее народов России.

Иногда в свои отдаленные поездки отец берет и нас с собой.

Как-то Василий Григорьевич предложил моему отцу всей нашей семьей проехаться на один из его дальних хуторов, где работала недавно полученная им из-за границы паровая молотилка. Мы, дети, очень любим такие отдаленные поездки. Любит их и мама.

Далеко ушли от усадьбы плодородные богатые поля помещика Колокольцева. Кукуруза обступила нас со всех сторон, и наша линейка тонет в ней, как затерявшееся в беспокойных волнах утлое суденышко.

Хутора я не помню. Помню только небольшой вишневый садик. Среди густо раскинувшихся деревьев на столе ждет нас завтрак, приготовленный гостеприимной хозяйкой. Но как он ни вкусен, братья торопят папу скорее кончать и идти в поле смотреть машину. Кончился обед, и хозяева-женщины, захватив грабли, спешат на работу.

Вот мы в поле. С удивлением, а маленькая Стефочка даже с некоторым страхом, смотрим на чудовище, пожирающее сноп за снопом и выбрасывающее из своей пасти крупное золотое зерно.

Уехали мы от Колокольцева, когда уже поспели яблоки. Их собирали и хранили в одной из башен, которые возвышались по обеим сторонам длинного дома. Те же чудесные яблоки встретили нас и в имении другого помещика, Варгунина.

На обратном пути из Харьковской губернии в Москву заезжали к Владимиру Александровичу Варгунину, попечителю школы в селе Афанасьево, в которой учительствовали наши тетушки — тетя Лена и тетя Магдалина.

Небольшое великолепно устроенное имение... Дом-коттедж в английском стиле. Большой фруктовый сад. Жена В. А. Варгунина очень сдержанна, несколько чопорна и похожа на англичанку.

Сам Варгунин добродушен, гостеприимен, большой либерал и филантроп. У него много друзей. Все это — прогрессивная интеллигенция и молодежь.

Мы гостим у Варгунина всей семьей. Мне очень нравится их дом. На антресолях мы занимаем две комнаты.

И здесь, как и вообще во всем доме, все в образцовом порядке: удобно, чисто и строго.

Внизу на первом этаже у нас даже есть своя терраса, где мы обедаем отдельно от взрослых. Взрослым подают к обеду вино, нам яблочный сидр. В дождливые дни мы проводим все время на отведенной нам террасе.

Как-то мы всей семьей поехали в село Афанасьево к тетушкам Елене и Магдалине смотреть школу, в которой они преподавали. Школа поставлена великолепно. Варгунин не скупился ни на учебники, ни на наглядные пособия. Волшебный фонарь, географические карты на стенах, портреты писателей.

Под новый год чудесная елка, которую устраивают тетушки своим ученикам. Варгунин уделяет много внимания преданным своему делу исполнительным учительницам.

Местное население прекрасно относилось к ним. Школьники их очень любили. За долгие годы (больше 10 лет тетушки учительствовали в Афанасьево) мои тетушки подготовили немало сельских учительниц и учителей.

Когда я была на лечении в 1945 году в туберкулезном санатории под Звенигородом, одна из врачей, симпатичная, еще молодая женщина, услышав мою фамилию, подошла ко мне и сказала, что она сама из села Афанасьева, что старики их села хорошо помнят моего отца, который не раз приезжал к ним, помнят и своих учительниц Елену и Магдалину Златовратских, которые так много сделали для крестьян села Афанасьево.

МОЕ ОТРОЧЕСТВО

В 1890 году, осенью, я поступила в гимназию княгини Мещерской, лучшую частную гимназию в Москве.

За либерализм, проявленный как самой начальницей, так и преподавателями, гимназия в этом же году была закрыта. Мои родители были очень огорчены этим обстоятельством. Меня надо было переводить в казенную гимназию. Ничего не поделаешь — другого выхода не было. И вот, в 1891 году, я поступила в казенную елизаветинскую гимназию

Увы, первые мои шаги в новой гимназии были неудачны и в будущем не обещали ничего хорошего, что не могло не взволновать моих родителей. Вспоминаю эти тяжелые, гнетущие дни и радость освобождения от гнета «системы» старой отживающей школы.

— Ты опять принесла двойку,— говорит мама, просматривая мой дневник.

— Две двойки и даже кол... Вот это здорово! — смеются братья.

И без того мои красные щеки пылают огнем. В глазах слезы... Я креплюсь, чтобы как-нибудь не расплакаться перед братьями.

— Мальчики, как вам не стыдно! Идите к себе... Идите к себе! — Мать выпроваживает братьев из комнаты.— Что скажет папа! — говорит она им.— Как он будет огорчен!

Я прячу лицо в колени матери и горько плачу. Я не пойду больше в гимназию... Не пойду... Не пойду... Они... злые... Они страшные... Я боюсь их.

Две недели, как я учусь в елизаветинской казенной гимназии, куда устроили меня на стипендию. И эти две недели для меня, как страшный сон... Опять и опять я рассказываю маме об учительнице русского языка и географии. Вот она, этот жандарм в юбке... В своих больших, почти мужских, руках она держит большой кожаный ридикюль, с которого я не спускаю глаз, и точно издалека доносится до меня ее резкий сухой голос, от которого вылетает из моей головы то немногое, что я сумела почерпнуть из учебника... Все крепче сжимают пальцы учительницы ее большой ридикюль; глуше становится голос...

Я молчу.

— Садись...— Кол вырастает в моем дневнике.

А француженка?.. Как визгливо кричит она на меня и стучит маленьким кулачком по парте. Часто, часто сыплются из накрашенных губ ее непонятные слова, и прыгают седые кудряшки около напудренных щек...

Мать долго говорит с отцом.

Вечером отец зовет меня. Сажает к себе на колени, приглаживает рукой мои растрепавшиеся волосы и ласково убеждает меня:

— Надо учиться, девочка... Ничего не поделаешь...

Надо потерпеть... А как мы учились? — И он рассказывает о той муштре, о тех наказаниях, которым подвергались дети в гимназии в то суровое время, когда учился он.

— Ну, а теперь неси-ка сюда твою грамматику.

Эта книжка (грамматика Говорова) внушает мне такой страх, такое отвращение, что меня так и подмывает бросить ее по дороге в топящуюся в передней печь.

Отец открывает грамматику, перелистывает одну страницу, другую... то, что должна я выучить к следующему уроку, и качает головой.

— Ах, они изверги, изверги! Ничего не поделаешь, дочка, попробуем одолеть, может быть, вдвоем мы как-нибудь справимся с этой премудростью.

Напрасный труд. Утомленная слезами и всем происшедшим в этот день, я начинаю клевать носом... Глаза мои слипаются, и я погружаюсь в глубокий сон.

— Брось, Николя...— говорит мать.— Ничего из ваших уроков не выйдет... Соня больше не пойдет в гимназию. Вчера я говорила с Александрой Федоровной (Вагиной). Как будто ей разрешают открыть два класса...

— Да?.. На что же лучше...— Отец старается приподнять мою голову, которая точно прилипла к его письменному столу.— Ну... ну... проснись...

Я просыпаюсь и с виноватой улыбкой смотрю на отца.

— Пожелай папе покойной ночи и иди спать,— говорит мама.— Ты уже больше не пойдешь в эту гимназию.

А означали эти слова вот что: обсудив со своими близкими друзьями — А. Ф. Вагиной, ее братом Н. Ф. Цвиленевым и его женой Батюшкиной-Цвиленевой, недавно вернувшимися из длительной ссылки в Сибирь и имевших двух детей школьного возраста — волнующий как и тех, так и других вопрос о воспитании и образовании своих детей, решили на коллективных началах открыть женскую гимназию. И вот в 1892 году была открыта прогимназия, а впоследствии гимназия Вагиной.

А. Ф. Вагина была опытным педагогом. До переезда в Москву она учительствовала в земской школе во Владимирской губернии в селе Новоселках, где пользовалась любовью и уважением всего местного населения.

У нее было двое детей, которых надо было устраивать в гимназию, и ей пришлось оставить сельскую школу и переехать в Москву.

А так как средства Александры Федоровны были очень ограничены, то, сняв квартиру, она стала сдавать комнаты студентам, которые так же нуждались в заработке, как и она. Было решено совместно открыть школу.

«Репетиториум» — так называли ее студенты, конечно, негласно. Если и остался у меня в памяти этот «репетиториум», то потому, что там при участии родителей и учителей устраивали интересные и поучительные вечера. Мой отец не мог, конечно, оставаться в стороне от этих увлекательных собраний детворы, среди которой были и мы, трое его детей: два моих брата — Николай, Александр — и я. Помню такие серьезные постановки, как сцена в монастыре из «Бориса Годунова» Пушкина, где Коля играл Пимена, Саша — Григория (Самозванца) и сцену в корчме — здесь Саша опять играл Григория, Елена, дочь Вагиной,— хозяйку. Помню чудесные живые картины: «Жена ямщика» Никитина, «Ангел» Лермонтова.

В первый год, когда открылась гимназия Вагиной, нас было только пять девочек. Математику преподавала А. Ф. Вагина, русский язык — Николай Григорьевич Бажанов, который только что окончил университет. Он приходил в класс в плохоньком пиджачишке с рваными карманами, но с добрым сердцем и горячим желанием сделать из этих смешных девочек, таращивших на него, черного, лохматого грузина, свои испуганные любопытные глазки, честных добрых демократок.

Естественную историю преподавал Цебриков — сын детской писательницы, поэт и музыкант.

НЕВЕСЕЛЫЕ ДНИ

Зимние сумерки. Белесоватый свет льется из окна. В передней потрескивает печка. Как-то необычно тихо. Братья в своей комнате делают модель какой-то машины. А я сижу одна.

И вдруг резкий звонок, как шумливый нежданный гость, ворвался в квартиру и прогнал тишину. Мы, дети, выбежали в переднюю. Вышел и отец, взял у почтальона телеграмму и ушел к себе, чтобы прочитать ее.

Мы притихли и ждали, когда отец выйдет и мы узнаем, что случилось.

Отец вышел и сказал:

— Дедушка очень болен... Не говорите маме, я скажу сам,— и опять ушел к себе.

Матери не было дома.

Мы тревожно прислушивались к шагам за стеной, и у нас замирало сердце, когда хлопала тяжелая дверь на лестнице; собрались мы в комнате матери и сидели на большом сундуке у окна. За окном падал снег белыми хлопьями и странно мерцали бледным желтоватым светом зажигающиеся редкие фонари. И как это часто бывает, когда мы на минуту забыли о том, чего ждали с такой тревогой, пришла мать.

Когда отец сообщил ей печальную весть о болезни ее отца, она не заплакала, только сильно побледнела. Потом сказала:

— Нет, он умер... Он умер..

И казалось, что только теперь она осознала свое горе. Она опустилась на стул, как была, в длинном черном пальто, в маленькой барашковой шапочке, и слезы беззвучно полились из ее глаз. Мы, дети, тихо, один за другим, ушли из комнаты. Степанида увела плачущую Стефочку.

В эту же ночь отец с матерью выехали из Москвы во Владимир-на-Клязьме.

Они пробыли на родине всего несколько дней, но нам, детям, эти дни показались за вечность.

Когда отец и мать приехали, мы узнали, что отец матери, наш дед, Августин Игнатьевич Яновский, умер.

Мать теперь носила траур, отчего лицо ее стало казаться еще бледнее. Часто мы заставали ее в слезах.

Невеселое это было время. Отец много работал. Он был бледен и утомлен бессонными ночами. Работа была срочная, и надо было спешить.

Вскоре он поехал на несколько дней в Петербург, но задержался там и в письме нашей маме в Москву писал:

17 февр., Суббота 90 г.

Сегодня собирался ехать, дорогая Стефа, но дела затормозились и должен остаться до завтра, то есть до воскресенья; притом, оказалось, и денег на почтовый билет не хватает, а Карл Антонович обещал сегодня попытаться достать даровой билет.

Мне очень жалко, что я вынужден так долго задерживать твою поездку во Владимир *, но ничего не могу поделать: расстояния громадные — того не застанешь один день, другого — в другой, приходится отложить объяснение до следующего дня, а тут еще надо искать каждый день провожатого... Только в таких случаях сознаешь ясно, какое это великое несчастье постоянно нуждаться в проводнике. Хорошо, что еще здесь Вадим Николаевич Маракуев, который охотно всюду меня провожает, да иногда Катя, а то все на службе, знакомых студентов никого нет.

Дела шли, повидимому, хорошо, но в последнее время несколько затуманились, и вполне благополучного окончания и выяснения их я должен ждать в Москве, в среду, куда Сибиряков обещал мне прислать в этот день деньги. Переговоры же предварительные все я кончил и выяснил все условия. Впрочем, писать обо всем подробно — очень долго, да и всего не передашь. Обо всем расскажу при свидании, которого жду с величайшей радостью.

Целую тебя и ребяток.

Твой *Н. Златовратский*

МАРУСЯ

Звонок... Властный, требовательный звонок. В нашей семье не любят таких звонков. Ничего хорошего они не предвещают.

Тревога не напрасная: в передней жандарм.

— Что вам опять от нас нужно?

Хотя мать говорит твердо, сурово, но побледневшее

* С. А. Златовратская хотела ехать во Владимир из-за болезни своей матери Софьи Егоровны, которая заболела после смерти мужа.

лицо выдает ее волнение. И как не волноваться: только вчера была оставлена ей на сохранение пачка нелегальных брошюр для учительской молодежи, разъезжающейся на летние каникулы по деревням.

— Сударыня, не волнуйтесь.— Жандарм очень вежлив.— На этот раз мы не к вашему мужу, а к вам, лично к вам.

— Ко мне?

— Да... Прочтите...— Жандарм протягивает матери письмо.— Вы, конечно, не будете скрывать вашего знакомства с писателем Астыревым. Не бойтесь: никаких неприятных для вас последствий от этого не произойдет.

— Я не боюсь... Я беру ребенка... Идемте.

— А ваш муж? Он ничего не будет иметь против этого?

— Конечно, нет

— Отлично.

А через два часа мать возвращается, неся на руках годовалую девочку. Это дочка Астырева от второго брака. Мать ребенка была еврейка, но девочка была вся в отца. С такими же голубыми глазами и светлыми золотистыми волосами.

И мать и отец девочки арестованы. Родных нет, ребенка оставить не на кого. Родители девочки обратились к моей матери, так как знали, что она не откажет, как бы для нее это ни было трудно.

Маруся, так звали маленькую девочку Астырева, прожила у нас около года. Мы все ее очень полюбили. Маруся же так привыкла к своей приемной матери, что когда впоследствии вернулась из тюрьмы ее родная мать, не хотела ее признавать. Помню тяжелую сцену, которая разыгралась при первом свидании матери с ребенком.

— Марусенька, родная, ведь я твоя мама...— Елена Марковна протянула руки.

Девочка покачала головой и крепче прижалась к груди своей приемной матери...

Когда же Астырева попыталась взять ребенка на руки, девочка ударила ее ручонкой по щеке. Мать не выдержала и разрыдалась.

Через несколько дней Елена Марковна увозила с собой Марусю в Сибирь.

Как сейчас помню. Вечер. Девочка, одетая в новую бархатную шубку на беличьем меху, в такой же капор, лежит на моей кровати. Я стою перед ней на коленях и горько, горько плачу. Мы долго скучали по Марусе, этом милом и веселом ребенке. Вскоре после отъезда жены в Сибирь в клинике умер от туберкулеза Астырев. Не знаю дальнейшей судьбы Маруси. Ходил слух, что как будто бы мать ее покончила с собой и девочка воспитывалась у бабушки с дедушкой (со стороны матери).

ЛЕТО В ЗВЕНИГОРОДСКОМ УЕЗДЕ

Лето 1891 года мы жили в имени Вырубова Московской губернии Звенигородского уезда. С нами там была и маленькая Маруся.

Управляющим этого имения был Николай Трофимович Никифоров. Он и его жена Олимпиада Александровна Никифорова были долго в ссылке. О. А. Никифорова была близка с Александрой Ивановной Успенской, сестрой Веры Ивановны Засулич. Насколько я помню, познакомились они в ссылке.

Успенская, Никифоровы, Екатерина Ивановна и ее муж Лев Павлович, друг Л. Н. Толстого, как я уже писала выше, были большими друзьями нашей семьи. И когда Никифоровы предложили снять вместе небольшой флигель в имении Вырубова, родители мои охотно согласились. Отца радовала возможность поехать всей семьей, и не на какую-нибудь подмосковную дачу или в подмосковную деревню, а вглубь Московской губернии. Имение Вырубова, Петровское, было расположено приблизительно верстах в 50-ти от ст. Голицыно Александровской (ныне Белорусской) ж. д. и в 40 верстах от Звенигорода, где находился известный монастырь Саввы Звенигородского. По большим праздникам сюда стекалась масса богомольцев. С котомками за плечами шли крестьяне и горожане. Кто побогаче, ехали семьями на подводах. Местные помещики приезжали на своих лошадях в колясках, линейках, шарабанах и дрожках... Вереницей тянулись экипажи, медленно взбираясь на высокий берег Москвы-реки, на одном из холмов которого помещался монастырь...

Под горой, среди крутых берегов, прорезая сосновый бор, кольцом окруживший монастырь, протекала бурливая речка, точно торопясь слиться со спокойными невозмутимыми водами Москвы-реки.

В Звенигороде мы остановились в монастырской гостинице. Надо было отдохнуть самим и дать отдохнуть лошадям.

Так как и после этого мне приходилось не раз бывать в Звенигородском монастыре, то первые мои впечатления об этом, может быть самом красивом уголке нашего Подмосковья, мешаются с более поздними моими впечатлениями.

Обширное имение Вырубова благодаря тому, что Никифоровы, и муж и жена, были хорошими хозяевами, было в образцовом порядке.

Ни помещика Вырубова, ни его семьи я не помню. Помню хорошо большой красивый помещичий дом, окна всегда с опущенными жалюзи, большой цветник и фруктовый сад.

Наш флигель стоит на берегу пруда. Среди пруда — зеленый остров. У берега лодки. Здесь мы, дети, проводим иногда целые дни. Но отец наш часто уходит рыбачить на дальний большой пруд. Пруд был некрасив, но богат карасями.

Вообще отца мы видим редко. Он часто уезжает, обычно с Н. Т. Никифоровым, который ездит по делам имения, отец же знакомится с бытом и жизнью местного крестьянства. Но у отца в это лето была и еще одна забота.

После смерти Августина Игнатьевича Яновского (в январе 1890 г.) моя мать получила наследство, и родители решили приобрести участок земли или небольшое имение. Тайной мечтою моего отца было организовать вместе с молодыми товарищами-студентами, будущими агрономами, сельскохозяйственную артель. Отец подыскивал подходящую землю. Одна усадьба, принадлежащая старенькой помещице, особенно привлекала его. Он решил свозить и нас и маму в этот очаровательный уголок. Воспоминания об этом имении и его владелице невольно связываются у меня с картинами Максимова «Все в прошлом» и Поленова «Бабушкин сад». Старень-

кий, потемневший от времени дом с мезонином, утонувший в кустах сирени и цветущего жасмина. Зеленая роща с одной стороны дома, с другой дорога вдоль поля, с колосящейся рожью и межами, поросшими васильками и ромашками. А в стороне от поля переливающиеся серебром воды большого озера.

И этот старенький дом, и роща, и озеро, и сама приветливая старушка так очаровали и маму и нас, ребят, что мы всячески упрашивали отца купить это имение. Но это было неразумно, конечно, из-за отдаленности от Москвы, с которой отец был связан по своей литературной работе. Кроме того, мальчики поступили уже в гимназию. Предстояло учиться в гимназии и мне. Но мысль приобрести где-нибудь ближе к Москве уголок земли не оставляла родителей.

АПРЕЛЕВКА

В 1891 году и в первой половине 1892 года мои родители продолжали поиски подходящего участка земли под Москвой.

Наконец, они остановились на участке, продаваемом генералом Кохманским, имение которого находилось близ села Бурцева Верейского уезда Московской губернии.

В весну 1892 года мы выехали в Апрелевку, так по названию протекающей здесь речки мы назвали нашу будущую усадьбу.

Помню хорошо этот день. Воз с вещами был уже отправлен вперед, оставался только ручной багаж. Пили чай на покрытом газетами столе, без подноса и из двух стаканов.

До поезда времени оставалось порядочно, все поуспокоились, притихли и повеселели.

Отец шутил. Мать же была немножко озабочена: ведь наш путь далеко еще не был окончен.

Ни накануне, ни в этот день, до того, пока мы, сойдя на станции Голицыно, не сели в два парных больших тарантаса, некогда было думать об Апрелевке. Теперь же, когда экипажи затарахтели по шоссе, всеми своими мыслями мы устремились вперед.

Широкая шоссейная дорога, серым полотном растянутая между двух полос темного хвойного леса, то вбе-

гала в гору, то спускалась в низину. На несколько верст не было ни одной деревни, а лес только изредка прерывался или ложбиной, по которой бежал ручей, или большой зеленой поляной. И только за несколько верст до села, недалеко от которого лежала Апрелевка, лес ушел в сторону, уступив место распаханным полям и зеленым озимым.

Сначала проехали небольшую деревню с играющими в бабки ребятишками и злыми надоедливыми собачонками и потом, повернув и съехав с шоссе на мягкую еще не пыльную дорогу, поехали вдоль речки. Сейчас река казалась довольно большой, так как вода еще не спала. Летом же она так мельчала, что в некоторых местах маленькие ребятишки переходили ее вброд. Проехали через большой высокий мост и въехали в село Бурцево. С высокого холма, расщепленного прорезывающей его песчаной дорогой, село спускалось почти до самой реки, и в половодье вода подходила к самым избам. И теперь еще пологий берег не совсем обсох.

Наша Апрелевка лежала в полутора верстах от села. Сейчас это был никем не заселенный лесной участок с несколькими десятинами распаханных и засеянных полей. Жить там пока было негде, так как недавно только приступили к стройке, и прежний хозяин участка сдал нам небольшой флигель в своей усадьбе, куда сейчас мы и ехали.

Поднявшись на откос и миновав выкрашенную охрой старинной архитектуры церковь с голубыми куполами и двойным рядом узких окон, экипажи въехали в ворота большой барской усадьбы.

И одноэтажный флигель с красной крышей и стоящий в глубине двухэтажный каменный дом с белыми оштукатуренными стенами потонули в широко разросшихся кустах белой и лиловой сирени. Отдельные цветущие кусты ее казались красивыми, пышными букетами, разбросанными в зеленом густом молодняке. Высокие темные кедры вознесли свои остроконечные верхушки и на фоне белых стен дома казались похожими на кипарисы, что придавало не совсем обычный — южный — вид этой русской усадьбе.

В тот же день отец с братьями пешком отправились в Апрелевку. Меня не взяли. Я от огорчения убежала в ро-

щицу к реке, чтобы под какой-нибудь березкой выплакать свое горе. Но рощица была такая красивая и веселая, а речка так приветливо, так заманчиво журчала, обегая зеленые мысики и забегая в такие же зеленые заливчики, из которых торчала неотцветшая еще яркожелтая купальница, что мои глаза скоро высохли.

На следующее утро, такое же солнечное и теплое, у крыльца флигеля, выходившего в палисадник, заросший сиренью и диким виноградом, стояла большая хозяйская телега, в которую была впряжена толстая серая кобыла.

— Ну, Саша, трогай! — сказал отец, когда все сели в телегу. Ленивая Купчиха без особых усилий сдвинула эту чересчур перегруженную повозку и не спеша рысцой побежала вдоль села по утоптанной ровной дороге.

Справа и слева на границе наших будущих владений поля прорезали две рощицы: одна осиновая, другая березовая. Они точно отбежали от леса, который с одной стороны за глубоким оврагом, по которому протекала речка Апрелевка, далеко уходил вглубь, с другой же — на десятки верст тянулся густой порослью, богатой всякой дичью.

Когда же на открытом поле, ближе к оврагу, сверкая из-за купы старых берез и елей белизной свежеочищенного дерева и красной, только что покрашенной, крышей, выглянула новая сторожка, я с чувством сказала:

— Как хорошо, что это все наше!

Отец добродушно засмеялся.

— Вот тут и протестуй против собственности!

Наш участок перерезала небольшая речка Апрелевка, вернее ручей с небольшими бочажками. Весною Апрелевка выходила из берегов, бочажки разливались по оврагу и скромный ручеек обращался в реку, а в засушливое лето совсем пересыхал, оставались только бочажки. Но зато овраг, щедро напоенный влагой, покрывался сочной зеленью с островками голубых незабудок, розовых бархатистых метелочек, неизвестных мне цветов, испускающих нежный аромат, гвоздикой, цыганским пухом и золотыми лютиками, которые целыми зарослями покрывали берега ручья.

По правую сторону речушки было несколько десятин распаханного поля, которое неожиданно прерывалось ку-

лами широко раскинувшихся берез и старых сосен. А по берегу небольшого овражка, сбегающего к реке, росла моя любимая, такая пышная, такая душистая черемуха. Здесь-то, в этом оазисе, и начали строить наш дом по чертежам и рисункам отца.

Справа участок замыкала небольшая еловая рощица... «Елочки», как назвал впоследствии эту рощицу отец. За «Елочками» начинались поля, принадлежащие деревне Мымыри. Интересно происхождение названия этой деревни. По рассказам местного старожила, нашего соседа, известного в то время в Москве городского судьи Бенедикта Георгиевича Кругликова, остряка и прекрасного рассказчика, деревня эта принадлежала какой-то богатой помещице, которая, выходя замуж, подарила эту деревеньку мужу, написав в дарственной «à mon mari» *. Растроганный муж решил в память этого события назвать деревню «A mon mari», а крестьяне очень скоро переименовали ее в «Мымыри».

Человек восемь плотников, в белых фартуках, в крепких больших сапогах, работали в разных концах стройки. Это были братья: родные и двоюродные, рослые и красивые владимирские крестьяне. Были здесь солидные, большебородые мужики, были и совсем еще юные, безусые мальчики. Топоры и пилы сверкали на солнце, белые щепки падали около стройки, где уже лежали их целые кучи, слегка потемневшие от сырости.

Глядя на эту неторопливую работу здоровых, красивых людей, каждому невольно хотелось присоединиться к ним.

Не утерпел и Саша, выпросил топор у одного из молодых плотников и, сидя верхом на толстом бревне, обтачивал его. В работе он был упорнее, чем брат, который давно уже сошел вниз и теперь ходил с отцом и старшим плотником около стройки. Отец сам чертил план дома и поэтому особенно горячо интересовался постройкой.

Он был увлекающийся человек и когда брался за какое-нибудь дело, то отдавался ему всей душой, а главное, умел сделать его приятным и веселым для себя, а также для тех, кто с ним работал. Он редко раздражался,

---

* моему мужу (*франц.*).

был добродушно весел и своим настроением заражал других.

В двенадцать часов плотники кончили работу и ушли в сторожку обедать.

Стало непривычно тихо, и белый остов недостроенного дома казался странно молчаливым. В березах перекликались птицы, над соседним лугом звенел в небе жаворонок, звенел так весело, жизнерадостно, что мне казалось, что я никогда еще не была так счастлива.

Все проголодались и, прежде чем идти в рощу, решили закусить и выпить чаю.

Здесь же, недалеко от стройки, между двух берез, которые низко протянули свои тонкие прямые ветви, расставили стол. Жена служившего у нас сторожем крестьянина деревни Мымыри Василия, немолодая, трудолюбивая женщина, принесла самовар, крынку молока, яйца, за которыми ее дочка бегала в соседнюю деревню.

Отец держал себя с сыновьями, как с товарищами, обсуждая с ними различные хозяйственные проекты. Пробуждающийся в них все больший интерес к природе, которую он сам очень любил, радовал его. Отец был им не только другом, но и учителем. И часто по вечерам, когда они смотрели в звездное небо, отыскивая знакомые созвездия, отец, вспоминая свое любимое стихотворение, декламировал:

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Е. Баратынский «На смерть Гете».

Весело было бродить по березовой роще за рекой, в которой стоял неумолкаемый птичий гомон.

Открытые лужайки пестрели цветами. Трепетала одинокая осинка, и странно покойной казалась рядом с ней старая ель. Она бросала от себя темную тень, как траурное покрывало. И казалось, что только она одна грустила о чем-то, чего никто не знал, в этот праздник солнца и цветов.

Здесь, в лесу, покоренная его прекрасной жизнью, очарованная им, я затихала. Отец часто останавливался и, слегка опираясь правой рукой на палку, а в другой держа потухшую папиросу, долго стоял так. Он щурил глаза от солнца. У него было сосредоточенное, спокойное и доброе лицо, какое я особенно любила.

Зашли далеко. И вправо, и влево, и прямо, и сзади стоял лес зеленой стеной. В незнакомом лесу мне всегда немножко страшно было, кажется, так легко взять не то направление. Может быть, и действительно сбились бы с дороги, если бы не мальчики. Они влезли на большую березу и увидели, что влево от них лес редел, был как-то светлее, и высоко над ним торчали темные вершины старых елей Боровского тракта.

Вернулись в усадьбу, когда плотники, а также и землекопы, которые копали пруд, отдохнули и возобновили работу. Землекопов было двое: отец и сын. Отец — низкорослый коренастый мужик с копной черных густых волос на большой голове, которую он никогда и ничем не покрывал, с черной бородой и бронзовым от загара лицом. Был он необыкновенно упругий и крепкий, и казалось, что ему не стоило никаких усилий катить по настеленным доскам большую тачку, доверху нагруженную тяжелой влажной глиной. Он был из тех в сущности добродушных, но немножко ворчливых мужиков, которые любят говорить прибаутками, знают много интересных рассказов и любят поговорить и порассказать, особенно если встретят внимательного и интересного собеседника. После работы он приходил к отцу и вел с ним задушевные разговоры. Досидев дотемна, он вдруг спохватывался, быстро и легко вскакивал со ступенек крыльца, где они обычно располагались, поспешно кивал своей кудлатой головой и так же быстро и неслышно исчезал, как и появлялся. Максим, так звали землекопа отца, впоследствии послужил Н. Златовратскому прототипом для создания образа Липатыча в рассказе «Мечтатели».

Сын совсем не был похож на отца. Это был бледный, высокий и очень тихий юноша лет девятнадцати — двадцати. Светлые прямые волосы были подстрижены в скобку. Он обращал на себя внимание тихим голосом, замедленными движениями, кроткой улыбкой, грустно-

созерцательным выражением глаз. Мальчики были с ним в большой дружбе, и по праздникам, когда Максим вел свои бесконечные беседы с отцом, Миша внимательно слушал рассказы моих братьев о том, что даже и не снилось ему, малограмотному парню.

Отец любил природу, но все же не представлял себе жизни среди природы без труда. Наши каникулы и каникулы наших товарищей прошли в труде. Молодежь включалась в ту работу, которая проводилась в Апрелевке в это время. Если покос — убирали сено, в свободное время шли с топорами и пилами в рощу, прорубали аллеи... В праздничные дни в работу включались и взрослые. Это были дни «зеленых насаждений». Работали весело, с шутками, со смехом. По вечерам устраивали общие игры в лапту, городки, которые мы, дети, очень любили.

Местные крестьяне ценили отца и охотно шли к нам работать. Работать было легко, весело. Особенно на косьбе. Отец не торопил, только похваливал косцов, искренно наслаждаясь их слаженной работой. Он охотно бы сам взялся за косу, но это было ему не по силам. Но я помню, иногда он все же брал у кого-нибудь из косцов косу, махнет раз, другой и остановится: «Плохой я косец. Куда уж мне!..»

Опять черной тучей нависли над ним его болезнь, бессилье и беспомощность.

Через месяц дом отстроили. Мы переехали в Апрелевку и понемногу стали обзаводиться хозяйством. Ожил новый двор при рабочей избе, потянуло от него навозом и прелой соломой, стал петь по утрам петух, закудахтали куры. На пруду, большом и прозрачном, с зеленым круглым островом, на котором две березки образовали как бы беседку, плавали утки с двумя выводками хорошеньких мягких утят, которые так смешно ныряли и так неслышно и скоро бегали по воде, оставляя позади себя полосы на гладкой, неподвижной поверхности пруда.

У нас уже была лошадь Буланка. Покойное трудолюбивое животное. Мы, дети, очень любили нашу Буланку. Любили ее за то, что она позволяла нам командовать ею. Была еще и корова. Немудрая малорослая крестьянская коровенка — Рыжанка. Правда, молока она давала не так много, но оно у Рыжанки было какое-то особенно вкусное.

Две больших овчарки, умная, старая и седая Дамка и белый лохматый, необыкновенно добродушный молодой Дружок бдительно стерегли усадьбу. Я же, кроме того, приобрела себе длинноногого щенка из породы леонбергов, который из Лео скоро был перекрещен в Левку. Это был любимый мой друг, с которым я никогда не расставалась. Я сама кормила его, мыла и чесала. С этим, пока неуклюжим, мордастым другом я не боялась уходить далеко от дому. Почему-то я была уверена, что Левка всегда найдет дорогу домой.

Поблизости от нашей Апрелевки, в Петровской больнице, в то время работала известная не только в нашем Верейском уезде, но и в Москве и всей Московской губернии женщина-врач Александра Гавриловна Архангельская, окулист и хирург. С ней работала врач Линтварева — ее подруга. Я хорошо помню этих милых интересных женщин и помню их уютный домик в небольшом саду, заботливо засаженном цветами. Архангельская неплохо рисовала, и стены небольшого зала были завешены акварелями. Линтварева, насколько я помню, была украинка. Украинские вышитые полотенца украшали окна и полку с книгами.

Оба врача, будучи почитателями Златовратского, скоро сделались друзьями нашей семьи. Мы, дети, находились под их постоянным наблюдением.

Позднее брат Александр, учившийся в Художественной академии в Петербурге, сделал бюст Архангельской, который стоял в библиотеке при больнице и, кажется, стоит до сих пор.

В 1905 ГОДУ

В июле 1905 года отец поехал лечиться на минеральные воды в Ессентуки.

В письме от 20 (7) июля 1905 года он писал нам:

...Погода здесь стоит бесподобная. Сегодня надел новую блузу и щеголяю в ней по парку, обращая внимание гуляющей публики. Чувствую я себя вообще довольно изрядно. Надеюсь, что ессентукское лечение и на этот раз даст мне кое-какие положительные результаты. Пока из

своей нынешней поездки я выношу заключение, что я значительно окреп сравнительно с первой поездкой.

В Ессентуках тоже все попрежнему. В то время как кругом весь Кавказ находится в сильно напряженном состоянии, здесь попрежнему спокойно, в парках «пасутся мирные стада» толстяков и неврастеников; из политики доходят сюда только очень поздние отклики и реагируют на публику очень вяло. Да и публика нынче очень скромная и серая: военных чрезвычайно мало, генералов всего два-три, богатой буржуазии тоже совсем не видать, почему-то совсем нет студенческой молодежи. Главный контингент составляют жидкие педагоги обоих полов, чиновники разных ведомств и мелкий торговый и промышленный люд, много духовенства — толстого и тонкого. В общем, все необыкновенно скромно, скучновато и кисловато, как то и подобает быть на настоящих лечебных курортах, а не увеселительных. Очевидно, война и всякие другие события все же значительно понизили увеселительный тон. То же самое и в санатории. Завтра пятница, а в виду у дирекции не имеется почти совсем ни певцов, ни музыкантов, ни чтецов: все один и тот же неизменный г. Фигуров.

Вот пока и все мои первые впечатления. Как вы поживаете все? Как идет наша сельскохозяйственная и дачная миниатюра? Приехала ли жена Алексея с детишками, как они вам приглянулись? Как чувствуют себя наши художники-архитекторы и строители? И в каком фазисе развития находятся их древлянские сооружения*. Что поделывают наши милые девочки? Не писал ли чего-нибудь Коля? Как покос и проч.? Пожалуйста, пишите обо всем подробнее.

Крепко всех целую, любящий вас сердечно

Н. Златовратский

Всем знакомым сердечный привет.

7 июля 905 г.

---

* Речь идет о хозяйственных постройках и ремонте плотины на пруду в Апрелевке.

Но прокатившаяся по России забастовочная волна вскоре захлестнула и Владикавказскую железную дорогу и Минеральные воды.

В письме от 28 (15) июля 1905 года отец писал нам:

Июль, 15 дня, 1905 г.

Пишу сейчас вам, дорогие мои, как с заколдованного острова, в который нет ни входа, ни выхода, решительно не зная, когда к вам дойдет мое письмо, и тоскуя, что до сих пор не имел возможности получить от вас никаких известий. Вот уже пятый день, как разразившаяся забастовка всех служащих по Владикавказской линии лишила нас почти всяких сношений с окружающим миром: почта проскальзывает из Ростова только изредка, и то под конвоем жандармов и солдат, под риском стрельбы в поезда. Вчера такому поезду удалось проскользнуть, но, к сожалению, он не доставил от вас письма. Между курортами движение поездов тоже почти прекратилось совсем, только один паровоз изредка провозит три-четыре вагона между Кисловодском и Пятигорском. Железноводск совсем отрезан, да, кроме того, там разразилась стачка служащих: вагонщиков, официантов и проч. Так как никто ничего определенного здесь не знает, то слухи циркулируют самые пессимистические: говорят о забастовках служащих на всех курортах, о том, что 15-го «предполагается» избиение курсовых, что будут гореть богатые дома и гостиницы, выстроенные вблизи санатория, что ожидается забастовка пекарей, что не будет ни хлеба, ни мяса и т. п. Вчера распространился слух, что 15-го в Пятигорске, пользуясь тем, что в этот день предполагается открытие бюста Лермонтова на его могиле, будут сделаны демонстрации и произведен скандал со стрельбой и проч. Благодаря этому слуху масса богатых курсовиков бежала из Пятигорска на тройках в Ессентуки, к которому был замечен особенный наплыв публики в парке. Можно себе представить, какие разговоры ведут здесь по поводу всех слухов! Курсовые дамы до того встревожены, что мужьям серьезно приходится их всячески успокаивать, что никакой «революции» в Ессентуках быть не может, так как, стоит только генералам затрубить в трубу,— и целый

полк терских казаков будет в минуту готов к их услугам. Курсовые тузы все возмущены забастовкой и требуют введения на железной дороге военного положения, чтобы им не было никаких помех купаться в нарзане и вести важные «государственные» и промышленные дела; называют требования рабочих и служащих дикостью и нелепостью и говорят, что никакой нормировки труда и заработной платы быть не может, что они могут регулироваться исключительно спросом и предложением, «железным законом», который утвержден самим богом, что всякая попытка соединить «свободу» промышленности в ее отношении к рабочим есть новое крепостное право и т. п. Вообще, ведется немало характерных разговоров... А поезда, однако, не ходят; на станции Минеральные воды, где находится главное депо с двумя тысячами рабочих и где началось движение, все паровозы разобраны рабочими и двигаться не могут... Дело вышло из-за того, что уже два месяца назад рабочими были поданы в управление дороги требования, касающиеся неотложных нужд. Управление обещало их удовлетворить, но в два месяца не сделало ровно ничего. Вспыхнула забастовка, а начальство опять виляет: пользуясь тем, что рабочие, между прочим, выставляют «якобы политические» требования, вроде свободы стачек, союзов, слова и пр., оно говорит, что удовлетворить подобные требования рабочих не его дело, и поэтому ни в чем не хочет уступить. Говорят, что оно ждет прихода железнодорожного батальона, чтобы временно заместить им служащих, а затем набрать новых. Во всяком случае, правильного движения не ожидается раньше, как еще дня через три-четыре, если начальство будет упорствовать в удовлетворении насущных нужд служащих. Забастовка, конечно, принесла кое-кому немало огорчений, особенно тем недостаточным людям, которые кончали уже курс лечения и собирались уезжать, теперь приходится им здесь сидеть без денег. Кроме стачек, немало волнуют курсовых и разные трагические события, вроде убийства медички в Тифлисе во время демонстрации, убийства доктора-армянина в Пятигорске и через день там же бакинского богача-купца и т. д. Хотя здесь, и вообще на Кавказе, немало существует симптомов очень тревожного настроения, но в общем все же слухи, цир-

кулирующие в курортной публике, чересчур преувеличены...

Так как почтовый поезд сегодня, 15-го, еще не идет, то я откладываю письмо до завтра и иду на вокзал с Влад. Ив. и близкой компанией выпить стаканчик вина с именинником и послать к вам в Апрелевку коллективную телеграмму, чтобы дать вам знать о нашем благополучном здесь обстоянии. Вы, вероятно, из газет уже знаете о нашем изолированном здесь положении и, быть может, несколько беспокоитесь за нас. Нам и хотелось подать вам хотя какую-нибудь весточку.

16-го июля.

Продолжаю письмо сегодня. Сейчас принес почтальон письма, и от вас опять нет нам ни одного. Будем ждать, не принесут ли вечером. Как и следовало ожидать, вчерашний день прошел вполне спокойно, вопреки тревожным слухам, но поезда все еще ходят неправильно. Говорят, что сегодня, наконец, пойдут два поезда на Москву и на Баку, но неизвестно, кто их поведет, машинисты или солдаты железнодорожного баталиона. Употребление последних для этой цели мало приносит успокоения в публику, и вряд ли многие рискнут поехать с такими поездами...

...В санатории мы живем хорошо, но скучновато: совсем не видать интересного, оригинального и идейного народа. Большинство все серенькие чиновники или переутомленные интеллигентные труженицы, вроде фельдшериц, учительниц и пр., которые так устали за долгую жизнь, что уже не до идейных увлечений или разговоров. Из кавказских аборигенов в санатории тоже решительно нет никого, а потому нет возможности даже поговорить с каким-нибудь очевидцем недавних крупных местных движений.

* * *

Я хотя и не состояла ни в одном из революционных кружков, но все же не могла стоять в стороне от революционной работы.

Помню летом 1905 года неудачную маевку за Воробьевыми горами, на берегу Москвы-реки, когда поодиночке, глухими переулками стекалась сюда рабочая

и студенческая молодежь... Митинг обещал быть интересным. Должен был выступить, насколько я помню, «Седой», в то время очень популярный среди рабочих и студентов социал-демократов. Помню, как я как-то везла прокламации, призывающие к восстанию, на конспиративную квартиру для распространения среди рабочих на одном из заводов. Ехала я на трамвае по Большой Никитской (теперь улица Герцена). В круглой картонной коробке из-под дамских шляп лежала увесистая пачка прокламаций. Картонка была плохо перевязана, бечевка порвалась, дно не выдержало, и прокламации грозили вывалиться на пол вагона. Собрав все свое мужество, я сняла с себя тонкий кожаный ремешок, которым была перетянута блузка, перевязала картонку и уже без дальнейших приключений довезла свои прокламации до назначенного места.

С началом осени, когда съехались студенты и курситстки, снова шумно и людно стало на Малой Бронной и прилегающих улицах. Полиция насторожилась.

Все чаще и чаще производились обыски. Тщательно обыскивались комнаты студентов, а часто и вся квартира, а арестованных бесшумно увозили на извозчиках в ближайший полицейский участок, откуда через некоторое время переправляли в тюрьму. Особенно часто были обыски и аресты перед декабрем 1905 года, когда усиленно работали революционные организации: пролетариат и революционная интеллигенция готовились к вооруженному восстанию.

В дни, предшествующие восстанию, мы жили все там же, на Малой Бронной в доме Гирша.

Напряжение в рабочих массах нарастало с каждым днем... Ждали грозы... И гроза разразилась декабрьскими событиями в Москве.

В нашем районе, в районе Малой Бронной, образовались революционные дружины из рабочих и студенческой молодежи. На помощь дружинам пришло местное население, главным образом, конечно, молодежь. Кто тащил доски, кто ящики, кто пустые бочки, поломанные стулья. И скоро на Малой Бронной выросли три или четыре баррикады. Наша большая, неуютная, сырая квартира слу-

жила как бы штабом для одной из таких боевых дружин; дружинники время от времени собирались здесь на совещания, забегали, чтобы отдохнуть, погреться, поесть. Все эти заботы о боевой молодежи взяла на себя моя мать.

Напротив нашей квартиры — пустая квартира, не занятая жильцами, которую мы, женская молодежь — я, моя сестра Стефа и Надя Сорокина — готовим под госпиталь. Одну из комнат отводим под медпункт. Раненых, правда, к нам так и не приводили. Но так как бои в нашем районе все разгорались, то мы ждали, что, может быть, понадобится и наша помощь. Я и моя приятельница Надежда Осиповна Сорокина прослушали курсы сестер милосердия, поэтому мы вступили сандружинницами в один из отрядов. Ни мать, ни отец не удерживали и не отговаривали меня.

Наш санитарный отряд в часы затишья и ночью должен был обходить свой фронт (Большая и Малая Бронные улицы, Никитские ворота, Никитская улица, теперь улица Герцена, Моховая ул.). Самое опасное место было у манежа, который заняли черносотенцы, зорко следившие за тем, что происходило в университете и вокруг него.

Начался артиллерийский обстрел домов Гирша, этого «бунтовского притона», населенного преимущественно студентами. Снаряды падали все ближе. И дома Гирша спасло только то, что их заслоняла стоявшая поблизости церковь, которую артиллеристы, видимо, боялись повредить. Но многие ближайшие дома были разрушены снарядами.

После подавления восстания наступили страшные дни. Гнетущая тишина. Ощущение полной беспомощности. Скоро начались поголовные обыски во всех домах Гирша. Помню, к нам на квартиру пришел целый отряд городовых и солдат. Они искали оружие. Поиски эти обычно проводились очень грубо. Но у нас с отрядом был жандармский офицер, который, видимо, решил показать, что он культурный человек, и поэтому в квартире писателя он был сдержан сам и сдерживал подчиненных. 30 (17) декабря 1905 года отец писал моему брату Александру в Петербург:

Дорогой Саша!

Получил ли ты с тетей Катей мое письмо от 12-го дек., в котором мы сообщали о том, что совершалось у нас на Бронной и вокруг нас во время этой кровавой недели?.. Спешу уведомить тебя, что, слава богу, мы все уцелели, здоровы и благополучны пока, и, бог даст, не представится опасности в ближайшем будущем, так как, повидимому, бурная волна, поднявшись до своего апогея, начинает спадать... Но это не значит, чтобы не пришлось и не придется переживать оч[ень] тяжелых нравственных минут, вызывавшихся безумным пролитием потоков крови и ожидаемыми репрессиями. Описывать тебе всего я не буду, так как в петербургских газетах вы уже имеете довольно яркое описание всех наших московских ужасов, довольно верных в общем, но иногда преувеличенных и неверных в частностях. Так, в некоторых газетах сообщалось, что был совсем разнесен дом Гирша, но этого не было, и мы жили только ежечасными ожиданиями такого разноса, так как с трех сторон вблизи нас были обстреляны Полтавские бани, дом Романова и дом Корфа на углу Палашевского переулка, где живет Воскобойников. Было так уже близко от нас, что 15-го мы решили все разъехаться с нашей квартиры, кто куда может: я с мамой и Соней поместились у Михайловского, Стефочка с Сорокиными уехали к их сестре, тетя Лена и тетя Магдаля уехали к тете Варе. Но только что мы успели разъехаться, как утром 16-го было сделано дружинам распоряжение очистить баррикады, которые тотчас же и начали разбираться дворниками и добровольцами на дрова. Теперь у нас на Бронной все чисто и открыто и только зияют бреши в стенках Романовки и Полтавских бань. Из Гиршей повыехала масса народу, и в нашем корпусе остался только Массальский (без детей) да Коля с Анисей и Мишей в нашей квартире. Мама пока у Михайловского еще, так как у нее не выдержала голова и началась страшная мигрень. Выехали мы из квартиры все, кроме всего прочего, потому еще, что у Морозова вышла вся нефть, которую невозможно было подвезти, и мы рисковали быть вымороженными, как тараканы.

Когда еще наступит полное успокоение — трудно сказать. Сегодня с 7 ч. утра до 9-ти раздавались постоянные

пушечные залпы со стороны Пресни; говорят, разносили Прохоровскую фабрику, где засело много вооруженных рабочих, другие говорят, что разносили еще дом Плевако на Новинском бульваре. Теперь (в 12 ч.) залпов пока ниоткуда не слышно.

Относительно судьбы близких знакомых пока никаких печальных известий не слышно. Здесь начинается выдача кое-какой корреспонденции, старых газет и журналов, но письма от тебя нет. Пожалуйста, пиши поскорее, как вы все здоровы и как вообще дела.

Нервы за эту неделю развихлялись у всех до чертиков... Да, вряд ли было что-либо подобное по ощущениям под Ляояном или в Порт-Артуре: все же там как-никак была правильная «война», а здесь... здесь был один ужас стихийного побоища, ужас этого ощущения кончился.

Пожалуйста, пиши скорей. Все мы крепко целуем тебя и всех наших.

В письме к сыну от 25 (12) января 1906 года мой отец писал:

Дорогой Саша!

Сейчас прочли в «Молве» подробную публикацию о вашем «Гамаюне» *, которая мне понравилась по своей серьезной скромности и отсутствию всякой кричащей рекламы; очень доволен также, что П. В. З — й ** решил выступить в качестве ближайшего к редакции лица. Лично в твоих идеалистически чистых настроениях и стремлениях я, конечно, не сомневался ни на минуту, но ввиду вашей литературной неопытности боялся, что вы не всегда сумеете использовать их наиболее целесообразно. К великому моему огорчению, дорогой Саша, я в данное время ничем не могу помочь вам непосредственно. Ты не поверишь, до какой степени у меня тупа голова — просто полная мозговая прострация! При самом усиленном напряжении своего мозгового аппарата в результате не получается... ничего, кроме сплошного тумана и тяжести в голове и какой-то сверлящей тупой боли: ни ясно формулированной мысли, ни ярких выражений и образов... Меня уже на-

---

* «Гамаюн» — журнал, издателями-редакторами которого были А. Н. Златовратский и И. Ф. Беспалов.

** П. В. Засодимский.

чинает пугать мысль, что не призрак ли это начинающегося мозгового бессилия... Буду, впрочем, уповать, что это только временно, как результат страшного нервного напряжения, пережитого в последний месяц, с одной стороны, и полнейшей пертурбации всех привычных ассоциаций идей благодаря чрезвычайной необычайности совершающихся явлений, на которые уже не может быстро реагировать застаревший мозг, который у меня и всегда не отличался особенной бойкостью. Надеюсь, однако, что при первом же «просветлении» постараюсь прислать тебе что-нибудь. А пока — желаю тебе и твоим товарищам от всего сердца полного и серьезного успеха. Пожалуйста, пиши обо всем чаще. Нас так глубоко интересует твое новое дело.

Мы все здоровы и благополучны. О судьбе наших знакомых ты, вероятно, уже знаешь из газет. Вот и еще инцидент, который мало располагает к объективному «созерцанию». У нас наступили морозы, и мы начинаем изрядно мерзнуть в нашей сараеобразной квартире, и мы решили перебраться на другую, в тех же Гиршах, в 1-м корпусе (от Тверского бульвара, в 3-м этаже, № 11); квартира совершенно такая же, как была в № 67; стоит 40 руб., только без отопления; это будет для нас теперь куда более по средствам; к воскресенью обещались оклеить ее, и мы, значит, перенесемся от земли и помоек к облакам.

Всем сердечный привет.

Твой *Златовратский*

12 янв. 906 г.

Мама просит тебя непременно выслать «Гамаюн» тете Оле и прочим тетушкам.

Прилагаемое письмо передай П. Вл. Засодимскому, если увидишь его скоро, или перешли по почте. Я не знаю его адреса.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ ОТЦА

В последний год своей жизни отец попрежнему живо интересовался всем. Много тревог вызывало у него новое издание собрания его сочинений.

В письме к старшему сыну Николаю незадолго до своей кончины отец писал:

Живем мы здесь понемногу, без особых приключений. Я занят своим изданием. Все больше начинаю бояться, как бы издатели «нового типа» (агентурно-синдикатского) не посадили меня совсем в Колому. С подписанием договора я начинаю опасаться, что они считают меня окончательно находящимся в полном их распоряжении и не желают даже входить со мной в какие-либо предварительные переговоры. Так, например, я, по возможности, хотел удешевить издание и сделать его доступнее (ведь оно будет стоить теперь в три-четыре раза больше, чем раньше, когда я издавал сам!), сообразуясь с чем, я располагал так и материал по томам. Но оказывается, что это я все делал напрасно, так как они сообщили мне, что уже ими давно все предрешено, что цена на все издание назначена ими двенадцать рублей, что каждый том должен стоить полтора рубля, что они уже об этом анонсировали в своих каталогах и уже собирают через агентов подписку. Не сочли нужным даже черкнуть мне об этом раньше, да не высылают даже на мою просьбу и своего каталога с этим анонсом: так я и не знаю, под каким соусом предлагают меня публике и какой. Очевидно, предполагается, что будут читать меня «капитальные верхи» (которым вряд ли много дела до российского мужичка) — так одни мои «Устои» будут в отдельной продаже стоить три рубля! Очень боюсь, что при таких условиях мое издание попадет в руки лишь одних любителей исторических древностей. Но в таком рабском положении у гг. издателей мне придется находиться в течение десяти лет, по истечении которых и самая память об моем писательстве исчезнет бесследно.

Приходится утешиться известным лишь афоризмом: «поживем — увидим!»

Недавно получил извещение, что к печатанию первого тома уже приступили. И то — bene *!

Вчера от О-ва деятелей печати получил сообщение, что оно намерено устроить литературное утро в память Добролюбова, и просят меня принять в нем участие. Хотя я в последнее время решительно не в силах выступать публично, но я с удовольствием приму участие, сообщив свои воспоминания о Добролюбове и его времени. Да не

---

* хорошо! *(лат.)*

знаю еще — разрешат ли. Здесь вот ухитрились провалить скромное чествование даже столетнего юбилея Белинского, ссылаясь на нежелательное участие Сакулина (начинающего пользоваться среди здешней молодежи большой популярностью), чтобы не вызвать антикассовской демонстрации *.

Мне и теперь (через 43 года) тяжело самой писать о кончине горячо любимого отца. Поэтому привожу здесь в заключение отрывки из воспоминаний о моем отце рабочего Ивана Николаевича Куликова, нашего друга, часто бывавшего у отца:

«В декабре 1911 года я читал газету, и мне бросилось в глаза извещение в черной рамке: «Умер Н. Н. Златовратский...» Тоска защемила мое сердце. В день похорон, войдя в квартиру, дверь которой была открыта, я увидел много народу. Все ходили как потерянные, никого не замечая, а в столовой на столе в большом дубовом гробу лежал Николай Николаевич. Мне его было плохо видно, но подойти поближе я побоялся. Никем не замеченный, я стал за дверью, и слезы полились из глаз. Когда Н. Н. был жив, я не чувствовал, что так любил моего доброго великого учителя. Сразу мне припомнилось все прожитое время в близком соприкосновении с таким замечательным человеком, и я почувствовал всю тяжесть его потери. Это была первая утрата в моей маленькой жизни. С кладбища поехал прямо к себе в общежитие. На следующий день я узнал от родных писателя, что до последнего дня он работал над своими воспоминаниями. 10 декабря Николай Николаевич за утренним чаем прочел в газетах, что по предложению синода всем публичным библиотекам запрещено хранить и распространять его произведения.

Н. Златовратский очень много лет был под строгим надзором полиции, но эта последняя репрессия царизма окончательно убила его. Прочитав это постановление, он сильно взволновался, затем почувствовал себя плохо, прилег на диван, с которого уже больше не встал.

Измученное сердце не выдержало такого удара. Не стало писателя, боровшегося за свободу угнетенного народа».

---

* Речь идет о министре просвещения Л. А. Кассо.



ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕТСКИЕ И ЮНЫЕ ГОДЫ

Воспоминания Н. Н. Златовратского «Детские и юные годы» публиковались в 1908—1910 годах. В журнале «Вестник воспитания», 1908 г., № 1, 2, была напечатана глава, носившая название «Детские и школьные годы». В Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) сохранился журнальный оттиск этой главы с пометками автора. В литературном сборнике «Друкарь» (М. 1910), посвященном памяти первопечатника Ивана Федорова, была опубликована глава «Свободный станок». В журнале «Вестник Европы», 1910 г., кн. 9, 10, напечатана заключительная часть воспоминаний под названием «В шестидесятых годах».

При подготовке отдельного издания воспоминаний Златовратский подверг журнальный текст серьезной переработке (изменил чередование глав, произвел ряд сокращений, внес стилистические поправки), оставив в неприкосновенности лишь текст, опубликованный в сборнике «Друкарь». В отдельном издании книга получила название «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов» (М. 1911). Этот текст с некоторыми незначительными стилистическими изменениями был перепечатан в первом томе Собрания сочинений, который готовился при участии автора (Н. Н. Златовратский, Собрание сочинений. Изд-во «Просвещение», СПБ 1911, т. I).

Воспоминания «Детские и юные годы» в настоящем издании печатаются по последнему прижизненному изданию 1911 года с исправлениями по всем предшествующим публикациям и беловой рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 202, ед. хр. 24).

[1] Владимир-городок — Москвы уголок.

[2] «Махабхарата» («Сказание о великой битве бхаратов») — древнеиндийская эпическая поэма, состоящая из 18 книг,— 220 000 стихов. Сюжет поэмы — борьба за власть двух аристократических родов — Пандавов и Кауравов, потомков мифического царя Бхараты. Содержит в себе элементы лирики, драматургии, дидактические поучения и сведения по различным отраслям знаний.

[3] Имеется в виду война 1853—1856 года между Россией и коалицией Англии, Франции, Турции и Сардинии, развернувшаяся преимущественно в Крыму и на Черном море. В годы Крымской войны, обнаружившей отсталость крепостнической России, усилилось крестьянское движение и революционная активность демократической интеллигенции.

[4] «Наль и Дамаянти» — самостоятельный вставной эпизод в поэме «Махабхарата». Впервые переведен на русский язык поэтом В. А. Жуковским. (См. В. А. Жуковский, Сочинения, Гослитиздат, М. 1954, стр. 316—360.) «Певцом» «Наля и Дамаянти» Златовратский иронически называет школьного инспектора.

[5] Квазимодо — персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», отличавшийся необычайно уродливой внешностью.

[6] Магницкий Леонтий Филиппович (1669—1739) — преподаватель математики в московской школе математических и навигационных наук, автор учебника «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703), в котором содержались сведения по арифметике, алгебре, геометрии и тригонометрии.

[7] Зуев Никита Иванович (1823—1890) — педагог, географ, историк и картограф, автор «Учебной книги всеобщей истории», выдержавшей несколько изданий, а также географических учебников и атласов. Златовратский ошибочно именует его купцом.

[8] Ободовский Александр Григорьевич (1796—1852) — географ и педагог, издатель первого в России «Педагогического журнала» (1833—1834) и автор ряда учебников.

[9] Открытая 1 января 1834 г. Владимирская публичная библиотека в 1839 г. прекратила свое существование.

[1] 19 февраля 1861 года — день издания царского манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости и отмене крепостного права.

[2] Левитов Александр Иванович (1835—1877) — писатель-демократ.

[3] Учебник французского языка (Cours élémentaire et progressif de la langue française), составленный Давидом Марго, выдержал несколько десятков изданий.

[4] Златовратский Александр Петрович (ум. 1863) — брат отца Н. Н. Златовратского. Был в дружеских отношениях с Н. А. Добролюбовым, с которым вместе учился в Главном педагогическом институте в С.-Петербурге. После института преподавал сначала в рязанской гимназии, а затем в Ставрополе, где умер от скоротечной чахотки.

[5] В журнальном тексте («Вестник Европы», 1910, кн. 9) Златовратский называет его имя полностью — Дубенский. Н. Я. Дубенский (1822—1892) принимал активное участие в проведении крестьянской реформы.

[6] Славянофилы — представители реакционного направления русской общественной мысли, сложившегося в сороковых годах XIX века. Они утверждали особый, отличный от Западной Европы, путь исторического развития России, покорность церкви и престолу, необходимость сохранения помещичьей власти и крестьянской общины. Наиболее видными славянофилами являлись И. В. и П. В. Киреевские, бр. И. С. и К. С. Аксаковы, А. С. Хомяков.

[7] «Колокол» — революционная газета, издававшаяся А. Герценом и Н. Огаревым (с 1857 по 1867 г.) сначала в Лондоне, а затем с 1865 года в Женеве. «Колокол» выступал с требованием освобождения крестьян с земельным наделом, уничтожения цензуры, телесного наказания, разоблачал помещичий и административный произвол в России, хищничество и злоупотребления чиновников. Русская демократическая интеллигенция с горячим интересом встречала каждый номер «Колокола».

[8] Очевидно, копии протоколов образованного в январе 1857 года Секретного комитета по подготовке проекта об отмене крепостного права.

[9] «Стихотворения Н. Некрасова», изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина, Москва 1856. В этот сборник вошли 73 стихотворения Некрасова. Среди них «Поэт и гражданин», «Влас», «В деревне»,

«Колыбельная песня» и многие другие, в которых с большой силой выражались антикрепостнические настроения поэта.

[10] Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ-просветитель, выступивший с критикой социального неравенства, антидемократизма собственнического общества. Златовратский передает свое детское впечатление от разговоров взрослых о роли Руссо во французской буржуазной революции XVIII века.

[11] Очевидно, сборник «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения», изданный А. Герценом и Н. Огаревым в Лондоне.

[12] Стихотворение (Златовратский ошибочно называет его басней) «Шарманка» в пятидесятых годах пользовалось большой известностью и распространялось в списках. Представляет собой злую насмешку над Николаем I. Это стихотворение было впервые напечатано в газете «Колокол» (1857, № 5) со следующим редакционным пояснением: «Несколько месяцев тому назад в Москве и Петербурге ходила по рукам песня, которую мы передаем нашим читателям для пополнения антиниколаевской литературы». Помимо заголовка стихотворение имело подзаголовок: «К воспоминаниям о незабвенном».

Одно время авторство «Шарманки» приписывалось Н. А. Некрасову. В последнее время установлено, что автором является писатель Зотов В. Р.

[13] Создание так называемой «Герценовской легенды», о которой пишет Н. Златовратский, связано с пребыванием А. И. Герцена во Владимире. Во Владимир Герцен прибыл 2 января 1838 года из вятской ссылки. Весной 1838 года Герцен стал редактором «Прибавлений к Владимирским губернским ведомостям», которые представляли собой первую местную светскую газету. Герцен выступал на страницах газеты со статьями по краеведческим вопросам, писал статистические обзоры. В № 1 за 1839 год редакция «Прибавлений» писала: «Редакция должна с... благодарностью отозваться о трудах *А. И. Герцена*, постоянно участвовавшего в издании «Прибавлений...» Большое внимание Герцен уделил первой Владимирской публичной библиотеке, открытой 1 января 1834 года.

В июле 1839 года Герцен, после того как с него был снят полицейский надзор, уехал из Владимира.

[14] Златовратский допустил ошибку. Речь идет не о двух прокламациях, а об одной, носившей название «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству». Эта написанная Герценом прокламация была напечатана в 1853 году в Лондоне и нелегально распространялась

в России. В ней Герцен обращался к русскому дворянству с призывом, «не ожидая взрыва», добровольно отменить «крепостное право», отказаться от «гнусного, позорного, ничем не оправданного рабства крестьян».

[15] М. Е. Салтыков был командирован министром внутренних дел С. С. Ланским в города Владимир и Тверь «для обозрения письменного делопроизводства... канцелярий начальников сих губерний по предмету устройства перевозочных парков для действующей армии», то есть выяснить, не было ли злоупотреблений в организации народного ополчения в период Крымской войны. Во Владимире М. Е. Салтыков пробыл с 20 по 22 августа 1856 года (см. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, Гослитиздат, М., т. I, стр. 464).

[16] «Губернские очерки» впервые были опубликованы М. Салтыковым в журнале «Русский вестник», 1856, №№ 8—12, под псевдонимом Н. Щедрин. Очерки, разоблачавшие самодержавно-крепостническую Россию и проповедовавшие демократические убеждения, имели шумный успех и находились в центре внимания передовой русской общественности (см. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, М., ГИХЛ, 1948, т. IV).

[17] «Лучинушка» — русская народная песня. Под этим названием известно несколько песен. В 50-х годах XIX века наибольшей популярностью пользовался текст песни, начинавшийся словами: «Лучинушка, лучинушка березовая! Ах, что ж ты, лучинушка, не ясно горишь, не ясно горишь, не вспыхиваешь?»

[18] Город Рязань.

[19] Владимирским губернским предводителем дворянства в конце 50-х годов был С. Н. Богданов.

[20] В рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 202, ед. хр. 24), названа фамилия тогдашнего владимирского губернатора: Тиличеев.

[21] В журнальном тексте («Вестник воспитания», 1908, № 2) имеется более подробное описание этой сцены, выпущенное автором в отдельном издании: «Посредине, рядами в несколько человек, шагали сотни молодых и старых крестьян в сопровождении конвойных солдат. Перегоняя друг друга, рыдая и причитая, бежали бабы, таща за собою за руки ребятишек; на них кричали солдаты и хожалые; из лавок и некоторых домов выбегали люди и подавали «кандальным» калачи, пироги, хлебы и деньги; за пешими тянулся длинный ряд телег, доверху наполненных мешками и узлами с одеждой, поверх которых сидели плачущие бабы с малыми детьми; над всей

улицей висела густая туча пыли, сквозь которую несся сплошной гул невыразимо резавших ухо разнообразных звуков».

[22] В издании «Детские и школьные годы» (1908), хранящемся в ЦГАЛИ, на полях неизвестной рукой карандашом проставлена фамилия этого помещика — Кошанский.

[23] Во «Владимирских губернских ведомостях (Часть неофициальная)» 7 марта 1859 года было опубликовано сообщение об открытии библиотеки.

[24] В опубликованном во «Владимирских губернских ведомостях» (21 марта 1859 года) «Положении о публичной библиотеке, учреждаемой в губ. городе Владимире, с разрешения г. министра народного просвещения, титулярным советником Златовратским», в разделе «Помещение библиотеки» говорилось: «Губернский предводитель дворянства находит возможным дать помещение в свободных комнатах Дворянского дома, где она была и прежде. В случае каких-либо препятствий для помещения библиотеки в Дворянском доме она переводится распоряжениями управляющего в частный дом по найму, который на время нахождения в нем библиотеки делается свободным от казенного постоя».

[25] Гор. Рязани.

[26] В оттиске, хранящемся в ЦГАЛИ, на полях неизвестной рукой указана фамилия этого учителя — Зданович.

[27] Имеются в виду Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и Н. А. Некрасов, возглавлявшие революционно-демократический лагерь.

[28] Речь идет об А. И. Герцене и Н. П. Огареве, эмигрировавших за границу, о поэте А. И. Полежаеве, отданном в солдаты, о сосланных писателях-декабристах А. А. Бестужеве, В. К. Кюхельбекере и др.

[29] См. С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением семейной хроники». ГИХЛ, М. 1954.

[30] Ишимова Александра Осиповна (1804—1881) — писательница , переводчица и издательница детских журналов «Звездочка» и «Лучи». Ее книга «История России в рассказах для детей», являющаяся переработкой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, высоко ценилась А. С. Пушкиным, В. Г. Белинским, Н. А. Добролюбовым.

[31] Во «Владимирских губернских ведомостях (Часть неофициальная)» в номере от 6 июня 1859 года в связи с открытием в городе новой публичной библистеки была опубликована историческая справка, в которой сообщалось, что «весною 1840 года Дом дворян-

ства был назначен к переделке», а библиотеку «по соглашению бывшего тогда губернского предводителя с губернатором приказано перенести в холодный сарай».

[32] В журнале «Сельское благоустройство», 1859, № 1, 2, была опубликована статья Н. Я. Дубенского «О производительности, доходности и ценности земель Владимирской губернии», в которой на большом фактическом материале, на основе статистических сведений доказывалась экономическая невыгодность крепостного права и чрезмерной эксплуатации крестьян, гибельно отражающихся на положении сельского хозяйства. Эта статья была выпущена также отдельным изданием.

В рукописи Н. Златовратского «В 60-х годах» (ЦГАЛИ, ф. 202, ед. хр. 30) имеется большой отрывок, не вошедший в окончательный текст, в котором рассказывается о том, как отразилась публикация этой статьи на судьбе ее автора:«Крепостники уже с самого начала стали смотреть на него подозрительно и критически относиться к его статьям. Но когда в журнале «Сельское благоустройство» в 59 году появилась его большая статья «О производительности, ценности и доходности земель В—ской губ.», жестоко задевавшей крепостников, поднялась настоящая буря. Отдельные оттиски этой статьи покупались и брались в нашей библиотеке нарасхват... Против него прежде всего было выпущено несколько брошюр, обвинявших его в злостном извращении фактов, а затем уже не задумались пустить и всякие закулисные и неблаговидные средства, подняв против него травлю, что он вынужден был не только уйти из губернского комитета, но и в буквальном смысле бежать из нашей губернии. Но так как это случилось в самый медовый месяц освободительного движения, то его врагам не удалось раздавить и уничтожить сразу Д.: он был оценен в Петербурге, вызван в Главный комитет и энергично продолжал работать, к своему великому удовольствию, сначала там, а затем до конца 60-х годов в Западном крае по устройству крестьянских дел. К сожалению, дальнейшая судьба этого незаурядного деятеля сложилась очень печально: в продолжение десятков лет он уже в старости вел жизнь почти бесприютного интеллигентного пролетария».

[33] Во «Владимирских губернских ведомостях (Часть неофициальная)» в номере от 17 января 1859 года было напечатано сообщение: «Завтра 18 числа на здешнем театре будет играть известный артист императорских московских театров г. *Живокини* в пиесах «Стряпчий под столом» в роли Жовиаля и «Водевиль с переодеванием» — Шестаковского». Очевидно, в этот свой приезд Живокини

выступал также на описываемом Златовратским концерте в дворянском собрании.

Живокини Василий Игнатьевич (1808—1874) — выдающийся русский комедийный актер, выступавший главным образом в водевиле и комедии. Роль в водевиле «Стряпчий под столом» считалась одной из лучших в его репертуаре.

[34] См. прим. 15 на стр. 419.

[35] См. прим. 7 на стр. 416.

[36] Зотов Рафаил Михайлович (1796—1871) — поэт, романист, драматург и журналист, автор многочисленных популярных исторических романов, отличавшихся внешней занимательностью и легкостью изложения.

«Никлас Медвежья лапа, атаман контрабандистов, или некоторые черты из жизни Фридриха II» (1837) — приключенческий роман.

[37] На страницах «Современника», самого передового журнала того времени, в пятидесятых годах были напечатаны произведения И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского и других писателей.

ЮНЫЕ ГОДЫ.

[1] Манифест 19 февраля 1861 года — официальное название документа, в котором Александр II объявлял об «изменении положения крепостных людей», то есть о крестьянской реформе (см. сборник «Крестьянская реформа в России 1861 года». Госюриздат, М. 1954, стр. 31). Из страха перед крестьянскими волнениями манифест был опубликован лишь 5 марта. Судя по сообщению «Владимирских губернских ведомостей» от 11 марта 1861 года, манифест во Владимир был доставлен 6 марта, а официальное оглашение его произошло 7 марта, а не 15, как ошибочно пишет Златовратский.

[2] 19 февраля 1861 года Александр II подписал одобренное Государственным советом «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», то есть порядок и условия осуществления крестьянской реформы (см. сб. «Крестьянская реформа в России 1861 года», Госюриздат, М. 1954, стр. 39).

[3] Первая строфа стихотворения поэта-петрашевца А. Н. Плещеева «Вперед без страха и сомненья».

[4] Н. А. Добролюбов заезжал во Владимир проездом из Нижнего-Новгорода в Петербург в августе 1861 года.

[5] Н. А. Добролюбов в конце 50-х годов выступил в журнале

«Современник» с рядом статей по вопросам воспитания («Несколько слов о воспитании» — 1857, «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» — 1860, «От дождя да в воду» — 1861 и др.), в которых подверг резкой критике систему воспитания в современных ему учебных заведениях, телесные наказания, пощечины, розги и другие варварские методы воздействия на детей (см. Н. А. Добролюбов, «Избранные педагогические произведения». Изд-во Академии педагогических наук, М. 1952).

[6] Новым владимирским военным губернатором был назначен генерал Самсонов Александр Петрович (1809—1882).

[7] В тексте главы, опубликованной в сб. «Друкарь» (М. 1910), Златовратский рассказывает о второй попытке создать во Владимире неофициальный печатный орган:

«Что касается новых попыток осуществления мечтаний о «независимом органе» в нашем городе, то они могли быть предприняты не ранее, как спустя лет 20 после описанного, когда судьба нашей губернии была вверена губернатору, с апломбом заявившему, что развитие просвещения в своей губернии он считает своей первой миссией и будет в высокой степени рад содействовать всякому прогрессивному начинанию. Действительно, когда весть о такой губернаторской миссии распространилась в городе, один из молодых, но довольно легкомысленных в то время людей, некто С., обратился к губернатору за содействием к открытию первого «независимого» органа в губернии; причем для пущей важности сочинил обширнейшую программу, с правом обсуждения всех важнейших вопросов государственной жизни, сопроводив ее длинным перечислением «предполагаемых» сотрудников газеты, с виднейшими деятелями тогдашней передовой литературы во главе.

Губернатор пришел в восторг от мысли, что такой орган будет впервые основан в губернии во время его губернаторства и обещал новому редактору-издателю письмо к министру с подробной мотивировкой о «назревшей» потребности для губернии такого важного культурного начинания. Молодой редактор чуть не прыгал от успеха своей просьбы. Преисполненный радужными надеждами и снабженный губернаторским ходатайством, он помчался в Петербург для личного представления просьбы министру. Министр внимательно просмотрел поданные ему бумаги, затем тщательно свернул их и, возвращая обратно просителю, сказал: «М. Г.! извольте немедленно отправляться назад к своему делу и скажите вашему губернатору, что он не в своем уме!»

Изумленному молодому человеку оставалось только раскла-

няться и ретироваться. Так по крайней мере передавал об этом сам инициатор этого предприятия.

А вопрос о нарождении «независимого» органа на моей родине отодвинулся на десяток лет».

[8] В газете «Московские ведомости», 1859, № 216, было напечатано письмо годового подписчика Владимирской публичной библиотеки, в котором сообщались итоги годового существования библиотеки: библиотека имеет «56 подписчиков. Между ними годовых 47; полугодовых 7; на три месяца 1 и 1 на месяц. Что касается до ежедневных посетителей библиотеки... нам прежде всего пришлось встретить между ними... учеников здешней гимназии. Затем было два-три студента Моск. университета, несколько учителей...»

[9] Измененные строки из юношеского стихотворения М. Ю. Лермонтова «Расстались мы, но твой портрет» (1831). У Лермонтова: «Так храм оставленный — все храм...»

[10] В архиве Златовратского (Институт русской литературы Академии наук СССР, Ленинград) имеется целый ряд его юношеских стихотворений этих лет: «Родине», «Ни туда, ни сюда», «Пьедестал жизни», «Дума», «Что-то истина» и др.

[11] Шлейден Маттиас Якоб (1804—1881) — известный немецкий ботаник, автор ряда популярных брошюр по естествознанию, переведенных на русский язык («Растение и его жизнь» и др.).

[12] Льюис Джордж Генри (1817—1878) — английский буржуазный философ-позитивист и физиолог-дарвинист. Его книга «Физиология обыденной жизни» была в 1861 году переведена на русский язык и вызвала большой интерес в передовых кругах русской интеллигенции.

[13] Грубе Август Вильгельм (1816—1884) — немецкий педагог, автор популярных общеобразовательных книг для юношества.

[14] Ленц Эмилий Христианович (1804—1865) — автор учебника «Руководство к физике, составленное для русских гимназий» (1839), который отличался трудностью восприятия.

Гано Адольф (1804—1887) — один из основателей электромагнитной теории, автор популярного учебника по физике.

[15] Орлов Владимир Федорович (1843—1898) — по окончании семинарии работал учителем в Иваново-Вознесенске. В 1869—1870 году привлекался по делу революционера-заговорщика С. Г. Нечаева и был сослан. По возвращении в 1881 году, будучи учителем железнодорожной школы в Москве, познакомился с Л. Н. Толстым, увлекся его религиозной философией и часто встречался с ним (см. Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, ГИХЛ, тт. 49 и 63).

В 90-е годы Орлов отошел от «толстовства» и его общение с Толстым прекратилось.

[16] «Дон Карлос» — историческая драма Ф. Шиллера, наполненная духом возмущения против тиранов и самодержцев и пафосом освободительных идей.

[17] «Тайны инквизиции» — роман М. Ферреаля (М. 1871), в котором ярко изображен террор и гнет инквизиции, ее бесчеловечность и жестокость.

[18] В сохранившейся тетради юношеских стихов Златовратского имеются также тексты переводов стихов Г. Гейне: «Предисловие к «Книге песен», «Из «Лирического интермеццо», «Горная идиллия», «Из «Возвращения». Трудно с полной достоверностью установить, являются ли эти стихи самостоятельным переводом Златовратского. Вероятнее всего, учитывая слабое знание Златовратским немецкого языка, что эти стихи и есть переводы, сделанные Орловым, которые он позволил Златовратскому списать.

[19] Речь идет об участниках восстания 1863 года в Польше, которые выступили с требованием национальной независимости и широких демократических реформ. Восстание было подавлено, и его участники подверглись жестоким репрессиям.

[20] Блекуэль Елизавета (1821—1910) — первая женщина в США, получившая звание доктора медицины. Установить, в каком журнале была напечатана биографическая справка о ней, не удалось.

[21] Уставная грамота — документ, в котором точно определялись взаимоотношения помещика с освобожденными от крепостной зависимости крестьянами, размеры получаемого ими надела, его местоположение и характер повинностей.

[22] Имеются в виду статьи Н. А. Добролюбова о современных ему выдающихся писателях-реалистах А. Н. Островском («Темное царство» и «Луч света в темном царстве»), Ф. М. Достоевском («Забитые люди»), И. А. Гончарове («Что такое обломовщина?»).

[23] В 1864—1865 году между двумя наиболее прогрессивными журналами того времени — «Современником», возглавлявшимся Н. А. Некрасовым, и журналом «Русское слово», издававшемся Г. Е. Благосветловым, в котором активное участие принимал Д. Писарев, происходила ожесточенная полемика по вопросам философии, литературы, искусства и экономики. Критики «Современника» М. Салтыков-Щедрин, М. Антонович и Г. Елисеев выступали с защитой революционно-демократической программы против отвлеченно-просветительской и вульгарно-материалистической тенденций мировоззрения Д. Писарева и В. Зайцева.

[24] Сочинения Н. А. Добролюбова в 4-х томах, изд. Н. А. Некрасова и Н. Г. Чернышевского, 1862.

[25] На экзамене присутствовал ассистент Московского университета Н. С. Тихонравов (1832—1893), впоследствии крупный ученый и исследователь русской литературы. Тихонравов обратил внимание на талантливую работу Н. Златовратского и выделил ее из общей массы экзаменационных работ.

В своей автобиографической записке (Архив Института русской литературы, Ленинград) Златовратский приводит отзыв Тихонравова о своем сочинении: «Из бедных содержанием, детски изложенных и большей частью без орфографии написанных сочинений, ярко выставилось только одно — Златовратского, одного из даровитейших учеников в гимназии, к сожалению не получившего права поступить в университет».

[26] Надежды Чу—ева не оправдались. Тихонравов не «похлопотал», и Златовратский поступил вольнослушателем в Московский университет, но из-за материальной нужды перешел в Технологический институт.

[27] Рассказы «Чупринский мир», «Наследство рабочего» и ряд других очерков и рассказов, напечатанных в различных журналах.

[28] Имеется в виду М. Е. Салтыков-Щедрин.

КАК ЭТО БЫЛО

Цикл автобиографических рассказов «Как это было» был впервые напечатан в журнале «Русская мысль», М. 1890, кн. XII. В него входили — «Мой «маленький дедушка» и Фимушка», «В старом доме» и «Канун «великого праздника». При подготовке в 1910 году первого отдельного издания Златовратский дополнил этот цикл новыми рассказами: «Старые тени», «Аннушка», «Потанин вертоград» и «Лес». Готовя свое собрание сочинений, Златовратский исключил из этого цикла «Лес».

Печатается по тексту Собрания сочинений, изд. «Просвещение», СПб, 1911, т. I.

АННУШКА

[1] Жанна Д'Арк (ок. 1412—1431) — крестьянская девушка из деревни Домреми (Шампань), героиня французского народа, возглавившая в ходе Столетней войны (1337—1453) освободительную борьбу французского народа против Англии.

Ей посвящена романтическая трагедия Ф. Шиллера «Орлеанская дева», одним из персонажей которой является также и рыцарь Лионель.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. ЛЕВИТОВ

Печатается по тексту, опубликованному в сборнике «Общества любителей российской словесности» на 1895 год «Почин».

[1] «Степные очерки» — т. I, издан В. Е. Генкелем в 1865 году, т. II — в 1866, т. III вышел в 1867 году в изд. В. П. Племянникова.

[2] Перу А. И. Левитова принадлежит большой очерк «Московские комнаты с небилью», опубликованный в журнале «Библиотека для чтения», 1863, №№ 7, 8 и 9, в котором дается яркое описание быта и нравов нищих обитателей этих «комнат». Здесь же писатель признается: «Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мною в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность».

[3] «Говорящая обезьяна» — эпизод из задуманного А. И. Левитовым в 1870 году большого романа «Сны и факты». В письме к М. М. Стасюлевичу 5 октября 1870 г. он писал: «Рекомендую вашему вниманию прилагаемую при письме главу. Этот эпизод назван «Говорящей обезьяной» потому, что человек, выведенный в I-й главе, в момент его сумасшествия, за отсутствием людей покупает обезьяну, которая говорит ему вещи, совершенно его удовлетворяющие и потому дающие ему возможность умереть более или менее счастливо» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V, СПб. 1913, стр. 249). В письме к М. М. Стасюлевичу от 13 октября 1870 г. Левитов изложил подробно конспект задуманного им романа, который должен был представлять собой историю трагической жизни и переживаний спившегося и впавшего в безумие художника под влиянием жизненных трудностей и противоречий (там же, стр. 250—252).

Роман остался незаконченным. Отрывок «Говорящая обезьяна» был впервые опубликован после смерти писателя в журнале «Свет», 1879, № 11, стр. 274—291).

[4] «Горе сел, дорог и городов». Повести, рассказы, очерки и картины. М. 1874 — название сборника А. И. Левитова, в котором собраны его произведения о страшной и мучительной жизни трудовых «низов».

[5] Левитов впервые начал печататься в 1861 году в Москве, в журналах «Московский вестник», «Время», «Библиотека для чтения».

[6] Златовратский ошибся, Левитов родился в 1835 году и в описываемое время ему было не более 40 лет.

[7] Очевидно, речь идет о еженедельном иллюстрированном сатирическом журнале «Будильник» и об его издателях.

[8] В этом письме Левитов писал: «Жду вас как можно скорее, потому что мне очень нужно переговорить с вами по делу моему с Х—м об исправлении и окончании очерка, что мне, поправившись здоровьем, будет сделать очень удобно». (Речь шла о печатании очерка «Всеядные» — *С. Р.*). (См. А. И. Левитов. Собрание сочинений, изд. К. Т. Солдатенкова. М. 1884, т. I, с биографическим очерком Ф. Д. Нефедова).

[9] Левитов умер 4 (13) января 1877 года от туберкулеза, осложненного воспалением легких.

ТУРГЕНЕВ, САЛТЫКОВ И ГАРШИН

Печатается по тексту, опубликованному в сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», М. 1897. В ЦГАЛИ сохранился оттиск этой публикации с собственноручными исправлениями Златовратского, которые внесены в публикуемый нами текст.

[1] Первая встреча И. С. Тургенева с членами редакции журнала «Русское богатство» произошла в С.-Петербурге во второй половине февраля 1880 года.

[2] Журнал «Отечественные записки» был основан в 1818 году. С 1839 года издание перешло в руки А. А. Краевского, во главе критико-библиографического отдела стал В. Г. Белинский, в журнале сотрудничали А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, М. Ю. Лермонтов и др.

С 1868 года, когда редакция «Отечественных записок» перешла к Н. А. Некрасову, М. Е. Салтыкову и Г. З. Елисееву,— журнал стал боевым органом революционной демократии. В 1884 году журнал был запрещен.

[3] Летом 1879 года по инициативе видного сотрудника «Отечественных записок» публициста С. Н. Кривенко была образована артель для издания на компанейских началах нового журнала «Русское богатство». В артель вошли С. Н. Кривенко, Н. С. Русанов, А. М. Скабичевский, М. А. Протопопов, Г. И. Успенский, В. М. Гаршин, П. В. Засодимский, Н. С. Курочкин и др. Издательницей

журнала была С. Н. Бажина, редактором — Н. Н. Златовратский. Журнал начал выходить в 1880 году и просуществовал до 1881 года. После выхода третьего номера журнала артель распалась.

[4] Имеется в виду отрицательное отношение «Современника» к роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». М. А. Антонович, автор статьи «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3), утверждал, что «роман есть не что иное, как беспощадная и разрушительная критика молодого поколения». Критика «Современника» в течение ряда лет несколько предвзято и тенденциозно оценивала героя романа Базарова, видя в нем пасквильное изображение новой прогрессивной молодежи, что в значительной степени способствовало охлаждению отношения демократических кругов к Тургеневу.

[5] «Крокет в Виндзоре» — стихотворение И. С. Тургенева, написанное им 20 июля 1876 года, было резко направлено против английского правительства, его попыток замолчать и скрыть свое участие в кровавом подавлении восстания болгарских патриотов против турецкого ига. Стихотворение рассматривалось как политический памфлет против викторианской Англии и не было пропущено цензурой; было широко распространено в списках. Впервые опубликовано в журнале «Слово», 1881 г., № 3 (по неисправному списку), потом в «Русской старине», 1883, № 11.

[6] По воспоминаниям С. Н. Кривенко и Н. С. Русанова это была вторая встреча И. С. Тургенева с представителями редакции «Русского богатства» (см. «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», «Academia, 1930). Она произошла на квартире издателя К. М. Сибирякова, а не золотопромышленника А. М. Сибирякова, как ошибочно пишет Златовратский.

[7] В встрече с И. С. Тургеневым, кроме Н. Златовратского, приняли участие писатели Г. Успенский, В. Гаршин, А. Эртель, И. Ясинский, Н. Наумов, Н. Русанов, С. Кривенко.

[8] Приводится рассказ Тургенева о своих оставшихся незавершенными замыслах очерков «Всемогущий Житкин» и «Повиноваться» (см. И. С. Тургенев. Сочинения, ГИХЛ, 1931, т. XI, стр. 583—586).

[9] Речь идет, по всей вероятности, о писательнице Л. Ф. Нелидовой, часто встречавшейся с Тургеневым во время его пребывания в Петербурге в феврале 1880 года.

[10] Писатель-демократ В. А. Слепцов (1836—1878) прожил яркую, богатую разнообразными событиями и исканиями жизнь. Большую известность приобрела организованная им в сентябре 1863 года коммуна, созданная с целью осуществления на практике идеала социалистического общежития. В силу неоднородности своего

состава, непоследовательности поведения самого Слепцова коммуна в мае 1864 года распалась.

[11] Имеется в виду кружок передовой московской дворянской интеллигенции, созданный в тридцатых годах XIX века Н. В. Станкевичем, к которому примкнул и В. Г. Белинский. Этот кружок занимался главным образом обсуждением философско-теоретических вопросов и этических проблем. Здесь обсуждались труды немецких философов — Шеллинга, Гегеля, Фихте,— горячо и пылко, хотя и в отвлеченной форме, обсуждались злободневные и острые социальные вопросы.

[12] Такого рода высказывание Тургенева в его сочинениях и письмах отсутствует. В своих воспоминаниях А. Я. Панаева приводит похожие суждения Тургенева о Добролюбове (см. А. Я. Панаева. Воспоминания. ГИХЛ, 1948). Несмотря на несогласие с его взглядами, Тургенев признавал талант Добролюбова и уважал его. В своей статье «По поводу «Отцов и детей» он писал: «Но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя...»

[13] В. М. Гаршин покончил с собой в состоянии сильной психической депрессии, А. И. Левитов умер 42 лет, изнуренный тяжелой, полной лишений жизнью.

[14] Имеется в виду учрежденная С. Н. Кривенко близ Туапсе кавказская колония интеллигентов-разночинцев. От толстовских колоний она отличалась тем, что не ставила задачи опрощения и морального совершенствования.

[15] П. Л. Лавров также сообщает в своих воспоминаниях, что «тогда его (т. е. Тургенева.— *С. Р.*) занимал план романа, в котором он хотел противоположить тип русского социалиста-революционера типу французского его единомышленника» (см. «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников». «Academia», М. 1930, стр. 73—74). Замысел романа остался неосуществленным.

[16] На чтении в пользу Литературного фонда 30 марта 1880 года, на котором И. С. Тургенев выступал с рассказом «Малиновая вода».

[17] Знакомство Златовратского и Гаршина произошло в 1879 году.

[18] Рассказ «Четыре дня» был опубликован в «Отечественных записках», 1877, № 10. Златовратский ошибается, считая рассказ «Attalea princeps» вторым произведением Гаршина.

[19] Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — публицист демократического направления. С 1868 года — один из редакторов «Отечественных записок». О приемах у Г. З. Елисеева, на которых

собирались сотрудники «Отечественных записок» и другие видные литераторы и журналисты, сохранились интересные воспоминания А. М. Скабичевского (см. А. М. Скабичевский. «Литературные воспоминания», М.— Л. 1928).

[20] «Русское богатство». См. прим. 3 на стр. 428.

[21] Известны следующие подробности этого эпизода биографии Гаршина. 20 февраля 1880 года революционер И. О. Млодецкий в знак протеста против административного произвола, жестокого террора главного начальника «Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия», фактического диктатора России графа М. Т. Лорис-Меликова совершил на него покушение. 21 февраля военно-полевой суд приговорил Млодецкого к смертной казни через повешение. Гаршин обратился с письмом к Лорис-Меликову, в котором убеждал его простить Млодецкого и предотвратить казнь. Не получив ответа, Гаршин явился к Лорис-Меликову на квартиру и умолял его помиловать Млодецкого. 22 февраля Млодецкий был казнен, и на этой почве у Гаршина произошел приступ тяжелого психического заболевания.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

Печатается по тексту, опубликованному в «Юбилейном сборнике Литературного фонда» СПб. 1910.

[1] А. М. Скабичевский, «Н. А. Добролюбов. Его жизнь и литературная деятельность», СПб. 1902.

[2] Н. А. Добролюбов, «Сочинения с биографией, составленной М. М. Филипповым», СПб. 1901.

[3] Н. Г. Чернышевский, «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—62 г.», т. I, М. 1890.

[4] См. прим. 4 на стр. 417.

[5] Н. А. Добролюбов, «Сочинения», т. 1—4, изд. Н. А. Некрасовым, Н. Г. Чернышевским, СПб. 1862.

[6] Неточно. Добролюбов умер 17 (29) ноября 1861 г.

[7] В ответ на просьбу Н. Г. Чернышевского прислать ему письма Н. А. Добролюбова он получил от А. П. Златовратского следующее письмо, датированное 10 февраля 1862 г.: «С удовольствием исполняю Ваше желание, Николай Гаврилович, и с 1-ю отходящею почтою шлю Вам письма Николая Александровича. К несчастию, переписка не так была деятельна между нами, как бы можно было ожидать, судя по отношениям его ко мне, которые *отчасти* проглядывают в его письмах, и по той жажде и радости, с какой я ждал

и получал от него письма — что видно, конечно, из моих писем» (см. сб. «Шестидесятые годы», АН СССР, М.— Л. 1940, стр. 58—59).

[8] В книге Н. Г. Чернышевского «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» опубликовано 6 писем А. П. Златовратского к Добролюбову и 8 писем Добролюбова к А. Златовратскому.

[9] Рукопись воспоминаний А. П. Златовратского о Добролюбове хранится в ЦГАЛИ в фонде Н. Н. Златовратского.

[10] Проф. С. И. Лебедев, разбирая в классе сочинение Добролюбова «О Вергилиевой «Энеиде» в русском переводе Шершеневича», отметил, что «это хороший, во всех отношениях образцовый труд» (см. Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., ГИХЛ, 1941, т. 5).

[11] Проф. С. И. Лебедов (ум. 1882) читал в Главном педагогическом институте лекции по русской словесности. Впоследствии цензор, член ученого комитета при св. синоде. Добролюбов неоднократно высмеивал его в своих юношеских пародиях.

[12] «Свисток» — сатирический отдел журнала «Современник», выходил в 1859—1861 году при активном участии Добролюбова.

[13] Щеглов Дмитрий Федорович (1830—1902) — один из наиболее способных студентов — однокурсников Добролюбова. По окончании института — педагог, директор гимназии в Новочеркасске, Одессе; впоследствии стал реакционным публицистом, автором антисоциалистической книги «История социальных систем» (1889).

[14] Несмотря на близкие и дружеские отношения между Добролюбовым и Щегловым, между ними еще в студенческие годы наметились серьезные идейные расхождения, о которых писал Добролюбов в своем дневнике: «Но с Щ[егловым] у нас общего только честность стремлений, да то немногих: в последних целях мы расходимся. Я — отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество с равными правами и общим имуществом всех членов, а он — революционер... признающий... неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества» (Н. А. Добролюбов «Дневники». Изд. О-ва политкаторжан, М. 1932, запись от 15 января 1857 г.).

[15] Мать Добролюбова Зинаида Васильевна умерла 8 (21) марта 1854, отец Александр Иванович — 6 (19) августа 1854 г.

[16] В журнале «Современник» за 1862 г. Чернышевским со значительными сокращениями был опубликован «Дневник» Добролюбова 1852—1853 гг.

[17] Имеется в виду возглавляемая Н. А. Добролюбовым группа передовой студенческой молодежи, в которую входили А. Радонеж-

ский, Н. Турчанинов, Б. Сциборский, А. Златовратский и др. Члены этой группы на своих собраниях обсуждали вопрос об уничтожении крепостного права, отмены цензуры, борьбы с административным произволом и являлись организаторами студенческого протеста против реакционной профессуры.

[18] Директором Педагогического института в то время был Давыдов Иван Иванович (1794—1863), профессор, автор руководства по истории литературы.

[19] Очевидно, написанное Добролюбовым в 1854 году стихотворение «На 50-летний юбилей его превосходительства Николая Ивановича Греча». Н. И. Греч (1787—1867) — реакционный писатель и журналист, автор ряда учебников по русской грамматике. Его юбилей в декабре 1854 года отмечался по высочайшему соизволению, и поэтому сатира Добролюбова расценивалась как серьезное политическое выступление.

[20] После обыска у Добролюбова в январе 1855 года он и его друзья-единомышленники собирались на квартире бывшего студента университета В. И. Кельсиева, впоследствии эмигранта и сотрудника Герцена.

[21] Будучи студентом, Добролюбов составил «Алфавитный указатель сочинений, вошедших в «Обзор русской духовной литературы (862—1720) Филарета Гумилевского», который был опубликован в «Ученых записках второго отделения императорской Академии наук» (т. III, СПб. 1856, стр. 273—293), и «Указатель к четвертому тому «Известий императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности», который был опубликован в т. IV, СПб. 1855, стр. VII.

[22] «Собеседник любителей российского слова». В «Современнике» Добролюбов начал, повидимому, работать в 1856 году. Основой статьи явилась зачетная студенческая работа, представленная проф. И. И. Срезневскому. Впервые опубликована в «Современнике», 1856, кн. VIII и IX, под псевдонимом Н. Лайбов.

[23] В «Отечественных записках», 1856, № 10, была помещена статья проф. А. Д. Галахова «Были и небылицы, сочинение императрицы Екатерины II», являющаяся ответом на статью Добролюбова о «Собеседнике». В ответ Добролюбов написал статью «Ответ на замечания г. А. Галахова по поводу предыдущей статьи», которая была опубликована в «Современнике», 1856, кн. XI.

[24] Добролюбов написал критическую статью против эстетических принципов В. П. Боткина, изложенных им в статье «О стихотворениях А. Фета» («Современник», 1857, кн. I). Свою статью Доб-

ролюбов передал в «Отечественные записки», где она не подошла по своему содержанию и не была опубликована. Сохранилось только начало статьи (см. Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. I, стр. 601—602).

[25] «Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева» написаны в 1854 году.

[26] В «Отечественных записках» о книге Буслаева была напечатана статья А. Н. Афанасьева, положительно оценившего работу Буслаева. Редакция «Отечественных записок», не желая портить отношения с Буслаевым и Афанасьевым, отказалась от помещения статьи Добролюбова.

[27] Вопрос о времени первого знакомства Добролюбова с Чернышевским до сих пор окончательно не выяснен. Во всяком случае, утверждение Златовратского, что поводом к знакомству была статья «Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева», мало вероятно. Скорее всего следует принять версию самого Чернышевского, который относит свое знакомство с Добролюбовым ко времени принятия статьи о «Собеседнике» (см. Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», III, стр. 498—500).

[28] В 1854—1856 годах Н. Г. Чернышевский выступал в «Отечественных записках» с критическими статьями и библиографическими заметками.

[29] «Очерки гоголевского периода русской литературы» печатались в «Современнике» (1855, кн. 12, 1856, кн. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12).

[30] В «Очерках гоголевского периода» Чернышевский подверг резкой критике труды историка литературы С. Н. Шевырева за его реакционные славянофильские взгляды, несамостоятельность мышления и неверную оценку творчества Гоголя. Там же Чернышевский положительно отозвался о литературной деятельности Н. И. Надеждина, отметил его влияние на Белинского, прогрессивный характер его мировоззрения.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. И. ЭРТЕЛЕ.

Печатается по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 202, ед. хр. 30). Публикуется впервые. В архиве хранятся две рукописи «Из воспоминаний об А. И. Эртеле», из которых одна представляет собой черновик, написанный рукой Златовратского, испещренный его многочисленными собственноручными помарками, а другая — беловая, переписанная неизвестной рукой. Текст печатается по беловой рукописи.

[1] Знакомство Златовратского с А. И. Эртелем произошло осенью 1879 года в библиотеке, в которой Златовратский состоял абонентом.

[2] В 1879 году Эртель переехал в Петербург, где принял на себя заведование открытой писателем П. В. Засодимским библиотекой для писателей и общественных деятелей. Библиотека эта являлась своеобразной штаб-квартирой революционеров-народников.

[3] Харламов Иван Николаевич (1855—1887) — писатель-народник, автор очерков о народном быте, сотрудничал в журналах «Дело», «Русское богатство», «Русская мысль» и др. В последние годы своей жизни занимался изучением русского сектантства. Был в близких и дружественных отношениях с Златовратским.

[4] «Записки степняка» печатались в «Вестнике Европы» с февраля 1880 года.

[5] См. прим. 3 на стр. 428.

[6] Очерк «Миниатюры» — «Отечественные записки», 1884, № 4.

[7] Кривенко Сергей Николаевич (1847—1907) — публицист, представитель либерального народничества, сотрудник «Отечественных записок» и «Русского богатства».

[8] Весной 1880 года у А. И. Эртеля обнаружилось тяжелое легочное заболевание, и он уехал из Петербурга лечиться. Вернулся лишь в 1882 году.

[9] В начале апреля 1884 года Эртель за связь с революционными народническими организациями был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. В июле 1884 года по состоянию здоровья был освобожден, но без права проживания в Петербурге. Эртель прожил в Твери до 1888 года.

[10] Журнал «Устои» выходил в Петербурге в 1882 году. Вышло всего 13 номеров, один в декабре 1881 года и 12 номеров в 1882 году. Журнал издавался на артельных началах Н. Н. Златовратским, В. М. Гаршиным, С. Н. Кривенко, А. Н. Плещеевым, А. М. Скабичевским. Редактор-издатель — С. А. Венгеров. Журнал закрылся вследствие цензурных преследований и материальных трудностей.

[11] См. прим. 2 на стр. 428.

[12] «Русская мысль» — ежемесячный литературный и политический журнал народнического направления. После закрытия «Отечественных записок» в «Русскую мысль» перешли их главнейшие сотрудники, в том числе и М. Е. Салтыков-Щедрин.

[13] Петрункевич Михаил Ильич (1845—1912)—врач, и его брат

Иван Ильич (1844—1928) — участники земского движения и члены I Государственной думы.

[14] Покровский Василий Иванович (1838—1915) член-корреспондент Академии наук, уроженец Тверской губ., один из первых и наиболее крупных земских статистиков. Автор 20-томной работы по обследованию и изучению экономического положения населения Тверской губернии, состояния землевладения. В 1868—1873 году выступал в «Отечественных записках» со статьями по общественно-политическим вопросам.

[15] Лесевич Владимир Викторович (1837—1905) — философ, один из основных сотрудников «Русского богатства». По своим философским взглядам — позитивист. Ленин охарактеризовал его как «первого и крупнейшего русского эмпириокритика» (В. И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 44). Автор ряда философских работ. В 80-х годах был лишен права проживать в Петербурге и Москве и жил в Твери.

[16] Мачтет Григорий Александрович (1852—1901) — писатель-демократ, идейный последователь Чернышевского, сотрудник «Отечественных записок». В Твери отбывал ссылку.

[17] В одном дружеском шутливом стихотворении Эртель так охарактеризовал эти тверские сборища на его квартире:

Я помню диспуты в Твери.
Каких речей там не вели,
Каких вопросов не касались!
И как уютно собирались
Вокруг седого старика;
Бывало, он издалека
И с хитростью все сводит к богу,—
Сведет и выйдет на дорогу...
Шум, метафизика, упреки —
Тот предъявлял истории уроки,
Тот мысли Льва Толстого,
Тот Маркса, тот иного —
Волнуются, спешат, хлопочут,
Лишь Эртель говорить не хочет...

(Цит. по книге Г. А. Костина, А. И. Эртель, Воронеж. обл. книг-во, 1951, стр. 44.)

[18] Письма А. И. Эртеля были собраны и опубликованы в 1909 году М. О. Гершензоном («Письма А. И. Эртеля», М. 1909).

[19] Н. К. Михайловский «Десница и шуйца Льва Толстого». В этой статье, написанной в связи с выходом в свет тома педагогических статей Толстого, опровергается высказанное в печати мнение о близости взглядов Толстого к славянофильским и другим реак-

ционным течениям русской общественной мысли и вскрывается противоречивость исторических и педагогических взглядов Толстого.

[20] В 1886 году предполагалось издание общедоступного сборника в память двадцатипятилетия освобождения крестьян. Сохранилось письмо Л. Н. Толстого к Н. Н. Златовратскому, в котором он выражал свое согласие на участие в этом сборнике (см. Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 63, стр. 352). Издание не было разрешено официальными инстанциями.

[21] Имеется в виду журнал «Эпоха», который создавался при активном участии Златовратского. В появившихся в 1888 году газетных объявлениях в числе предполагаемых сотрудников были названы В. Г. Короленко, А. И. Эртель, Г. И. Успенский, А. П. Чехов, С. Н. Южаков. Однако еще до выхода в свет первой книжки журнала в «Русских ведомостях» (1888, № 286, 17 октября) появилось письмо в редакцию за подписью Н. Н. Златовратского и В. В. (В. Воронцова), в котором они сообщали о своем отказе участвовать в журнале: «...просим извинения у лиц, привлеченных нами к сотрудничеству в названном издании за напрасное беспокойство, какое мы им причинили». Единственная книжка журнала вышла 8 ноября 1888 года.

[22] Речь идет о журнале «Сотрудник». В декабре 1888 года книгоиздатель И. Д. Сытин пригласил Л. Н. Толстого руководить журналом «Сотрудник» для народного читателя. В письме к В. Г. Черткову (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 86, стр. 193) Толстой высказывал сомнения относительно этого предложения, хотя и изложил программу будущего журнала: «План мой в том, чтобы, кроме мелочей журнальных, распоряжений правительства, смеси, рецептов, новых изобретений, повестей и т. п., в нем, в журнале, печатать все то хорошее, что было думано и писано с самого начала по всем отраслям мудрости, истории, поэзии, знания научного характера». В качестве редактора Толстой пригласил Златовратского. Но издание задуманного журнала под руководством Толстого и Златовратского не было осуществлено. Журнал вскоре перешел к другому издателю — В. Н. Маракуеву, который выпустил первую книжку в 1890 году и через год — вторую. Толстой в этом журнале участия не принимал. Златовратский напечатал там несколько переводов рассказов галицийских писателей.

[23] Зимой 1889 года Н. Н. Златовратский и Толстой часто встречались. См. записи Толстого в его дневнике (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 50, записи от 17, 20 января, 5 февраля, 23 апреля).

[24] Гатцук Алексей Алексеевич (1832—1891) — публицист народнического направления, издавал в Москве с 1876 по 1890 год общедоступную газету: «Газета А. Гатцука».

[25] В 60-е годы, когда журнал «Русское слово» перешел к Г. Е. Благосветлову, в нем активное участие принимал Д. Писарев, превративший журнал в орган радикальных слоев русской разночинной интеллигенции.

Эркман (1822—1899) и Шатриан (1826—1890) — французские писатели, составившие единое творческое содружество. Для их творчества характерна идеализация патриархального быта. Роман «История одного крестьянина» был впервые опубликован на русском языке в 1868 году.

Жорж Дюруа — герой романа Мопассана «Милый друг».

[26] Роман «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1889, № 4—10, «Смена», там же, 1891, № 1—3, 5—7.

[27] Имеются в виду воспоминания французского писателя А. Доде (1840—1897) «Trente ans de Paris (A travers ma vie et mes livres)» — «30 лет в Париже — характеристика моей жизни и моих книг», опубликованные им в 1888 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Николаевич
Златовратский

Воспоминания

Редактор *М. Сергиевская*

Художник *Н. Шишловский*

Худож. редактор *К. Буров*

Технич. редактор *М. Позднякова*

Корректор *Т. Лукьянова*

*

Сдано в набор 15/XII 1955 г.
Подписано к печати 29/III 1956 г. А 04218.
Бумага 84 × 108 1/32 — 29 печ. л. = 23,78 усл. печ. л.
22,96 уч.-изд. л. + 6 вклеек = 23,26 л.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 1060. Цена 8 р. 70 к.
Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

3-я типография «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

